ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] 2009

BRITISH COUNCIL

РОМАН Э. Л. ДОКТОРОУ "МАРШ" / ПЬЕСА ВАЦЛАВА ГАВЕЛА "УХОД" / АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "ПОЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ" / "КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ": ДЖОН РЕСКИН, ДЖОН АПДАЙК И САША ДАГДЕЙЛ ОБ УИЛЬЯМЕ ТЁРНЕРЕ

Основан в 1955 году

[1]
2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Э. Л. Доктороу *Марш.* Роман. Перевод с английского В. Бошняка

84 Вацлав Гавел *Уход.* Пьеса в пяти действиях. Перевод с чешского Ольги Луковой

Из классики XX века

131 Антуан де Сент-Экзюпери *Манон, танцовщица.* Новелла. *Письма к Натали Палей.* Перевод с французского и вступление М. Кожевниковой

Литературный гид
Польский репортаж

156 Божена Дудко *"Не делать однозначных выводов".* Перевод К. Старосельской

159 Анджей Стасюк *Дойчланд.* Фрагменты книги. Перевод Ирины Адельгейм

174 Мариуш Щигел *Готтленд.* Главы из книги. Перевод Полины Козеренко

216 Лидия Осталовская *Тут пока еще Польша...* Перевод Ирины Лаппо

Статьи, эссе

230 Борис Парамонов *Наедине с великаншей. Сартр в русском контексте*

Картинная галерея

247 Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер

248 Джон Рескин *Современные художники.* Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление Игоря Мокина

252 Джон Апдайк *Сияющая ложь.* Эссе. Перевод с английского Антона Нестерова

259 Саша Дагдейл *Подобия.* Монолог. Перевод с английского М. Фаликман

Культурная инициатива

277 *Фонд Ельцина: ресурс языка и культуры.* Интервью с исполнительным директором Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина А. А. Дроздовым. Беседу ведет главный редактор журнала А. Я. Ливергант

Ничего смешного

285 Льюис Кэрролл *Стишки на случай и не только.* Перевод с английского и вступление Марины Бородицкой

Новые книги Нового Света

293 Марина Ефимова *Арабское семейство в американском веке. Дом умников*

Среди книг

298 А. Ермонский *Драконоборец Ежи.* Александра Борисенко *На капитанском мостике*

БиблиоФИЛ

304 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем и Татьяны Трофимовой

307 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

311 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили А. Лешневская, И. Мокин

Авторы номера

315

© "Иностранная литература", 2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. А. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

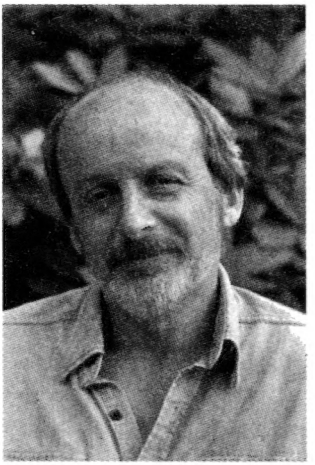
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Э. Л. Доктороу



Марш

Роман

Перевод с английского В. Бошняка

Хелен

Книга первая
Джорджия

I

ВДРУГ в пять утра чей-то крик, стук в дверь, Джон, ее муж, соскакивает с кровати, уже и винтовка в руках; тут и Роско, чья хибарка рядом с барским домом, разве что чуть на отшибе, проснулся, выскочил, зашлепали его босые ноги; Мэтти, умом готовая к превратностям войны (хотя сердце, что поделаешь, замирает — неужто *уже*?), торопливо набросила халат и заспешила по лестнице вниз выглянуть при свете фонаря в открывшуюся дверь: чьи там шаги на крыльце веранды? Ага! — две лошади с курящимися паром взмыленными крупами, дико поводя глазами, то и дело вскидывают головы, возницей при них молодой негр с вислыми плечами, даже и теперь всем своим обликом выражающий бесстрастие и терпение, зато в повозке — боже ж мой, кто к нам пожаловал! — тетушка Летиция Птибоун Макдоноф, ее постаревшее лицо

© 2005 by E. L. Doctorow
Reprinted by permission of International Creative Management, Inc.
© В.Бошняк. Перевод, 2009
Отдельной книгой роман выйдет в "Издательском доме 'Флюид'".

искажено страданием, прическа в беспорядке — это у нее-то, дамы столь несравненно благовоспитанной, истинной аристократки, которая весь сезон была практически королевой Атланты, а теперь стоймя стоит в экипаже как рехнувшаяся старая ведьма, в каковую вскорости и суждено было ей превратиться. В повозке горы багажа, тюки какие-то перевязанные, а когда тетушка вставала, наземь выпало несколько предметов столового серебра и серебряный подсвечник, звякнули, сверкнули отблесками фонаря, который держал Роско. Мэтти, не успев еще толком завязать поясок халата, сбежала по ступеням, глупо обеспокоенная (это она припоминала позднее) только тем, что ей неловко за свою тетку, которую, по правде сказать, она всегда уважала больше, чем любила, — вот и теперь тоже: кинулась поднимать, совать ей в руки тяжелые серебряные ложки-вилки, как будто не Роско должен был это делать или хотя бы муж на худой конец!

Из экипажа тетя Летиция выходить не стала — нет времени, пояснила она. Она явно была сильно испугана, о лошадях даже не подумала, Джон сразу это заметил и приказал, чтобы бегом тащили ведра, а она знай свое: Бегите! бегите! уносите, что сможете, и уезжайте, — а видит, что все только стоят, слушают, так даже в ярость пришла, и вот уже из-за угла дома появился кто-то из полевых негров — как раз с первым проблеском рассвета, будто созданный им, вызванный им к жизни. А ведь я знакома с ним! — причитала она. — Он в моем доме обедал! Жил среди нас. А теперь жжет дома, куда его приглашали на ланч, сжег город, в лучших залах которого сам произносил тосты, — как же, будто бы из образованной семьи, культурный (это мы так думали), но я на его удочку никогда не попадалась! О нет, меня на мякине не проведешь — слишком уж он скользкий был, не умел поддержать беседу и в одежде не всегда бывал строг, — впрочем, он совсем о своей внешности не думал, да и вообще, ну что это за воспитанность такая (это я еще тогда заметила!) — ну хоть бы чуточку умел скрывать свои чувства или притвориться немножко, когда надо. До чего ж горько, прямо жгучий ком в горле, как вспомню, что я его считала мирным, семейным человеком — ведь и жену вроде любил, и детишек, а превратился в дикаря какого-то без капли милосердия в холодном сердце.

Понять что-либо из ее речей было трудно, женщину неудержимо несло. Джон и не пытался, он сразу начал отдавать распоряжения, побежал назад в дом. Лишь одна Мэтти ее слушала. Истерика тетушки, выраженная в терминах светской гостиной, была чем-то близка ей, завораживала. На какой-то миг она даже забыла, что в доме спят ее мальчики.

Они идут, Мэтти, они уже близко! Армия диких шакалов под водительством отступника, бесстыжего негодяя, дьявола, который станет у вас чаевничать, уйдет раскланявшись, а потом все у вас отберет.

Высказав наболевшее, тетушка обмякла, откинулась на подушки сиденья и приказала вознице трогать. Ответа на вопрос о том, куда Летиция Птибоун направляется, Мэтти так и не дождалась. Как и о том, сколько же остается времени, покуда этот Бич Божий, этот новый Аттила, дойдет до ее собственных ворот. Не то чтобы она этой женщине не поверила, нет, какие уж тут сомнения... Она поглядела на небо, медленно светлеющее, наливающееся серенькой прозрачностью наступающего дня. Слышно ничего не было, лишь кукарекнул петух, да еще она с

внезапным раздражением уловила тихий ропот рабов, уже собравшихся у угла дома. Что ж, тарантас тетки Летиции исчез, прошуршав колесами по гравию подъездной дорожки, Мэтти повернулась, и — только приподняла край подола взойти на крыльцо — здрасьте пожалуйста, опять это несносное дитя, эта Перл, как всегда дерзкая, стоит у столба веранды, скрестив на груди руки с таким видом, будто и дом, и плантация не что иное, как ее законная собственность.

Совсем-то уж не подготовлен Джон Джеймсон не был. Еще в сентябре, когда пришла весть о том, что генерал Джон Худ отступил и федеральные войска захватили Атланту, он усадил Мэтти и рассказал ей подробно, что нужно сделать. Ковры скатать, картины снять со стен, всякие там ее вышитые пуфики — все, с чем тебе жаль расставаться, понимаешь? — английские ткани, фарфор, вплоть до фамильной Библии... Все это упаковать и вывезти в Милледжвиль, там погрузить на поезд и железной дорогой отправить в Саванну, где его, Джона, сбытчик хлопка, проверенный человек, согласен принять их пожитки в свой склад на хранение. Но не рояль, — сказала она, — рояль пусть остается. Он там на складе сгниет от сырости. Как скажешь, дорогая, как скажешь, — легко согласился Джон, который к музыке и прежде был равнодушен.

Опустошение, произведенное в доме, повергло Мэтти в смятение. В оголенные окна ворвалось солнце, так осветив полы, будто ее жизнь пошла задом наперед и она снова юная невеста в только что выстроенном, еще не меблированном доме, лицом к лицу со страшноватым мужем, который ее вдвое старше. Ее удивляло, откуда Джон знает, что война коснется их столь непосредственно. На самом-то деле он не знал этого, но был из тех мужчин, чей финансовый успех дает им повод считать себя умнее других. Да и видом соответствовал — большой такой, широкогрудый, с пышной шапкой седых волос. Не спорь со мной, Мэтти. При штурме города они потеряли двадцать или тридцать тысяч человек. Чертовски дорогую цену заплатили. И вот представь: ты генерал, а президент, начальник над тобою, — псих. И что? — ты будешь сидеть сложа руки? Ведь надо же куда-то дальше двигаться! А куда? В Огасту? В Мейкон? А как туда доберешься, если не через наши холмы? А чтоб Повстанческая армия этому помешала, и думать забудь. Но если я неправ (а я от всей души молюсь, чтобы я неправ оказался), так даже и тогда, ну что, скажи мне, что мы потеряем?

В подобных случаях не соглашаться Мэтти не позволялось. Когда после сбора урожая Джон продал на сторону двенадцать лучших полевых работников, ее смятение было куда больше, но она не сказала ему ни слова. А тех всех до одного прибрал к рукам некий делец из Колумбии, что в Южной Каролине. Когда настал день отправки и их, закованных в кандалы, грузили в фургон, она не выдержала, убежала на второй этаж, зажав уши ладонями, чтобы не слышать стенаний остающихся их родных. Джон по сему поводу лишь процедил сквозь зубы: чтобы какой-нибудь конь из моих негров надел форму федералов? Такому не бывать, уж это я тебе обещаю.

Но сколько бы ни наслушалась она его увещеваний, каких бы приготовлений ни насмотрелась, ну не могла она поверить, что настал, настал момент уходить, покидать Филдстоун. От страха прямо ноги подка-

шивались. Другой жизни, иначе как в собственном доме среди дорогих ее сердцу вещей, она себе не представляла, а в Джорджии вся вселенная была повернута таким боком, чтобы снабжать и ее, и домочадцев всем тем, что соответствует их высокому положению. Тетке Летиции что — она унеслась, умчалась, поминай как звали, а вот паника так и повисла черным поветрием — она тут ею всех заразила! Чудо какой предусмотрительный Джон, весь красный, затеял беспорядочную беготню туда-сюда, а по пути на всех покрикивал (это он так всегда отдает приказы). Мальчики, конечно, проснулись; все еще полуодетые, но уже с ружьями сбежали по лестнице вниз и скрылись черным ходом.

Мэтти зашла в свою спальню и замерла, не зная, что делать, с чего начать. Как бы со стороны услышала собственные всхлипы. Кое-как оделась, похватала что попалось под руку из шкафа и ванной комнаты, все упихала в два чемодана. Услышала выстрел и, глянув в окно, застала одного из мулов еще живым. Но уже на коленях, вот он клонится, падает... Роско выводит из конюшни другого, а ее старший — Джон-младший — заряжает ружье... Казалось, прошли считаные минуты, солнце только-только показалось над верхушками деревьев, а подводы у крыльца уже ждут. Господи, да куда же им самим-то сесть? Обе повозки нагружены багажом, корзинами со съестным, мешками с сахаром и мукой. И вот уже от овина, который Джон поджег, уничтожая фураж, утренний ветерок донес запах гари. Мэтти показалось, будто это не дым, а прах всей ее жизни — летит, уносится к небу.

Джеймсоны уехали, а Перл все стояла на посыпанной гравием подъездной дорожке, все не выпускала из рук вещевой мешок. Маса на нее едва глянул! едва глянул, и — шар-рах! шар-рах! — кнутом по спинам лошадей. Роско, сидевший на козлах второй подводы, пока ехал мимо, не глядя бросил к ее ногам что-то завязанное в носовой платок. Она даже не дернулась поднимать. В совершеннейшей тишине и неподвижности ждала, пока совсем уедут. Ногами почувствовала, как задул прохладный ветерок. Потом он стих, воздух стал покоен и тепел, и через миг, ушедший словно бы на то, чтобы земля вздохнула, утреннее солнце обрушило свой жар на плантацию.

Тут только она нагнулась поднять узелок, который бросил Роско. Сразу же, не разворачивая, поняла: это те самые два золотых, что он однажды, когда она была еще маленькая, ей показывал. Все его сбережения. Тут и думать нечего, мисс Перл, — сказал он тогда. — Обе деньги настояшши. На зуб-то спытай, почуешь с ходу! А вот орлы — видала? Мошну ежли такими полнехонько набить — сможешь по небу орлом летать, потому на них орлы и натиснуты, на деньгах этих!

У Перл перехватило горло, слезы рвались наружу. Она двинулась и пошла. Мимо большого дома с его надворными постройками и курящимся, догорающим овином, мимо застреленных мулов и хижин рабов, где они мельтешили, с песнями собирая пожитки, — и пошла, и пошла по лесной дороге туда, где с разрешения хозяина когда-то устроили кладбище.

К тому времени на этой сыроватой прогалине было уже шесть могил, над каждой колышек и дощечка с вырезанным на ней именем покойного. Более давние могильные холмики, как у ее матери, поросли

мхом. Перл присела и прочитала имя вслух: Нэнси Уилкинс. Мама, — сказала она, — я свободна! Ты говорила мне: деточка, дорогая моя Перл, ты будешь свободной! Ну вот и вышло: они ушли, и я свободна. Свободна! Свободна как никто другой на всем белом свете, вот как я свободна. Но маса-то каков! Уезжая, он даже бровью не повел, взглядом не удостоил собственную свою кровиночку, родненькую дочку! Как будто и нет у меня его светло-карих глаз, и лицом словно я не похожа на него как вылитая — уж точно больше похожа, чем эти недоростки, которых родила ему жена, что один братец, что второй. Ведь и кожа-то у меня белым-бела, что твоя лилия!

Перл упала на колени, прижала руки к груди. Дорогой мой Боженька Иисус, — зашептала она, — возьми эту женщину к себе, она хорошая, добрая. А меня, твою Перл, научи быть свободной.

Мало-помалу рабы, таща узлы и старые ковровые саквояжи с пожитками, потянулись к господскому дому, где стали располагаться под кипарисами у парадного крыльца. Глядели по большей части в небо, как будто то новое, что, по слухам, вот-вот придет, явится именно оттуда. Все одеты по-воскресному. Семеро взрослых — двое мужчин (старый Джейк Иерли и Джубал Сэмюэлс, одноглазый), пять женщин во главе с древней, едва передвигающей ноги бабкой, — и трое малых детей. Дети держались на удивление тихо. От взрослых далеко не отходили и либо собирали букетики из полевых цветов, либо возились в пыли, перебирая камешки и ковыряя ими землю.

Призывать к терпению Джейку Иерли не приходилось. Страх, который все видели в глазах спасающихся бегством масы и миссус, недвусмысленно говорил им, что избавление пришло. Однако небо оставалось безоблачным, и, по мере того как солнце подымалось выше, все сперва уселись, потом разлеглись, а кое-кто и задремал, чем, надо сказать, огорчил Джейка Иерли, который считал, что солдаты-северяне, когда придут, должны застать черный народ не в расхристанном состоянии, а чтобы освобожденные мужчины и женщины стройными рядами радостно и бодро встречали освободителей.

Сам он стоял со своим костылем на середине дороги и не двигался. Слушал. Очень-очень долго слышно ничего не было, разве что слабенькое шебуршание в воздухе — будто тебе кто на ухо шепчет или далекий лес шумит. И вдруг услышал. Что? Да и не скажешь сразу. Даже не звук, скорее ощущение, что нечто изменилось, причем скорее в нем самом, нежели в окружающей обстановке. Костыль в его руке, вдруг превратившийся во что-то вроде волшебного жезла, был им решительно направлен в западный сектор неба. В ответ на это все остальные встали, вышли из-за деревьев и увидели. Увидели дымы на горизонте, которые поднимались в разных местах — сначала тут, потом там... Но главным во всем этом был изменившийся цвет неба; нашлась в конце концов и причина изменения — вон она: ползущее вверх бурое облако, поднимающееся с земли, как будто весь мир перевернулся вверх тормашками.

Все на это облако смотрели, а оно тем временем обрело красноватый оттенок. Передвинулось вперед, спереди узкое, как сабельный клинок, а затем расширяющееся, будто отвал земли за лемехом плуга. Ползло через все небо к югу. Когда до них дошел и шум этого облака, он

оказался не сравним ни с чем, что они когда-либо слышали в жизни. Он не был по небесному страшен, как гром, молния или вой ветра, зато отдавался у людей в ногах, вызывал в них ответную дрожь, будто гудит земля. Затем, подхваченный порывом ветра, шум стал ближе, и в нем временами слышалась ритмичная поступь — тут у всех отлегло от сердца, потому что огромному облаку пыли нашлось простое, человеческое объяснение. В конце концов, как бы обочь этого шума попираемой ногами земли стали различаться живые человеческие голоса, выкрики. Мычание коров. И скрип колес. Но видно ничего не было. Невольно все подались ближе к дороге, но и там ничего. Звучный гомон доносился отовсюду, полнил собой пространство, как то облако красной пыли, что неслось мимо них к югу, заставляя небо позади себя тускнеть, — то было великое продвижение Северных армий, но пока оно выглядело не более вещественным, чем если бы это были армии духов.

Отряд фуражиров Кларка состоял из двадцати человек верхами и двухфургонного обоза с пристегнутыми к нему тремя вьючными мулами. Хотя вообще-то, согласно приказу командования, солдат у него должно было быть не менее пятидесяти. Они следовали в нескольких милях от маршрута основной колонны, поэтому, наткнувшись на плантацию, Кларк решил разобраться с ней не мешкая.

Въехав в усадьбу, он сразу же увидел сбившихся в кучку рабов, но предпочел их не заметить. Лишь головой качнул. Рядом с каждым на земле стоял или потрескавшийся жалкий сундучок, с какими ходят по селам коммивояжеры-коробейники, или мешок из-под хлопка, набитый пожитками. Кларк выставил дозорных и принялся за дело. В дальнем конце двора, позади всех построек дымился сгоревший фуражный овин, ветер кружил над ним, взметывая хлопья черного пепла. Поодаль лежали три мула с простреленными головами. Кларку было приказано следить, чтобы подобного рода акты неповиновения пресекались решительным образом. Пока что, впрочем, он следил лишь за тем, как его солдаты вереницей несут на плечах из амбара мешки с сахаром, кукурузой, мукой и рисом. В коптильне полки прогибались, уставленные горшками с медом и сорго. С крюков свисали свиные окорока и копчености, забрать которые хозяину не хватило времени. А одна из клетей была полна сладкого картофеля — не меньше двух сотен фунтов, если навскидку.

Работа у солдат шла споро. Свиней забили мигом, а вот с курами кто-то прошляпил, и они разлетелись по всему загону. Шум, гвалт... — ну, тут негритята, конечно, сбежались... Хихикали и посмеивались, глядя, как белые господа плашмя бросаются наземь, пытаясь подмять под себя заполошно орущую курицу или связать ноги гогочущему гусю. Ну что ж, всем хорошо, все довольны, думал Кларк. Такая-то война еще ничего, всегда бы так!

В Армии Теннесси он был одним из немногих уроженцев восточного побережья. Поэтому считал себя не таким беспечным и не настолько провинциальным, как большинство его сослуживцев. А то ведь порой диву даешься: даже унтер-офицеры не обучены грамоте! Зато Кларк — о! — дежурил как-то раз в Белом доме, и ему доверили доставить генералу Шерману в его штаб, располагавшийся в Аллатуне, письмо самого

президента. Прибыл в разгар сражения, после которого генерал попросту не отпустил его, велел остаться. Может быть, генерал, конечно, и снесся потом с Вашингтоном по телеграфу, но все равно это было сделано как-то небрежно и для Кларка, пожалуй, даже унизительно — ну кому понравится, когда вопрос о твоей дальнейшей службе решают мановением пальца!

Но теперь его беспокоило другое. Где же весь скот? Зайдя за угол господского дома, он у парадного крыльца поговорил с высоким седовласым негром, который назвался Джейкобом Иерли. Иерли повел его через поселок рабов в лес, потом мимо маленького кладбища, дальше под горку, и вот уже под ногами зачавкало. За рощицей бамбука начиналось болото, где маса надумал утопить своих коров. Пять коров еще стояли в жиже по самую холку — принимали судьбу бесстрастно, не жалуясь. Теленка было уже не спасти, он наполовину плавал, из воды торчало лишь его гузно. Пришлось звать подмогу; потребовались несколько солдат с веревками, чтобы всех коров вытащить. Да и времени на это ушло немало. Теленка освежевали. Коров подвели к телегам и привязали, чтобы чапали сзади.

На такую добычу не стыдно бы угрохать и целый день, а день-то как раз был чуть не весь впереди — солнце едва-едва перевалило к западу. Солдаты, понятное дело, самостийно ринулись в дом на розыски — чем бы еще себя побаловать. И как бы ни хотелось Кларку скорей двигаться дальше, он понимал, что сейчас не надо вставать им поперек. Выходит, и нижестоящие могут приказывать командиру, даже без слов. А еще это пример того, чему он не мог бы дать связного объяснения в письме домой. В огромной массе людей, составляющих армию, подчас странные происходят завихрения, так что сквозь жесткий каркас воинской дисциплины своеволие и упрямство порою просачиваются беспрепятственно и легко. Лучшие офицеры знают, когда и на что надо закрыть глаза. Даже генералы отдают приказы, в общем-то, скорее ради истории. Кларку все это было не по душе. Он любил порядок. Строгость и дисциплину. Себя содержал в чистоте, всегда был гладко выбрит. Форма наглажена. Ранец правильно уложен. Писчая бумага в клеенчатом конверте. Однако ремесло снабженца требует определенной лихости, которая в свою очередь заставляет смотреть сквозь пальцы на вольности подчиненных. Его обормотам нравится их независимость. Нравятся им и выгоды, которые они из этого извлекают, притом безнаказанно, поскольку их добыча жизненно необходима для успеха армии, которая по плану генерала Шермана должна кормиться непосредственно с земли.

Медового цвета ценный паркет в главном зале освещался через застекленный купол. На второй этаж шикарной пологой дугой вела лестница с перилами на фигурных балясинах. Да еще и окно наполовину в витражах. Как нормального человека, северянина и бостонца, Кларка постоянно поражало великолепие этих дворцов, понастроенных в полях сельского Юга. Если труд рабов приносил здешним жителям такое богатство, не удивительно, что эти люди дерутся не на жизнь, а на смерть!

В столовой рядовые Генри и Галлисон обнаружили сервант, а в нем поднос с несколькими хрустальными графинчиками бурбона. С этой своей лептой они присоединились к кучке солдат, собравшихся вокруг

рояля в гостиной, и когда Кларк услышал первые аккорды, ему стало понятно, что придется крепко подумать, как этих распоясавшихся балбесов без нажима, но и без большой потери времени выставить отсюда вон. Пианистом оказался рядовой Толлер. Его пухленькие ручки бегали по клавишам неожиданно резво. До тех пор Кларк не замечал за Паджем Толлером творческих наклонностей, если не считать таковою всегдашнюю его готовность выпить и закусить.

Сержант Мелоун всех обходил с коробкой, предлагая сигары. Балбесы пели:

Был я, мама, исправным солдатом,
Трескал виски, баталии ждал,
А как встретили конфедератов,
Испугался и деру задал!

Кларк принял у сержанта Мелоуна сигару и, прикурив от поднесенной ему спички, отправился по величественной лестнице наверх. Вошел в одну комнату, потом в другую и везде драл палашом обивку мебели и потрошил матрасы, а рукоятью бил окна и зеркала. Был услышан и понят: и двух минут не прошло, как несколько его подчиненных уже рубились плечом к плечу с командиром, топорами сокрушая мебель, срывая занавеси и весь этот раздрай поливая керосином[1].

Но был еще третий этаж, чердачный, и когда Кларк добрался туда, остолбенел. Там обнаружился ребенок — босоногая девочка; стоит себе перед зеркалом, кутая плечи красной с золотым шитьем невиданной прелести шалью, да так спокойно, будто и не началось уже изничтожение дома. Лишь когда она подняла взгляд и в зеркале встретилась с ним глазами, он понял, что перед ним белая негритянка, белая как белый шоколад[2].

Подбородок девчонки пошел вверх, она окинула незнакомого офицера взглядом хозяйки поместья. Выглядела она, пожалуй, лет на двенадцать-тринадцать, стояла себе босая, в простеньком платьице по колено, однако эта шаль... Шаль превращала ее в женщину, к тому же царственно красивую. Прежде чем он успел что-либо сказать, она ужом скользнула мимо и устремилась вниз по лестнице. Мелькнули гладкие белые икры и летящая следом шаль.

Делать нечего, пришлось позволить черномазым как-то устраиваться со всем их барахлом на подводах, втискиваться или среди мешков с добычей, или на козлы к возчикам. Везти старую бабушку негры спроворились на своей отдельной тележке, запряженной какой-то чахлой лошаденкой, чуть ли не пони. Чем больше они радовались, тем мрачнее становился Кларк. Ну куда их пристроишь? Ни к какой службе явно непригодны. Обуза. Ни еды им не положено, ни укрытия. И так с армией движется этих черных уже под тысячу душ! Их надо бы назад отослать, но куда? Мы ведь никакой гражданской администрации в тылу не остав-

1. Ни керосина, ни керосиновых ламп ни у северян, ни у южан в войсках не было. Керосин был уже известен, но еще чересчур дорог. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Белый шоколад появился в Европе в 20-х годах XX века, а в Америке — еще позже.

ляем. Все сожгли и помчались. Их запросто могут снова всех переловить или, что еще хуже, они могут попасть в лапы партизан, которые неотрывно висят у нас на хвосте.

Солдаты пошвыряли в окна факелы, и вот над крышей показался первый дымок; первые языки пламени, вырываясь из окон, забегали по обшивке. Это ж ведь мы сжигаем всё, чем черномазые могли бы кормиться! Однако все вокруг веселились, болтали и хохотали. Сержант Мелоун красовался в хозяйском цилиндре и его же сюртуке, надетом прямо поверх форменной тужурки. Найденные где-то в закромах старинные треуголки колониальной милиции пошли на шапки чернокожим детишкам. Рядовой Толлер напялил на себя юбку с оборками, и все, в том числе и двое негритянских старцев, курили сигары.

Господи, что за сброд, кем тут командовать? — сказал Кларк, ни к кому, в общем-то, не обращаясь. Подал сигнал "по ко́ням". Бичи защелка́ли, колеса заскрипели, застукотали копытами лошади. Уже отъезжая, Кларк краем глаза увидел девчонку, ту самую белую негритянку. Она оставалась в сторонке, залезть ни на одну из подвод к неграм даже не пыталась, стояла по-прежнему босоногая, но в роскошной красной с золотом шали, провожала их глазами. Позже Кларк сам себе задавал вопрос: почему ему не показалось странным, что она ждет особого приглашения? Он развернул коня, подскакал к ней, нагнулся и ухватил за руку. Поехали со мной, мисси, — сказал он, и через миг она уже была с ним в седле, сидела сзади, крепко обхватив его руками. В тот момент он сам не понимал, что́ им движет, знал лишь одно: чувство ответственности за вверенное ему подразделение почему-то вдруг оставило его, испарилось. Он ощущал лишь тепло ее рук, крепость объятия. Она уткнулась ему лбом и щекой в плечо, и через какое-то время ткань мундира в этом месте промокла от слез.

Так они и ехали еще совсем теплым ноябрьским вечером — черные и белые вместе в направлении просвеченной солнцем тучи пыли, плывущей на юго-восток по небу Джорджии.

II

Сперва он и есть-то отказывался — этот Уилл, такой тощий юнец, что лица будто вовсе нет, череп на палке, да и все тут; не пил, не ел, только на прутьях решетки все время виснул да в коридор глядел. Арли, сидевший в камере напротив, внушал ему: Слышь, мало́й, нельзя так, ты должен есть! То, что тебя задумали убить, еще не значит, что надо делать это за них.

Арли болтал без умолку, этим спасался. А вдруг нам приговор отменят? Веселенькое дело: ты и за порог выйти не сможешь! Что до меня, то я буду жрать их червивую свиную солонину с бобами да нахваливать, благодарить начальника тюрьмы сержанта Баумгартнера — у-у! — сидит себе в кабинетике в конце коридора... Да, нахваливать и благодарить как отца родного за отменную жрачку, хотя он все равно не услышит: он ведь, ты знаешь, глух как пень! Тебя, кстати, в чем обвиняют-то, юноша Уилл? Ну скажи уж!

В дезертирстве, — прошептал тощий малый. — Мне позарез домой понадобилось.

Гляди-ка, я и не знал, что за это смертную казнь дают! Сейчас столько народу с войны смывается! Наверху, видимо, решили страху нагнать. А меня застали спящим на посту в охранении. Бывает хуже, между прочим. Насильник Джон — помнишь его? — вон, прямо тут сидел, на той неделе еще... Достукался до веревки, но это потому, что преступал гражданский закон. А мы с тобой, как мы есть солдаты, нарушившие воинский устав и присягу, или чего там мы нарушили, нас — видал-миндал — всего лишь выставят перед расстрельной командой.

Юнец, однако же, не улыбнувшись, ушел на свою койку — лег на спину, сцепив руки за головой.

Но ты не волнуйся, — продолжил Арли. — У генерала Худа все продумано: когда ведут, то отделение впереди, отделение сзади, все в парадной форме, вокруг флаги реют и барабаны трещат, а ты — то есть тот, кого они убивать собрались, — садишься на край собственного гроба, чтобы лечь точнехонько в него, когда по команде "пли" все разом стрельнут. Только вот стрелков-то всех на укрепления в Атланту отправили, и в Милледжвиле войск не сыскать даже на одну приличную расстрельную команду. Есть, правда, детки-кадетки из военного училища, что от нас как раз через улицу, но начальство, видать, крепко подумало и решило, что это все ж таки не детское дело. А с религией у тебя как, а, Уилл?

Вот только религии мне не хватало!

А я, знаешь, как на это дело смотрю? Бог там на них, видать, руками замахал — дескать, стоп-стоп-стоп, дайте ребятам передышку! Так, может, он для нас еще чего наметил? Пока есть время, надо попытаться сообразить, что бы это могло быть. Потому что бессмысленных милостей он не оказывает.

Ноябрьское тепло обманчиво, раз — и кончилось, так что оба узника день и ночь не расставались с одеялами. Окна в камерах были без рам. Когда шел дождь, стены отсыревали, потом небо прояснялось, становилось морозно, и камень покрывался ледком. Железные прутья так промерзали — не прикоснешься. В общем, в тюрьме города Милледжвиль было примерно так же холодно и промозгло, как в могиле.

Сержант Баумгартнер, сэр! — заскулил Арли. — Вам хорошо, у вас хотя бы ведро с углями в ногах! Зашли бы к нам сюда — ну, то есть с ведерком с этим вашим, — а то ведь мы так до смерти тут замерзнем, вам и расстреливать будет некого!

Страж оставался нем. Он был такой толстый, что шагу не мог ступить не задохнувшись.

Сержант Баумгартнер, — опять завел свое Арли, — вот, пророчествую: придет день, когда вы отопрете эти двери и отпустите нас.

Баумгартнер вздохнул. Конечно, — пробормотал он, — сражаться я стар, и моя служба — сидеть здесь с такими как вы. Если это не тянет на медаль, то я уж тогда и не знаю, что тянет!

С рассвета на ногах? Да ну, какое там, гораздо раньше — прыгали, как обычно, разгоняли кровь, изображая бег и ходьбу на месте, пытались

согреться. Уилл подсмотрел, как это делает Арли, и перенял у него методу. Но это утро принесло кое-что новое, нечто помимо пробирающего до костей холода и парных, видимых выдохов. За окнами слышалась суета, возбужденные голоса и стук тележных колес. Уилл подошел к окну, встал на цыпочки, выглянул из-за решетки. Вид с холма открывался обширный.

Что там? — забеспокоился Арли.

Фургон за фургоном, прямо парад какой-то, — ответил Уилл. — А лошадей-то нахлестывают!

О господи, неужто уже?

Несмотря на весь этот шум, Уилл услышал небесный звук — а может, и не звук: то ли дуновение какое-то донеслось, то ли воздух сгустился, словно само небо кто-то придавил к земле, и от этого произошло не то шуршанье, не то запах даже — вроде того, что иногда чувствуется после удара молнии. Ощущалась тяжесть приближающейся бури, хотя солнце как ни в чем не бывало поднялось, небо налилось холодной синевой, и никакой бури в скором будущем на первый взгляд вроде не намечалось.

Зато в здании тюрьмы происходило странное шевеление. Со своего верхнего этажа они слышали окрики и команды на всех нижних. Да тут еще и заключенные принялись громыхать мисками о прутья решеток. Загомонили, засвистели.

Лицо Арли расплылось в широкой ухмылке: Ты вот что, юноша Уилл, собирай-ка пожитки. Этот гостеприимный дом мы покидаем.

Сержант Баумгартнер, встревоженный шумом, вскочил и стал с мушкетом наизготовку лицом к тяжелой дубовой двери.

Да бросьте вы, мистер Баумгартнер, — хихикнув, воззвал к нему Арли. — И осторожнее, а то смотрите, сэр, еще подраните сами себя!

Словно согласившись, старик снял палец с курка и снова сел, тяжело отдуваясь.

По каменному полу забухали шаги, раздался гром ключей, решеток. На мгновение Уилл даже испугался: их камеры в отдельном закутке, в стороне от других, а ну как до них просто не дойдут, не найдут, позабудут! Но вот замолотили в дверь. Баумгартнер, с перепугу одурев, еле нашел нужный ключ.

В первый раз за время их дружбы Арли и Уилла не разделяли решетки; они пожали друг другу руки. Железными маршами тюремной лестницы зашагали следом за другими заключенными вниз, вышли в залитый холодным солнцем двор, оказавшись в толпе из полутора сотен других таких же — в ботинках без шнурков и одеялах, наброшенных на плечи.

Стоят, дрожат. Н-да, пейзаж не больно радостный, — проговорил Арли, озираясь и видя вокруг одни обветренные бородатые рожи, ссутуленные плечи в одеялах, охрану, серые стены и убитую, затвердевшую землю под ногами. — Но ведь и это сотворил Господь, Уилл, мальчик ты мой! Это все тоже ведь его чудесное творение, а как же!

В сопровождении лейтенанта и четырех нижних чинов с винтовками во двор вошел какой-то старший офицер в ладном сером мундире. Явно большая шишка — шляпа с плюмажем, кушак какой-то бордовый, шибко сложная вязь толстого шнура на рукаве... Ему помогли взобраться на ящик. Разглядев петлицы с тремя звездами в дубах, заключенные

загомонили. Он подождал, пока они утихнут, потом сложил ладони рупором, поднес ко рту: Я генерал-майор Натаниэль Уэйн, — сообщил он. — Губернатор Браун уполномочил меня объявить все ваши приговоры отмененными, все сроки отбытыми — *все*, я сказал! — при условии, что вы записываетесь в ополчение, даете клятву защищать нашу великую Джорджию и будете воевать под моей командой.

За его спиной охранники поставили стол и стул.

У вас три минуты. Даю вам три минуты на то, чтобы, подняв правую руку, присягнуть и расписаться, получив тем самым все права и привилегии службы. Если нет — пойдете назад в камеры и будете сидеть там, пока ад до дна не промерзнет.

Все задвигались, зашевелились. Некоторые были за; другие, кому до конца срока оставалось мало, — против. Арли покачал головой. Проблема не слабее тех, о которых до хрипоты спорят в законодательном собрании штата. Какой-то уголовник крикнул: Да лучше я здесь сгнию, чем дам отстрелить себе яйца!

Все заговорили разом. Эти парни не дураки, — сказал Арли. — Атланта сгорела, война уже и сюда подходит. Если войско так обезлюдело, что оружие раздают уголовникам, тогда знаете, сколько шансов хоть кому-нибудь из нас выжить?

Раз, два и обчелся? — округлил глаза Уилл.

Ну, вроде того. Впрочем, не знаю, как тебе, Уилли, — проговорил Арли, решительно поднимая руку, — а мне, ей-богу, все равно, каким способом меня убьют.

Сколько прошло времени — два часа? три? Как-то мгновенно они, уже ополченцами, обнаружили себя в составе подразделения, развернутого для защиты деревянного свайного моста через реку Окони милях в пятнадцати к югу от города. Сидели на карачках в болотной жиже под мшистым обрывом восточного берега. В руках мушкеты, в карманах сухари, ну, подсумки, конечно, с патронами, башмаки на босу ногу и ношеные, в застиранных пятнах крови, мундиры поверх тюремных роб. Им даже одеяла оставили: сгодятся вместо плащ-палаток. А то ведь холодно — ступая в грязь, они своими башмаками аж похрустывали, проламывая тонкий ледок.

Поезд, который их привез, остался здесь же, чуть позади, грозя врагам Джорджии одинокой пушечкой, закрепленной на открытой платформе. А на западном берегу кадеты из военного училища, удостоенные чести принять на себя главный удар, спешно рыли окопы, прячась за валиками мягкой лесной земли.

Будь моя воля, — заговорил опять Арли, — я бы подумал о том, чтобы поставить нас поближе к городу для защиты тамошних женщин и детей, но они, похоже, военного значения не имеют. Он поглядел на Уилла. Даже жуя сухарь, малый сохранял на лице кислую мину.

Ты же не хочешь просто так, за здорово живешь, отбросить копыта, скажи мне, ну-ка, Уилл?

И как это надо понимать?

Да так, что мы вышли из тюряги. Так что ты, хмурый ты сукин сын, слабовато радуешься: вывернулся ведь прямо из когтистых лап смерти!

Ага, а теперь сижу тут под деревом, за шиворот капает ледяная вода, и жду, когда же, наконец, меня растопчет вражеская армия! Из огня да в полымя — так, по-моему, это называется.

Ну, по крайности можешь утешиться тем, что прихватишь с собой на тот свет парочку янки. Потом я вот еще что думаю. В бумаге, которую мы подписали, сказано, будто бы по всем назначенным нам наказаниям мы уже сполна рассчитались. Интересно, как можно *уже* рассчитаться со смертным приговором? Один способ такой: чтобы тебя казнили, а потом воскреснуть из мертвых.

Насчет себя я такого что-то не помню.

Я тоже. Другой — по прямому произволению Божию казнь обойти. Я к тому, что ни один генерал от нее освободить не может. Даже у губернатора штата нет такой власти. И вообще подобная идея может исходить только от Бога: больно уж серьезное это дело, я бы даже сказал сверхъестественное — превращение смерти в жизнь. Ты согласен?

Ну, наверное.

Тогда вопрос: зачем Бог заслонил нас от расстрельной команды, если нам предуготована смерть в этой жиже у железнодорожного моста? Ответ напрашивается: значит, не предуготована! Так что постарайся глядеть веселее.

Тут они впервые воочию увидели врага — за деревьями на другом берегу замелькали кавалеристы в синем; они яростно натягивали поводья, пытаясь совладать с лошадьми, которые попятились, когда раздался треск ружейной пальбы. Оттого что это обычные люди, Уиллу вроде даже полегчало. Но затем ни одной мысли в голове не осталось, их как метлой вымело — словно думать стало непозволительной роскошью. Позже он сообразил: дезертир или не дезертир, но он доказал себе, что не трус, а тогда не соображал вовсе: был простым приложением к мушкету. Становился на колено и стрелял, перезаряжал и снова стрелял. Холода больше не чувствовал. Казалось, от трения летящих снарядов и картечи воздух нагрелся. Орудие позади грохотало оглушительно. Когда раздавался выстрел их полевой пушки, так било по ушам, что потом на несколько секунд наставала как бы гробовая тишина. На той стороне реки в тишине ломались и рушились верхушки деревьев, здесь, на оборонительной линии, тюремные сидельцы хватались за грудь и падали — и тоже в тишине. Потом внезапно грохот возвращался. А рядом Арли картинно сдувал дымок с дула мушкета. На головы с деревьев сеялось ледяное крошево. Свистели пули. У них новые многозарядные винтовки, — проорал Арли, поднимая мушкет, чтобы выстрелить. Один из синемундирных всадников прорвался к берегу, но тут его ударила пуля, да с такой силой, что наполовину вышибла из седла и даже коня сбила с ног; так вместе с конем он и полетел в реку.

Попадал ли он в кого-либо, Уилл понятия не имел. Конники в синем внезапно отступили и исчезли в лесу. Прекратить огонь! — крикнул офицер. В звонкой тишине кое-кто из солдат принялся шумно выражать свою радость. Кричите-кричите, — проворчал Арли. — Эти ваши вопли у вас в глотках застрянут, когда следующая атака начнется! Уилл дышал так тяжело, будто все это время бежал бегом. В лесу висел густой дым.

И тут янки вернулись, но никакой новой тактики не придумали. Они как будто еще не поняли, что мост обороняют. Уиллу казалось, что

с каждым выстрелом он все глубже погружается в грязь. Трещали винтовочные выстрелы, взрывались снаряды, и едкая пороховая вонь щекотала ноздри. Слышались крики и стоны людей и лошадиные взвизги, пока подразделение федеральных сил, несмотря на преимущество в численности, не отступило снова. Тишина теперь казалась угрожающей. Между ветвей деревьев плавал дым.

Это была еще не армия, а только привет от нее, — сказал Арли. — Отряды кавалерии только тыркаются куда ни попадя и смотрят, что из этого выйдет. Теперь они вернутся с подкреплением и, пока мы будем тут отдуваться, наведут выше по течению наплавной мост, обойдут нас с тыла, и нам крышка.

С Уилла пот лил градом, волосы слиплись. Чтобы смахнуть пот, он провел по лбу рукой, она оказалась в крови. В меня попали, — пробормотал он.

Ну попали, и что с того?

Так ведь кровь идет.

Поцарапали чуть-чуть башку — всего-то делов, — отмахнулся Арли. — Говорю тебе: Бог нас не оставит, он на нас глаз положил. Но это не значит, что он не может чуток поизмываться. Гляди.

И справа и слева от них уголовники-ополченцы покидали позиции, бросали оружие и задавали деру. Офицер заорал на них, потом выстрелил из револьвера в воздух.

Они мыслят правильно, только бегут не туда, — сказал Арли. — Давай за мной. Уилл не успел и глазом моргнуть, как Арли вскарабкался на мост. Обернулся и поманил за собой Уилла.

Побежали по мосту, мост местами горел. Снующие вокруг люди пытались сбивать огонь одеялами, затаптывать. Арли и Уилл, пожертвовав на сие благое дело свои одеяла, бежали дальше. На той стороне реки болота не было, и на мшистых полянах за бревнами и валиками земли во множестве лежали милледжвильские кадеты — мертвые и раненые. Кое-кто из них, не получив ни царапины, бродил в помрачении рассудка. Некоторые плакали. Их офицеры-наставники бросались от одного к другому, пинками гнали к позициям, били по щекам, приводя в чувство.

Арли вел Уилла вперед через линию обороны. У железнодорожных рельсов они наткнулись на мертвого федерала. Видели павших лошадей, которые стонали как люди; некоторые бились, пытаясь поднять с земли голову.

Спереди из лесу доносились голоса и треск кустов, ломаемых лафетами орудий. Быстрей, быстрей, — понукал Арли. Он начал сдирать мундир с одного из мертвых янки.

Что ты делаешь? — удивился Уилл.

Молчи, дурачок! Лучше найди себе что-нибудь по размеру.

Уилл огляделся и потащил тужурку с парня, лежавшего вывернув ноги, — по росту вроде подходит. Один глаз у него был выбит пулей. Потом стащил с него брюки и башмаки. От ощущения того, что мертвое тело ему сопротивляется, желудок задергали спазмы. Что мы делаем? — бормотал он, подбирая тем временем скатку и фуражку, валявшиеся в траве, хотя на всем были пятна крови. Заметив, что в руках у мертвеца одна из этих новых многозарядных винтовок, он отбросил свой заряжаемый

с дула нарезной мушкет, расцепил мертвые пальцы и взял винтовку. Ну и подсумок с патронами, конечно, и жестяной котелок.

С узлами одежды в руках они, пригибаясь, побежали вдоль русла реки. Наткнулись на потерявшуюся лошадь, которая стояла, опустив морду в желтеющую траву, поймали ее за повод, потащили за собой и не останавливались, пока не оказались на добрую милю ниже по течению. Тут отдохнули и переоделись в северян.

В холодном, отсыревшем мундире Уилл весь дрожал. Физиономия грязная, да еще и в крови — его собственной. Он принялся ходить кругами, стараясь не обращать внимания, что мундир натягивается на спине и жмет под мышками. И все пытался припомнить, как называется тот, кто еще хуже дезертира.

Арли сидел по-турецки, опершись спиной о дерево. А мы теперь с тобой разбогатели, — ухмыльнулся он. — С такой-то лошадкой! Похлопав по карманам, обнаружил фляжку с бурбоном. Отвинтил крышку и сделал глоток. *У-у-ух!* На, приложись, юноша Уилл. Давай-давай. Если у тебя еще есть какие-то сомнения в том, что Бог решил оставить нас в живых, возьми-ка, глотни чуток.

III

Посидеть с ним в спальне наверху Эмили Томпсон послала Вильму.

Судья спит. Я там пароварку на огонь поставила, чтобы ему дышать было легче. Позовешь меня, если проснется.

Да, мэм.

Что могла, она сделала: спрятала кофе, сахар, муку, сало и два окорока в сундук с приданым — сунула под две вышитые подушечки и мамино свадебное платье. Она и в кладовой оставила достаточно продуктов: пусть не думают, что она все попрятала. Потом набросила шаль и встала на крыльце перед закрытой входной дверью. Когда ты дочь Горация Томпсона, председателя верховного суда штата Джорджия, надо и держаться соответственно. И она держалась — стояла, сцепив руки на животе, стараясь выглядеть значительно, хотя сердце у нее стучало как у зайчишки.

Когда появились первые из них, на улице, как и во всей округе, стояла необычная тишина. Конные и пешие, они входили в город не то чтобы робко, но без излишней наглости. А молодые-то какие! Когда Фостера Томпсона убили, он и то старше был. Какой-то лейтенант спешился, отворил чугунные ворота и пошел по дорожке к дому. Остановившись у самого крыльца, козырнул и сказал, что ей бояться нечего. Генерал Шерман с женщинами и детьми не воюет, — пояснил он.

Похоже, ему вменялось в обязанность говорить эти слова всем, кто еще не сбежал из Милледжвиля. Проезжая по улице, перед каждым домом он ставил часового. Солдат, поставленный у их ворот, оглянулся на нее и, разулыбавшись, поднес два пальца к козырьку. В ответ она кивнула и ушла, закрыв и заперев за собой дверь.

К тому времени, когда она поднялась наверх и выглянула из окна библиотечной, улица ими кишмя кишела. Барабанщики старательно задавали ритм, но солдаты шли расхлябанно, не в ногу, болтали, смеялись

и выглядели совсем не по-военному. Это вызвало у нее весьма дурные предчувствия. Тем более что часовой, столь великодушно поставленный у ворот, увидел в проходящей толпе каких-то своих приятелей и тут же к ним присоединился, даже не оглянувшись.

Народу на улице становилось все больше, толпа текла как река; вот вышла из берегов, разливается уже и по дворам. Появились крытые белым брезентом фургоны, влекомые упряжками мулов, их нахлестывали ездовые с закатанными рукавами, а за фургонами на прицепах ехали зарядные ящики и пушечные стволы на лафетах — отражая вечереющее солнце, они били по глазам неожиданными, колкими отблесками, намекающими на их грозную убийственную сущность. Эмили плотно задернула шторы, встала спиной к окну и закрыла глаза. Слышалось мычание коров, окрики гуртовщиков, щелканье кнутами. Какая же это армия? Ползут как тараканы, как паразиты какие-то!

В церковь она ходила только по обязанности, но тут подумала, не помолиться ли. Однако о чем молиться? На что надеяться? Разумной надежды увидеть Фостера Томпсона — чтобы он подъехал к дому, махая фуражкой-конфедераткой и широко улыбаясь, и чтобы при этом не был привидением — нет, такой надежды у нее уже не было.

Я уезжаю сражаться с тиранией, — когда-то сказал он, и это было последнее, что она от него услышала. Потом он поцеловал ее в щеку. В военной форме он выглядел молодцевато и самоуверенно — можно сказать, олицетворял собою весь их образ жизни, их свободолюбие, их честь.

А тут... То, что она видела и слышала, это не марш, не поход, да и вообще это не солдаты — сброд, чернь какая-то, нечто колобродящее, толком не сознающее себя ни в каком качестве. Вдалеке послышался сигнал горна. Гомон стал распадаться на отдельные голоса, словно к воротам подошли гости. Повсюду эти самые гости располагались на лагерную стоянку. Во дворах, на городской площади в конце улицы... И вот кто-то уже стучится в дверь. Она вышла на лестничную площадку. Из спальни судьи с глазами, полными страха, появилась Вильма. Судья проснулся. Что? Что происходит? — слабым голосом взывал он. Ничего, отец, совсем ничего! Потом, уже спускаясь по лестнице, она тихо, но зло обронила через плечо, обращаясь к Вильме: Тебя тут только мне не хватало — сядь и сиди, где приказано.

Отперла входную дверь и отступила; синемундирные, отстранив ее, толпой ввалились в дом и завладели им.

В ту ночь ей было не уснуть. Их с Вильмой жизненное пространство ограничили спальней судьи. Другого места в доме им не оставили. Свернувшись, она лежала на софе. В городе там и сям бушевали пожары. Она их наблюдала в виде мятущихся, дрожащих отблесков на потолке. Решила, что ей еще повезло: в доме на постой расположились штабные офицеры. Вежливо посоветовали ей пройти наверх и там оставаться, так что у нее теплилась некоторая надежда на то, что, когда они уйдут — бог даст, это будет скоро, — дом она найдет не пострадавшим. Однако хохот и хождение туда-сюда ей пришлось слушать весь вечер. Они внизу так громыхали сапожищами, что даже графин на тумбочке у ее изголовья ходил ходуном. Поминутно бегали в отхожее место на дворе. Табаком накурили так, что дым к ней проникал из-под пола.

Ощущение их подавляющего мужского присутствия выводило ее из себя. Это чувство было ей не ново — отвращение ко всему их полу, с его скотством, тем более оскорбительным, что сами они нисколько этого не сознают. Живут себе как бог на душу положит, а страдать от этого предоставляют женщинам. Точно такое же чувство она испытывала еще девочкой, когда брат Фостер приводил в дом друзей. Даже Фостер, милый Фостер, иногда эдак плечиком оттеснял ее от ее собственной жизни. Как придет, сразу тесно становилось, будто он сразу все место занял. Ну, и аппетиты у него, конечно, поразительные — как и у всех у них. Среди них живешь словно между диких зверей из джунглей: оказывают тебе свои джентльменские знаки внимания, а сами так при этом смотрят... Потом, это ведь они затеяли войну! Женщины не воюют, не скачут на лошадях, размахивая саблями и крича что-то там про честь и свободу.

Но она не верила, что эта война разрушит все ее существование, навсегда сделает ее отверженной и никому не нужной... Не верила, не верила, а потом вдруг приподнялась с софы и поняла, что иначе-то ведь и быть не может. Но что же ее так встревожило? Времени часа два или три утра. Камин не горит, внизу никакого движения. Выстуженную комнату освещает одна луна. Она подошла к постели отца. Тот неподвижно лежал на спине. Но челюсть у него отпала, а обе руки на одеяле были сжаты в кулаки. Она коснулась его щеки; щека оказалась сухой и холодной.

Вильма! Вильма! — безумным шепотом стала звать она, словно боялась разбудить отца. Девушка спала на полу у изножья кровати. Эмили стала трясти ее. Проснись! Проснись!

Эмили сбежала по лестнице вниз, выскочила за дверь и не узнала город. Палатки, выросшие в каждом дворе, на каждой лужайке, напоминали зубы, прорезавшиеся прямо из земли. Угли догорающих костров, на которых готовили пищу, подкрашивали лунные блики красным. У каждого фонарного столба привязанные лошади. Слышалась странная музыка, а когда Эмили вышла на площадь к Капитолию, увидела, что там при свете факелов пляшут. Аккомпанемент создавали музыканты военного оркестра — в расстегнутых мундирах, сами пританцовывая под веселенький мотивчик, извлекаемый из тубы, кларнета и дудки, похожей на флейту. А плясали рабы — вставшие в круг и взявшиеся за руки женщины и дети. На Капитолии развевался флаг северян[1]. Напечатанные правительством Конфедерации ценные бумаги носились по ветру и ложились наземь как осенние листья. Из окон государственной библиотеки штата Джорджия вылетали книги, внизу их ловили солдаты. Из темноты в глубине аллеи послышался женский крик.

В доме доктора Стивенса свет не горел. Она погромыхала ручкой двери, заглянула в окна. Обежала дом вокруг. В конюшне пусто. Нет больше доктора Стивенса. Нет больше Милледжвиля. И что теперь прикажете делать? Она бросилась бежать. Увидела яркий свет и кинулась к нему. Позади солидного городского особняка весь двор был освещен факелами. Там стоял ряд белых крытых фургонов, и у каждого мула по собственной торбе с овсом. Услышала стоны и между двух повозок протиснулась туда, где люди. Санитары поднимали на носилках солдата.

1. Милледжвиль во времена Гражданской войны был столицей штата Джорджия.

Солдат приподнялся на локте и, растянув губы в подобии улыбки, посмотрел на нее. Весь его мундир был пропитан кровью.

А на земле перед открытыми воротами амбара лежало нечто, от чего она не успела вовремя отвести взгляд. Смотрела и глазам не верила: там лежала склизкая куча отрезанных человеческих рук и ног.

Внутри, освещенный множеством фонарей, амбар был залит таким ярким светом, какой бывает при пожаре. У стола стоял армейский хирург, вокруг суетились санитары. Он обернулся, глянул на нее и что-то пробормотал. Таким, каков он был в тот страшный миг, он и запечатлелся у Эмили в памяти. Это был небольшого роста ладно сложенный мужчина, казалось совершенно равнодушный ко всей той крови, что лилась вокруг. Поверх мундира на нем был резиновый фартук. В руке окровавленная пила. Из-под густых нахмуренных бровей смотрели серо-голубые глаза. Ей показалось, что в них она увидела боль, которая была отражением ее боли. К ней подбежал санитар. Вам нельзя сюда, мисс, — сказал он, разворачивая ее к двери. Нам нужен доктор, — сказала Эмили. — Мой отец — судья Томпсон, и с ним очень плохо.

Сказав это, она поперхнулась. Она знала, что с ним не просто плохо, он вообще-то умер.

Сбреде Сарториус, военный врач, будучи полковником, превосходил рангом всех тех офицеров, что разместились на ночлег в доме Томпсона. Он приказал им очистить помещение.

А старик — что ж, он действительно отдал богу душу. Почему-то было чуть ли не странно видеть смерть человека столь преклонного возраста. Лицо на подушке слепо смотрело вверх, будто он и впрямь летит к небу. Когда глаза закрыли, его нос как будто вырос.

Сбреде сказал мисс Томпсон, что гроб он достанет. Грустно улыбнулся. У нас есть всё. На все случаи жизни.

Доброта хирурга очень тронула Эмили. В то же самое время это лишний раз подтвердило то, что она и так о себе знала: с нею так и должно быть, она на это имеет право.

Посланная найти и привести отца Макки, Вильма обнаружила его в состоянии едва ли не слишком сокрушенном, чтобы идти с ней. В церкви Святого Фомы побывали вандалы, — сообщил он Вильме. — Выломали скамьи и пустили на топливо для костров. Осквернили алтарь. Как могут называть себя христианами те, кто это сделал? — жаловался Эмили священник. Глядь, и уже она, скорбящая, утешает его.

Утром войска вновь были на марше, нескончаемой процессией потянулись через город. Тюрьму подожгли. Из городского арсенала доносились приглушенные взрывы. Милледжвиль был опустошен: окна выбиты, огороды вытоптаны, из лавок вынесен весь товар.

Сбреде настаивал на немедленных похоронах. Для охраны он прислал кавалеристов. И вот одинокий катафалк с гробом повлекся сквозь толпу по направлению к кладбищу на холме, где выдающийся гражданин штата судья Томпсон обрел свой вечный покой. С начала до конца этих горестно кратких похорон Эмили рыдала. Почему народу не дали времени попрощаться с ее отцом? Он был великий человек, — внушала она Сбреде по дороге домой. Хмурилась и промокала уголки глаз платочком. Его суждения вошли в историю юриспруденции. Если бы вы с

вашей армией не ворвались к нам, в церквях по всей Джорджии звонили бы колокола, и весь город потянулся бы отдать последний долг покойному. Да-да, и негры тоже, потому что он был хороший человек — добрый и великодушный.

Сбреде не отвечал. Он подозревал, что Эмили Томпсон давно знала, что отец умрет, станет еще одной жертвой войны. В другой части кладбища посланные копать могилы солдаты-федералы в поте лица своего погребали тех раненых при Окони-ривер, кого медицинская служба оказалась не в состоянии спасти, но Эмили этого не видела. Не замечала она, между прочим, и явно преувеличенного внимания, которым окружил ее полковник. Сбреде был натурализованным гражданином из немцев. Ухаживал по-европейски. Да и в ней, уже в самой осанке этой молодой женщины, он распознал что-то вроде аристократизма — на местный, конечно, захолустный манер. Маленькая, с ладной фигуркой, она одевалась так, что грудь в глаза не бросалась, а ее чопорно сжатых губ — он мог поклясться — еще не касались губы мужчины. Однако в ее глазах горел огонь, виден был непокорный дух, не сломленный горем.

Вот уже и арьергард армии покидает город. Сбреде стал прощаться. Он сообщил ей номер своего полка, сказав, что, если ему придется еще раз побывать в здешних краях, он бы с удовольствием вновь навестил ее. Выразил ей соболезнование и закрыл за собой дверь.

В Милледжвиле сошлись оба крыла армии Шермана — северное и южное. Весь день через город проходили части, следовавшие за теми, что ночевали в городе. Шли, шли, и не было им конца и края. Эмили стояла у окна. Колонна сменялась колонной, потом обозы с вооружением, подводы с фуражом, санитарные фургоны, стада коров. При каждой роте — барабанщик, задающий ритм. Она попыталась считать полковые вымпелы — сбилась.

Вся улица была обсажена молодыми деревцами — для тени. Теперь войска и подводы проходили задами, прямо по огородам, а чернокожие саперы с двуручными пилами валили деревья. Другие черные солдаты обрубали ветви, а отдельная команда занималась погрузкой стволов и веток на ломовые телеги, запряженные шестерками и восьмерками мулов. Все делалось очень четко и расторопно, так что улицу опустошили одним махом. Эмили нравились эти высаженные рядами деревца, и теперь она стояла в таком ошеломлении, что ничего даже не чувствовала кроме того, что свет в доме стал другим. В отдалении послышался полковой оркестр. Он словно издевался над ее печалью. Появится тут еще раз этот хирург с безупречными манерами и странным именем Сбреде Сарториус или не появится — в любом случае ждать ей больше нечего.

Вильма в спальне судьи поменяла простыни на постелях. Открыла окно, впустив холодное солнце, подмела, вытерла пыль и побросала лекарства судьи в коробку. И только когда укладывала его тапки и плед в чулан, где висели костюмы, сюртуки и цилиндр, только тут она заплакала. А прибираясь в нижнем этаже, носилась как оглашенная, выметая сор и табачный пепел, весь этот кавардак, оставленный военными. Как всякая хорошая служанка, Вильма работала по-хозяйски. Когда Эмили Томпсон вздумалось проверить, все в доме было уже в порядке, за ис-

ключением разве что пары царапин на столешнице да стула со сломанной ножкой.

Общими усилиями две женщины сняли с окон второго этажа черные шторы. Прическа Эмили растрепалась, волосы свободными прядями падали на лицо, но глаза ее были сухи, она сидела, смотрела в никуда, предоставив Вильме готовить чай. Чай остыл и все еще не был выпит, когда до Эмили вдруг дошло, что Вильма стоит над ней в дорожном платье и с саквояжем в руках. Вглядываясь в коричневое лицо, Эмили испытала ощущение, будто видит его впервые. Ну да, глаза, конечно. Вроде те же — эти темные глаза с их чуть восточной раскосостью ей хорошо знакомы. Но как прямо, как смело они смотрят! Широкий округлый лоб, твердо очерченный рот и высокие скулы... Лицо не девочки — нет, взрослой и весьма миловидной дамы. Но куда девалась вся ее почтительность? Ухожу, мисс Эмили, — говорила тем временем Вильма. — Все, я пошла. Они вместе выросли, Вильма была всего-то на год или на два младше. Куда ты? — спросила Эмили. Куда все, — отвечала Вильма. Постой, постой, — бросилась за ней Эмили. — Вильма, подожди! Эмили сбегала наверх, в спальню, где стоял сундук с приданым матери. Вытащила из него спрятанный там джутовый мешок со съестным и, вынув оттуда несколько свертков для себя, вновь завязала мешок, с ним спустилась. Вот, пожалуйста, возьми. Вильма покачала головой. Возьми, это мое тебе последнее напутствие, — упорствовала Эмили. — Ради бога, возьми это!

К тому времени подразделения арьергарда уже прошли, за ними целой процессией потянулись негры, решившие последовать за армией. Их были сотни — мужчины, женщины, дети... — пешие, на телегах, увечные и хромые, и звук от них шел другой, нежели от солдат прошедшей армии. Ни барабанов, ни грома тяжелых орудийных лафетов, ни сигнальных горнов. От них распространялся гул раскованный, праздничный — так радостно щебечут птицы в кронах деревьев; то смех вдруг донесется, то обрывок песни. Такой шум бывает при всеобщем воодушевлении, когда люди, отмечая праздник, идут в церковь или направляются на пикник. Дети с их высокими, звонкими голосами прыгали рядом, играя в солдат, или бегали — то забегут вперед, то возвратятся. Эмили остановилась в дверях и смотрела, а Вильма скользнула в эту толпу, оглянулась через плечо, улыбнулась, нерешительно помахала рукой и была такова.

После чего город Милледжвиль стал совсем уже тихим и пустым, он словно опешил от того, как его грубо разворошили, а потом покинули, и лишь ветерок на перекрестках шуршал летучими бумажками и гонял по улицам золу и угольки от костров. Пахло горечью. Когда все начиналось, Эмили не понимала, что значит война. А значила она смерть всех ее близких. Смерть Томпсонов. Эмили чувствовала себя выпотрошенной, как будто в ней не осталось сил даже на то, чтобы горевать о них. Война оказалась в состоянии лишить ее всего ее прошлого, вплоть до последнего момента. Эмили бродила по дому, в котором прожила жизнь. Обходила комнату за комнатой, и все они, казалось, дышали враждебностью. Встала в дверях отцовской спальни. Ее знаменитый, всегда такой энергичный отец, при всей значительности его облика и

уважении, которое он всем внушал, при всем благообразии его румяного лица под шапкой густых седых волос, съежился в ее памяти, заслоненный жалким зрелищем умирания обычного старика, слабого, стонущего, а затем застывшего в смерти со стиснутыми кулачками на одеяле. Его лицо, каким оно сделалось за время этого умирания, так и стояло у нее перед глазами. Она думала о том, как он лежит там, в глубине земли, в гробу, низведенный до того, что называется останками. А еще есть останки матери. А останки брата Фостера похоронены где-то в Теннесси. Поежившись, она плотнее закуталась в шаль. Ужас какой! Нет, это действительно ужасно! А сама она — неужто тоже одни останки? А дом — могила?

Ну вот, теперь в город вступил конный эскадрон — кавалерия генерала Конфедерации Худа, та самая лихая конница, которая, вцепившись мертвой хваткой, неотрывно висит на хвосте северян. Народ высыпал на улицу приветствовать своих. Партизаны захватили троих отставших федералов, в том числе мальчишку-барабанщика. Пленников вели на лассо как скотину, руки у них были связаны сзади, они плелись, спотыкались, и им улюлюкали вслед. Эмили смотрела из окна, как ее соседи, доселе прятавшиеся подобно мышам, героически вышли теперь на свет божий приветствовать воинов. Так что образовалась еще одна процессия, несколько, впрочем, худосочная — из тех немногих граждан, что на конях последовали за жалкой троицей, глядя победительно и гордо в ожидании возможности казнить двух солдат и мальчишку. Вот он каков — ответ инсургентов. Эмили обуял ужас.

Она сунула кое-какие пожитки в портманто, скромный свой запас пищи — в другое. Надев зимнее пальто и взяв с собою для спасения от холода одеяло, она направилась в конюшню, где запрягла в коляску отцовскую лошадь. Лошадь — это был еще один подарок Сбреде Сарториуса, который проследил, чтобы ее не реквизировали для нужд федеральной армии. Выезжая из города, Эмили даже не оглянулась. Лишь вожжами передернула. Ветер сдувал слезы. Она знала, в каком направлении ушла армия. Впрочем, не нужно было и знать. Езжай просто по тем дорогам, что плотнее утоптаны, и вскоре услышишь гул, совсем не свойственный сельской местности. Потом и запашок почуешь.

IV

Они додумались даже затереть грязью знаки различия. Да ну! — лишнее. Когда вновь оказались в городе, уже стемнело. Милледжвиль являл собой одну сплошную вечеринку. Дворец губернатора был полон северян-офицеров. Уилл видел их в окнах. В законодательном собрании штата тоже — офицеры, офицеры, хохочут и поют. Ну да, и выпивка, конечно, полным ходом, и ноги на столах. В своем тесноватом капральском мундире Уилл, нисколько не согревшись, обливался потом, переживая, что будет, если его узнает какой-нибудь тюремный начальник или кто-то из охраны. Представлял себе, как он будет юлить: дескать, разве меня не помиловали? Нашел о чем думать! — охраны и след простыл. Как и всех тюремных начальников. Все вплоть до губернатора сбежали. Голод и усталость мешали Уиллу рассуждать здраво.

Ехать в седле был черед Арли, Уилл шагал рядом.

Уилл, малыш, что-то ты сник. Подозреваю, то, о чем ты сейчас размышляешь, не поможет нам в нашем деле.

Знаешь, я и не думал, что так трудно быть перебежчиком!

А ты себя перебежчиком считаешь? Брось, смотри на вещи проще. Как лояльный сын Юга в стане врага, ты можешь быть, например, шпионом.

Да поди пойми теперь, кто я таков, когда я вообще мертвеца тут замещаю.

Прежде всего, надо понимать так: ты голоден, и с этого следует начинать. Вот, пошли-ка по этой улице, вроде нормальная, подойдет. Чем пахнет, чуешь? Пошли.

На лужайке перед одним из домов горел костерок, который подпитывали рейками от забора. На крыльце стояли старики — муж и жена. Военные мимо них заходили в дом, другие выходили, что-то выносили охапками. Женщина бранилась, муж успокаивающе похлопывал ее по руке.

Смело и непринужденно заходим, — сказал Арли уголком рта. — Будто право имеем.

А с лошадью как?

Покормим потом. Сейчас ее надо привязать тут где-нибудь, где понадежнее, чтобы не украли.

С этими словами Арли прямо на лошади въехал на крыльцо и через парадную дверь в холл, где обмотал повод вокруг балясины лестничных перил. Попал в самую точку: солдаты-северяне захохотали, старуха подняла крик.

Тем самым Арли с Уиллом с ходу вошли в игру — принялись хозяйничать в кладовке, потом в погребе, где обнаружили мешки со сладким картофелем. Уилл усомнился было, так ли уж радушно примет их эта пирующая шайка победителей — янки-то были все из одной роты, — но когда они с Арли вышли и внесли свою лепту, сбросив мешки у костра, этого оказалось достаточно, чтобы сойти за своих, тем более что большинство солдат были изрядно пьяны.

Слезы навернулись на глаза Уиллу. Чего тут только не было: цыплята на вертеле, запеченный в углях картофель, на сковородах жарилась капуста с беконом. Горшки с соленьями и вареньями и ломти настоящего хлеба. В жестяную кружку Уиллу щедро налил из своей бутылки сам сержант. Уилл по-турецки сел на траву и принялся за лучший свой обед с тех самых пор как не был дома. С набитым ртом и масляным подбородком он думал о том, что, может быть, и впрямь все люди братья!

Позже, когда уже взошла луна, Арли закурил сигару и принялся с должной скромностью повествовать о своих геройских подвигах во время битвы при Окони-ривер; слушали его с уважением, которое, впрочем, вполне могло быть вызвано наличием на его шляпе лейтенантской кокарды.

Но Арли не только говорил, он и слушал тоже. После того как они с Уиллом распрощались с компанией у костерка и нашли для лошади корм и стойло в конюшне позади брошенного дома, а сами с удобствами расположились на втором этаже в гостиной, Арли сообщил Уиллу, что с рассветом армия выступает. Кавалерия обманным маневром пойдет по

направлению к Огасте, но на самом деле армия двинется на Саванну, — сказал он.

А генерал Шерман в курсе? Может, пойдешь, доложишь ему?

Ты не смейся, этот их генерал такой умный — у-у-у! — куда до него другим генералам! Ведь в самом деле, если в Огасте сосредоточены силы, способные дать отпор (как все, с кем я разговаривал, полагают), так зачем туда лезть? Кроме того, есть же еще и федеральный флот, корабли которого, насколько я понимаю, ждут невдалеке от Саванны, а в них почта, боеприпасы для артиллерии, новая обувка для солдат, да, кстати, и жалованье, которого мы не получали со времен Троила и Крессиды.

Мы? Жалованье? А я думал, мы шпионы повстанцев!

Ну и что с того? Деньги северян ничуть не хуже наших. Я бы сказал, даже немножко лучше тех никчемных бумажек, которые изредка подбрасывает нам Джефферсон Дэвис.

Они разломали несколько стульев и ящиков от комода и развели в печи уютный жаркий огонек. Арли лег на софе, а Уилл на полу, подложив под голову вместо подушки сиденье от мягкого кресла. Одеяла себе они нарезали штыками из ковров.

Где-то на дворе солдаты-северяне пели:

Бегут года, летят года, Лорина,
На траву вновь ложится первый снег;
Опять не греет солнышко, Лорина,
И тех цветов, что мы растили, нет...

С улицы время от времени продолжали доноситься крики и возгласы — значит, еще не все войско угомонилось на ночь. Уилл подумал: что за странная штука армия! Лагерем становится всегда одинаково — что у ручья в лесу, что в городе среди жилья и общественных зданий. Винтовки пирамидкой, часовые и патрули, и горнист со своим отбоем вне зависимости от того, в лесной ли это чащобе или в центре цивилизации.

Вставать с ними со всеми на рассвете смысла нет, — сказал Арли. — Подождем, когда мимо поедет обоз — телеги там всякие, санитарные повозки. Поспать время есть. Лучше затесаться в армию туда, где она состоит из медиков, поваров и клерков, которые солдатское ремесло знают не лучше, чем дамы из светской гостиной. Там нас хотя бы не будут донимать перекличками.

Сыграли побудку, но Уилл еще долго после этого нежился и дремал. Вдруг приподнялся на локте: что там — все еще ротные барабаны или полки уже ушли вперед? — но тогда должен слышаться скрип тележных колес длиннющего обоза. Вот те на! Там вообще тишь полнейшая. И солнечный квадрат посередь пола. Господи, полдень! На четвереньках подполз к окну. На улице никого.

Армия ушла.

Он разбудил Арли, и, кубарем скатившись вниз по лестнице, они кинулись через черный ход в конюшню.

Кто-то уже вел под уздцы их лошадь. Южанин-джонни, одетый в серое. У Уилла аж сердце радостно подпрыгнуло. Он чуть не бросился обнимать парня. Зато Арли полез в драку. Оба упали, выпускать из руки по-

вод солдат в сером не хотел, и лошадь, голову которой они вдвоем тянули к земле, растопырила копыта, изо всех сил удерживаясь на ногах. При этом она оглушительно ржала.

С опозданием до Уилла дошло, что шума они создают несколько больше, чем следует, — особенно если в городе кавалеристы генерала Худа, непрестанно наступающего на пятки федеральной армии. Тут он вспомнил и про свою форму.

В этот миг солдат-южанин отпустил их лошадь, чтобы высвободить для драки обе руки. Если он и не был так же силен, как Арли, то весил больше, и они с переменным успехом катались в тучах пыли, хрипя и обмениваясь ударами. Уилл! — крикнул Арли. — Уилл! Он имел в виду "держи лошадь", которая, попятившись, чуть не сшибла Уилла с ног, а затем поскакала за угол дома и на улицу.

Уилл, бросившись в погоню, вдруг заметил протянувшуюся вдоль стены дома клумбу с хризантемами, целое сонмище вздрагивающих на ветру скромных белых и желтых цветов, по краям пепельных, побитых морозцем. Подумалось: господи, какое же это благословение — неподвижность и безмысленность растительной жизни! И только он хотел развить эту догадку подробнее, как на улице, прямо напротив их двора вдруг показались два повстанческих кавалериста; бросив коней в галоп, они гнались за убегающей бесхозной лошадью, а еще трое всадников повернули коней к нему — один обнажил саблю, другой взвел курок револьвера, третий же, с давно не бритой рожей, просто ухмылялся во весь рот, в котором не хватало двух передних зубов.

Уилл остановился как вкопанный. Он воздел руки, изображая, как ему казалось, приветствие и узнавание, что-то вроде воздушного объятия, но партизаны генерала Худа предпочли истолковать это как сдачу в плен. Они засмеялись, и тот, что с револьвером, смеха ради стрельнул в землю у его ног.

Из домов, где до этого все прятались, высыпали люди. Конечно: наконец-то их собственные войска пришли освободить их! Ликование вплоть до экстаза. Уилл как к месту примерз, ни рукой, ни ногой не двинуть. Ветром к его ногам прилепило газетный лист. В рот будто пепла насыпали. Столб дыма от догорающих развалин тюрьмы вытянулся в синем небе так, словно это пыльный след уходящей армии — той самой, на которую понадеялся было Уилл. Про себя Уилл молил Бога, чтобы Арли не вышел в схватке победителем. Если он победил и убил южанина — всё, им конец, их убьют-таки в этом чертовом Милледжвиле, хотя, быть может, и не столь церемонно, как это было бы обставлено, если бы казнили за дезертирство. Но чтобы тот южанин убил Арли, Уилл тоже не хотел, поскольку Арли это хоть какая-никакая, хоть слабенькая, но все же зацепка за жизнь — пусть несчастную, пусть такую, о которой он, в свои неполные девятнадцать, последнее время думал, что лучше бы она и вовсе оборвалась.

Спустя считаные минуты Уилл, Арли и еще какой-то отставший мальчишка-барабанщик, которого тоже изловили повстанцы, уже ковыляли с привязанными к туловищу руками под конвоем и все по той же улице. Их сопровождала растущая толпа. Время от времени один из верховых клонился с седла и плевал в них. Кто-то бросил камень, и он попал маль-

чишке-барабанщику по спине. Мальчишка качнулся, из его глаз потекли слезы.

Арли что-то сказал и вынужден был повторить, потому что слова проходили мимо сознания Уилла. У Арли распухла щека, один глаз толком не открывался, за налитой кровью нижней губой угадывалось отсутствие нескольких зубов. Вдобавок его всего скрючило, потому что, когда он с поднятыми руками вставал со своего противника, ему напоследок врезали ногой по ребрам. Вот тебе твои южане, — разобрал наконец Уилл.

Мои? С чего это они вдруг мои?

Арли кивнул. Дернув головой, показал на людей, бегающих вокруг, смеющихся и улюлюкающих. Ну, а чьи же еффо, — сказал он. — Нафы!

V

Кларк понимал, что его забота о Перл служит источником циничного веселья подчиненных. Она была не первой негритянской девушкой, удостаивавшейся особого к себе отношения. Их (особенно тех, у кого цвет кожи посветлее) подбирали прямо на марше и пристраивали в какой-нибудь фургон. Вкусно кормили и одевали в богатые платья из добра, награбленного на плантациях. С ним ситуация совершенно другая, но он понимал, что пытаться что-либо объяснить бесполезно. Сам-то себе объяснить и то не мог. К его собственному необычайному удивлению, это дитя трогало его несказанно. Все время хотелось что-нибудь делать для девчонки. Заботиться. Хотя он и понимал, что его привязанность к ней... ну, скажем, не вполне уместна. Между прочим, от его внимания не укрылось то, как она держится — с этакой величественной грацией, причем ненаигранной, совершенно природной. Поймал себя на том, что сравнивает ее со своими сверстницами, оставшимися в Бостоне. У тех, что бы они ни делали, о чем бы ни говорили, все было вдолблено воспитанием. Девушки эти были неоригинальны; если и придет кому из них своя собственная мысль, то выскажет она не ее, а то, что положено. Учились. Рукодельничали. Но не для того, чтобы на самом деле что-то создать, а чтобы выйти замуж.

Он даже подумал, не было ли среди предков Перл каких-нибудь африканских вождей, иначе откуда в ней такая быстрая понятливость, такая яростная умственная хватка. От ее слегка кошачьих светлых глаз ничто не могло укрыться. Ему она не доверяла. К мужчинам вообще относилась критически. Считала их грязными. Так ему и говорила: От вас, белых мужиков, пахнет как на нашей усадьбе в коровнике. Да нет, еще хужей, пожалуй.

Хуже, — поправлял он.

Хуже, — не обижаясь, повторяла она. — Господи! Там, дома, даже вонючие братцы номер один и номер два были почище тутошних.

Здешних, — поправил он.

Ну, здешних. Здешние мужики ни в жисть не мыли нижних частей, такой насерет на землю и пошел, как тупая живóтина.

Животное. Тупое животное, — сказал он.

То-то и оно. У них и волосы провонямши тухлым ружейным маслом, и бог знает чем еще там шмонит от их задов и ног и вообще. Ф-фу! У них что, мамок не было, чтобы научить их?

Шмонит? — удивленно повторил Кларк. — Что, есть такое слово?

А то!

Каждый вечер Перл брала кусок твердого мыла и мылась в тазике с холодной водой в палатке Кларка. А он стоял снаружи, сторожил. Затем она отправлялась спать в отдельную маленькую палаточку, которую он ставил рядом со своей. Хотел показать подчиненным, что она под его защитой, но его поведение при этом благородно. Несколько дней они хихикали и втихаря между собой на сей счет прохаживались, но потом, похоже, поняли и приняли ситуацию как она есть. И тоже стали опекать девчонку. Сержант Мелоун вдруг взял да и добыл для нее форму мальчишки-барабанщика. Первой ее реакцией была непосредственная радость. В тот вечер они стояли в сосновом бору, она вышла из своей палатки приодетая в китель и брюки и встала, чтобы все полюбовались ее новым нарядом, хотя он был ей чуточку великоват. Сержант ей и фуражку принес, а серебряные пуговицы на кителе она надраила до лунного блеска. Потом задумалась.

А ведь барабан-то я никогда и в руках не держала!

Не бери в голову, — сказал Мелоун. — Мы тебя научим.

Как-то это неправильно, — сказала она Кларку, — чтобы я была белым барабанщиком.

Почему?

Слишком уж я красивая, чтобы мальчишку изображать. Потом я ведь не белая, хоть по мне и не скажешь.

Рано или поздно, Перл, — сменил тему Кларк, — черным придется возвращаться. Такова инструкция, приказ генерала Шермана. Как ты насчет того чтобы возвратиться?

Дом вы сожгли, еду забрали. Куда возвращаться-то?

Это ты верно подметила. Но когда мы победим и война закончится, начальство разработает законы, чтобы освобожденные рабы получили землю. Сейчас, если все за нами потащатся, нам такую ораву будет просто не прокормить. Молодых мужчин мы можем взять в солдаты, но женщины, старики и дети по дороге неизбежно отстанут, и что с ними будет тогда? Так что лучше бы они возвращались.

Ну а девчонка-малолетка вам зачем? Она тоже стрельбе не обучена.

Кларк и сам был в изумлении от того, с какой легкостью он нарушает инструкции. Ну, ты можешь бить в барабан, когда мы маршируем, — сказал он. — И можешь ездить в телеге за фуражирами.

Все это не убеждало Перл. Она начинала чувствовать, что вообще-то ей следовало бы остаться с Джейком Иерли и остальными. Ничего хорошего в этом бы не было, она даже не могла толком понять, почему у нее возникла такая мысль. Они никогда не были к ней добры, однако не очень-то будет правильно, если их отошлют назад, а она двинется дальше. В то же время ей нравилась суета вокруг нее, всеобщее к ней внимание. Такого у нее никогда не было, это пришло со свободой, но о плантации, где были ее любимые поля и рощи, она вспоминала все чаще. Там каждый камень был ей знаком — конечно, ведь на плантации прошла вся ее жизнь. Она там знала каждый ручеек, пригорок, каждое

деревце. А самое главное, она беспокоилась, что без нее могила матери окажется брошенной, никто ведь не станет о ней заботиться, следить за ней. Хижины рабов никуда не делись, стоят до сих пор. И если уж она свободна, то может и назад вернуться, раз ей так хочется, или нет? Ну, пусть там будет голодно, но — если хочется, а? Вернуться и снова стать рабыней Джона Джеймсона — если ей так хочется?

В таком расположении духа Перл в новом своем мундирчике села с солдатами у костра и стала ужинать. Ей протянули жестяную миску с жареной куриной ногой, сладким картофелем и лепешку из кукурузы с сорго. Сие и само по себе было убедительно, но к тому же в этот момент из темноты появился Джейк Иерли вместе с Джубалом Сэмюэлсом — с тем, у которого один глаз. Их вели под конвоем двое рядовых с винтовками наперевес.

Христос Всемогущий! — удивился сержант Мелоун. — Это еще кто?

Неужто же неясно, что никакие мы не шпиёны, — проворчал Джубал Сэмюэлс.

Мы вон ту девку ищем, — сказал Джейк Иерли и указал на Перл.

Ну, вот она я, — проговорила Перл.

Ежели ты знаешь Библию, мисс Перл, должна помнить, что есть там такая Иезавель, — сказал Джейк Иерли. — Так что пошли-ка лучше с нами.

Я не Иезавель.

Что я — не вижу? Сидишь тут с солдатами. Твой белый папаша наделил тебя светлой кожей. Это чтобы легче блудить было? Или ты пойдешь с нами, или станешь в этой армии вроде как Иезавель, вроде как твоя мать была для масы Джеймсона.

Перл отложила миску и встала. Моя мать была бедной рабыней, как и ты, Джейкоб Иерли. Но она была хорошая, добрая душой, не то что ты — ходишь тут с куском льда вместо сердца. О Перл вы никогда знать не знали и думать не думали — ни ты, Джейкоб, ни ты, Джубал Сэмюэлс — нет, ни один из вас. Единственный кто — это Роско, тот всегда был мне другом. Вместо отца мне был. Приносил с кухни поесть, когда бывало голодно. Смотрел за мной. А от вас Перл ничего хорошего не видела — ни тогда, ни теперь.

Кларк встал и кивнул двум рядовым. Отведите этих двоих туда, где им место, — сказал он.

Никогда Перл никому не давала себя пальцем тронуть! Была маленькая, брат пытался. Ну конечно, щ-щас! Взяла, да как двинула ему костлявой коленкой! Туда, ну, где у него всякое хозяйство, и нет вопросов. А после никто и пытаться уже не смел. Ты слышишь меня, мистер свободный человек Джейкоб Иерли? Никто и никогда! Никакая я не Иезавель!

Таким образом получилось, что Перл свое решение приняла, и к тому времени, когда они проходили маршем через Милледжвиль, она была у Кларка ротным барабанщиком. На каждый второй шаг просто била палкой в барабан, и солдаты придерживались этого ритма, хотя некоторые посмеивались[1]. Она глядела прямо вперед и шла, гордо расправив

1. Фуражиры Кларка — кавалерийское подразделение, тогда как должность барабанщика была характерна для пехотных частей.

плечи, пусть ей и странно было, что из окон на нее смотрят белые люди. Надо же: никто из них не знает, что мальчишка-барабанщик это она!

Восточнее Милледжвиля погода изменилась, да и местность пошла болотистая. Сильный дождь застучал по листьям карликовых пальм, развел на дороге жидкую грязь. Саперы принялись мостить дорогу жердями от заборов и тонким кругляком из молодого леса. Фуражиры Кларка, шедшие в авангарде, первыми переправили свои подводы по понтонному мосту через Окони-ривер. Прошли чуть дальше, и дождь ослабел, земля стала повыше и потверже, так что в результате они ушли вперед к Сандерсонвилю, оторвавшись от основных сил. Кларк хотел с города, что называется, снять сливки и там ждать. У него было тридцать человек верхами, шесть подвод и столько же вьючных мулов. Изучив карты, Кларк уже знал, что от Сандерсонвиля к востоку и дальше до самой Саванны почвы пойдут бедные, так что добычи будет чем дальше, тем меньше, ведь кроме риса там и не растет ничего. Да и как, скажите на милость, в походных условиях с этого риса шелуху сковыривать? Команду фуражиров Кларка в полку хвалили; реноме надо поддерживать, к тому же у Кларка завязалась конкуренция с отрядом лейтенанта Хенли.

В четверти мили западнее города на повороте дороги Кларк скомандовал остановиться. Подъехал сержант Мелоун, посовещались. Тут было нечто посерьезнее, чем очередная плантация. За лесом виднелся шпиль церкви и крыша какого-то общественного здания, возможно суда.

Близился вечер. А в городке ни огней не видно, ни запаха дыма оттуда не доносится.

Сержант, возьмите с собой двоих. Пойдете пешком и не по дороге. Доло́жите обстановку.

Разведчики ушли, и Кларк стал ждать. Где-то сзади в сгущающихся сумерках тихо поскрипывала кожаная упряжь, дышали и пофыркивали лошади. Кларк поехал вдоль колонны подвод; Перл оказалась в последней. Девчонка сидела на козлах рядом с возницей. Она сверкнула на Кларка из темноты глазищами, которые словно впитали в себя весь еще остававшийся свет, ему уже невидимый, но ей, как и всё вокруг, подвластный.

Проехал чуть вперед встретить возвратившуюся разведку. Мелоун доложил, что в городе тихо, улицы пусты, но окна в домах светятся. Говоря, он смотрел не в глаза начальнику, а в землю, что Кларк истолковал в том смысле, что он, Кларк, по мнению сержанта, хотя и шибко грамотный, но ведет себя как сопляк, как баба. Дескать, что с него взять — аристократ, интеллигент из Новой Англии. А раз так думает Мелоун, стало быть и остальные тоже.

На землю опустился туман. Кларк отдал приказ расчехлить винтовки, и рота двинулась на Сандерсонвиль.

Когда началась стрельба, последняя телега ехала через перекресток на окраине городка, поэтому возница, не без криков и ругани, сумел развернуть перепуганных мулов в обратную сторону. Перл перелезла с козел в фургон и стала смотреть назад. Никто за ними не гнался. Услышала крики. В свете беглых вспышек ружейной пальбы она видела, как солдаты падают с коней. Ездовой вовсю нахлестывал мулов, фургон нес-

ся все быстрей. Перл выпрыгнула. Приземлившись, упала на руки и коленки. Прихрамывая, отошла в кусты и спряталась.

Короткое время спустя мимо галопом промчались две лошади без седоков. Через минуту проехали трое или четверо федералов, потом двое на одной лошади. После этого она сбилась со счета. Молилась только, чтобы никуда не делся ее лейтенант.

Отступить Кларк не мог, даже если бы захотел. Ни о чем не думая, он лишь старался справиться с запаниковавшим конем, держа повод в одной руке, а локтем другой прижимая к себе энфилдовский мушкетон[1] и паля из него в каждую мимолетную тень и силуэт. Внезапно выехав из переулков, южане кинулись на врага рассыпной наступательной лавой. Сержанта Мелоуна, когда он привстал на стременах, чтобы прицелиться, на скаку зарубили саблей. Вот он оглянулся на Кларка, а у самого словно кровоточащий рот удивленно раскрывается на шее, и он падает наземь. В тумане воинственные крики инсургентов превращали их в завывающих призраков, в дьявольские видения, которые появляются и тут же исчезают. Кларк тоже что-то кричал. Он не испытывал страха, пока его винтовка не перестала стрелять. Тогда он набычился, по-жокейски приник к шее коня и попытался броситься куда-то галопом — куда именно, он не ведал и сам. Но конь оступался, спотыкаясь о тела, и вдруг перед Кларком выросла стена из коней и всадников. Выпрямляясь, он почувствовал, что к его затылку приставлен ствол: услышал, как взвели курок. Кларк замер и этим словно подал сигнал отбоя; шум схватки как по команде стих, и стало слышно тяжкое дыхание лошадей и людей.

Рядовой Толлер — тот самый Падж Толлер, пианист — помог ему снять тужурку и оторвал от нательной рубахи рукав, чтобы сделать жгут. Сам Кларк до тех пор даже и не чувствовал, что истекает кровью от пулевого ранения в руку.

В камере тюрьмы вместе с ним оказались его солдаты, человек двенадцать. Он понятия не имел, скольким его подчиненным удалось уйти и сколько из них погибло. Он думал, что и Перл погибла тоже. Черт! все из-за него! — из эгоистических, аморальных побуждений загубил девчонку. От угрызений совести к горлу подступил комок. Он всегда верил в разум, считал главной движущей силой своей жизни здравый смысл, а сам даже не заметил, как оказался вдруг опутан чарами, природу которых толком не мог понять. А теперь она мертва.

Каждые несколько минут рядовой Гэллис подтягивался на прутьях решетки и выглядывал в окно. Снаружи двое охранников, — сообщил он. — А вот еще подошли люди, стоят отдельными группками, разговаривают. Кто эти люди, солдаты-повстанцы или гражданские, он определить затруднялся.

Сэр, что они теперь с нами сделают? — спросил Толлер.

1. Однозарядная винтовка, заряжаемая с дула; скорострельность 1–2 выстрела в минуту. Боец зубами скусывает кончик бумажного кулька, высыпает из него порох в дуло, следом запихивает туда скомканный кулек, потом пулю и проталкивает ее до упора шомполом. Затем вставляет шомпол в гнездо под стволом и вновь берет оружие наизготовку. А еще надо сменить капсюль на трубке воспламенителя.

Мы военнопленные, — ответил Кларк. — Они отправят нас в какую-нибудь хренову тюрягу.

Кларк старался выставить их положение в как можно более оптимистичном свете. Говорят, такое заведение есть в Миллене, — сказал он. — Это как раз на пути продвижения наших войск. Нас отправят в Миллен, а через несколько дней он будет взят, и мы опять окажемся в строю.

Народу прибывает, — сказал Гэллис. — Все с ружьями.

Кларк с трудом встал. Тут обнаружилось, что в камере все на ногах, все стоят и напряженно слушают. А куда ж охранники-то делись? — удивленно проговорил Гэллис. — Что-то я их больше не вижу. Там теперь толпа какая-то непонятная.

Вынув из клеенчатого пакета писчую бумагу и графитовый карандаш, Кларк за неимением бювара приложил бумагу к стене и следующие несколько минут занимался сочинением письма. Что пишет, самому было не видно. И как раз в тот момент, когда он, надписав адрес на конверте, заклеивал письмо, ворота тюрьмы сотряс первый удар.

Вопросом о том, что теперь делать, Перл не задавалась — идти вперед, что же еще. Идти вперед, искать лейтенанта Кларка. С теми, кто бежал с поля боя, его быть не может — это она нутром чувствовала. Но если он не бежал, то где он? Если прогнал южан, почему не придет, не отыщет ее? Она внимательно следила за дорогой, но с тех пор как все стихло, никто на ней не показывался.

В основном она шла лесом и, лишь если туман становился совсем уж черным и густым, как дым на кухне, когда в печи от ветра пресекается тяга, выходила на дорогу. Оказавшись у самой окраины городка, она услышала ружейный залп и спряталась за деревом. Стояла как вкопанная, пока эхо залпа перекатывалось по лесу. Подождала, не будет ли других каких событий, но ничего не происходило. Она еще подождала.

Под мундиром у Перл было платье, закатанное до пояса. Она сняла китель и расправила платье, потом завернула фуражку в китель и спрятала у подножия дерева. В городок входила обычная девчонка-негритянка, разве что с очень светлой кожей.

Туман стал рассеиваться, небо понемногу прояснялось. Замигали первые звезды. Перл наступила на что-то мокрое и скользкое. Вся дорога была залита кровью, из капель, пятен и потеков образовался след, который вывел ее на городскую улицу, а затем и непосредственно к воротам тюрьмы. Ворота были открыты. Внутри было слишком темно, чтобы туда заглядывать, там стоял запах крови, но чувствовалось, что никого нет.

За тюрьмой расстилалось поле, на прояснившемся небе засияла луна, и Перл увидела. Тела! Тела убитых. Господи, Боженька Иисус, не заставляй меня глядеть на это! — взмолилась она про себя. — Неужто я еще мало за свою жизнь всякого навидалась? Нашла Кларка. Тот лежал на боку, одна нога подогнута, другая отброшена в сторону. На левой руке толстая повязка. Перл потянула его за плечо, развернула лицом вверх. Казалось, он хочет ей что-то сказать. Губы раздвинуты, поблескивают зубы. Глаза смотрят куда-то вдаль. В руке зажато письмо, которое она еле вытащила из крепко стиснутых пальцев.

VI

В корзину Софи положила хлеб, свиную солонину, вареную картошку, сахар и чайный лист. Туда же упаковала свечи и мыло, столовое серебро и салфетки, его табак и коробок шведских спичек. А фляжку пусть возьмет в карман. Упаковала его дорожную сумку, потом завернула кое-какие свои вещи в шаль, завязала узлом и повесила себе на локоть. Следом за ним пошла через поселок с сумкой в одной руке и корзиной в другой.

Давай-давай, пошли, пошли, — непрестанно поторапливал ее он. Шел, опираясь на палку, но довольно быстро для немощного хромого старика. Она же, нагруженная багажом, да и сама страдая лишним весом, скоро запыхалась.

Поезд стоял на станции. Она помогла ему подняться в вагон. Там никого не было. Кому, скажите, придет в голову путешествовать по железной дороге во время такой войны? Кроме Марка Аврелия Томпсона — никому, это точно.

Вагон двинулся, качнулся и остановился, вновь рывком дернулся вперед и пополз. Через несколько миль пути пейзаж за окном стал плоским, все словно затвердело и казалось выжженным, будто землю прогладили раскаленным утюгом. Это был какой-то неизвестный, новый мир — не тот, каким его сотворил Господь. А там, где раньше были дома, высились одни печные трубы посреди черных куч пепла — стояли как могильные стелы.

В следующем поселке им сказали, что поезд дальше не пойдет. Старик пришел в ярость. Не хотел выходить из вагона. Пришел проводник, говорит: Мистер Томпсон, сэр, вы — пожалуйста, вы можете оставаться. Сидите тут сколько влезет, только мы ведь назад поедем.

Они стояли на станционной платформе, составив багаж у ног. Практически в чистом поле, под открытым небом. Вокзал был сожжен дотла. Поселок уничтожен, дома и лавки рухнули, превратились в кучи дымящихся обломков. В кустах белели запутавшиеся клочья хлопка. Впереди рельсы выдраны, разогреты на огне и загнуты вокруг деревьев.

Софи покачала головой и села на обломок стены. Старик стоял сгорбившись, опираясь на палку, и то и дело поворачивал голову из стороны в сторону мелкими дергаными движениями, как птица на насесте. Наверное, хочешь вернуться? — спросил он.

Ну уж нет!

Стало быть, решила не бросать меня, даже если я пойду к черту в зубы. Мне обязательно надо кое о чем поговорить с братом, пока он не помер.

Только когда солнце подбиралось к полудню, они увидели фермера на телеге, запряженной неторопливым мулом. Крестьянин ехал, поглядывая на землю — то с одной стороны телеги, то с другой. Старик поднял палку, помахал ею в воздухе.

Вы не довезете нас до Милледжвиля? — крикнул он. — Сколько возьмете?

Тысячу долларов Джеффа Дэвиса, — ответил фермер. Усмехнулся. Темный от загара, он сидел сгорбившись, кутаясь в серую армейскую шинель.

У меня есть предложение получше, — сказал мистер Томпсон. — Я дам вам федеральный двухдолларовый золотой. А как вы пристроите меня на подводу, это уж думайте сами.

Фермер съездил куда-то в поселок и вернулся с роскошным мягким креслом. Правда, обивка кресла была местами порвана и по краям выпачкана — может быть, даже в крови. С помощью Софи фермер, взяв старика под локти, поднял на телегу, где тот уселся в кресло. Софи, загрузив в телегу багаж, с трудом забралась сама и села на боковую скамеечку.

Вообще-то мы никогда не ладили — мистер знаменитый председатель суда Гораций Томпсон и я, — сказал старик. — Об этом мне есть что порассказать.

Не сомневаюсь.

Какие уж тут сомнения. Он всегда был атеистом — ты знаешь, что такое атеист?

Кто не верит в загробную жизнь?

Правильно. И хулит имя Господа нашего Иисуса Христа.

Вдоль дороги лежало множество убитых лошадей и коров, и вонь от этого стояла невыносимая. На солнце трупы раздуло, их животы полопались. Софи поймала летевший по воздуху клочок хлопка, вынула из сумки флакон одеколона, плеснула им на хлопковый комочек и подала старику.

Где ты это взяла? — нахмурился он.

В секретере у хозяйки.

Стащила, что ли?

Она вздохнула. Я в ее комнате все оставила как было. Все на местах, все как при ней. Если хотите вонищу нюхать, пожалуйста, мне все равно.

Ладно, ладно, — сдался он, уткнувшись носом в хлопковый комок.

И не надо понапрасну мне такие слова говорить!

Да ладно, — повторил он.

Упрямо и неспешно, нагнув голову, плетется мул. Попадающиеся по дороге несгоревшие дома разграблены, стоят с выбитыми окнами, двери сорваны с петель. Надворные постройки по большей части опрокинуты, лежат, как распавшиеся карточные домики. Пустые амбары, несобранная фуражная солома на полях. Иногда они катили мимо солдат, те сидели на обочине и даже не удостаивали проезжих взглядом. Потом за ними увязался какой-то тип, просил еды. Уйдите, сэр! — сердито замахал на него тростью мистер Томпсон. — Прочь! Прочь! В полях виднелись коленопреклоненные фигуры — люди собирали с земли зернышки и початки. Но много ли так соберешь? А бывало, что колесо подскакивало, наткнувшись на мертвую собаку — похоже, всех собак в округе поубивали выстрелом в голову.

Софи видела, как один солдат выковыривает зерна овса из кучки конского навоза.

Мост через реку Окони был разрушен, на паром стояла очередь. Позади лежали вытоптанные поля, где северяне некоторое время стояли лагерем. Впереди за рекой разрушенная столица штата. Над сгоревшими зданиями — завитки дыма.

Да почему же так долго?! — Старик Томпсон встал со своего кресла и, обращаясь к тем, кто приехал на подводах, стоящих впереди, крикнул: Вам-то что здесь надо? — Никак он не мог смириться с задержкой. Ему нужно многое сказать Горацию, прежде чем того приберет дьявол!

Не волнуйтесь, — сказала старику Софи. — Так вы только зря себя утомляете.

Что ж, она права. Он вновь уселся, закрыл глаза и, чтобы успокоиться, стал читать молитву. Сидел и с закрытыми глазами вдыхал запах убитой страны.

Софи, — сказал он неожиданно, — я что, фараон?

Она покачала головой. Вечно с ним так: никогда не знаешь, что вдруг сказанет. Вы — это просто вы сами, — сказала она.

Потому что, если я фараон, то с меня хватит. Не надо мне ни жаб, ни саранчи, я тебя отпускаю. Хочешь свободы — пожалуйста, я тебе ее дарю. А вот это все, — сказал он, обводя широким жестом пейзаж вокруг, — к ней прилагается. Это то, что идет в придачу к дурацкой вашей ниггеровой свободе.

На глазах старика выступили слезы. Проклятая война разрушила не только его страну, но и все его уважение к себе и к человечеству. Что за нелепое, нарочитое притворство лежит в основе понятий семьи, культуры, истории, если все это так легко разрушить, смешать с грязью. А ведь все это — Господь! Господь сделал это, воспользовавшись северянами как орудием.

На самом деле он любил своего брата и восхищался им не меньше, чем ненавидел его. До сих пор в его глазах они такие же, какими были, — юные и ни в чем не желающие друг другу уступать... Мысль о том, каким старым и несчастным он увидит Горация теперь, когда у обоих жизнь на исходе, ужасала его. Стремясь к нему и страшась того, что он может увидеть, старик начинал уже роптать на самого Господа, который отнял у них все жизненные ориентиры. Но даже пополам с ненавистью — любовь это любовь, и сам Господь не в силах сие отменить.

VII

Медицинский обоз Сбреде Сарториуса двигался в составе дивизии, направлявшейся по дороге на Уэйнсборо выручать изрядно побитую кавалерию генерала Килпатрика. Шерман использовал его кавалеристов для обманного маневра, и повстанцы, думая, что он действительно все силы двинул на Огасту, оборонялись не на жизнь, а на смерть. Стратегический план сработал, но потери были ужасны. Когда Уэйнсборо все-таки взяли, Сбреде развернул полевой госпиталь в здании железнодорожного вокзала. Раненых в рукопашных схватках оказалось так много, что санитарам приходилось оставлять брезентовые носилки с ними снаружи — прямо на станционной платформе. Там они и лежали — стонали, просили пить. Среди них сновала Эмили Томпсон, тихими словами утешения пытаясь хоть сколько-нибудь облегчить их страдания. Ей открылось, и Сбреде это подтвердил, что своим милосердием женщина гораздо лучше может преуспеть в возвращении мужества воинам, чем мужчина. Другие армейские медики тоже заметили успокоительный эффект ее присутствия.

Она быстро училась. К примеру, когда человек ранен в грудь или живот, ему нельзя давать больше маленького глоточка воды. Тому, чья боль была невыносимой, она нежно прикладывала ко лбу ладонь и подносила к его губам настойку опия. Другим давала глотнуть бренди. Раненые отвечали шутками в свой адрес, а подчас благодарили ее за заботу со слезами на глазах. За некоторых, совсем немощных и умирающих, она писала письма.

Эмили сама себе удивлялась. Удивлялась тому, что она, словно бесстыжая девка, в огромной массе людей искала Сбреде Сарториуса, нашла его и стала с ним неразлучна. Что она, оказывается, способна смотреть на ужасающие вещи. Что, подобно мужчинам, может жить под открытым небом, неухоженная и без всяких благ и удобств, которые, казалось бы, женщине необходимы позарез.

Вины за то, что она нарушила верность Югу и Конфедерации, Эмили за собой не чувствовала. Все, что ее интересует, — это северянин доктор. Его невероятная способность помогать раненым оправдывает ее. Федерал тот или конфедерат, военный или гражданский — он не делает различий. Вот даже и теперь — среди лежащих на больничных койках северян в синем попадаются и солдаты в форме серого цвета. Он ощущает себя выше военных раздоров, этот Сбреде Сарториус. Похож на какого-то бога, пытающегося поставить заслон потоку людских несчастий. Война отняла у нее всю семью, но тем не менее она чувствовала, что его понимание трагичности происходящего гораздо глубже. Прийти к ней в дом и позаботиться о бедном ее отце — это было очень в его духе. Когда Сбреде заговаривал с ней, спрашивал, все ли у нее в порядке, она чувствовала себя польщенной. В том, как он говорил, звучал не то чтобы иностранный акцент, скорее некая особая интонация, происходящая, быть может, от бесстрастной лаконичности его речи. От него не исходило тех эманаций, которые с детства отвращали ее от мужчин. Конечно же, он нес на себе огромную ответственность, но она была уверена, что даже в обыкновеннейшей житейской ситуации он не станет прибегать к хитростям и уловкам. В нем совершенно не было наигранной галантности, свойственной южанам, которые — она отлично это знала — ни на секунду не задумаются, если им выпадет возможность воспользоваться ее слабостью. Тем не менее она удостоилась от него некоего мужского признания, прозрачного намека на то, что ее присутствие он одобряет не только по службе.

Дело было глубокой ночью, раньше освободиться не удавалось. Эмили стояла в дверях здания вокзала и смотрела, как при свете факелов раненых, у которых ампутированы конечности, грузят в санитарные повозки. Солдаты, углубившись на несколько ярдов в лес, копали яму для отрезанных ног и рук. Прибыла похоронная команда с телегой, груженной гробами, чтобы перевезти умерших на кладбище. Трупы обыскивали, изымали личные вещи — письма, кольца, дневники и воинские документы для установления личности. Командирам рот полагалось писать письма родственникам погибших, принося официальные соболезнования.

Эмили была без сил. И даже не знала еще, где приведется ночью спать. В здании вокзала санитары мыли пол и операционные столы, оттирая их песком. Сарториус сидел за столом начальника станции и что-

то писал при свете керосиновой лампы. Для чтения и письма он надевал очки в проволочной оправе; на взгляд Эмили — прелесть, что за очочки. В них его лицо делалось мальчишеским, он становился похожим на школьника, готовящего уроки. А еще у него были необыкновенно красивые руки, большие и сильные, но с длинными, тонкими белыми пальцами. Как же искусны эти его руки! Когда она пожаловалась, что до сих пор не может заставить себя смотреть на хирургические операции, один из санитаров поведал ей: оказывается, доктор прославился в войсках способностью произвести ампутацию ноги за двенадцать секунд. А руки за девять. В полевых госпиталях всегда не хватает снотворного. Хлороформ штука хорошая, да ведь на всех его не напасешься, поэтому солдату, которому дали выпить кружку бренди, только и остается уповать на то, чтобы доктор справился побыстрее.

Медики полковника Сарториуса нашли себе ночлег на главной улице, в доме, который сравнительно мало пострадал, хотя окна все были выбиты, а дощатую его обшивку в щепки исклевало картечью. Встретившая их в дверях владелица, пожилая вдова, плакала навзрыд. У меня ничего не осталось, — причитала она. — Все вынесли подчистую! Что вы еще от меня хотите? Умелая плакальщица, она заламывала руки и прижимала их к сердцу. Однако, увидев Эмили, расправила плечи, высоко подняла голову и приняла позу оскорбленного достоинства. Вы лишили меня рабов, украли запасы продовольствия. Я думала, вам уже нечем больше осквернить этот дом, — обратилась она к Сбреде. Эмили смотрела в сторону, она была так смущена, что потеряла дар речи. А Сбреде, похоже, и не слушал даже. Приказал вестовому принести женщине дневной продовольственный паек и проводил Эмили наверх.

На лестничной площадке чуть постояли.

До рассвета надо вернуться в госпиталь, — сказал Сбреде. Посмотрел на свои карманные часы. — Простите, мне следовало отпустить вас намного раньше.

Ну что вы, по сравнению с тем, сколько сегодня пришлось поработать вам, я почти ничего и не делала!

Он улыбнулся и покачал головой. Мы так мало знаем. Наша медицина — не меньшее варварство, чем сама война, которую мы обслуживаем. Когда-нибудь у нас будут иные возможности. Найдем растения, точнее плесневые грибки, которые будут излечивать заражение. Научимся восполнять кровопотерю. Фотографировать кости прямо сквозь ткани тела. И так далее.

Кстати, вы знаете, — помолчав, вновь заговорил Сбреде, — что боевых потерь у нас только тридцать процентов? И лишь два процента этих людей умирает от ран, нанесенных штыками и прочим холодным оружием. Мушкетная пуля оказалась гораздо страшнее рыцарского меча и всяких там прочих топоров и сабель. А семьдесят процентов гибнет от болезней. То легочных, то кишечного тракта — приблизительно в равных долях. Ведь микробной теории не существует. Луи Пастер коечто опубликовал уже, но пока еще только экспериментирует. Да и санитарии как системы еще нет. Нет не только избирательно действующих на микроорганизмы препаратов, но и простых антисептиков. Уронив скальпель на пол, хирург споласкивает его сырой холодной водой. Во

время операции может зажать в зубах. Местного обезболивания нет. Нет шприца: Правац только что изобрел его, но промышленно шприцы пока не производятся. Что касается заживления ран, то их затыкают мокрой нестерильной корпией и заматывают мокрыми бинтами, а потом смачивают, не давая высыхать. При этом, конечно же, нагноения возникают почти всегда. Даже термин такой бытует — "доброкачественный гной". И у всех поголовно — у 995 человек из 1000 — хроническая дизентерия. Сбреде вошел в дверь отведенной ему комнаты, кивнул и закрыл ее за собой.

Эмили замешкалась, поставленная его речами в тупик. Она почти ни слова не поняла. Или у нее что-то со слухом?

Она вошла в свою комнату, закрыла дверь, разделась и впервые за много ночей улеглась в мягкую постель. Но сон не шел. Какое там! Никогда прежде не встречала она мужчину, чьи мысли так поражали бы ее. Ведь она же образованная женщина! Разве не присуждали ей первые премии по литературе и французскому в подготовительном колледже Святой Марии для девушек-англиканок! На обедах, которые давал ее отец, после смерти матери она выступала за хозяйку. За их столом собирались выдающиеся юристы. Она прекрасно справлялась с ведением беседы, при том что разговоры частенько носили вполне философический характер. А этот доктор вызывает в ее сознании картины иного мира — мира, который она может наблюдать лишь издали, будто он то исчезает, то появляется в разрывах бегущих облаков.

Она лежала, вглядываясь в темноту. Постель была холодна. Одеяла не грели; она дрожала. И запах у этих одеял какой-то неприятный! Во время войны мужчины в форме занимают любой дом без зазрения совести. Она ведь и сама пострадала от такого вторжения, не правда ли? Но когда так поступает женщина, это странно. Старая дама, должно быть, просто приняла меня за шлюху, — подумала Эмили. Я на ее месте предположила бы то же самое. Я опозорила себя. А ведь раньше я никому и никогда не давала повода усомниться в моей порядочности.

Она села в постели. Что бы сказал об этом отец? Накатила холодная волна страха, проникла внутрь, скрутила там все тошнотой. Что на нее нашло, что за одержимость такая? Предпочесть эти скитания нормальной жизни! В тот момент она действительно испугалась, ее трясло, на глаза наворачивались слезы. Она вновь легла и натянула одеяло до подбородка. Утром надо будет как-то выпутываться, искать дорогу домой. Да, именно так она и должна поступить. Не место ей ни здесь, ни где-либо еще; только домой!

Проявив твердость, она сразу успокоилась. И стала думать о мужчине за стенкой. Слушала. Спит он или не спит? А то можно подумать, ему и вовсе сон не требуется! Однако от Сарториуса не доносилось ни звука. И света в его комнате не было, иначе она в окно видела бы отблеск, а так — нет, лишь темная тень какого-то исполинского дерева.

Сбреде добыл для нее верховую лошадь; теперь на марше они ехали рядом. Солнце взошло, когда проезжали лес высоченных сосен, прямых как мачты и зеленеющих лишь у самых вершин. У Эмили возникло такое чувство, будто это какое-то святилище; лошади и мулы ступали неслышно и даже скрип тележных колес доносился глухо — так мягок был

слой бурой сосновой хвои на лесной почве. При свете дня в лесу по обе стороны от них она заметила движение — это перемещалось охраняющее их подразделение пехоты; солдаты мелькали среди деревьев, появлялись и сразу исчезали, словно старались им не мешать.

Во время долгого мирного продвижения по сосновому лесу ее вдруг осенило: есть! есть повод восхищаться мужчинами! Ведь как эти солдаты-северяне далеко от дома, от семьи! Но все равно упорствуют, идут и идут, как будто их дом — весь мир, вся планета. Тут до нее дошло, что Сбреде что-то говорит, и то ли она его слова воспринимает как собственные мысли, то ли ее мысли для него — открытая книга.

Признаться, мне уже не кажется странным жить по-походному, без привязки к какому-либо жилищу, просыпаться каждое утро в новом месте, — говорил он. — Куда-то идти, становиться лагерем и опять идти. Встречая сопротивление у какой-нибудь реки или деревни, сражаться. Потом хоронить погибших и снова двигаться вперед.

Весь свой мир вы носите с собой, — отозвалась Эмили.

Да, у нас есть все, что составляет суть цивилизации, — подтвердил Сбреде. — У нас есть инженеры, квартирмейстеры, интенданты, повара, музыканты, врачи, плотники, прислуга и пушки. Впечатляет, правда?

Не знаю, что и думать. Эта война отняла у меня все. И символ постоянства теперь видится мне не в городских фундаментальных строениях, а в том, что не имеет корней, что странствует как перекати-поле. В том, что течет. Весь мир текуч.

Что ж, пожалуй, текучесть в нем и впрямь преобладает, — подтвердил Сбреде.

Да! Да!

Но отдавшись потоку, ты в безопасности.

Да, — прошептала Эмили, тут же почувствовав, что этим она открылась ему, выдала о себе нечто интимное, страшно секретное.

А вдруг мы всего лишь часть какой-то иной, не человеческой формы жизни? Представьте себе гигантское членистое тело, движущееся посредством сокращений и растяжений со скоростью двенадцати или пятнадцати миль в день, этакое чудовище с сотней тысяч ног. Оно полое внутри, имеет щупальца, усики, которыми исследует дороги и мосты, перед тем как ступить на них. Такими усиками служат ему всадники на лошадях. И оно пожирает все на своем пути. Армия это огромный организм, управляемый крохотным мозгом. В качестве которого выступает генерал Шерман; правда, я лично не имею чести быть с ним знакомым.

Не уверена, что генерал был бы польщен, услышав, что о нем говорят в подобном тоне, — серьезно произнесла Эмили. Потом рассмеялась.

Но Сбреде явно понравилось придуманное им сравнение. Все приказы относительно наших масштабных передвижений исходят из этого мозга, — продолжил он. — Через генералов, полковников и младший офицерский состав они передаются всем нам как единому телу. Офицерский корпус — это нервная система чудовища. И каждый из нас — а нас шестьдесят тысяч человек — не имеет ни другой цели, ни другого смысла существования, кроме как быть клеткой тела гигантского чудовища, которое должно ползти вперед и все на своем пути пожирать.

Но как же вы тогда объясните назначение хирургов, чья работа лечить и спасать жизни?

А кому еще лечить бедное чудовище? Если же медицина не помогает, смерть имеет значение не большее, чем гибель клеток любого организма, который всегда легко заменяет их новыми клетками.

Опять это слово — *клетки*. Она взглянула на него с недоумением.

Сбреде ехал с нею рядом, бок о бок. Это такие структуры, из которых состоят наши тела, — сказал он. — Называются "клетки". Первичные элементы живого, различимые только под микроскопом. Разные клетки выполняют разные функции, а вместе они составляют ткани, органы, кости или кожу. Когда одна клетка отмирает, на ее месте вырастает другая. Он взял руку Эмили в свою и посмотрел на нее. Даже эпителий руки мисс Томпсон имеет клеточное строение, — сказал он.

И глянул на нее этими своими пугающими, голубыми как лед, глазами, словно хотел убедиться, что она поняла. Эмили вспыхнула и почти сразу отняла руку.

Что ж, поехали дальше. Но она была счастлива необычайно.

VIII

Мокрые и несчастные, они стояли на угловой башне форта, дождь хлестал по их плечам, со шляп вода струями лилась за шиворот.

Ч-черт, — сказал Уилл, — я им чуть было не сказал, кто я на самом деле.

Ага, — проговорил Арли, — что мы, переодетые, скрывались и только того и ждали, когда придут свои. Всеобщий восторг, объятия, поцелуи.

Конечно, а так опять мы из-за тебя в заднице! Не станешь же ты говорить, что наше положение лучше, чем у тех бедных янки, которых нам приказано стеречь? Едим те же помои. Должны стоять тут под дождем без крыши над головой в точности как и они. Так в чем же, черт возьми, разница?

Уилл, малыш, ты не понимаешь!

А он еще и револьвером мне в башку тыкал, требуя клятвы в верности опять своим же! Как будто я — это уже и не я. Не удивительно, что их доверие к нам не идет дальше того, чтобы позволить нам здесь без толку мокнуть.

А ты бы что на их месте сделал? Нельзя же верить человеку, который принес присягу, когда ему приставили к виску револьвер!

Что ж, зато ты опять среди своих. Ты же хотел этого. Я как-то не заметил, чтобы ты воспылал к синему мундиру такой уж любовью.

А что? Надо было мне сказать: капитан, я такой же конфедерат, как и вы. Меня зовут рядовой Уилл Б. Киркланд из Двадцать девятого пехотного полка Армии Северной Каролины. И не надо мне револьвером в башку тыкать.

Ага. Так бы тебе это и сошло!

Да запросто. Нам были бы рады и пристроили бы на теплое место.

Да он несколькими вопросами все бы вызнал — в том числе и об отсидке в милледжвильской тюрьме за то, что ты из этого твоего Двад-

цать девятого полка драпануть пытался! Да еще всплыло бы, что я в боевой обстановке спал на посту.

Так нас же тот генерал простил!

Ну конечно, и у тебя есть бумага, чтобы это подтвердить. Боже, ты меня слышишь сквозь этот проклятущий дождь? Я стою здесь с мальчишкой, который думает, что армию на войне можно уговорить, доказать ей что-то. Он думает, что солдат это нечто большее, чем форма, которая на нем надета! Он не понимает, что наша жизнь, наше время безумно. Боже, Ты ведь это знаешь не хуже меня, потому что ежу понятно: это не тот мир, который творил для нас, грешных, Ты, Господи!

А помнишь, ты говорил, что у Бога насчет нас какие-то особые намерения; сдается мне, пока они что-то не воплощаются.

Уилл, мальчик мой, мы живы! А почему? Да потому, что не стараемся быть только тем, чем кажемся на первый взгляд. Не пытаемся какому-нибудь тупоголовому капитану повстанцев напрягать мозги до тех пор, пока они у него из ушей полезут. А то начнешь его грузить сказками, он рассвирепеет и застрелит нас как лживых собак. Мы были похожи на федералов, этого ему достаточно. Да мы ими и были. А теперь уже — не-ет!

Эт-точно!

Да, здесь мокро, холодно — ноябрь, ночь, — и жрать охота, но мы живы, и положение у нас все-таки чуточку лучше, чем у тех, что ежеминутно падают мертвыми в каждом штате Конфедерации. А то, что живы мы благодаря способности свернуть с прямого пути то в одну сторону, то в другую, ориентируясь по обстановке, показывает, что есть, есть в нас нечто, какой-то дар Божий! Да вообще я чувствую в этом Божий промысел, и мне жаль, что ты этого не видишь. Я буду молиться, чтобы Он не наказывал тебя за неблагодарность. А еще за то, что вечно ты во всем обвиняешь меня.

Милое дело, их поставили на два через четыре, но вот уже и небо побледнело, а смены все нет! Дождь перестал, задул ветер, будто раздувая рассвет. Внизу показался лагерь — раскисшая, лишенная растительности грязная плешь с ручейками болотной воды, текущими прямо сквозь стены форта. Пленные, не имеющие для укрытия даже шляп, выбирались из залитых водой земляных нор, где они спали. С первыми лучами холодного солнца все были на ногах, повылезали, стояли, скрючившись, дрожа и пританцовывая на месте. Кашель, то одиночный, то целыми залпами раздававшийся в их толпе, бил Уиллу в уши как ружейная пальба. Все поглядывали на кухонный барак, но там даже дымок над трубой не вился.

За дальней стеной форта сквозь сосны виднелась река, быстрая и вспухшая от затяжных дождей.

И вонь — в то утро вонь стояла в лагере хуже обычного: воняли открытые сортиры, да и с похоронной траншеи, вырытой как раз под их постом и кое-как забросанной землей, дождь смыл всю верхнюю присыпку. Там и сям торчали тела. Чтобы не смотреть, Уилл повернулся в другую сторону, пытаясь сквозь всю эту гадость уловить запах соснового леса. И тут увидел охранников, которые бежали с фонарями и собаками.

Вскоре пленных федералов — промокших, грязных, истощенных так, что от них оставалась кожа да кости, — построили на дороге и погнали в городок Миллен на железную дорогу. В колонне было больше тысячи человек, и у некоторых хватало сил и присутствия духа, чтобы роптать — зачем это нас, дескать, вывели из лагеря и гонят в Миллен? Через каждые двадцать ярдов вдоль колонны шагали охранники с винтовками, некоторые еще и с собаками. Арли, шедший ближе к голове колонны, стал понемногу отставать, пока не поравнялся с Уиллом. Ни по какой железной дороге мы никуда не поедем, — сказал он. — Ты слышишь меня?

Слышу.

Там, куда они приедут, жрачки будет еще меньше. Смотри на меня и делай как я, — прошептал Арли.

Ну вот, опять двадцать пять! — отозвался на это Уилл.

У дебаркадера стоял длинный состав из товарных вагонов с двумя паровозами, которые пыхтели котлами, со свистом выпуская струи пара и густой черный дым. Когда вагон заполнялся, дверь задвигали и запирали. Некоторых пленников, которые уже не могли ходить, заносили в вагоны на плечах их товарищи. Арли, по пятам за которым следовал Уилл, стал переходить от вагона к вагону в хвост поезда, будто бы для того, чтобы удваивать охрану каждый раз, когда подошло время закрывать двери. Вид у Арли при этом был самый деловой: мушкет наизготовку, прищуренным глазом — зырк! — а ну, кто там бежать собрался?! Так они добрались до последнего вагона, и, выбрав момент, когда офицеры спешились и стали совещаться, разглядывая вынутые из планшетов карты, Арли и Уилл, быстренько обогнув последний вагон, забежали за угол пакгауза.

Тут им опять открылась река. Все та же река Огичи, около которой располагался лагерь. На дальнем берегу стоял отряд федеральной кавалерии, беспомощно наблюдая за погрузкой. Наконец паровоз свистнул, вагоны лязгнули, поезд пошел.

Надо будет когда-нибудь, — сказал Уилл, — сходить к этому, как они там называются-то? — ну, которые ширину лба мерят и длину носа, как их?

Хрю... Фрю... Френологи, — блеснул ученостью Арли.

Во-во. Прийти к такому и спросить... ну, то есть если я по какой-нибудь странной случайности в живых останусь — что у меня такое с башкой, что я слушаюсь тебя, в какую бы новую передрягу ты нас не впутал.

Да нормальная у тебя башка, — сказал Арли. — Здравый совет от подставы отличаешь, если тебе, конечно, хорошо объяснить.

И вот они уже опять в лагере, пустом за исключением двух-трех умирающих пленников в колодках да нескольких уже умерших этой ночью. Арли разделся, увязал мокрую форму конфедерата в комок и бросил в выгребную яму. Показывая Уиллу, что делать дальше, вывозился, голый, в грязи, да еще и в волосы себе горстями напихал мокрой грязи. Затем переоделся в тряпки, которые снял с одного из трупов. Попрыгал, поприседал и забегал, вопя и завывая.

А это еще зачем? — удивился Уилл.

Так ведь холодно же, идиот чертов! — окрысился Арли.

Через час в Миллене уже хозяйничала федеральная пехота. На территорию форта отрядили подразделение черных саперов — уложив мертвых в канаву, они с лопатами в руках забрасывали братскую могилу землей. Офицеры осматривали кухонный и больничный бараки, деревянные колоды с цепями. Выглядывая из санитарной повозки, Уилл диву давался, какой гнев все это вызывало у северян. Бровки хмурят. Кулачки сжимают. Ругаются. Ходят туда-сюда, головами качают. Под выданным ему теплым шерстяным одеялом он все еще дрожал. У Арли тоже зубы стучали, но на лице его было спокойствие и удовлетворенность.

Лагерь тем временем готовили к сожжению. Солдаты бегали вдоль стен форта, поливали их керосином и поджигали. Вскоре и бараки занялись, окутавшись тяжелым черным дымом. Когда санитарный фургон, удаляясь, въехал на пригорок, Уилл с Арли увидели, что и над поселком тоже клубится дым. Янки решили сжечь все, что носило название Миллен.

Мулы бежали резво, ехали они, ехали, и тут Арли обратил внимание, как мягок ход повозки. Надо же, — удивился он. — Глянь-ка! У них дрожки-то на пружинном подвесе! Черт, надо бы и у нас такой обычай завести.

Больничный шатер, куда их привезли, стоял в сосновом лесу, среди других армейских палаток. Их уложили на походные койки, укрыли шерстяными одеялами, да еще и подушки настоящие дали. Через какое-то время полог отодвинулся и, к несказанному удивлению Уилла, в шатер вошла женщина в белом халате. К ее волосам была пришпилена федеральная армейская фуражка. Доброе утро, джентльмены, — сказала она, и в тот же миг стены шатра осветило утреннее солнце. Перед койкой Уилла она встала на колени, приподняла ему голову и поднесла к его губам чашку с бульоном. Он заглянул в ее голубые глаза, и она ему улыбнулась. За всю свою жизнь он не видел женщины прекраснее. Ее ладонь приятно грела ему затылок. На глаза ему навернулись слезы благодарности, как будто он и впрямь был освобожденным узником того недоброй памяти лагеря военнопленных.

На соседней койке Арли с ухмылкой во весь рот приподнялся на локте, чтобы удобнее было наблюдать эту сцену.

IX

Вильма Джонс так привыкла обо всех заботиться, что и во время Марша к Свободе легко нашла, где себя применить. Старик-негр, называвший ее доченькой, был глух как пень и, разговаривая с нею, всегда кричал. Упасть направо ему не давала трость, упасть налево — Вильма, которая его поддерживала под локоть. На нем было вытертое пальтецо без рукавов, но торчащие из него костлявые старческие руки были длинны, мускулисты и цепки. Его рука стискивала ее ладонь с силой, которой хватило бы на десятерых. Этот старый раб сильно хромал, но сбежать от него было невозможно. Лысый, в натянутой на голый череп шерстяной шапке и совершенно беззубый, со старинным выжженным на щеке клеймом. Но он шел! И даже не спотыкался! Подобно большин-

ству старых людей, он не обращал внимания на косые взгляды. Она же качала головой и усмехалась. Старик напомнил ей судью. Такой же требовательный, он не позволял ей ни на минуту отвлечься, как будто у нее не было своей жизни. Только судья Томпсон никогда не называл ее доченькой, на это у него имелась мисс Эмили.

Петь песни в толпе перестали, женщины крепче прижали к себе детей. Насыпь была узкая, из подступающей к ней по обе стороны густой и неподвижной болотной жижи под разными углами торчали мертвые стволы деревьев. В воздухе стояло зловоние, через дорогу клочьями переползал туман.

Когда подошли к руслу, поступил приказ отойти подальше от берега; их место заняли солдаты, навели понтонный мост. Вильма огляделась. Толпа освобожденных рабов все разрасталась, и теперь всем нужно было ждать, пока пройдут войска. С противоположного берега реки за перемещениями наблюдали несколько офицеров кавалерии. Сидели верхом, с места не двигались. Среди них был генерал — золотые галуны, эполеты... Эффектный до невозможности. У Вильмы появилось дурное предчувствие. Да и историй всяких наслушалась. Повстанцы ведь идут за ними по пятам. Хватают отставших негров, расстреливают или вновь обращают в рабство.

Река разлилась, течение быстрое. Ничего не поделаешь — пока вся армия не перейдет, с места не двинешься! Дивизия за дивизией мимо них проходили и проезжали войска, тащили лафеты, зарядные ящики, нахлестывали мулов. Доченька, — закричал ей старик, — почему мы не переправляемся? Вильма перебежала насыпь, остановила офицера. Мамаша, — сказал тот укоризненно, — мы ради вас такую войну ведем![1] От вас же только и требуется: не путайтесь под ногами!

Некоторые женщины и дети уже плакали. Чувствовалась какая-то перемена — вот хотя бы небо взять: потемнело оно, что ли? Солдат мимо проходило все меньше, меньше, и, наконец, последние перешли мост. Толпа устремилась вперед, Вильма вела старика за руку. Но тут вдруг вой пошел по толпе. Вильме, конечно, этого видно не было, но тросы, на которых держался понтонный мост, оказывается, обрубили, и мост поплыл от берега. Солдаты на другом берегу тащили за веревки, подтягивали понтоны к себе.

Люди не знали, что делать. Кто-то кричал: Южане идут! Вильма пыталась не поддаваться панике, но старик тянул ее к реке. Я свободный человек! — кричал он. — Я свободный человек! В какой-то момент она не смогла его удержать, и он прыгнул прямо в воду. Вокруг люди кричали, молились, всуе поминали Господа. Бросались в реку и пытались переправляться вплавь. Вильма видела, что некоторые черные саперы кидают с того берега бревна и сучья, чтобы пловцам было за что ухватиться. Но старик не умел плавать. Он лишь махал палкой в воздухе, оступался, па-

1. На самом деле вряд ли ради них. Своей прокламацией об освобождении, обнародованной лишь через полтора года после начала войны, Линкольн объявил свободными негров только на тех территориях, которые *не контролируются* федеральными войсками. На условном Севере у Линкольна были и свои, неотколовшиеся рабовладельческие штаты. Война велась не за свободу негров, а за контроль центральной власти над экономикой и в первую очередь над торговлей хлопком. Уже во время войны (25 июля 1861 г.) Конгресс США официально объявил, что война ведется для сохранения целостности Союза штатов, а не ради запрещения рабства.

дал, скрывался под водой, снова появлялся и вновь махал в воздухе палкой. Женщины сажали детей себе на головы и пробовали переходить вброд. Мужчинам как-то удалось соорудить плот из бревен, кусков брезента, женских юбок и одеял. Потом саперы перебросили через реку веревку, после чего установилось некое подобие порядка: людей перевозили на плоту по четыре-пять человек за раз. Но те, что скученной толпой ждали на берегу, были вне себя от страха. Им казалось, они уже слышат, что приближаются инсургенты, едут по насыпи, и негры не могли справиться с нетерпением. Сжимая в руках узлы и чемоданы, прыгали в воду.

В результате Вильма все же оказалась на плоту. Но на середине реки его течением дернуло и перевернуло. Отфыркиваясь, она вынырнула и тут почувствовала, что кто-то помогает ей, тянет за руку. Ну наконец-то, она почти на берегу, вода стекает с нее ручьями. Сильный черный мужчина одной рукой поднял ее из воды. Дрожа, она села на землю. Те, кому удалось переправиться, бегом бежали за армией. А на другом берегу еще человек сто или даже больше темнокожих все еще стояли у кромки воды, застыв от страха. Женщины и плачущие дети. Послышались выстрелы, и Вильме показалось, что какие-то люди на лошадях подъезжают к ним с насыпи.

Вот, возьмите, мисси, — сказал мужчина, который спас ее. Он набросил на нее одеяло. — Лучше не мешкать. Бог дал этим людям свободу, но это еще не все. Идемте. Мужчина был высокий, стоял в расстегнутом форменном кителе, потрепанных штанах и босиком. Взял Вильму за руку, помог ей подняться и повел по дороге. Она все оборачивалась, смотрела назад, пока русло реки не скрылось из глаз. Лишь крики долетали до них из-за реки и терялись, затихали в лесу.

X

Перл навсегда запомнила ту ночь, когда она увидела убитых солдат. Их тела, лежащие на залитой голубоватым лунным светом земле. Двенадцать — как двенадцать поверженных статуй. И лейтенанта Кларка, с удивленным видом глядящего в никуда. Она спряталась на краю поля и смотрела, как местные жители подъехали на телеге. Несколько белых и два негра — чтобы было на кого взвалить черную работу. Они грубо побросали тела на телегу, словно это куски говяжьих туш. Вслед за телегой Перл дошла до кладбища и из кустов смотрела, как, орудуя кирками и лопатами, там роют могилу. Рыли и непрестанно озирались, не видит ли кто. Мертвецов хоронили всю ночь, только к рассвету закончили.

Перл неостановимо била дрожь. Стучали зубы. Глянула, что́ у нее в руке, оказалось — его письмо. В первых лучах утреннего света луна побледнела, поле из черного сделалось серым, и Перл поняла, что лучше ей отсюда уходить. Опушкой леса обогнула городок, вернулась на дорогу, по которой они приехали, и прямиком к тому дереву у дороги, где она спрятала свой китель и фуражку. Вновь она закатала платье до пояса, вправила его в штаны и опять сделалась мальчишкой-барабанщиком. Теперь хотя бы есть карман, куда положить письмо.

Не зная, что делать дальше, Перл прислонилась к дереву спиной, села и стала ждать.

Разбудило ее мычание коров. День был в полном разгаре, мимо шла армия — гуртоправы гнали коров и коз, ездовые криками погоняли мулов, солдаты с винтовками на плечах строем шли по обочине, тучей вздымая пыль.

Перл встала и вышла из укрытия. Солдаты оглядывались, улыбались ей, иногда на ходу что-то говорили. Или вдруг проезжающий на коне офицер посмотрит на нее сверху вниз, но останавливаться — нет, останавливаться никто и не думал. Она искала глазами возницу того фургона из ее роты, который успел развернуться, когда началась стрельба. На четырехколесной повозке, груженной награбленным барахлом, проехали какие-то два ряженых мародера — во фраках и цилиндрах. Нет, эти не из ее прежней компании. Едут, хохочут. Увидели ее, один полез в мешок, достал сладкую картофелину, кинул ей.

Она поняла, что лейтенант Кларк и его солдаты пали не в битве. Если они пали в битве, зачем тогда местные хоронили их тела в такой спешке! Нет, сперва была тишина, а потом она услышала залп, видела кровавый след до самых ворот тюрьмы, а главное, видела, что солдаты лежат шеренгой, как их выстроили для расстрела. И они безоружны.

Этим нужно было с кем-то поделиться. Но она все еще не была уверена, что научилась говорить как белые, а если будет говорить как дома, то все поймут, что она не тот, за кого себя выдает, она не белый мальчишка-барабанщик. Как жаль, что нет с нею больше ее учителя лейтенанта — теперь, когда он ей так нужен! В тот момент, когда она решила, что не скажет никому ни слова, перед ней на дороге вдруг выросла фигура офицера с золотыми галунами. Она вскинула руку к козырьку. Его огромный гнедой конь фыркнул, закинул голову, попятился и заходил кругами. Какого черта, — заорал офицер, а Перл все стояла перед ним, держа пальцы у козырька.

Успокоив коня, офицер обратил взгляд на Перл. Ты откуда тут взялся, парнишка? Почему не со своей ротой?

Все мертвые.

Что ты сказал?

Они... типа... Я в смысле... они... эт-самое...

Ты что там мнешься? Говори уже!

Они — ну... как его...

Что они?

Погибли.

Ты что, не знаешь, как надо обращаться к офицеру?

Я знаю.

Я знаю, СЭР!

Вот я и говорю, сэр.

Опусти руку и стой смирно! Черт бы их взял, — сказал офицер другому, остановившемуся рядом с ним. — Теперь он плачет! И как прикажете таких вести в бой?

В тот момент мимо проезжал еще один офицер верхом на маленькой лошаденке, чуть ли не пони, его ноги свисали и почти волочились по земле. У него был совсем не военный вид, запыленный френч наполовину расстегнут, шея повязана платком, на голове старая помятая шляпа, а во рту окурок сигары, торчащий из рыжей, тронутой сединой бороды. Перл навсегда запомнилось это ее первое впечатление от гене-

рала Шермана — выправкой и одеждой он совсем не походил на бравого офицера, и она никогда бы не восприняла его в этом качестве, если бы не почтительность, с которой встретил его красивый и важный дядька, сидящий высоко над ним на огромном гнедом скакуне.

Генерал же на своей маленькой лошаденке был практически на уровне ее глаз. Надо же, какой симпатичный у нас солдатик, — сказал он. — Ты хороший барабанщик, а, сынок?

Перл кивнула.

Нужна большая смелость, чтобы пойти в армию и воевать за свою страну. Барабанщики ведь попадают под огонь как и все мы, не правда ли?

Да, сэр!

Иногда мне тоже хочется заплакать.

Да, сэр!

А в чем у него проблема? — обратился он к офицеру на гнедом скакуне.

Генерал, он говорит, что потерял свою роту. Полагает, что его товарищи убиты.

А, так они были в авангарде, да, сынок? Вы проходили здесь вчера ночью?

Да, сэр. Да, генерал.

Стало быть, опять нам задала перцу кавалерия Уилера, — сказал Шерман стоящему рядом офицеру. — Должно быть, мы понесли потери.

Нет, генерал... сэр, — сказала Перл. — Когда убили моего командира, лейтенанта Кларка, сражение уже кончилось,

Больше Перл не могла сдерживаться. Заплакав навзрыд, она шла, держась за повод генеральской маленькой лошадки, и слезы бежали у нее по лицу. Через весь город Перл довела генерала с его штабом до кладбища, где и показала им свежую могилу.

XI

Шерман ходил в грубой солдатской одежде и делил все тяготы с простыми солдатами. Спал в парусиновой палатке, когда спал вообще. Его сопровождал единственный денщик, и лошадь в его распоряжении была всего одна-единственная, да и та — кляча, едва ли подходящая начальнику такого масштаба. С его стороны это было очень правильно: приходилось отдавать приказы армии, в которой не хватало всего самого необходимого, и делать это мог только человек, способный служить примером. Однако Моррисону, выпускнику Вест-Пойнта, служившему у него в штабе, вся эта простота казалось несколько наигранной. Моррисон не находил разумной причины, почему генерал — да не какой-нибудь политический назначенец, а профессионал, тоже выпускник военной академии в Вест-Пойнте, каким был Шерман, — не должен чем-то отличаться от своих подчиненных. Элегантность одежды и некоторая недоступность командующего, глядишь, и всей армии придала бы коекакой дополнительный лоск! Люди сражаются, воюют — правильно, они доказали, что не даром хлеб едят! — но жесткое соблюдение субординации внушает подчиненным уважение, которое только возрастет,

если ты не пренебрегаешь привилегиями, положенными по чину и должности. Уважение, а вовсе не любовь есть источник власти командира — уважение надежнее, да и долговечнее намного: в передрягах долгого рейда по тылам противника любовь-то и повыветриться может!

Кроме всего прочего, Моррисон чувствовал себя униженным. Лояльный адъютант, он выполнял работу офицера связи безупречно, ни одним движением лица не выдавая никаких чувств, кроме бесконечной преданности делу. Но он любил комфорт и не гнушался привилегий. Шерман специальным приказом запретил офицерам штаба пользоваться палатками на жесткой раме и лошадьми в количестве большем, чем две на человека. Из-за этого Моррисон вынужден был обходиться без удобств, без книг и без собственного повара. Как это так — из всей прислуги один денщик! Нет, он не жаловался, конечно, но все же иногда его задевало, что генерал, похоже, получает извращенное удовольствие, подвергая других тяготам, которые ему самому только в радость, но должен же он понимать, что с другими-то не всегда так!

Крепкий, краснолицый, рано начавший лысеть молодой офицер, при кажущейся солдатской дубоватости Моррисон был хорошим знатоком природы человека, и своей прежде всего. Он сознавал, что его приверженность к роскоши в полевых условиях есть слабость, а то и признак недостаточной мужественности, уверенности в собственной значимости в этом мире. И действительно, ему проще было держаться в тени, так как он считал, что Шерман не испытывает к нему расположения, а только терпит. Слишком уж они разные люди. О себе Моррисон твердо знал, что никогда бы не дошел до такого цинизма, чтобы посвойски, запанибрата разговаривать с нижними чинами на марше, в то же время не испытывая никаких эмоций, когда две с половиной тысячи солдат вдруг погибнут, как, например, в битве при горе Кеннесо. Тогдашнюю реакцию генерала он наблюдал. Мимолетная досада (эх, не вышло!) и сразу увлечение новой стратегической задумкой.

Когда взяли Атланту, генерал делал вид, будто не принимает всерьез горы писем, восхищенные рукоплескания и всеобщее преклонение, доходящее до экзальтации. В его ответных письмах — как раз Моррисон и писал их под его диктовку — отражалась лишь невозмутимая честность и скромность, что было в совершенном противоречии с буйным восторгом, потрясавшим его душу, да и с явным чувством превосходства по отношению ко всем тем, кто присылал поздравления — не исключая, между прочим, президента. Как это мог определить Моррисон? Да запросто: по тону, каким генерал диктовал свои письма, по лукавой самодовольной усмешке после особенно элегантной витиевато-самокритичной фразы, по нетерпеливо быстрым шагам по кабинету этого генерала, который был так счастлив оттого, кто он есть, что едва сдерживал дрожь возбуждения, — действительно, трепет внезапно охватывал его и не прекращался, пока генерал с напускной скромностью не выходил из кабинета встречать очередного политика, пришедшего к нему петь дифирамбы.

И вот опять — очередной пример генеральского самодурства: ни с того ни с сего взял да причислил этого мальчишку-барабанщика к своему штабу. Да такого еще странного мальчишку-то! — он и говорит странно, и не делает ничего, только сидит и слушает на секретнейших сове-

щаниях военного совета. Жалко, конечно, что лейтенанта Кларка убили, но разве значит это, что его барабанщика нельзя просто направить в другую роту?

Своими соображениями Моррисон поделился с полковником Тиком, прошедшим с Шерманом всю кампанию от самого Шайло.

Понимаете, Моррисон, — сказал Тик, попыхивая пенковой трубкой, — два года назад генерал не смог отлучиться в отпуск, и его домашние приехали из Огайо к нему сюда. Миссис Шерман с детьми... в том числе с сыном Уилли, — понизил голос Тик, словно это все объясняет.

Моррисон уже пожалел, что начал этот разговор.

В то время мы стояли в Виксбурге, — продолжал Тик. — А в разгар летней жары нет места хуже, чем Виксбург.

Моррисон ждал.

И его сын Уилли (с севера мальчишка, не привык!) не выдержал, — после долгой паузы закончил Тик. — Грустная история. Какое отношение к войне имел этот мальчишка?

Как? Он что — умер?

Представьте! От брюшного тифа, — сказал Тик. — А с этим барабанщиком, чует мое сердце, что-то не так. Странный он какой-то, вот ей-богу! Но, если и не делает ничего, все равно он нужен — пусть служит утешением несчастному отцу. Это же и к гадалке не ходи — ясно, что в сознании генерала Шермана он как бы заслоняет образ умершего сына. А мы ведь хотим, чтобы сознание генерала было ясным?

Разумеется.

Потому что не всегда оно ясным-то было, вот в чем закавыка, — пробормотал Тик и отвернулся.

Но ведь надо же разобраться! И полковник Тик потихоньку стал наводить справки. Оказалось, что в роте фуражиров погибшего лейтенанта Кларка никаких барабанщиков не числилось. Один барабанщик в его полку погиб под Милледжвилем, но тот юноша служил в пехоте. Наверное, Тик добрался бы до солдат, выживших в стычке под Сондерсонвилем, стал бы выяснять у них, но тут он сам доискался до истины, найдя ответ в загадочных карих глазах Перл, которые, стоило ему встретиться с ними взглядом, смотрели с вызовом, что совершенно нетипично для солдата, стоящего на самой нижней ступеньке армейской иерархии.

Да и в любом случае Перл не могла бы долго хранить свой секрет, тем более в суровых полевых условиях. Довольно скоро любопытство Тика, да и других штабных офицеров, было удовлетворено: этот странный, немногословный и несколько мрачноватый мальчишка оказался девушкой. А из всей окружающей обстановки, на фоне которой шла война, было ясно, что, как бы ни был светел цвет ее кожи, она не может быть белой. На этом этапе расследования у офицеров возобладала мысль, что от такой информации генерала Шермана надо оградить. Почти не совещаясь, разве что обменявшись понимающими взглядами, они пришли к решению не выдавать секрета Перл командующему. Денщику Шермана, сержанту Мозесу Брауну, вменили в обязанность следить за тем, чтобы ни командующий, ни кто-либо другой в армии не узнал правды, и он с заданием успешно справлялся. В те минуты, когда Перл занималась собой, он ограждал ее от ненужных взглядов. Однаж-

ды даже соорудил из веток что-то вроде шалаша на речке, чтобы Перл могла без помех выкупаться.

Все это Перл воспринимала как должное. Мозес Браун вел себя с нею очень церемонно, он ничем не выдавал своего отношения ни к ней, ни к полученному приказу опекать ее. Выдержанный и терпеливый, он свое дело делал на совесть. За это Перл была ему благодарна. В конце концов она прониклась к нему расположением сродни тому, которое дома испытывала к Роско. А вот к офицерам, между собою сговорившимся ее опекать, она особой благодарности не чувствовала. Все горевала по лейтенанту Кларку. Его письмо так и лежало у нее в нагрудном кармане. А в кармане брюк она хранила две золотые монеты, которые подарил Роско. Под кителем носила красную шаль с золотым шитьем. Это было всем ее достоянием. Что касается генерала, то она скоро поняла, что его ей следует опасаться меньше всех остальных. Ему нравилось следить, чтобы она хорошо поела, немногословность же ее он приписывал тому, что малый еще не оправился от тех ужасов, которых насмотрелся во время заварухи под Сондерсонвилем. Ну когда же ты мне скажешь, как тебя зовут, сынок? — бывало спрашивал он ее. А она лишь головой мотает. Ночами, лежа в своей маленькой палаточке, она частенько слышала, как он бродит по лагерю, не в силах заснуть. До нее долетал аромат его сигары и звук шагов — ходит, мерит шагами пространство между палатками, как караульный в ночном дозоре. Наверное, ночью ему лучше думается, — догадалась она. Днем же при первой возможности она старалась слушать, как он говорит, и про себя беззвучно проговаривала все слова, стараясь научиться говорить как белые. На марше генерал любил то заехать вперед, обогнав штабной фургон, то отстать до самого арьергарда. Везде его знали и дружно отзывались на приветственный жест командующего. В войсках у него было прозвище "дядюшка Билли", и однажды утром Перл порадовала генерала, когда в ответ на его "как дела?" сказала: Пасиб, дядюшка Билли, у меня усе путем.

XII

Когда до Саванны оставался день пути, Пятнадцатый корпус оказался на дороге, которую мятежники заминировали. Раздалось два или три приглушенных взрыва, каких-то странных, неслыханных. Пехота залегла. Всё остановилось. Галопом промчался всадник — срочно нужен был госпиталь Сбреде Сарториуса.

Для декабря день был теплым. Арли и Уилл ехали в санитарном фургоне номер два. Фургон двигался медленно, да тут еще и весь обоз пришлось разворачивать, ездовые с неохотой направляли подводы с дороги на подозрительно мягкую землю.

В голове колонны на дороге зияла воронка. Взрывом людей и лошадей разметало по полям. Санитары полковника Сарториуса вооружились носилками и пошли собирать тех, в ком еще теплилась жизнь. Эмили Томпсон занялась парнем, которому оторвало ногу до колена. Перетянула ему бедро жгутом. За поваленным забором лежало тело без головы. Такой хороший декабрьский денек — и такая жуткая бойня!

Одному из раненых помогал какой-то офицер, Сбреде пришлось попросить его отойти в сторонку. Пожалуйста, — добавил он. Офицер от-

ступил, не преминув проворчать, обращаясь к Сбреде: Вот! Они себя выдали, мятежники проклятые! Убийцы! Они не солдаты! Солдаты выходят в поле и воюют, а такого не делают. — Он повернулся и крикнул: — Охрана! Ведите сюда пленных, дайте мне каких-нибудь пленных! До Сбреде так и не дошло, а вот Эмили сразу догадалась, что это сам генерал Шерман.

Слева, примерно в полумиле, на опушке леса стоял дом и сарай. Это будет наш госпиталь, — сказал Сбреде.

Привели нескольких пленных. Им раздали кирки и лопаты и сомкнутым строем повели по дороге. Вы отыщете все мины, — крикнул им вслед Шерман, — или сами взлетите на воздух. Господи! Генерал, сжальтесь, — взмолился один из них, — ведь не мы же это сделали! Вперед, марш! — отозвался на это Шерман и сунул ему кирку. Затем поднял руки и сделал ими движение, будто пихает воздух, — дескать, всем сдать назад.

Стеная и дрожа от страха, пленные, сделав несколько запинающихся шагов, побросали инструмент, пали на колени и принялись ладонями прощупывать землю в поисках замаскированных мин. Чуть не ползком продвигались вперед и растопыренными пальцами водили перед собой, словно слепые. Обнаружив что-нибудь, оповещали криком. Инженеры Шермана изучили первую находку, выяснили, как она сделана, и обезвредили. Так было найдено шесть мин, все одной и той же конструкции. Их взрыватели реагировали на давление, заряд воспламенялся "люциферовой спичкой Джонса"[1] в медной трубке, а фугасное действие производил гаубичный снаряд.

Арли и Уилл грузили в свой санитарный фургон стонущих окровавленных людей. Под брезентовой крышей на подводе имелись скамьи в два ряда. Видят, посреди дороги стоит мальчишка-барабанщик, смотрит на свою босую ногу, а на ней кровь. Вроде ты не так уж и плох, парень, — сказал Арли, — но мы и тебя пристроим. А ну не трожь! — закричал на них мальчишка. Арли взял его за плечи, Уилл подхватил под коленки, и они понесли вопящего и бьющегося мальчика к фургону. Только заметив, что с задней, открытой части подводы на него глядит Эмили, юный барабанщик затих и дал себя поднять наверх. Но глаза его все еще были полны слез, и Эмили подумала: какое странно красивое у него лицо!

Уилл в свою очередь, разинув рот, уставился на мисс Томпсон, и только Арли, не мешкая ни минуты, занял свое место на козлах и хлестнул мулов. Уиллу пришлось догонять бегом и запрыгивать на ходу. Под стоны, крики и проклятия раненых мулы неторопливо повлекли фургон через поле к дому на опушке леса. Легким галопом их обогнала группа всадников, в одном из которых Эмили опознала Сбреде.

Каждая кочка и колдобина вызывала новые стоны. Сгорбившийся на козлах Уилл пробормотал: Когда один человек страдает, его жалко. Но когда их целый вопящий хор, начинает казаться, что ты в аду!

Да уймись ты, Уилл! Между прочим, я схлопотал нам должность санитаров при этой карете только ради тебя: чтобы ты мог любоваться своей несравненной мисс Томпсон.

Пустое. К женщине такого уровня мне и близко не подойти!

1. Кислота в хрупком пузырьке плюс селитра.

А как ты поймешь, какого она уровня, пока к ней не примеришься?

Да ведь с тех пор как я поправился и стал обычным федеральным солдатом, она меня в упор не видит!

Ну, тогда думай о том, как придем в Саванну. И будем там Рождество справлять. Тамошние дамы тебя еще как увидят. Будешь, как по обычаю положено, целоваться с ними под омелой. А еще будем есть рождественского гуся и пудинг с инжиром. А когда с этим делом покончим, опять в поход.

Только не я! В этой синей форме я как будто и не я вовсе. Куда? Зачем? — добавил Уилл, помолчав.

Ну как куда? Прямиком на Ричмонд, а там дальше... По мне так хоть на северный полюс. Всегда в дороге, всегда на марше — это же новый образ жизни! Хотя, в общем-то, не такой уж и новый. Идешь и берешь, что нужно, по дороге. Как лев в пустыне или как орел в горах; стервятники — они ведь тоже Божьи твари, не забыл? Пусть нам дана власть над ними, но не вредно и у них кой-чему научиться. Признаться, меня никогда не тянуло так пустить корни, чтобы каждое утро один и тот же вид за окошком и одна и та же женщина каждую ночь в постели. Такая жизнь подобает только мертвым в могилах, — подытожил Арли под раздающиеся сзади судорожные вздохи, немилосердную божбу и просьбы дать ну хоть один глоток воды. Такое вот было теплое декабрьское утро.

Домик, выбранный Сбреде для полевого госпиталя, стоял заброшенный. Входная дверь качалась на одной петле. Стекла выбиты. На первом этаже всего две комнаты, вернее, комната и кухня. На втором две спаленки — тесные, низко притиснутые наклонной крышей и раскаленные солнцем.

Под операционную Сбреде избрал комнату внизу. Санитары вынесли всю мебель вон и за считаные минуты соорудили два стола, застелили простынями, натаскали из колодца воды и, открыв ящик с оборудованием, разложили хирургические инструменты.

На дворе из санитарных карет выгружали привезенных. Раненых поместили на тюфяках у входной двери в тени огромного дуба. Вокруг разъезжали кавалеристы, проверяли окрестности, особенно лес позади дома, затем выставили посты.

Эмили оставалась с ранеными снаружи, стараясь устроить их поудобнее, пока они ожидают хирургической помощи. Когда на операцию понесли мальчишку-барабанщика, она двинулась следом, шла рядом с носилками, держа его за руку. Ладошка маленькая, мягкая. Он лежал тихо, лишь в глазах застыл страх, но когда его положили на стол и кто-то из санитаров Сбреде подступил к его брюкам с ножницами, он запищал, задергался, пытаясь подняться, стал биться и кричать, брыкаясь точно мустанг, как со смешком заметил кто-то из медиков.

Эмили в тот момент подумалось, что она сама на месте мальчика вела бы себя так же. Солдаты тоже часто начинают биться и дергаться при виде хирурга с инструментами, но в данном случае почему-то главным в происходящем казалось то, что санитары насильно навязывают свою волю. И впрямь: только ли в возрасте мальчика тут дело? Санитары, конечно, выполняют свою работу, однако, сама не понимая почему, Эмили почувствовала необходимость остановить их. Тут она еще раз бросила взгляд на иска-

женное страданием лицо ребенка, и ее внезапно осенило. Нет, нет! Стойте, погодите, — воскликнула она и заслонила собою стол от санитаров.

В дальнем конце комнаты Сбреде с несколькими ассистентами занимался другим пациентом. Всем своим видом он демонстрировал сосредоточенность, поощряя Эмили к самостоятельному принятию решений. К тому времени она уже завоевала уважение у военных медиков, что лишь частично объяснялось ее серьезностью и преданностью работе. Властью, которой она в тот момент воспользовалась, наделяло ее прежде всего отношение к ней самого Сбреде; так или иначе, но она велела отнести пациента наверх. И принесите полотенце и таз с водой, — приказала она.

Оставшись наедине с Перл, Эмили Томпсон сняла с нее брюки и смыла кровь с ее ноги.

Ты знаешь, отчего это?

Да, мэм.

Это у тебя впервые?

А-га.

Тебе не больно?

Не-а.

Этого ведь не стоит бояться, правда?

Чтобы Перл забоялась, такого маловато будет!

Верю, верю, — сказала Эмили, глядя ей в глаза.

И две женщины обменялись улыбками.

XIII

Шерман навел подзорную трубу на форт Макаллистер, охранявший Саванну с юга, — грозно вздымающееся земляное сооружение с бруствером сверху и рвом вокруг, подступы к которому преграждали засеки из поваленных дубов, да еще и рогатки против кавалерии с затесанными и остро отточенными концами. Вечерело. Вдвоем с Моррисоном, своим офицером связи, он стоял на крыше мельницы близ левого берега Огичи в одной или двух милях от форта. Над ними в наскоро сооруженном саперами "вороньем гнезде" находился сигнальщик Моррисона, поддерживавший связь с эскадрой адмирала Дальгрена, стоявшей на якорях в проливе Оссабо. Так что флот был тут как тут — с обмундированием и обувкой, провизией и письмами из дома, которых солдаты с нетерпением дожидались уже много недель. Но подняться по реке флот не мог, пока форт в руках у мятежников.

Охватившие осажденный город широкой дугой с юга и запада Четырнадцатый, Двадцатый, Семнадцатый и Пятнадцатый корпуса шермановских войск сидели по уши в болоте, их окопы моментально заплывали водой и песчаной жижей. Люди страдали от холода, были голодны и несчастны — да еще после марша по пустынным песчаным землям, затем уступившим место затопленным рисовым полям, где и провизии не достать! Чтобы не навлечь на себя обстрел картечью из пушек форта, нельзя было греться, разводя костры. Обоз с галетами, кофе и мясным скотом отстал на много миль, да и нельзя ему было лезть в это холодное залитое водой болото, покуда не взят город.

На штурм форта Макаллистер пойдете вы с вашей дивизией, — сказал Шерман генералу Хейзену. — И шуток шутить я тут не намерен. Пройдя весь этот путь, моя армия жаждет награды. Возьмем форт Макаллистер, и Саванна будет наша!

И вот он уже следит за тем, как полки Хейзена выдвигаются из леса и занимают позиции на опушке. Сигнальте адмиралу Дальгрену, что штурм уже скоро, — сказал Шерман. Потом приказал Хейзену начинать. Да, пора начинать, пора начинать, — задумчиво бормотал себе под нос Шерман.

В считаные минуты синемундирные шеренги парадным шагом вышли на край поля, и наступление началось — солдаты перешли на бег, взяв оружие наизготовку, и под вечерним солнцем ринулись через открытое пространство к форту, до которого было ярдов восемьсот. Артиллерия мятежников, состоявшая из старых "наполеонов"[1], тут же принялась обстреливать их круглыми двадцатифунтовыми ядрами. Шеренги смыкались к тому времени уже с трех сторон — с севера, с юга и по главному направлению; в бой шли с развернутыми знаменами. Мой бог, они великолепны! — вскричал Шерман. Через короткое время все, как туманом, заволокло дымом пушечной пальбы; ветер донес Шерману едкий запашок черного пороха. И теперь лишь своенравный ветер изредка позволял ему видеть отдельные эпизоды сражения в кратких дразнящих прорехах дыма; этот дым, как ему подумалось, — словно полупрозрачная вуаль танцующей богини войны. И я обольщен ею, — вслух произнес Шерман к вящему недоумению Моррисона.

Но даже по этим кратким эпизодам судя, Шерман вновь и вновь убеждался, что штурм будет удачен. Мятежники оставили в поле поваленные деревья — что ж, теперь за ними укрывались его бойцы и оттуда вели обстрел. А пушки-то у мятежников без щитков — значит, его снайперы артиллеристов скоро перестреляют! Вслушавшись, он заметил, что темп стрельбы, похоже, замедляется. Белый дым битвы стал редеть, и вот он уже видит своих солдат: вылезая из рва, они карабкаются на передний скат бруствера, некоторые подрываются на закопанных там подземных минах. Но тут же подходят новые синемундирные шеренги, их больше и больше, и бруствер взят. Видно, как идет рукопашная схватка. Шерман даже опустил трубу: следовало унять волнение. Он любил храбрых. Ну вот же — у него их целые полки! Радость переполняла, от нее перехватывало горло.

Сколько прошло с того момента — десять? двадцать минут? — и уже капитан Моррисон кричит: Форт наш, сэр, я вижу флаг! И действительно: канонада разом утихла, и по всей округе прокатилось мощное "ура". В подзорную трубу Шерман увидел, что солдаты машут шапками и палят из мушкетов в небо.

Когда Шерман прибыл в форт, уже стемнело. Он осмотрел его и похвалил захваченного вместе с фортом коменданта, молодого майора, который признал, что не ожидал нападения в столь поздний час.

1. "Наполеоны" — стрелявшие ядрами, гладкоствольные и, как правило, бронзовые пушки еще наполеоновской эпохи, широко употреблявшиеся во время Гражданской войны.

Взошла луна, осветив бледным холодным светом убитых, которые лежали там, где их застигла смерть. Однако не только мертвые валялись прямо под открытым небом. Солдаты Шермана в погребах форта нашли провизию и вино, они отпраздновали победу и теперь спали.

Сидя на бочке по-турецки с сигарой в одной руке и чашей вина в другой, Шерман рассуждал о том, как же просто воспринимают его люди смерть, если могут преспокойно располагаться рядом с мертвецами на отдых. Что называется, все уснули, при этом некоторые навсегда. Он даже не заметил, как денщик Мозес Браун набросил ему на плечи шинель. Мысль генерала развивалась так: Что, если мертвые видят сны, подобно спящим? Откуда нам знать, что нет посмертного сознания? Что смерть это не сон, от которого мертвым никак не проснуться, и они заперты в уродливой вселенной, полной смутного ужаса, вроде того, какой испытываю я, когда мне снятся кошмары.

Страшиться смерти стоит лишь в случае, если она не есть неощутимый и окончательный конец сознания. Только в этом случае можно бояться смерти. На самом деле мы не знаем, что́ есть смерть — помимо бездны унижения, конечно. Нам не дано ее постичь. Как офицер, как командующий, я воспринимаю смерть одного из моих солдат прежде всего как количественную потерю, как еще одну запись в графе убытков. Никак иначе я описать ее не могу. Смерть я представляю себе утилитарно — моя способность вести войну становится на единицу меньше. Когда в первые годы войны мы несли тяжелые потери в живой силе, президент потребовал просто призвать в армию еще триста тысяч человек. Вряд ли после этого можно говорить о его, президента, глубоком понимании смерти.

Каждый человек живет своей отдельной жизнью, он наделен духом, привычным строем мысли, внешним обликом — эти вещи характеризуют его, но в массе все это нивелируется. И что бы он ни думал о себе, я воспринимаю его как оружие. Солдата мы можем называть рядовым, вольноопределяющимся, но, что бы он ни мнил о себе, как бы сам с собой ни определялся, для командира проку в этом нет. Так что, становясь командующим, генерал волей-неволей умеряет свое воображение.

Но и солдаты тоже — вот они сражались, ели, пили, затем в момент совершенно оправданного самодовольства их сразил сон... Что их воображение говорит им о смерти, когда они спят с нею в обнимку? Им ее смысл внятен не более чем мне.

Так, всех перебрали. А дамы? Ну, дамы, может, что и знают. Они в этот мир приносят жизнь, может, они и о загробной жизни как-то осведомлены. Но в основном они талдычат про рай и ад. Я не доверяю таким понятиям как рай и ад. Судьба? На войне судьба абсолютно случайна. То есть, конечно, нет ничего ужаснее судьбы того, кто поднимет голову, выставив ее на пути пушечного ядра. Взять хотя бы ниггера, которого убили позавчера в неполных десяти ярдах от меня, на рельсах, а я ведь видел, как летит ядро — пудовый чугунный шар, — и я крикнул ему, но он не туда шагнул, а ядро отскочило от земли и снесло ему башку. И не говорите мне про судьбу. В воздухе летает слишком много всяких железок, чтобы гибель от одной из них можно было считать судьбой. К тому же

многие, когда идут драться, уже не считают свою смерть чем-то таким уж важным.

В этой войне одних штатов с другими какие-то резоны, здравый смысл — тьфу! Если смерть ничего не значит, что может значить жизнь?

Но я, конечно, не могу всерьез так считать, иначе сойду с ума. Уилли, мой сынишка Уилли! О, сын мой, сын, как я скажу, что его жизнь ничего для меня не значила? И мысль о том, что его тело лежит в могиле, ужасает меня ничуть не меньше оттого, что я, скажем, не считаю, будто бы он заперт во снах как в гробу. Эта мысль... ммм — нет, она невыносима. В любом случае.

Именно страх моей собственной смерти, чем бы она ни оказалась, заставляет меня употребить все силы, чтобы эта смертоносная война, которую я веду, дала мне бессмертие. И тогда я буду вечно жить в грядущих поколениях.

Ну вот мы и вернулись на круги своя; зато теперь этот мир со всеми его верованиями и предрассудками — щелк! — стал на место. Н-да. Значит, думать надо о том, как взять Саванну. Я окружу ее и потребую сдачи. Мои доводы вески. Боеспособность велика. То, что я делаю, я делаю хорошо. И помоги мне Бог, но я страсть до чего люблю, когда меня хвалят в верхах и чтят сограждане.

Есть люди и есть нации, есть добро и есть зло. Есть Соединенные Штаты. Их союз должен выстоять.

Шерман допил вино и швырнул чашу за бруствер. Слез с бочки, встал около нее, качнулся. Туда глянул, сюда... Ночь. Луна. Но где же мой юный барабанщик? — осведомился он.

XIV

Первым городом в жизни Перл оказался Милледжвиль, но он не был по-настоящему большим городом, как эта Саванна, где повсюду скверики с красивыми чугунными оградами, за которыми бьют фонтаны и высятся огромные виргинские дубы, обросшие бородами мха, где величественные здания суда, таможни, а в гавани корабли. Правда, некоторые из булыжных мостовых разобрали, а из камней соорудили на углах улиц баррикады, чтобы за ними могли укрываться солдаты Конфедерации, но баррикады так и не использовали. Солдаты Конфедерации в спешке бежали на противоположный берег реки Саванны, отложив сражение на другой раз. В районе порта располагались лавки и склады, куда уже вовсю загружали провиант федералы. Сияло солнце, и Перл разъезжала по городу (в таком же экипаже как у Джеймсонов, между прочим!) с мисс Эмили и теми двумя ездовыми санитарного фургона — помните? — заодно выступавшими в роли их охраны. Чуть не каждый день шли какие-то парады, вот и теперь их коляска стояла на углу в ожидании, пока пройдет шествие. Перл встала посмотреть и, схватив мисс Эмили за руку, дергала, тянула, наконец та тоже поднялась на ноги и засмотрелась. Какая играла музыка, какую дробь рассыпали военные барабаны! Перл и мечтать не могла изобразить что-либо подобное, неуклюже бахая палкой на счет раз-два; медные горны бросали в глаза блики солнца, словно делая зримыми собственные выкрики, флейты и пикколо свиристели и

чирикали, будто порхающие в воздухе птицы, на низах басовито ухали и крякали тубы, и всему этому давал опору гром больших барабанов, возвещающих появление строгих каре из синемундирных блистательных бойцов, одетых по-парадному. И везде флаги, флаги, флаги США!

Джон Браун телом под землей и весь в червях,
Джон Браун телом под землей и весь в червях,
Джон Браун телом под землей и весь в червях,
Но как живой он сеет страх!
Слава в вышних, аллилуйя!
Слава, слава, аллилуйя!
Слава Богу, аллилуйя,
Что как живой он сеет страх!

Джон Браун помер — со святыми упокой!
Джон Браун помер — со святыми упокой!
Джон Браун помер — со святыми упокой —
И вдруг вернулся к нам живой!
Слава в вышних, аллилуйя!
Слава, слава, аллилуйя!
Слава Богу, аллилуйя,
Что он вернулся к нам живой!

Сквозь музыку слышалась поступь марширующих — мерный негромкий звук, который и после того, как оркестр ушел далеко вперед, не умолкал окончательно, потому что мимо шли все новые и новые синемундирные роты, ритм их шагов был негромок, он успокаивал, баюкал и, если бы не бодрящие возгласы идущих сбоку сержантов с флажками, мог даже навеять грусть: ведь эти люди с винтовками на плечах, столь демонстративно празднующие победу, на ее взгляд были такими же подневольными, какой прежде была она, — ну разве что, может, не от рождения.

Посмотреть на парад собрались толпы людей по обе стороны проспекта. На дальней от Перл стороне была Вильма; она вдруг схватила Колхауса Уокера за руку, потащила прочь. Забежали за кованую чугунную калитку и оказались во дворе особняка с мансардной крышей; у кустов живой изгороди остановились.

Что случилось, мисс Вильма? — спросил он своим мягким, глубоким голосом.

Она ничего не могла вымолвить, стояла с закрытыми глазами, качала головой, прижимая ко рту кулак.

Скажи мне! — настаивал он.

Это мисс Эмили, — в конце концов отозвалась она. — Дочь судьи Томпсона, который был моим владельцем. Посмотри на нее, но чтобы она не увидела. Вон она — в экипаже с двумя солдатами на козлах, и с ней еще одна белая девушка. Видишь?

Он выглянул поверх подстриженных кустов. Нет, мэм. Парад кончился, все разъезжаются. — Повернувшись, он улыбнулся ей. — Потом, опять-таки, ты же свободна, забыла, что ли?

Вильма ударилась в слезы. Он обнял ее. Ну, ну! Мы уже так далеко продвинулись! Ты молодец, ты сильная, шла сквозь дождь и холод, да и поесть, бывало, по несколько дней не удавалось, но я ни разу не видел, чтобы ты лила слезы. А сейчас, когда худшее позади, когда сияет солнце и мы гуляем по освобожденному городу, ты прямо как обычная глупая девчонка — плачешь по пустякам. Он усмехнулся.

Прости, Вильма, — устыдился он усмешки, но тут и она засмеялась сквозь слезы, дрожащие на ресницах.

В этот момент с крыльца спустилась женщина с собачкой на поводке и на них уставилась. Смутившись, они вышли, затворив за собой калитку, и пошли прочь, держась за руки.

Он прав, конечно, он прав, да и вообще он отличный парень. Вытащил ее из реки и взял под свою защиту. А какой сильный! Таких сильных мужчин она не видывала в жизни. Записался в саперную роту и обеспечивает продвижение армии — валит деревья, а во время дождей бревнами мостит дороги. Она видела, как он однажды выдрал из полотна железнодорожный рельс — только скрепы в разные стороны посыпались да мышцы рук и плеч от усилия напряглись и заходили под великолепной кожей, на груди влажно заблестевшей под солнцем, а потом он повернулся, и, заметив, как испещрена его спина глубокими шрамами, она так и ахнула, стала спрашивать, но он отмахнулся. Такой красивый! А особенно красива его черная-черная кожа, которая при свете солнца аж синевой отдает.

С тех пор как Господь сподобил их встретиться, он в течение всего похода умудрялся и службу нести исправно, и о ней заботиться — где-то находил для нее сухую одежду, добыл армейскую шинель для тепла, делился продовольственным пайком, когда самому что-то давали; старался, поелику возможно, держаться с нею рядом, а если нельзя, то устраивал ее к знакомым неграм, чтобы была в безопасности. Оказалось, что они ровесники — обоим по двадцать два, но он был от природы восторженным оптимистом, фонтанировал идеями об их прекрасном совместном будущем, она же чувствовала себя в сравнении с ним взрослой, хотя и училась у него этой его готовности к надежде.

Однако город, которому он так радовался, ей внушал массу опасений. Они все еще были черными в мире белых. Колхаусу заплатили несколько долларов солдатского жалованья, но торговцы в лавках так задирали цены, словно это были конфедератские бумажки. А он всего-то и хотел — пару сладких картофелин! Да ладно, не надо, — отговаривала его она, — уж обойдусь я! Еще ее беспокоило, что его рота, насколько ей было известно, стоит за городом, среди рисовых полей, а он тут фланирует с нею по улицам, как человек, свободный от всего, в том числе и от армии, да еще и без увольнительной записки, которую должен был получить у офицера. То есть была в нем и некоторая бесшабашность, так что все это веселье грозило бедой — вот почему она непрестанно оглядывалась и озиралась: пыталась предугадать и предотвратить опасность.

Вот что́, например, он сейчас затеял? Схватил на заднем дворе какой-то лавки здоровенную пустую корзину, и рот до ушей — пошли, говорит, на реку! Мисс Вильма, — говорит, — мы с тобой сейчас так позавтракаем! Странный какой-то: снимает башмаки, китель, закатывает штаны

до колен — и по камешкам, по камешкам... Потом опустился на корточки, принялся шарить под водой, а в конце концов и вовсе плюхнулся в холодную речную воду.

Вот таким образом у Вильмы Джонс, выросшей вдали от всякой воды, произошло знакомство с устрицами. Когда Колхаус Уокер вылез на берег, в его корзине их было не меньше пуда. С него текло ручьями, он дрожал, но счастливо улыбался. Они уселись на согретый солнышком плоский камень, Колхаус раскрывал раковины ножом и глотал устрицы сырыми, резко откидывая голову назад. Ей, впрочем, сырыми они не пришлись по вкусу, и парочка двинулась дальше, плутая по переулкам между домами и конюшнями, пока им не попалась какая-то кухня, где хозяйничали черные, и там Вильме разрешили воспользоваться очагом.

Ну, тут Вильма была в своей стихии. Она поджарила устриц на сковородке в собственном соку, добавив самую малость кукурузного масла, и день из полного тревог превратился в настоящий праздник, проведенный с людьми, которых она никогда бы не узнала, если бы не рождественские праздники в освобожденной Саванне. Ее стряпню ели все, и к устрицам даже нашелся настоящий хлеб.

Тут Колхаус снова удивил ее тем, что взял банджо, ударил по струнам и запел своим глубоким голосом старинную песню. Оказывается, он и это умеет. Собравшиеся отбивали такт, хлопая в ладоши, а какой-то мальчишка вскочил и пустился в пляс. Вокруг нее были друзья, пускай она их едва знала, даже имен толком не расслышала и, может быть, никогда больше их не увидит; некоторые все еще работали там же, где были рабами, но что-то в них появилось совсем новое — она подозревала, что и в ней это тоже начинает проступать, — что-то такое радостное, чего белому человеку и не понять даже. И как-то все это в ее сознании связывалось с обаянием Колхауса Уокера, с тем, как он умеет вызывать в окружающих чувство радости и полноты жизни.

Приходит в спальню муженек,
Раздул в камине свет
И видит — рослый паренек,
Где быть ему не след.
— Эй, женка, что за штуки, — жене он говорит, —
Откуда этот парень, зачем он тут лежит?
— Ах, дуралей беспутный! Протри глаза скорей!
То новая подушка от матери моей.
— Так много я изъездил, немало повидал —
Подушки с бородою ни разу не встречал![1]

В компании, собравшейся на кухне, были молодые девчонки, и Вильма по их глазам видела, о чем они думают, поэтому из поля зрения его не выпускала. То ли по природной своей вдумчивости, то ли благодаря воспитанию в доме судьи Томпсона, где она научилась не только многое делать по хозяйству, но и кой-чего понимать, Вильма сознавала: она, конечно, девушка симпатичная, но Колхауса Уокера прилепиться к

1. Шотландская народная песня (перевод В. В. Каррика).

ней заставило не это, а единственно ее порядочность и благоразумие; ну... то, что она умеет читать и писать, тоже, конечно, не мешает, а вот спать с ним она ляжет не раньше, чем они станут законными мужем и женой, и никак не иначе. Это ее условие он принял, и в глубине души она знала, что беспокоиться ей не о чем, потому что она именно та, кого он всегда искал. В ту ночь после объятий и поцелуев (не вполне, заметим, невинных) они заснули на сеновале, а утром она рассказала ему о своей идее. Он снова сходил к реке, а в полдень она уже стояла на одной из городских площадей за самодельным прилавком (кругом военные, военные, и солнце на синем небе — блеск!) и жарила устриц на огне, который Колхаус развел в обрезке железной бочки. Колхаус упаковывал товар в аккуратные газетные кульки и зычно выкрикивал шутки-прибаутки, завлекая покупателей. Лучшие в мире свежие жареные устрицы! — кричал он, и они продавали разложенный по кулькам его улов солдатам и даже офицерам, а под конец и *суржикам* – так они называли между собой инсургентов и симпатизирующих им местных жителей, которым явно не нравилось, что город захвачен северянами, этими неотесанными янки, но устрицы, поджаренные так, как это делала она, им понравились. Таким манером они с Колхаусом продали своего товара целых три больших корзины и к наступлению темноты оказались обладателями тринадцати долларов США!

Я их попридержу, — сказала Вильма, повернулась к нему спиной и, задрав подол юбки, заткнула сложенные банкноты за поясок панталон.

Новую обувку Арли и Уилл получили без проблем — постояли немного в очереди, и, когда добрались до интенданта, оставалось только предъявить ноги. С жалованьем дело другое, его давали по спискам полков. Имена сверяли со списками казначеи.

Ну, что на сей раз нам посоветует сделать твой Господь? — спросил Уилл, глядя на свои ноги в новых заскорузлых башмаках. Они давили на пальцы, а верх задника уже начинал натирать щиколотку.

Он советует набраться терпения, и я что-нибудь придумаю, — ответил Арли.

Они получили от Сарториуса увольнительную, только чтобы заменить обмундирование, однако не слишком торопились возвращаться в военный госпиталь Саванны, где их начальник получил в свое распоряжение одну из операционных. Город был сдан без боя, поэтому большой нужды гонять туда-сюда санитарные кареты не возникало, и друзей перевели в младший медперсонал, то есть теперь им приходилось убирать за больными, выносить горшки и выполнять прочую столь же приятную работенку.

Вот ковыляют они в новых неразношенных башмаках, и самим себя жалко. Кажется, у всех до единого солдат-северян в кармане увольнительная на целый день и полным-полно денег. А какой базар развели они из-за почты! Корабли привезли ее тонны, и день-деньской все были заняты одним — читали письма из дому. Арли сказал, что, когда взрослые мужчины так себя ведут, это жалкое зрелище. Но Уилл был втайне с ним не согласен — он вовсе бы не отказался получить от кого-нибудь письмишко. А не получают они с Арли писем просто потому, что во всей

вселенной нет никого, кому было бы небезразлично, кто они, где и что с ними.

Вдруг их чуть не смела с тротуара компания бородатых вояк, изрядно пьяных, которые, весело болтая, очень куда-то рвались, спешили, шагали, временами срываясь на бег. Э-э! — окрысился Уилл. Зато Арли наоборот — очень заинтересовался. Сделал знак Уиллу, и они припустили за компанией следом. Вояки привели их в район порта, где на Чарльстон-стрит оказался дом — точнее, даже два соединенных вместе двухэтажных кирпичных здания, — где каждое окно было витриной, а в каждой витрине стояла женщина и зазывно улыбалась.

В дверях вооруженные часовые. Но полупьяные вояки плевать хотели на часовых, и те благоразумно расступились, пропустив компанию в двери — да двери-то еще богатые какие: первые! за ними вторые! а там, похоже, еще одни виднеются! Охранники переглянулись, посмотрели опасливо в одну сторону, в другую, да и зашли туда же сами.

На глазах у Арли с Уиллом женщины потихоньку из витрин исчезали. Ну, это уже издевательство! — сказал Арли, когда некая особенно соблазнительная дева в окне второго этажа поглядела оттуда прямо ему в глаза, да еще и рукой поманила, а потом взяла и сама исчезла. Издевательство, — повторил Арли, — причем и над девушкой тоже, потому что она в меня влюбилась!

Вдвоем они стояли на пустой улице и даже сквозь кирпичную стену слышали, как шумит, буйствует внутри веселье.

Уилл втайне радовался, что у них нет денег. Глядеть на женщин в окнах ему было неловко: казалось, одним тем, что он стоит тут и думает о том, о чем думает, он уже пачкает светлый образ прекрасной сердобольной санитарки мисс Эмили Томпсон. И не важно, что та его знать не знает, не говоря уж о его чувствах к ней, все равно, даже только глядя на этих блядей, он предает ее. Ну, короче! — сказал он. — Валим отсюда.

Арли вынул из кармана сигарный хабарик и прикурил. Вдобавок ко всем моим способностям, милый мальчик, Господь дал мне силу духа. Дал настоящие мужские потроха. Я из тех, что принимают вызов, и плевать, кто против меня — расстрельная команда или целая армия, пусть попробуют лишить меня естественного права на самовыражение! Они поплелись обратно. Я же настоящий мастер выживания! — воскликнул Арли. — Неужто, употребив маленькую толику таланта, за счет которого я выживаю всю войну, я не добуду каких-нибудь паршивых пары долларов?

Да это же всего лишь блядь поганая, — сказал Уилл.

Нет, сэр, вы не правы. Когда на поле брани вокруг моей головы со свистом летала картечь, я думал исключительно о том, чтобы остаться в живых. Это стало у меня как *инк-стинк*! Если бы я погиб, меня замучило бы чувство вины перед спасшимися. А теперь мной овладел другой *инк-стинк*. Загнать человека в окоп это одно дело, а пустить по городу, где женщины на каждом шагу, — совсем другое. Но *инк-стинк* — абсолютно той же силы! Выживание в чистом виде. В обоих случаях.

Да ну, с блядью-то, поди, как раз и не выживешь, — усомнился Уилл. — Вот, не далее как сегодня: видел я в госпитале, до чего доводит общение с блядями. Да ты и сам видел — мужику ртуть пол-лица съела.

Да у тебя, небось, никогда не было женщины, а?

Уилл промолчал.

Ну брось, во надулся! — ты ж еще пацан! Хотя я, надо сказать... у-у, мне еще и тринадцати не было, когда одна добрая леди сводила меня за сарай. А тебе сколько сейчас?.. Да всё, всё, всё, я даже не буду спрашивать, где ты учился и как жил. И так понятно, что тебя всю дорогу опекали как маленького, и, наверное, какой-нибудь учитель мозги запудрил, поэтому — то есть из-за того, что тебя держали в вате и ты никогда не был с женщиной, — ты и несешь полнейшую хрень. Просто ты не знаешь ничего о той мягонькой, божественной дырочке, что у них между ногами. О господи, это ж подумать только... Ну-ка давай присядем на минутку; вон скамейка. Уилл смотрел, как сквозь космы мха, свисающие с ветвей дуба, просвечивает заходящее солнце. Арли заговорил опять: Если за что-то и стоит воевать, то не за спасение всяких там республик и федераций, и уж конечно не за освобождение ниггеров, а исключительно ради того, чтобы заиметь свою женщину, — да пусть даже чужую, но чтобы в койке и в полном твоем распоряжении. Ты пойми: это и есть выживание, высшая степень выживания, малолетний ты наш, выживание, плавно переходящее в бессмертие, потому что, хоть ты и покидаешь этот мир, но вещество, исторгнутое из твоих чресел, позволит сотворить того, кто и выглядит как ты, и говорит как ты, и думает как ты, да он и *есть* ты — и так из поколения в поколение. А порядок Бог придумал такой: к концу дня идешь домой, быстренько перековываешь там орало на ныряло и после доброго горячего обеда тащишь ее в спальню — эту, ну, ты понял: чудное созданье, Богом данную тебе супругу; срываешь с нее платье, потом сорочку, корсет и что там еще на нее наверчено, пока не останутся голые ноги, груди, живот и зад к полному твоему обалдению и обладанию... О господи! А когда ныряешь в нее, проникаешь во все ее глубины так, что она тебе в ухо криком кричит, — тут уж точно: чувствуешь, что нет на всем белом свете ничего мягче, теплее и слаще того, чем она сжимает твой задубелый инструмент, и Бог распорядился так, что тебе положено брызнуть, содрогнуться и истечь в нее тем, что произвели твои чресла, так что знаешь, дорогой мой, не говори мне о том, о чем не имеешь понятия. А если девушки из этого борделя, которых ты так злобно оклеветал, не могут дать и половины той услады, о которой я только что говорил тебе, то помни, пожалуйста, что даже и тогда они такие же благородные южанки, как и твоя мисс Эмили Томпсон, которая — вот Богом тебе клянусь! — если ее в таком же качестве опробовать, окажется ничуть не слаще, чем самая страшненькая блядчонка из заведения в порту.

Сидя в раздумье о том, как друг злобно оклеветал благородных южанок, Уилл вдруг осознал, что до слуха его явственно доносится пение церковных гимнов. Арли тоже услышал. Вскочил. Бог говорил, что мне воздастся. Так вот же оно!

Схватив Уилла за локоть, Арли повлек его за собой; покружив по улицам, нашли церковь. То была Первая баптистская, высоко вознесшая царственный гранит своих стен над всем кварталом. Двери распахнуты, и несшееся оттуда пение, казалось, полнило собой всю дубраву прилегающего парка. Друзья поднялись на паперть и оказались среди солдат, столпившихся в притворе. Извиняюсь, — протискиваясь, повто-

рял Арли, — простите... пардон... виноват... Только бы не опоздать, — шепнул он ничего не понимающему Уиллу, который послушно пробивался следом. Дойдя примерно до половины нефа, Арли углядел на середине одной из скамей свободное местечко. Извиняюсь, братишка, дай-ка мы просочимся, прости, бога ради, — бормотал он, одаривая благочестивыми улыбками тех, кому новыми башмаками наступал на ноги. И вот они уже сидят в самой середине и даже держат в руках тексты гимнов. В толпе прихожан преобладал синий цвет армейской формы, хотя попадались и гражданские. Но хор был чисто солдатский, мужской, мощный; не очень попадая в ноты, зато очень пылко и яростно, поющие на разные голоса призывали друг друга молиться, но почему-то не здесь и сейчас, а предварительно спустившись для этого к реке:

...И-и-э что у меня... в ру-ке?
Ру-ука моего... брата-воителя.
Ку-уда мы пойдем?.. К ре-ке!
Мо-олиться и петь, славить Спасителя.
Как тихо бежит вода!
Грехи назовем, вместе покаемся!
Так куда мы идем?.. Туда,
Где Духом Святым все напитаемся...

В церкви Уилл всегда начинал нервничать; повелось это, должно быть, еще с детства, когда он, хоть и клоп еще мелкий, а заметил, что мама и папа в церкви становятся как сами не свои — ну не узнать людей: то всю неделю пили и дрались, а тут... Он не понимал, зачем люди ходят в церковь — ну, кроме того только, что они там друг перед другом выделываются, притворяясь хорошими, а притворяться трудно, да и вдруг раскусят? (Вот эта возможность разоблачения его как раз и пугала.) С тех пор возникшая в детстве мысль с ним вместе выросла и усложнилась, так что сейчас, оглядываясь по сторонам и видя все те же разинутые рты и остекленевшие глаза поющих, он понимал, что хорошими они, конечно, притворяются, однако не только: они действительно хотят быть лучше, но утешаться этим не стоит, потому что война это война, а значит, что бы они там ни хотели (или думали, что хотят), делать будут все равно то, что делали всегда, то есть не мытьем, так катаньем найдут способ согрешить перед Господом, а потом пойдут снова в церковь, покаются, купят себе некое подобие искупления, на время очистятся, потом опять нагромоздят грехов, вернутся внести очередной взнос покаяния, и так по кругу. По логике вещей, — думал про себя Уилл, — этой армии янки имело бы смысл завести себе свою, какую-то особенную церковь и возить ее на собственном горбу, потому что поди знай — то ли они церковь сожгут, то ли пойдут туда каяться. Уж ходили бы и впрямь, что ли, к реке... Господи, помилуй меня, — без перехода подумал Уилл, совершенно не чувствуя никакого внутреннего противоречия, — прости меня и помилуй, но не могу я полностью примкнуть и к рабовладельцам, среди которых мне привелось родиться. Не знаю ничего и никого, к кому я мог бы прилепиться сердцем, кроме, пожалуй, одной мисс Эмили Томпсон.

Когда гимн спели, орган заиграл тихо-тихо и по рядам пустили блюдо для пожертвований. Уилл забеспокоился: у него не было ни цента, а ведь надо же приличие соблюсти! Но тут он глянул туда, где стоял церковный староста, передававший блюдо крайнему на скамье прихожанину, увидел, как в него кладут монеты и даже ассигнации, и, приняв во внимание тот факт, что не он, а именно Арли озаботился пробиться сюда, на самую середину скамьи, уже не удивился тому, что произошло, когда блюдо коснулось его пальцев, — он словно знал заранее: Арли ударит по блюду снизу, оно с деньгами вместе взлетит в воздух, Уилл с Арли тут же бухнутся на четвереньки и начнут, стукаясь головами о спинку впереди стоящей скамьи, собирать монеты и ассигнации и класть обратно на блюдо, но не все, не все! Встали; сердитый староста хмурится в проходе у конца скамьи, вокруг качают головами и хихикают солдаты: нет, вы только гляньте на этих олухов криволапых! К себе Уилл мог отнести это полностью, тогда как Арли всю сцену ловко подстроил; потом таинство сбора пожертвований плавно потекло дальше, орган трубными звуками негромко и уважительно славил имя Господне, а они сидели себе, глядя прямо перед собой, — обычные такие два красные от смущения прихожанина, которые ждут не дождутся, когда кончится служба, потому что в кармане завелись шальные деньжата и надо срочно мчаться к проституткам на Чарльстон-стрит.

В военном госпитале Сбреде Сарториусу отвели операционную и палаты первого этажа; в этой роскоши он, много недель промучившись в полевых условиях, просто отдыхал. Но Эмили было не до отдыха. Из двадцати коек отделения половина была занята солдатами армии Конфедерации. Безнадежными — умирающими от ран или болезней. Ужасный запах в помещении не исчез, даже когда она велела открыть все окна и проветрить. Кроме того, вследствие блокады города в госпитале не хватало простейших вещей — например, бинтов. Кончилась каломель, не было хлороформа. Отсутствовали рвотные, нашатырь, наркотики. Так что госпиталь приходилось снабжать из армейских запасов. Между прочим, то, что армия стояла в Саванне на отдыхе, не означало уменьшения потока пациентов. Люди простужались, да и бронхиты, полученные во время осады города, давали себя знать — ведь сидели по уши в болоте, переодеться не во что, голод, невозможность разводить костры... Причем приходили они уже в таком состоянии, что едва держались на ногах. Кроме того, произошел всеобщий спад воинской дисциплины, солдаты, шатаясь по городу, пьянствовали, дрались, наносили друг другу увечья и являлись в госпиталь под утро в непотребном виде. И госпиталь в культурном до той поры городе Саванне теперь больше напоминал дурдом. Дело усугублялось еще и нехваткой персонала. У Сарториуса не было ассистента. Трое полковых санитаров заболели. Двое — пневмонией, третий слег с болотной лихорадкой. Поэтому к работе в госпитале кроме Эмили и двоих освобожденных из лагеря в Миллене привлекли и малышку Перл, которую определили кастеляншей — заведовать простынями и полотенцами и сворачивать рулонами бинты.

Но где же эти два оболтуса? Умудряются отсутствовать именно тогда, когда больше всего нужны!

От Сбреде Эмили уже знала, что он с первого взгляда, еще в Миллене, понял: они не те, за кого себя выдают. Не может быть, чтобы они си-

дели в сырой земляной норе, пусть даже недолго. Никаких следов голода. Ясные глаза. Здоровая кожа, розовые ногти, да и бородами не обросли.

Подозреваю, что это шпионы, — сказал Сбреде.

Шпионы? — Это ее поразило. Ей казалось, что один из них — Уилл — очень даже симпатичный малый. Как может такой приятный мальчик быть шпионом?

Подобных проходимцев на полях войны полно. Хаос. Неразбериха. Говорят, будто они из какого-то там полка. Правда это или нет, не знаю. И не хочу знать. Если они решили просочиться в медчасть, чтобы легче было избегать проверок, то они рассудили здраво. Но что они тут могут вызнать? Мою технику резекции? Да пожалуйста, бога ради! Он усмехнулся. За это пусть моют полы и выносят горшки дизентерийных больных.

О собственном своем прошлом Сбреде Сарториус много не распространялся, поэтому Эмили удивилась, когда он рассказал, что в юности отец отправил его в военное училище в Гёттинген. Где он и научился ненавидеть шагистику, субординацию и прочую армейскую иерархическую чушь. Она даже улыбнулась, так ей понравилось это его выражение — *армейская иерархическая чушь*.

Привезли гражданского — мужчину с вдавленным переломом черепа. В приемный покой его внес какой-то негр. Вообще-то в военном госпитале ему было не место, охранник не хотел их пускать, но жена пострадавшего настаивала: дескать, увечье нанес ему солдат, такой же как ты, и вообще мы отсюда не уйдем. По приказу Сбреде мужчину внесли в операционную. Выбрили голову. Подошла Эмили с салфеткой, смоченной бромом, и вымыла обнажившуюся кожу. Осторожно вытерла. Пациенту было около шестидесяти. Мускулистый и широкоплечий мужчина, но волосы на груди седые. Лицо серое. Глаза закрыты. Нижняя челюсть расслаблена, дыхание едва заметно. В черепе справа чуть выше лба эллиптическая вмятина. Эмили отступила, не отрывая глаз от операционного стола. Теперь она не отвернется, не дрогнет!

Сбреде сделал вдоль вмятины надрез ото лба к затылку и два поперечных надреза по концам, после чего раздвинул мягкие ткани в стороны, чтобы обнажить поврежденный череп. Санитар промокнул рану губкой. Осколки костей Сбреде удалил по одному щипцами. Вмятая кость была четыре сантиметра длиной. Подсоединяя трепан, закрепил скобу перфоратора на линии разлома. Это чтобы не прорезать мембрану под костью, dura mater, твердую мозговую оболочку, объяснил он Эмили. Недавно он поймал себя на том, что обучает ее, как будто она студент-медик. Эмили очень даже заметила это. Она обнаружила, что его медицинская терминология и божественная невозмутимость, с которой он взирает на всяческие ужасы, заставляет и ее тоже набираться храбрости. Она смотрела и училась.

Скобу он затянул винтом на оси трепана. Вот так, — сказал он. Эмили кивнула, несмотря на то, что Сбреде, склонившийся над пациентом, не мог ее видеть. Теперь он вращал рукоять, и корончатая фреза все глубже входила в кость, пока костный диск не оказался прорезан почти на всю толщину. Сбреде освободил крепление скобы, снял ее вместе с трепаном и фрезой. Потом поддел кость плоским лезвием и медленно отделил вырезанный диск от черепа.

Под мозговой оболочкой обнаружился огромный кровяной пузырь сине-багрового цвета. На взгляд Эмили, он походил на шляпку гриба. Гематома, — сказал Сбреде. Взял маленький скальпель с кривым лезвием и надрезал оболочку, чтобы содержимое гематомы могло вытечь наружу. Кровь убирали льняными салфетками. Теперь нельзя давить, — пояснил он. — Пока не прекратится истечение, рана должна быть прикрыта легкой льняной салфеткой и корпией. Если он выживет, — Сбреде еще раз бросил взгляд на пациента, — будет носить на этом месте свинцовую накладку, пока проем постепенно не зарастет чем-то вроде кости.

Пациента перевели в палату. Узнать его фамилию медики все еще не озаботились. Эмили приготовилась к тому, что ей придется сидеть у его постели, менять салфетки. Нет, — распорядился Сбреде. — Пусть с ним сидит вдова. Мы с тобой будем иногда заходить, помогать ей.

Вдова? — вскинула взгляд Эмили.

Сбреде мыл руки в тазу с водой. Он посмотрел на нее и улыбнулся. Улыбка вышла печальной — по его льдисто-голубым глазам было видно, какую боль причиняет ему скудость его возможностей. Мы выясним, сколько он провел времени в таком состоянии. Может статься, что мы опоздали. Он уже не молод. Такое сотрясение мозга — вещь серьезная. Он может никогда не проснуться. А если и проснется, всегда есть риск заражения. Когда инфекция попадает в мозг, мало что можно сделать. Пошли, — сказал Сбреде, — надо помочь женщине, не будем лишать ее надежды.

Выходя в приемный покой, Сбреде спросил Эмили, не забыла ли она, что сегодня сочельник. Нет, не забыла. Просто ее удивляет, что праздники, которые были во времена нормальной жизни, все еще в силе. Он взял ее за руку. Мы с офицерами сегодня обедаем в отеле "Пуласки". А после, если ты не против, сходим посмотреть, как пляшут негры, хочешь?

При их появлении в приемном покое Мэтти Джеймсон встала и, увидев Эмили, выпалила первое, что пришло в голову: Вы случайно не дочь судьи Томпсона из Милледжвиля? — спросила она.

С того дня как они приехали в Саванну, Мэтти не припомнит ни минуты, когда Джон не пребывал бы в ярости, — он на всех кричал, ругал власти. Во-первых, от его услуг отказалась армия. Мальчишек желторотых — да, принимают, берут с удовольствием, и где теперь эти мальчишки? Черт знает, куда их загнали, в Южную Каролину, что ли, — обоих ее сыновей, ее мальчиков, одному пятнадцать, второму вообще четырнадцать[1], — вот уж солдаты так солдаты! А отца не берут. Главным образом Джон обвинял генерала Харди, который посмотрел на него и сказал, что идти рядовым он стар, а офицером его не возьмут, если он не приведет с собой собственное подразделение. Ну, раз так, Харди, — ответил Джон, — я это сделаю, ей-богу сделаю! — но над ним, как он потом рассказал, генерал лишь посмеялся, да и не мог отреагировать иначе, поскольку весь штат Джорджия давно выметен под метлу, годных к службе мужчин просто не осталось, так что даже его, Харди, армия и так уже сборище сомнительных ополченцев и кадетов — смотреть тошно.

1. В армию Конфедерации в начале Гражданской войны брали юношей с 16 лет, а в конце даже с 12! На Севере призывной возраст был 20 лет.

Во-вторых, Джон не мог смириться с тем, что из-за отсутствия в Саванне приличного жилья им пришлось поселиться на Грин-стрит у Цисси, старшей сестры Мэтти — у той самой Цисси, которую он и раньше за ее занудство терпеть не мог. Цисси действительно в каждой ситуации всегда лучше всех знала, что и как надо делать, и лезла с советами. Наверняка потому и замуж не вышла. Такой была и в детстве, Мэтти это прекрасно помнила: в какие игры играть и по каким правилам, выбирала Цисси, и, хотя разница между ними была всего полтора года, она, казалось, от рождения все знала и обо всем безапелляционно судила, так что Мэтти всегда приходилось идти на попятную, менять мнение, отказываться от собственных суждений, точно так же, кстати, как и потом, с Джоном Джеймсоном, в котором немало было той же властности, — поэтому он, видимо, и не любил свояченицу. Они были, что называется, два сапога пара. Цисси всегда ходила насупившись — за годы хмурая мина впечаталась в ее лицо, врезалась в него морщинами, так что любая самая обыкновенная, самая доброжелательная реплика, произнесенная с этой гримасой, с этим прищуром глаз и поджатыми губами, звучала зловеще. На ее обедах царили холод и молчание. Да и меню отражало трудности военного времени, а чернокожие, прислуживающие за обедом, были что-то очень уж нерасторопны, словно тянули время в ожидании прихода шермановских армий, заодно воспитывая в себе независимость. Она же, Мэтти, просто разрывалась между сестрой и мужем — всячески расстилалась перед одной и успокаивала другого. Цисси унаследовала фамильный дом, который — хоть она ни слова и не сказала — сразу весь как миазмами пропитался ощущением, что вот, навязались на ее голову! Еще и месяца не прожили, а кажется, будто она терпит их всю жизнь.

Естественно, Джон старался бывать дома как можно меньше. Бог весть, что делал он целыми днями на улицах Саванны, где на каждом углу выстроены укрепления, а вокруг кишмя кишат солдаты. Но, оторванный от своей земли, он чувствовал полную неприкаянность. И однажды, не поставив жену в известность, ушел вдвоем с Роско, а вернулся один — милого, безотказного Роско с ним уже не было, словно и не прожил он с ними все эти годы, ни разу не причинив никаких хлопот. Но Джон лишь повторял, что от Роско, что мог, он получил, а то, что осталось, не стоит его пропитания.

Теперь Мэтти не могла понять: как, возвратившись назад в Филдстоун, они будут там все восстанавливать и заново приводить в порядок — ведь Джон распродал всю рабочую силу! Она понимала, конечно, что рабов, неровен час, вообще больше не будет, но как можно без них обходиться, было для нее полной загадкой. Поэтому, когда она представляла себе, как окончится война и они вернутся домой, в ее воображении нет-нет да и возникала знакомая картинка с рабами на заднем плане. В газетах она читала, что дела Конфедерации обстоят довольно скверно, но связать это с полной переменой жизни Юга ей не приходило в голову. Нет, иногда у нее бывали проблески, но тут же эта связь куда-то исчезала, растворялась, и опять война казалась ей пусть ужасной, но временной напастью, вовсе не чреватой серьезными последствиями. Она волновалась за своих сыновей, ушедших воевать, но в то же время даже в мыслях не могла допустить, что они не вернутся или что, вернувшись, окажутся старше или как-то еще изменятся, не будут прежними.

И тут такая боль, такой удар: однажды она выразила надежду, что в будущем все как-нибудь утрясется, а Джон в ответ назвал ее идиоткой. Как теперь это забыть? Как вообще он мог! Ужасная жестокость! Вовсе она не идиотка. Абсолютно вменяемый человек, верная жена, умная и проницательная мать, она умеет вести счета и хорошо управляется с хозяйством. Да весь их чудный дом с его мебелью и драпировками — ведь это она его создала благодаря своей образованности и вкусу! А когда мальчики были маленькими и Джон с ними слишком жестко обходился, она объясняла ему, почему так нельзя, и он слушал. Много раз он обращался к ней за советом, и она давала рекомендации, причем дельные. Да в конце концов даже и сейчас, в этих ужасных обстоятельствах, она ведет себя куда приличнее и достойнее мужа. Это ведь не она бегала как ненормальная по всей Саванне, объясняя военным, что и как надо делать. Когда мальчики были еще здесь, они ей по секрету рассказывали, как он (вплоть до того, что они из-за этого в неловкое положение попадали!) провожал их до места, где им было назначено стоять в карауле, и офицерам приходилось буквально прогонять его.

Ведь она же не допускала мысли, что Джон, может быть, сошел с ума — при всем том, что он натворил: распродал лучших рабов, увез семью в город, чтобы жить тут на положении нахлебников; ведь даже если бы он уехал вместе с мальчиками, она-то могла остаться — ну кому придет в голову ее трогать? Что далеко ходить — здесь, в Саванне, многие женщины продолжают вести хозяйство в домах, откуда мужья и сыновья ушли воевать за свободу Юга, и пускай федеральная армия все забрала бы — еду, скот, — тем не менее она осталась бы хозяйкой Филдстоуна, жила бы в родном доме среди дорогих сердцу вещей, уж как-нибудь продержалась бы до прихода своих... Она же не начинала спрашивать себя: вдруг все, что наделал Джон, заставив и ее соучаствовать, было задумано в бреду пошатнувшегося рассудка?.. Не начинала до той самой ночи, ночи бегства, когда войска генерала Харди сдали позиции, переправились через Саванну-ривер и ушли в Южную Каролину. Джон стоял на Брод-стрит, смотрел, как солдаты, выстроившись в колонны, ждут команды идти на понтонный мост. Смотрел, смотрел и вдруг начал их трусами обзывать! Бедные мальчики (я сама все это наблюдала) — замерзшие, несчастные, стоят себе на улице и ждут очереди переходить реку. Уже за полночь было, а ночь ветреная, холодная, — гляжу, некоторые босиком, другие в женских туфлях... Вот как плохо эти солдаты были экипированы. А я все высматривала Джона-младшего и маленького Джейми. Ну, пошла вдоль рядов, пыталась их найти, но без толку, а Джон все это время стоял и ругался — волосы дыбом, лицо красное, жилы на шее вздулись, — призывал их повернуть обратно, снова занять окопы и быть мужчинами, а не гнусными, несчастными трусами... пока не подъехал офицер и говорит: Сэр, я буду вам весьма признателен, если вы уберетесь с глаз, в противном случае я расстреляю вас за измену.

Ночь была очень ветреная, но вообще-то отступление провели грамотно — спасли город от разрушения, а оно было бы неминуемым, если бы продолжились бои: так говорили люди, которые, может, не меньше нас боялись ухода наших войск. Всю ночь жгли большие костры, как будто армия все еще на месте, и пушки палили в сторону переднего края федералов, стоявших у самого города — чтобы обмануть их, пусть не

смеют атаковать! — когда на самом деле войска вместе со всем обозом, снабжением и обоими моими сыновьями, слава богу, тайно ушли, и мальчики не пали мертвыми, как многие другие, растоптанные сапогами генерала Шермана.

И вот с той ночи — когда это было-то? всего пару дней назад! — мой Джон умолк: вообще говорить перестал, не произносил ни слова — при всей его ярости, такой жгучей, что он на каждого с кулаками готов был бросаться, стал спокойным, тихим, и это меня еще больше пугало, у меня мороз пробегал по коже, когда я видела, как он смотрит на того, кто пытается с ним заговорить, — смотрит и ничего не отвечает... и это мой муж! Разве может человек так состариться всего за несколько дней? А может, он давно был такой старый, но в нем была энергия, которая вдруг покинула его, и сразу проступило, сразу видно стало, как он одряхлел. И зачем только ему понадобилось идти к тому складу, где были наши вещи — где наша мебель, картины и ковры были укрыты от разграбления? Наверное, хотел поговорить со своим другом, хлопковым брокером мистером Файнштейном, который по доброте душевной согласился нас принять, да и всегда Джона терпеливо выслушивал. У них это было больше чем просто деловое сотрудничество; странно, конечно, что в друзьях у моего мужа оказался Файнштейн, все же еврей как-никак, но, может быть, Джону непременно нужно было с кем-то поговорить, раз со мной не мог. Я шла за ним. Меня пугало состояние его психики — поди знай, что он может вытворить. На часах у дверей склада стояли два солдата-северянина, ружья держали перед собой. И тут же на улице оказался мистер Файнштейн с одним из своих работников — его не пускали в здание, которое ему же и принадлежит. Джон, — сказал он, — у меня отобрали бизнес. Дали клочок бумаги — говорят, это приказ, подписанный генералом Шерманом. Там сказано, что мой склад вместе со всем хлопком, что там содержится, теперь не что-нибудь, а собственность федеральной армии. И мистер Файнштейн обреченно развел руками.

Но у Джона Джеймсона не тот характер — разве мог он с этим смириться? Более разумный человек, может быть, пошел бы на прием к генералу или кому-нибудь из его штаба и попытался объяснить ситуацию, рассказал бы, что вместе с кипами хлопка там находятся наши личные вещи... Нет, я понимаю, хлопок это конечно... хлопок — ценный военный трофей, но какой прок, скажите на милость, какой прок федеральной армии от моих вышитых пуфиков или английских тканей? Или от моих персидских ковров? Или от моей фамильной Библии в сафьяновом переплете, иллюстрированной гравюрами и со специальной дубовой подставкой в виде лапы с когтями? Но Джон уже совсем сбрендил. Он стал требовать, чтобы солдаты пустили его внутрь, — спрашивается, зачем? Он что — собирался сам выносить вещи? Полез в бутылку, стал угрожать им, схватил булыжник из кучи, наваленной рядом, и пошел с ним на солдат. Я пыталась! Пыталась удержать его, но он выдернул у меня свою руку, причем и мистер Файнштейн тоже кричит: Стой, Джеймсон! Один из солдат поднял ружье, я закричала... Самое ужасное, что он ничего не сказал, не предупредил никак — ну, то есть солдат этот самый, — и не дай мне бог еще раз услышать такой звук... Такой звук ужасный раздался, когда он прикладом ружья ударил Джона Джеймсона по голове. И на моих глазах мой муж, с которым я прожила девятнад-

цать лет, — я была девчонкой, когда он женился на мне и взял меня жить на плантацию... — в общем, он упал как подрубленное дерево, и жизнь от него, казалось, вот-вот отлетит вместе с брызгами крови из его бедной головы.

Войдя в палату, Перл увидела женщину, которая сидела у одной из коек и со спины была вылитая бывшая хозяйка. Перл не хотела верить глазам. Бочком, бочком придвинулась ближе, готовая пуститься наутек. И тут через плечо женщины она увидела человека, лежащего с повязкой на голове. Это был отец.

Мэтти Джеймсон как раз повернулась и встретилась глазами с ребенком, лишившим ее покоя и радости жизни. На Перл были небесно-синие брюки федеральной армии, поверх брюк юбка, подпоясанная широким зеленым кушаком медицинской службы; в руках стопка полотенец. Волосы у нее стали длиннее, теперь она собирала их сзади в пучок. За все время, пока Мэтти сидела у постели умирающего мужа, она не пролила ни слезинки. И вдруг ее глаза наполнились слезами.

Жизнь рухнула, разлетелась в куски, и вот, здрасьте пожалуйста, перед ней стоит дитя ее мужа, воплощение его греха, являя в своем лице такую издевку судьбы, какую лишь Господь может в отмщение измыслить.

Как много раз за эти годы хотела она приласкать прелестное дитя, как много раз намеревалась сделать девочке жизнь полегче. Но Джон не хотел иметь с ней ничего общего, и уступить ему в этом было так легко! Когда Нэнси Уилкинс умерла, Мэтти испытала облегчение. Она думала, что теперь исчезнет и тень, которая постоянно омрачала ее жизнь, сделавшуюся постылой из-за того, что рядом все время маячит такая необычайно красивая женщина-рабыня как Нэнси Уилкинс. Думала, настал конец ее унижению — сколько можно! — ведь каждый из рабов на плантации знал, что ее постели хозяину мало. Но осталась Перл. И если она, Мэтти, в очередном порыве доброты иногда пыталась делать какие-то примирительные жесты, то Перл, наоборот, всячески от них уклонялась, будто нарочно упрощая хозяйке задачу — дескать, не хочешь меня любить, и не надо, — проявляла строптивость, всем своим видом выказывала неуважение, метала презрительные взгляды. И чем она становилась взрослее, тем несносней. Перл сама виновата, что не нашла себе достойного места в Филдстоуне, не прибилась ни к барской усадьбе, ни к хижинам рабов — здесь была слишком дерзкой, там смотрела на всех сверху вниз, и только старый Роско как-то направлял ее, то привлекая к работе в кухне или прачечной, то посылая в поля, когда нужда в ней возникала там. А Мэтти, всегда считавшая себя доброй христианкой, теперь вдруг увидела все совершенно по-другому: вспомнилось, как они с Перл расстались — девчонка стояла с узелком в руке, ждала, что Джон позовет ее, велит забираться в экипаж к другим домочадцам, и Мэтти радовалась, что он этого не сделал, думала: сгинь, исчезни, пропади пропадом, — Господи, ну хоть за что-то этой войне можно сказать спасибо! Теперь все эти мысли вихрем пронеслись в голове Мэтти, поразили ее, из глаз полились слезы, и она, сгорбившись, закрыв лицо руками, сидела и плакала у постели мужа, пребывающего в коме.

К женским слезам Перл относилась с презрением, поэтому переключила внимание на отца. Надо же: сколько мира и красоты сейчас в

его лице, когда он лежит с закрытыми глазами, будто неимоверной важности думы обдумывает где-то в глубине своего существа. Как это на тебя не похоже! — сказала она, вряд ли сознавая, что говорит. — Не помню, чтобы ты лежал в кровати, папа. Всегда на ногах, в седле, с руганью чуть конем не наезжаешь на работников, а когда дома, то кричишь и ногами топаешь — как сейчас слышу это твое топанье, которое разносится на весь дом. Неужто не откроешь глаза, пап? Это же Перл, твоя родная дочка. Которой ты даже имени не дал, ее мама окрестила. Она назвала меня Перл — жемчужина — за мою белую кожу. За твою кожу, маса Джеймсон... папочка. За твою нежную белую кожу. Что с тобой, почему ты лежишь здесь? Я никогда не видела тебя таким спокойным. Мне хочется, чтобы ты проснулся и я могла сказать тебе, что я свободна. И по законам, данным Библией, по тем законам, с которыми ты ничего поделать не можешь, я ношу твою фамилию. Папа, это Перл Уилкинс Джеймсон тебе сейчас шепчет на ухо, ты слышишь? Твоя Перл, которую ты вспомнишь; надеюсь, ты встанешь, будешь жить долго-долго и будешь ее помнить. Давай, пап, открой глаза и посмотри на дочь, которая плоть от плоти твоей. Твои глаза закрыты, но я знаю: ты слушаешь. И ты слышишь меня. И если ты боишься за меня, то обещаю: никто, ни один мужчина не будет обращаться со мною так, как ты обращался с моей матерью, — нетушки! Так что не переживай, не бойся за свою Перл. Она теперь здесь, в Саванне, но это только начало. Она далеко пойдет, твоя Перл. Она покроет славой твое имя. Отмоет его от позора и нечистот, которыми ты его обляпал. Сделает его светлым и достойным, чтобы таким оно людям и запомнилось.

XV

Едва заняв город, на радостях Шерман послал президенту телеграмму: "Поздравляю с Рождеством, прошу принять от меня в подарок город Саванну со ста пятьюдесятью тяжелыми пушками и великим множеством боеприпасов. А также двадцать пять тысяч кип хлопка".

И вот у него в руках письмо Линкольна с выражением почтительной благодарности. Записка от восхищенного Гранта. Копия резолюции Конгресса, в которой ему провозглашают честь и хвалу. Льстивые газетные статьи по этому поводу.

Страна бурлила. Генерал, о котором никто месяцами слыхом не слыхивал, оказывается, вонзил свой боевой топор в самое сердце Юга!

Своей ставкой Шерман сделал особняк хлопкового брокера. Множество тихих комнат с толстыми коврами и тяжелыми шторами. Пальмы в горшках и бюсты римских сенаторов на пьедесталах. На стенах живопись: гурии гарема, развесив розовые соски, предаются расслабленной неге под взглядом евнуха-негра. Спал он мало. В своих апартаментах на втором этаже, сидя в ванне, курил сигару и читал о том, какой он великий. Полные подхалимажа письма приходили мешками. Он позвал Мозеса Брауна, велел добавить кипятку: теперь только горячая ванна и может его успокоить — признание в масштабах всей страны чересчур возбудительно щекочет нервы. Кроме того, пар облегчает дыхание — а то уж очень разыгралась астма. То дождь, то этот ветер с моря...

Сам-то ведь родом из Огайо. Уже одна только близость моря выбивала его из колеи, и каждый раз при виде водной глади единственное, о чем он мог подумать, это вычурность фантазии Творца, измыслившего нечто, пригодное только на то, чтобы оно вздымалось и с грохотом опадало... В лучшем случае хлюпало и лопотало под лодками.

Жене он писал: Не верится, чтобы этот общественный восторг продлился долго. Разве не те же газеты после Шайло оповестили мир о том, что я рехнулся? Это оборотная сторона той же медали.

Тем не менее толпы черных день и ночь стояли у дома, каждый стремился хоть краем глаза его увидеть. К восьми утра в приемной скапливалась очередь просителей. Среди визитеров попадались жены генералов Конфедерации. Приносили письма мужей, в которых те просили предоставить им коридор, чтобы с достоинством выйти из войны. Он с готовностью уступал. Обожал быть благородным. Хотел, чтобы население Саванны знало: что бы там о нем ни говорили, он гуманист. Кстати, труднее всего в этом было убедить как раз женщин. Чем дама старше, тем вероятнее услышать о себе все, что она думает. Впрочем, это он находил полезным. В числе прочих явилась некая миссис Летиция Птибоун, которую он смутно помнил с тех времен, когда молодым офицером служил в Атланте. Что именно она говорила, он потом вспомнить не мог, потому что у нее на запястье висела вышитая стеклярусом сумочка, и дама ею попыталась нанести удар, так что, если бы не природная быстрота реакции, позволившая Шерману увернуться, быть бы ему на этой войне еще одним раненым. После того как женщину выдворили из комнаты вон, он затянулся сигарой и сказал адъютанту: Пишите боевой приказ, Моррисон. Отныне дамы пусть оставляют сумочки в прихожей.

В рождественское утро черное небо сочилось дождем. Шерман приказал подготовить войска к смотру. Его написанные по этому случаю наказы были размножены, чтобы ротные командиры ознакомили с ними личный состав. Стоя на параде, бойцы узнали, что их имена будут вписаны во всемирную военную историю. Шерман, обозревая войска с высокого помоста, слушал, как его слова, словно сквозь воду, с разным запаздыванием доносятся со всех сторон. Брезентовую крышу над его головой раздувало, она хлопала на ветру. Два полковых оркестра, объединив силы, сыграли марш. Звучал он так, будто каждую ноту извлекают дважды.

Шерман еще раз про себя прикинул, что сделано. Реку Огичи и пролив Оссабо освободили от мин, конфедератские береговые батареи демонтировали. Слокума с его корпусом он послал вдоль Саванны-ривер, чтобы тот на седьмой миле взял под контроль фарватер; Говарда отправил на взморье; кавалерию Килпатрика — на Кингз-бридж и дороги, ведущие на север и запад. Лавки торгуют, улицы чисты, пожарные команды целы. Все общественные здания, брошенные плантации и т. п. — собственность народа Соединенных Штатов Америки. Вроде ничего не упустил. Так что же его тревожит? Навалившееся на него за последние несколько дней всеобщее признание казалось чем-то холодным и мокрым, как капли дождя на лице. Проклятая погода, бронхи — понятно, но только ли в этом дело? Он спустился с помоста и позволил себя отвезти в резиденцию.

Сев к жаркому камину, Шерман протянул ноги в мокрых носках к огню и погрузился в размышления. Нет, здесь, в Саванне, — это не война.

Это управление. В поле — вот где была чистота, ясность цели, четкость форм. Тогда как управление — это взаимодействие с гражданскими властями и федеральными вербовочными службами, которые — вот еще тоже придумали! — собираются призывать во вспомогательные подразделения негров. Да тут еще успевай уворачиваться, не то какая-нибудь резвая старушка сумочкой по темени шмякнет. К тому же местное население, сильно возросшее численно, стало не совсем местным: помимо освобожденных рабов, репьями прицепившихся к воинским колоннам, в городе оказалось много белых беженцев. И теперь корми их всех, что белых, что черных! В порту толчея пакетботов, пароходов, баркасов. А в городе кишмя кишат ничейные и потерянные женщины детородного возраста. Его солдаты погрязли в азартных играх, а те, кто еще не нашел дорогу в бордель, заполонили церкви. Он приказал занимать людей строевой подготовкой и муштрой, установил комендантский час, но подобными мерами все равно не заткнуть дыру, сквозь которую мало-помалу улетучивается боевой дух. Такое впечатление, будто его ударная мощь растаяла и растеклась по городу этаким вязким человеческим месивом. Пусть так, но армию во что бы то ни стало надо сохранить! — сказал себе Шерман. — А куда, кстати, вражьи-то войска пропали — теперь, когда они мне так нужны? Если я здесь задержусь, Вашингтон сожрет меня с потрохами!

В этот момент в комнату вошел майор Моррисон с вестью, что в порт на таможенном баркасе только что прибыл военный министр Эдвин Стэнтон.

Герои люты и кровавы, поставьте гордости конец, — как-то само собой пришло на ум Шерману. — Рожденный от воинской славы забудьте лавровый венец! Н-да. Что, интересно, скажет нам Стэнтон? — что я позволил десятитысячной армии инсургентов выскользнуть у меня между рук в Южную Каролину? В способности своей быть благодарным — ох, ограничен человек! Под оболочкой благодарности прячется зависть. А под завистью — всеобщее безразличие и наплевательство.

Вот экипаж министра останавливается под навесом подъезда, охрана берет на караул. По положению и власти Стэнтон уступал только президенту, но в глазах Шермана это был всего лишь пухленький человечек с невыразительным лицом и одутловатыми щечками, на марше не способный продержаться и дня.

Здравия желаю, генерал, — сказал тот, подавая Шерману вялую ладошку. Этим обмен любезностями завершился. Ораторствовать Стэнтон начал прежде, чем они вошли в дверь. Он фонтанировал. Его жесткая раздвоенная бородка перед началом каждой фразы вздымалась, а в конце падала. Шерман, зачарованно следивший, как он машет своей бородой, мало что понимал. Что-то насчет отношения к черным. А-а, так вот в чем дело!

Хотелось бы встретиться с вашими генералами, — сказал Стэнтон. За обедом Шерман предъявил ему своих командиров корпусов и командующих армиями штатов. О, это было зрелище! Все при параде, увешаны декоративными шпагами, в перчатках, эполетах и кушаках. При этом сидели как школьники на занятии, а Стэнтон расхаживал вокруг стола, будто вел урок. Я не уверен, джентльмены, что ваши армии ведут себя достаточно корректно в отношении освобожденных рабов, — говорил он. — Я понял так, что им препятствовали в том, чтобы сопровождать войска, их от-

сылали назад к хозяевам либо оставляли на растерзание партизанам. Генералы искоса поглядывали на Шермана, который сидел в кресле ссутулившись, со строгим и даже хмурым видом. Господин министр, — заговорил Шерман, — как, по-вашему, я должен был бы организовать рейд шестидесяти тысяч бойцов через вражескую территорию, если на их горбу висела бы тяжесть еще и всего негритянского населения Джорджии? Кроме того, черномазые, похоже, все как один тут — вы вон туда, в окно гляньте!

Вы отказывались зачислять их на службу иначе как в качестве чернорабочих.

В качестве чернорабочих они как раз лучше всего и подходят.

Мне доложили об одном инциденте при переправе через реку... реку... — как ее? — Эбенизер-крик, так, кажется? Ваш генерал Дэвис подтянул к своему берегу наплавной мост и обрек тем самым сотни негров на гибель. Некоторые утонули, других убили партизаны. Где он? Почему его здесь нет?

Отсутствует по делам службы. Его позовут.

Я хочу выслушать его объяснения.

Смею вас заверить, вы будете удовлетворены. Его действия были вызваны военной необходимостью.

Утром пришлось устраивать парад кавалерии. Выйдя из апартаментов Шермана на балкон, министр стоял, прижавшись животом к чугунным перилам, и без улыбки наблюдал, как едут рядами всадники по улице внизу. Во главе их был Хью Джадсон Килпатрик по прозвищу Кил-Всехзагубил — дурная слава сопровождала его всю войну, с того момента, когда он, будучи еще подполковником, повел кавалерию в глупую и ненужную атаку, а в результате потерял чуть не весь эскадрон. После этого его стали называть губителем кавалерии, однако немедленно произвели в полковники, а затем и в генералы. Зато кто кроме него может похвастать, что конным наскоком брал боевые корабли? Ишь, едет, красуется: весь в шнурах и галунах, в золотом кушаке и эполетах, в кожаном драгунском шлеме с перьями — денди лондонский да и только; хитрый прищур, губы искривлены в усмешке; спина, правда, тоже слегка искривлена намеком на горб; вообще же от его хрупкой с виду фигуры веет дерзостью и нахальством, — думал Шерман. — Или это он нарочно так держится, чтобы не замечали горб? Кил, конечно, безрассуден, опрометчив — да просто дурень: слишком любит войну, слишком безоглядно путается с бабами, но я бы его ни на кого не променял!

На третий день визита Шерман задумался: долго ли еще сможет он сдерживаться на грани взрыва. Министр не разговаривал, он клокотал. При этом вел себя как балованное дитя, все время ему чего-то не хватало — то выпить хочет, то грелку ему подавай, то телеграфиста. За всем, что министр говорил или делал, угадывалась жажда быть в центре внимания. Шерман предлагал трофейный хлопок передать в армейскую казну. Стэнтон запретил: нет, сдать в распоряжение министерства финансов! На то, как формировать городской гарнизон, у него тоже было свое твердое мнение. Даже в чисто военных делах он позволял себе наставлять Шермана.

Потом вдруг потребовал встречи со старейшинами негров. Торопил и не унимался, пока их не отловили по черным церквям и не привели. Собрали в гостиной. Он спрашивает: что они понимают под рабством?

Черные авторитеты запереглядывались, заулыбались. Рабство — это когда неодолимой силой у человека отнимают результаты его труда, да еще и без его согласия, — сказал один. Остальные кивали: дескать, верно, верно...

А что, — спрашивает дальше Стэнтон, — вы понимаете под свободой, которая должна проистечь из прокламации президента Линкольна?

Свобода, обещанная в прокламации, — это когда с нас снимут кабальное ярмо и поселят туда, где мы сможем пожинать плоды своих трудов, сами о себе заботиться и споспешествовать правительству в обеспечении условий таковой свободы поддержания.

Шерман еле сдержал удивление: надо же, черти, говорить-то как насобачились! Тут Стэнтон повернулся к нему. Генерал, — сказал он, — я бы хотел теперь обсудить с этими недавно получившими свободу людьми то, что думают цветные о вас лично. Не соблаговолите ли на минутку нас оставить?

Шерман побагровел. Мерил шагами вестибюль, про себя бормоча: Он будет спрашивать этих черных обо мне! Если бы не я — интересно, как бы они вообще сюда попали? Десять тысяч душ! Свободны, накормлены и одеты — и все это только по моему приказу! То, что они не воюют, — абсолютно верное решение. Еще мне не хватало тут их обучать! Я прошел со своей армией путь в четыреста миль, а она не то что цела — она как новенькая! Я разрушал суржикам-джонни железные дороги. Жег города, кузницы, арсеналы, заводы, хлопкоочистительные мануфактуры. Кто, как не я, вытоптал и пожрал их посевы, забил и оприходовал мясной скот и увел у них десять тысяч лошадей и мулов! Супостат разорен, он в нищете, и, даже если не будет больше сражений, дни его армии сочтены — солдаты скоро просто перемрут с голоду. Но военному министру всего этого мало. Меня надо унизить, выставить на посмешище перед какими-то рабами! Черт бы взял этого Стэнтона — я давал клятву изничтожить преступных инсургентов и сохранить единство союза штатов. Вот все, что от меня требуется. Что еще ему от меня надо?

То, что черные старейшины отозвались о нем с благосклонностью, Шермана порадовало мало. Поздней ночью он приказал вызвать Морисона. Того подняли с постели.

Берите перо, майор. Записывайте. Боевой приказ, номер и так далее.

Это будет номер пятнадцать, сэр.

Номер пятнадцать, — повторил он. — Морские острова от Чарльстона к югу и все прилегающие сельскохозяйственные угодья вдоль рек на тридцать миль в глубь материка в Южной Каролине, а также в Джорджии... так, сюда же земли, прилегающие к Сент-Джон-ривер во Флориде... отводятся для обустройства черным переселенцам. Вы поняли меня? Черным переселенцам. Каждому свободному негру с семьей дается право на получение сорока акров пахотной земли. Да, и сюда же семена и инвентарь для ее обработки. Определение границ и выдача свидетельств на право владения возлагается на офицера в чине генерала армии США, занимающего должность... как бы назвать-то ее... а-а, инспектор поселений и плантаций. Так, теперь давайте мне на подпись, и копию — мистеру Стэнтону.

Черт, никогда я аболиционистом не был, — думал Шерман. — Но, кинув им такой кусок, я и Эдвину Стэнтону рот заткну, и от негров отдела-

юсь: привязанные к этим сорока акрам, они теперь тут осядут, и Бог им в помощь[1].

Отбытие министра Шерман с генералами отпраздновал обедом. Всем, похоже, надо было восстановить попранное чувство собственного достоинства. Все веселились. Снова были прежними. Шерман сидел во главе длиннющего стола, вокруг которого сновали черные официанты с добычей, награбленной в городе: тарелками устриц, жареными индейками, печеными окороками, дымящимися котлами сдобренного приправами риса, блюдами со сладким картофелем, ломтями теплого хлеба и горшками с настоящим сливочным маслом, ну и, конечно, с оплетенными бутылями красного вина. Шерман ел, пил и произносил тосты. Но ему опять хотелось на марш, на марш, где никто не посмеет ему перечить. Хотелось обратно в поле. Что может быть лучше, чем ложиться каждую ночь на голую землю и любоваться звездами? Что может быть лучше, чем каждое утро выходить в поход и вести войну так, как это нужно тебе? Средства ясны. Результаты недвусмысленны. Хватит с него прелестей Саванны. Качественно делать дело, к которому приспособил тебя Господь, — вот истинная радость! И никакой тебе зависти, никакого елея, от которого того и гляди взорвешься.

Джентльмены, — возвысил голос Шерман, — довольно с нас вавилонской роскоши. С завтрашнего дня начинаем подготовку новой кампании. Все вы знаете, что это значит. У меня есть разрешение Гранта взяться за обе Каролины. Сие будет нелегко, тут и говорить нечего. В Джорджии — это была прогулка. Придется отказаться от лишних лошадей и мулов и избавиться от негров. Мы должны отбросить все лишнее, оставшись лишь с тем, что составляет основу боеспособности. Края нас ждут неприветливые, марш будет трудным. Когда подлый штат Южная Каролина, развязавший войну, услышит ужасный свист сабель нашей армии, он поймет, что такое настоящее опустошение.

Ура! ура! — и генералы разом подняли бокалы с вином.

После обеда размягченный вином Шерман удалился в свои покои, чувствуя себя отдохнувшим, как никогда. Мурлыкал себе под нос "Полет Валькирий". Полистал газеты, только что привезенные из Огайо. Думал развлечься колонкой сплетен, прикурил сигару и, откинувшись в кресле, прочитал в газете "Колумбус таймс", что Чарльз Шерман, шестимесячный сын генерала и миссис Уильям Текумсе[2] Шерман, умер от крупа.

У него бессильно упали руки. О Господи, — вскричал он, — неужто и Ты мне завидуешь?

1. Согласно приказу Шермана негры получили землю (очень немногие, всего 20 тысяч) лишь *на время войны*; правда, в тексте приказа подразумевалось, что затем гражданское правительство скорее всего закрепит за ними землю навечно. Но этого не произошло: после гибели Линкольна новый президент Эндрю Джонсон амнистировал плантаторов-южан и вернул им отобранную собственность, в том числе и распределенные Шерманом земли.

2. Второе имя "Текумсе отец дал Шерману в честь индейского вождя, возглавлявшего вооруженное сопротивление объединенных племен белым захватчикам. Отец не мог знать, что именно Текумсе Шерману суждено сразу после Гражданской войны положить конец не только всякому сопротивлению индейцев в США, но практически и самому их существованию. Как сам У. Т. Шерман пишет: "При столкновениях я приказывал подчиненным не обращать внимания ни на пол, ни на возраст грязных оборванцев <...> полностью истреблять всех — и женщин, и детей". Не удовлетворившись прямым истреблением "оборванцев", Шерман приказал уничтожить бизонов, что вызвало экологическую катастрофу, в результате которой недобитые индейцы почти полностью вымерли.

XVI

В тот холодный темноватый день, омраченный тучами, низко несущимися с пролива, Саванна вся пришла в движение: везде сновали люди и лошади, так что, казалось, улицы ожили и город на всем своем протяжении оторвался от земли и зыбится, трепеща на ветру. Музыка ветра соединялась с тарахтеньем телег по булыжникам, с выкриками ездовых и протяжными приказами сержантов, командующих взводами. Колонны солдат маршировали по направлению к мосту через Саванну-ривер, другие, сгрудившись у пирсов, стояли в ожидании погрузки на канонерки, баркасы и пакетботы, реи которых уже облепили матросы, наблюдающие за происходящим как птицы с насестов. Среди гражданских тоже чувствовалась тревожная нервозность, словно уход армии был явлением в своем роде столь же пугающим, как и ее приход. Только личный состав гарнизона оставался на месте, заняв посты согласно предписанию[1]. Всё остальное пребывало в лихорадочной суете — всё, вплоть до комочков хлопка, носившихся по переулкам, и до виргинских дубов на площадях, которые порывистый ветер гнул и трепал, словно пытаясь согнать с места.

Вильму Джонс это угнетало, заставляло ее чувствовать свою малость и незначительность по сравнению с происходящим. Нет-нет, это во мне все еще рабство говорит, — подумала она. — Надо следить за мыслями: в своем внутреннем мире я должна добиться той же свободы, какую дает мне закон во внешнем. Она взглянула на Колхауса Уокера, у которого явно этой проблемы не было — стоит себе рядом с ней, расправив плечи, с какой-то торжественной радостью на лице. Она держала его за руку. Шеренга за шеренгой солдаты прошли, и они завернули за угол. Впереди пели. Пели негромко, для себя — нечто вроде молитвенного гимна: вспоминая от души ко Господу, просили, чтобы то чудо, что с ними происходит, продолжало происходить. Еще дальше по ходу перед самым крыльцом здания городского совета на тротуаре стоял стол, за которым сидел офицер-северянин под охраной двух солдат, стоящих по обе стороны, держа мушкеты в положении "к ноге". Стопки бумаги на столе по причине сильного ветра прижаты большими камнями. Единственное, чего Вильма не могла понять, так это почему оное действо нельзя было провести пятью ступеньками выше. Нет, здесь же, здесь, но только внутри здания!

Процесс шел ме-едленно, неторопли-иво. Иной черный простячок думал, что ему свидетельство дадут прямо сейчас, да к нему еще карту, — а как же, чтоб хоть изведать можно было, где теперича нашенская земельная собственность! Но здесь только принимали прошения, и это надо было вновь и вновь разъяснять — естественно, каждому отдельно и по нескольку раз. Потом, опять-таки, грамоте почти никто не разумел, и офицеру приходилось самому вписывать их имена, после чего они в качестве автографа ставили закорючку, которую, в свою очередь, удостоверял собственноручной подписью офицер. И, конечно же, время от времени офицер вставал и надолго уходил в здание — зачем? да нешто его поймешь! — и все стояли и ждали, продолжая петь нескончаемый

1. Известно, что войска Шермана не оставляли гарнизонов. Целью его похода было не завоевание территории, а опустошительный набег.

госпел, а ветер выл, нес по земле водяную пыль, отчего у Вильмы промок подол юбки и заледенели лодыжки.

Когда, наконец, подоспела их очередь, Вильма прочитала бланк заявления и объяснила его смысл Колхаусу. Тот кивнул, глянул на офицера и улыбнулся. Но нет, опять проблема. Участки для заселения дают только главам семей. А это у нас кто — миссис Уокер? — спросил офицер, указывая на Вильму. Колхаус, нахмурившись, покачал головой: дескать, нет. А то вдруг еще настоящая миссис Уокер объявится? — добавил офицер с кривой усмешкой.

Колхаус помертвел и на него уставился. Вильма схватила его за локоть, почувствовав, как напряглись мышцы. Дайте эту бумагу мне, — попросила она. — Мы принесем ее вам назад, когда все, что нужно, у нас будет.

Как скажете, мамаша, — пожал плечами офицер.

Надеюсь, вы нас узна́ете, — сказала Вильма. — Мы подойдем без очереди! Ведь вы не заставите нас завтра становиться в самый хвост и целый день стоять, как нам сегодня пришлось.

В ближайшем скверике они нашли скамью, защищенную от дождя ветвями плакучей ивы. Все же и здесь было холодно, да и темновато. Колхаус обнял Вильму за плечи. Она отстранилась, села и, сгорбившись, положила руки на колени. Давай-ка это дело обсудим еще раз, — проговорила она.

Я знаю, как обрабатывать землю, мисс Вильма. Уж это-то я умею.

Сам видишь, что́ он о нас подумал. Кто бы они ни были, они *белые* — это в них на первом месте, да и на всех остальных.

Подумать только — сорок акров, и к нам не сунется ни одна белая рожа!

То, что они дают, они же могут и отнять.

Это ты сейчас о Господе говоришь — он да, может. А человек не отнимет у меня того, что мне принадлежит.

В ответ Вильма лишь покачала головой.

Надо же, — подивился Колхаус, — откуда ты только храбрости набралась! Как ты его окоротила, этого офицера! Вы нас запомните! Завтра придем без очереди! Да-а. Ты у меня молодец, Вильма. Но куда твоя храбрость теперь-то подевалась? Что-то я нигде ее не вижу, — сказал Колхаус, заглядывая ей в глаза.

Посидели молча. Послушали городской шум. За их скамьей по улице, громыхая, проехала целая вереница пушек на лафетах, влекомых шестерками мулов. Откуда... Может, от судьи Томпсона? — вернулась к разговору Вильма. — Он часто ездил в Нью-Йорк, в Сент-Луис, в Чикаго. Много где бывал. Ему что — в поезд сядет и покатил[1]. А возвернется — за обедом давай рассказывать. А я под дверью стану и слушаю, как он мисс Эмили рассказывает про города, которые на Севере. Как там шикарно. Каждый город — как целый мир с такими чудесами, каких тут за всю жизнь повидать не сподобишься. Ты ж понимаешь: он ездил туда разговаривать с другими судьями и прочим важным начальством, останавли-

1. Милледжвильская железнодорожная компания была основана в 1861 г. Лишь к 1864 г. рельсы дотянули от Милледжвиля до Мэйфилда, но их тут же выдрал и расшвырял, набежав, свирепый Шерман. Так что судья Томпсон вряд ли мог запросто путешествовать на поездах по всем штатам.

вался в фасонистых отелях — ну, он же не простой человек! Он-то не простой, но и я задумалась. Подумала: я тоже хочу жить в большом городе! Я что — не смогу, что ли? Никто тебя там не трогает, все слишком заняты собой, чтобы им еще и до тебя было дело. Живи не хочу! Свобода.

Пока идет война, единственный путь на север — вместе с армией. Ты это хочешь сказать?

Да. Чтобы как раньше. Если решили, надо идти.

Значит, жить в болотах. А там кусают змеи и партизаны того и гляди сцапают... Да ведь и башку не ровен час прострелят.

Все же досюда ты нас довел!..

Ой, леди, не говорите мне, что вы прозреваете будущее. Шесть, а то и восемь сотен миль впереди — раньше ты этот твой город даже краешком глаза не увидишь!

Он встал и раздраженно, огорченно теперь расхаживал. Стало быть, рассказов чертова судьи наслушалась. Коне-ечно. Шикарная жизнь в большом городе — это для таких как судья. Ты хочешь, чтобы город и тебе тот же бочок подставил? Живи не хочу, говоришь? И как же это? Что ты умеешь делать?

Ну, могу работать. В городе можно куда-нибудь устроиться.

Ага, опять в рабство. То ты стирала подштанники судье, теперь будешь стирать подштанники десяти судьям, сотне судей.

Я читать умею. Писать.

Ну а вот я — ч-черт! — не умею! Ты понимаешь это, мисс Вильма? Не умею. На какую работу, по-твоему, я могу рассчитывать в этом твоем шикарном городе?

Мало ли... что-нибудь по части музыки. Ты играешь. У тебя голос есть. Я же слышала. Помнишь, как те ребята радовались, когда ты задрынчал на банджо?

О Боже мой, Господи! — Колхаус шагал взад-вперед, заламывая руки. — Я думал, она соображает получше Колхауса. И такая добрая женщина! Ну да, добрая, но на голову хромает. Слушай, — он вдруг понизил голос и встал перед скамьей на колени. Я мужик верный, мисс Вильма. У меня нет в сердце злости из-за того, что со мной делали всю жизнь до вот этих вот самых пор. А ведь делали! Тому порукой шрамы от хлыста, которые на моей спине от той жизни навсегда остались. И я сильный. Но я могу дать тебе только то, что во мне есть, а есть во мне сноровка и умение пахать землю. Этой бумагой, которая у тебя в руке, мистер Линкольн отдает мне то, что давно был должен — сорок акров не совсем бросового суглинка, плуг, мула и чуток семян. Чтобы прокормить нас, этого хватит. Человек, у которого есть своя земля, это свободный человек. Он работает на себя, а не на чужого дядю. Поет и пляшет для себя, не для дяди. С земли берет пищу и ставит на стол. Вот ты скажи мне, что может быть лучше этого? Вечерами будем сидеть у огня, ты научишь меня читать и писать. Потом спим, просыпаемся с петухами и делаем завтра то же, что делали вчера, как Божье солнце, которое ходит по кругу. И если ты не понимаешь кротости упования сего, я пойду сейчас к черту на реку и утоплюсь!

Еще не хватало!

Клянусь!

Вильма потянулась к нему, обняла за шею и поцеловала. Какой ты у меня красавец! — сказала она.

Я знаю.

Ведь нехорошо же такую красоту губить!

Он пожал плечами.

А давай лучше найдем священника, — предложила она. — Ты тут из них кого-нибудь знаешь?

Он поднял голову. Улыбнулся. Да они здесь на каждом шагу!

Тогда давай вставай и садись рядом, — сказала Вильма. — Так. Вот, смотри: здесь оставлены две строки, чтобы нам вписать имена — одно твое, как главы семьи, а второе мое, как настоящего главы семьи.

О, как они смеялись!

В общем, свой путь они избрали. Вышли из скверика и заспешили к одному из лагерей черных беженцев. И с новой силой их напугало происходящее в городе перемещение войск. Улицы битком забиты фургонами обоза и колоннами солдат. Пришлось опять стоять на углу, пережидая.

Да, а как же твоя служба? — вдруг вспомнила Вильма.

А я как мундирчик скинул, так она и хрюкнулась, — махнул рукой Колхаус. — Офицер-то белый, ему все равно не понять, кто в наличии, а кто в нетях. Для него мы все на одно лицо, не так, что ли?

Ах ты мой молодец, — подумала она. Храбрый. Да ушлый какой! Все правильно сообразил. Застолбить участок значит застолбить за собой свободу. Ведь вообще-то — чем белые все эти годы брали? Да тем, что вся земля ихняя!

У нее не было сомнения, что за нее он способен отдать жизнь. Но, Господи, что, если и впрямь дойдет до этого? Ей ли не знать, как еще недавно поступали с упрямыми, неукротимыми рабами. Однако о чем ты, Вильма, глупая ты девчонка, ведь мы уже не рабы! Странно: Колхаус младше меня, но его убеждения крепче. В затылке чесать начинает только тогда, когда его совсем в тупик поставят. Мне надо просто перестать терзаться. Мы приняли решение, и я готова ко всему.

Вместе с тем она понимала, что, проживи она здесь, в Джорджии, хоть всю жизнь, никогда ее не перестанут мучить страхи.

Когда войска прошли, они двинулись дальше. А как, кстати, твое полное имя? — спросила Вильма. Мне его надо вписать за тебя в прошение.

Ну, скажем, Колхаус Уокер-старший.

О-о! — Она посмотрела направо, посмотрела налево. — Что-то я не вижу поблизости младших.

Многоуважаемая мисс Вильма, мэм! — заговорил Колхаус с широкой лучезарной улыбкой. — Нам бы только до священника дойти, если ты не против, конечно. А там уж я обещаю: не успеешь оглянуться, как на свет появится Колхаус Уокер-младший!

XVII

Несколько дней Арли и Уилл не выходили на свет божий. И вот стоят в Предпортовом проезде, день пасмурен, мрачноват, а они щурятся и моргают, как будто вышли на яркое солнышко.

Слушай, что-то город вдруг такой тихий стал, — заозирался Арли.

Уилл сбегал на угол, заглянул на набережную. Они уплыли! — проговорил он.

Кто?

Корабли.

На исходе серого туманного дня город казался призрачным. Парни заторопились, побежали по улицам, которые — с ума сойти! — не были выметены. Многие дома и лавки стояли темные. Город казался опустошенным, хотя видимых разрушений не было. Этот город похож на пса, который поджал хвост, — заметил Арли.

Это потому что здесь Шерман побывал, — сказал Уилл.

Возможно.

В одном месте они чуть не попались — на улице появился патруль, но они спрятались в скверике за кустами. Патрульные вели под конвоем нескольких отставших солдатиков. Идут — такие жа-алкие...

Ворота госпиталя настежь. Во дворе "карета Рукера"[1] — оглобли в землю, вокруг пусто. Флигель, в котором они работали, стоял тоже почти пустой. Впрочем, несколько безнадежных раненых еще лежали, глядели на них глазами умирающих, но доктор на месте был только гражданский.

В операционной полковника Сарториуса — никого.

Ну мы и влипли, — упавшим голосом проговорил Уилл. — Пока мы там развратничали да разлагались, ушла вся армия.

Не говори дурно о разврате, — проворчал Арли. — Мы очень неслабо выступили — ничего себе: неделю в бардаке прогужевались!

Еще вчера я тебе говорил: что-то не то! Мы же там одни уже с тетками оставались!

Говорил. Да буду я слушать! Больно уж мне нравилось чувствовать себя последним оставшимся на планете мужчиной. Арли сел, взгромоздившись на край операционного стола. По-моему, ты не врубаешься: когда мы вошли туда, финансов у нас было только чтоб пропустить по стаканчику, но я-то, я каков! — быстренько выяснил, где у них там в покер режутся.

Что ж, фонарь вижу. Крепко тебе под глаз саданули.

Он мне еще нос чуть на сторону не свернул. Просто я везучий, а некоторые не понимают. У меня это от Бога, а у кого такого фарта нет, думают, я черт-те чем занимаюсь. Между прочим, кроме того злыдня, федералы насчет игры по большей части ребята простые.

Еще бы! Вы с этой Руби так накачали их выпивкой, что у них аж глаза на лоб повылазили.

А, Руби... да, вот уж у кого фарт!

Вот только смех у нее неприятный.

Смех? Какой еще смех? — Арли уставился на Уилла с изумлением. — Да-а, кажется, я на тебя зря время тратил. Ты хотя бы врубился, зачем в этот дом ходят-то?

Естественно. Я — вот... с Люси там крутил. Ты знаешь, она мне всю свою жизнь рассказала.

А-а, тощая такая... И зубы как у зайца.

1. Карета "скорой помощи", названная в честь генерала Рукера, ее конструктора.

Да ладно. Зубы это не важно. А так очень милая девушка. И очень любит обжиматься.

И такое блаженство разлилось по лицу Уилла, который, потупясь, глядел в землю, что Арли, в кои-то веки, настолько обалдел, что не нашелся с ответом. Опомнился, когда еще раз посмотрел в окно на санитарную карету во дворе. Постой-ка, — сказал он. — Сейчас, минуточку... Бог ниспослал мне решение! — И с этими словами он встал со стола.

Какое?

Там стоит санитарная повозка. Иди, найди мула, и рванем вслед за армией.

Кто ж мне его даст?

Да господи! Ты, главное, найди, а как нашел — бери. Это оккупированный город. Ты разве не солдат захватившей город армии?

А ты чем в это время займешься?

Я должен этот план разработать детальнее. Арли взглядом прошелся по коридору больничного корпуса. Для вида надо взять с собой каких-нибудь раненых.

Оказавшись во дворе, Уилл застегнул мундир, отряхнул его, надвинул на глаза фуражку. Вышел из ворот, огляделся. Есть варианты, — подумал он. — Можно идти куда глаза глядят и ждать, пока схватят. Можно даже и самому сдаться. А если дезертиром объявят? Да плевать. Пускай вешают. Мне уже как будто даже не впервой. Зато исчезнет этот Арли Уилкокс — а то день и ночь только командует: сделай то, сделай сё! Но патрулей в обозримой близости не наблюдалось. Через пару кварталов подошел к извозчичьей конюшне. Запах в ее полутьме стоял вполне жилой, но все стойла в ряду были пусты. И тут он услышал ржанье. В самом конце ряда оказалась гнедая кобыла с заплетенной косичками гривой. Она смотрела ему прямо в глаза. Внезапный прилив счастья объял Уилла. Эй, симпатюшечка! — сказал он. — Как же это ты ушла от реквизиции?

Он вывел лошадь из стойла. Хвост оказался тоже весь косичками. Уилл снял со стены упряжь и, тихим голосом увещевая лошадь, надел на нее хомут, подпругу, подхвостник и уздечку. Забросив вожжи на круп, вывел из ворот конюшни на двор. Где его с пистолетом в руке уже ждал морщинистый старик, на подбородке которого торчали реденькие седые волоски, безуспешно пытавшиеся сойти за бороду.

Сынок, — сказал он. — Тебе придется пройти мимо меня.

Эта лошадь теперь собственность армии, — отозвался Уилл. — С дороги!

Да я же вижу — ты просто вор! Это лошадь выезда мисс Лили Гейлорд; оборонь на нее сам ваш генерал Шерман выписал, а сейчас она значится на моем попечении, пока не вернется хозяйка.

Ну и что? Насчет той твоей обороны генерал передумал, отменил приказ, — упорствовал Уилл. — Ну-ка, отойди с дороги, или я тебя под суд отдам за противодействие федеральному правительству.

Старик поднял пистолет. Это был старинный длинноствольный инструмент с резной деревянной рукоятью и кремневым замком. В руке у старика он ходуном ходил. Уилл усмехнулся и пошел вперед. Раздалось шипение, потом громко бабахнуло. Со звоном в ушах Уилл бросился

удерживать попятившуюся кобылу и не сразу осознал, что ранен; лишь когда поднял руку схватить ее прямо за удила, заметил дырку на рукаве. Мгновеньем позже увидел свою собственную яркую кровь, которая брызнула, как ему показалось, даже радостно, с облегчением.

Старик, похоже, сам удивился тому, что натворил. Уилл не чувствовал никакой боли, зато накатила дурнота, от которой того и гляди подкосятся ноги. Решил, что ни в коем случае не должен выказывать страха. Ага! — воскликнул он. — Ты выстрелил в солдата федеральной армии, когда город уже сдан. Это преступление, за это вешают!

Лошадка заупиралась, она фыркала и рыла землю копытом, но Уилл, держа ее за подшеек, подошел к старику и вырвал пистолет у него из руки. Эту тяжелую вещицу он осмотрел, как осматривают диковину. В следующий миг руку ожгло болью, и в него вселилась такая ярость, что, едва от нее не задохнувшись, он размахнулся и со всей силы ударил старика рукоятью пистолета по голове. Тот упал. Уилл постоял над ним, глядя на неподвижное тело. Дурак старый, — сказал он. — Умереть ради какой-то мисс Лили Гейлорд!

Скоро Арли уже вез его по мосту через Саванну-ривер. Уилл лежал в телеге на спине и за тарахтеньем колес едва слышал разглагольствования приятеля. Понял лишь, что, по мнению Арли, мешкать нельзя.

Ничего! — кричал Арли, охлестывая вожжами спину лошади. — Догоним армию, найдем врача! Может, даже того, нашего. Поправишься!

Уилл замерз. Зубы так и стучали. Не мог понять, то ли его бьет дрожь, то ли это дорога такая тряская. Рукав промок до нитки. Лежа на боковой скамье, он держал руку вытянутой вверх и пальцем второй руки зажимал рану, пытаясь остановить кровь.

У этой лошаденки мослы что твои зубочистки! — кричал Арли. — Ей только легкие двуколки таскать! Вот если б ты нам мула нашел! Ведь просили тебя! Но вообще-то хорошо, что ты там с твоей рукой валяешься, а то я чуть не нарвался, пытаясь увезти с собой парочку умирающих суржиков. Ты куда, говорят, их переть собрался? За каким хреном? С тобой-то лучше, правдоподобнее получится — ежели кто вязаться вздумает! В общем — что-то теряешь, что-то находишь, да и потом: удачи и невзгоды дает Господь! Их надо принимать с благодарностью! Веруя, что Он вновь нас выведет, пусть даже тебе и придется поваляться тут в кровище! Зато посты охранения пролетим со свистом.

Окончание в следующем номере

Вацлав Гавел

Уход

Пьеса в пяти действиях

Перевод с чешского Ольги Луковой

Действующие лица

Вилем Ригер, бывший канцлер
Ирена, его давняя подруга
Бабушка, его мать
Власта, его старшая дочь
Зузана, его младшая дочь
Моника, подруга Ирены
Бея Вайсенмютельхоф, политолог и мультикультурный социопсихолог
Альбин, муж Власты
Гануш, бывший секретарь Ригера
Виктор, бывший секретарь Гануша
Освальд, работник в доме Ригера
Джек, журналист
Боб, фотограф
Властик Кляйн, заместитель, а потом вице-председатель
Кноблох, садовник
Первый полицейский
Второй полицейский
Голос

Действие происходит в саду виллы Ригера.

Václav Havel © 2007
© Ольга Лукова. Перевод, 2009
Пьеса Вацлава Гавела войдет в сборник пьес чешских авторов, выпускаемый издательством "Балтийские сезоны".
"Король Лир" Уильяма Шекспира цитируется в переводе Бориса Пастернака. (*Прим. перев.*)

Чтобы инсценировка удалась, пьесу следует играть просто, серьезно, трезво, нормально, естественно и не украшать ее разными гротесковыми движениями, шуточными сценическими идеями, преувеличенными жестами или интонациями, кривлянием, биомеханикой или чем-либо экстравагантным, призванным дать дополнительные объяснения к тексту, интерпретировать его, иллюстрировать или же просто сделать его более развлекательным. Автор рекомендует не слишком сокращать пьесу, особенно без особых на то причин. Им руководит не слепая любовь к собственному тексту, а практический опыт: сокращения могут легко разрушить смысловой каркас, на котором держится пьеса, или нарушить ее самобытный ритм, что обычно — парадокс — приводит к большей скуке, чем та, которую вызывает текст без купюр.

Действие первое

На сцене сад виллы Ригера. Вилла на заднем плане, у входа в нее ступеньки. На одной стороне сцены — небольшой флигель, на другой — беседка. В центре сцены — комплект садовой мебели. Где-то на ветке висят качели. На сцене только Зузана, дочь Ригера. Она сидит на качелях, слегка раскачивается, на коленях у нее большие наушники и открытый компьютер, на котором она что-то обеими руками пишет. Между ухом и приподнятым плечом у нее зажат мобильный телефон.

Зузана (*в телефон*). Ага — ага — ну ладно — отлично — супер — я тоже — очень! Главное ты, Лили! Ну пока...

Зузана выключает телефон, сует его в карман, надевает наушники и продолжает работать на компьютере, не замечая ничего вокруг. Вскоре медленно входит Ригер, седоватый элегантный господин лет шестидесяти в "морском" пиджаке и с платком на шее, Ирена, его подруга лет сорока, Моника, незаметная подруга Ирены, и Бабушка, мать Ригера. Ригер, очевидно, центральная фигура всего происходящего, садится, дамы поразному располагаются вокруг него. Короткая пауза.

Ирена. Тебе не холодно?

Ригер. Нет...

Ирена. Тебе определенно холодно!

Ригер. Мне не холодно, дорогая, правда...

Ирена. Я принесу тебе плед...

Ригер. Мне не нужен плед. Я не хочу плед. Мне не холодно...

Бабушка. Не заставляй его, если он не хочет. Он же взрослый...

Ирена. Моника, пожалуйста — коричневый, он лежит прямо здесь, в холле, в большом кресле...

Моника. Ты имеешь в виду бежевый?

Ирена. Да...

Ригер. Не надо ничего нести, Моника. Мне хорошо...

По тихому знаку Ирены Моника уходит в дом. На ступеньках она встречает Освальда, работника в доме Ригера, тот несет на подносе стакан с

грогом, салфетку и чайную ложку. Он услужливо останавливается в глубине сцены.

Бабушка. Бежевых пледов там несколько, они как следует не сложены, их давно не отдавали в чистку, и они все равно почти не греют...

Ригер. Где же, собственно, журналисты? Не пора ли им быть?

Из флигеля выходит Виктор, бывший секретарь Гануша.

Виктор. Ничего не понимаю. У канцлера же не проходной двор. Я им уже звонил, говорят, едут...

Ирена. Ты, Вилем, должен им по правде сказать, что ты думаешь. Без дипломатических экивоков. А то ты сильно разочаруешь людей...

Виктор. Именно так! Вам надо быть твердым!

Бабушка. Вилем сам лучше знает, что ему делать. С журналистами он всегда умел обращаться...

Виктор уходит во флигель. Из дома выходит Моника с бежевым пледом. Она подает его Ирене, а та набрасывает плед на плечи Ригеру.

Ригер. Полагаю, что пришло время выпить мой дневной грог...

Освальд быстро подходит к столу, кладет на него салфетку и чайную ложку и ставит грог.

Спасибо, Освальд. Как тебе спалось?

Освальд. Хорошо, господин канцлер...

Ирена (*Освальду*). Ты уже можешь готовить картофель на вечер. Как только поставишь его варить, вынь, пожалуйста, из стиральной машины все, что там есть, и развесь на веревке среди вишен. Прищепки, как всегда, лежат под раковиной. Когда пойдешь за ними, постарайся, пожалуйста, не опрокинуть корзину с мусором. Ты мог бы его потом вынести. Но сначала развесь белье. Не забудь положить в корзину новый мешок...

У Зузаны в кармане мобильный телефон начинает играть "Оду к радости". Она еще некоторое время работает на компьютере, потом закрывает его, снимает наушники, вынимает из кармана мобильный телефон, помещает его между ухом и плечом так, чтобы обе руки были свободны, встает, берет компьютер и наушники и направляется к дому.

Зузана (*в телефон*). Не стоит, Лили, точно не надо — ага — да — ага — не бойся! Точно! Точно! Ни в коем случае! Здорово — здорово — супер! Ну пока...

Зузана уходит в дом.

Ирена (*Освальду*). Не вздумай вытряхнуть старый мешок и снова положить его в корзину! Потом там будет страшная вонь. Моника скоро придет тебя проверить, может, что-нибудь посоветовать или даже помочь. (*Монике.*) Ты не против?

Моника кивает. Освальд кланяется и уходит с подносом в дом. На ступеньках он встречает Гануша, бывшего секретаря Ригера. Тот несет огромную картину — безвкусный портрет Ригера.

Гануш *(Ригеру)*. Вилем, у меня хорошие новости. Ты можешь взять его себе! Печать канцелярии такая нечеткая, что в случае необходимости мы легко все объясним...

Ригер. Да оставь ты им эту мазню...

Бабушка. Дайте его мне! Я повешу его у себя в спальне!

Ригер. Мама, прости, но не будем же мы захламлять дом такой халтурой!

Ирена. Оставим его себе. Но у Бабушки ему делать нечего, пусть она у себя повесит твои детские фотографии. Он будет у меня. Вообще-то он не так плох, правда, Моника?

Моника пожимает плечами. Короткая пауза, Гануш вопросительно смотрит на присутствующих, потом уносит картину в дом. Из флигеля выходит Виктор.

Виктор. Уже приехали!

Бабушка. Кто? Журналисты? А сколько их? Не лучше ли им остаться за забором?

Ирена. Моника, будь добра, проводи Бабушку в холл. Пусть она включит себе телевизор или почитает вчерашний номер "Тьфу"...

Моника уводит Бабушку в дом. На ступеньках они встречают Освальда, несущего на подносе три бокала с пивом. Он услужливо останавливается в глубине сцены. Виктор идет навстречу выходящим на сцену Джеку, журналисту с сумкой через плечо, и Бобу, фотографу, увешанному фотоаппаратами.

Виктор. Это Джек, господин канцлер, известный журналист, а это Боб, фотограф, он сделает — с вашего позволения — пару снимков...

Ригер. Разрешите мне узнать, для какой газеты вы работаете?

Джек. Для газет в разных странах, а также для некоторых наших...

Ригер. Для каких наших?

Джек. Например, для "Тьфу". Я говорил с вами семь лет назад в Афинах, припоминаете?

Ригер. У меня было столько интервью...

Джек. Это прямо под Акрополем было...

Ригер. Я там был с Папандреу, да?

Джек. Именно так!

Ригер. Садитесь же...

Джек садится за стол, вынимает из сумки свои заметки, блокнот и два маленьких магнитофона, которые он включает. Виктор стоит в отдалении, Боб ходит вокруг, ищет интересный ракурс и фотографирует разными фотоаппаратами. Джек долго копается в своих заметках, пока не находит нужный вопрос.

Джек *(читает)*. Господин канцлер, вы можете нам сказать, как после стольких лет, проведенных...

Ирена. Ты не хочешь меня представить?

Ригер. Ах да, прости, это Ирена, моя давняя подруга...

Джек. Джек...

Ирена. Рада с вами познакомиться, Джек...

Джек (*Ригеру*). У вас симпатичная давняя подруга...

Ригер. Спасибо.

Джек (*читает*). Господин канцлер, вы можете нам сказать, как после стольких лет, проведенных...

Ирена. Простите, вы выпьете что-нибудь?

Джек. Спасибо, не беспокойтесь. Или — если уж — то просто две кружечки пива, вот Бобу и мне...

Ригер. Я выпью с вами пива...

Джек. У вас не найдется немного корицы?

Подходит Освальд с подносом, ставит на стол три стакана с пивом, из нагрудного кармана достает пакетик и насыпает Джеку в пиво корицу.

Ирена (*Освальду*). Ты нашел прищепки?

Освальд. Я их еще не искал...

Ирена. Когда пойдешь за ними, не забудь про мусор. И пошли сюда Монику...

Освальд кланяется и уходит с подносом в дом.

Джек (*читает*). Господин канцлер, вы можете нам сказать...

Ригер. Я уже не канцлер...

Джек. Господин бывший канцлер, вы можете нам сказать, как после стольких лет, проведенных на высоком посту, вы чувствуете себя в положении простого гражданина?

Ригер. Я чувствую себя хорошо, прежде всего потому, что у меня теперь гораздо больше времени для моей семьи. С другой стороны, я только теперь вижу, сколько людей верит в традиции, ценности и идеалы, олицетворением которых в их глазах был я и которые после моего ухода с каждым днем словно бы теряют в весе...

Из дома выходит Моника. Ирена снимает плед с плеч Ригера и подает его Монике.

Ирена. Будь добра, принеси мне пудреницу — новую — расческу — старую — и помаду — темную. Все лежит или на левой полке в моей ванной, или на ночном столике, или на первой полке сверху в правом шкафу в холле, или еще где-нибудь...

Моника. Темные очки и шелковый платок фирмы "Карапуз и братья" не надо?

Ирена. Да, обязательно, отличная идея!

Моника уходит в дом.

Простите, я не знала, что фотографировать тоже будут...

Джек *(читает)*. Господин бывший канцлер, какие ценности, которые вы стремились провести в жизнь, были самыми важными?

Ригер. В центре моей политики всегда был человек. Человек как свободный, счастливый и постоянно повышающий свое образование гражданин со счастливой семьей...

Ирена. Заметьте, Джек, как сжато он умеет высказываться. Я всегда этим восхищалась...

Виктор. Господин канцлер говорит прекрасным языком и очень ясно выражает свои мысли. Надеюсь, что там все будет передано точно так, как это было сказано...

Ригер. Государство для гражданина, а не гражданин для государства...

Виктор. Эти слова я напечатал бы крупным шрифтом!

Ригер. Я всегда хотел, чтобы наша страна была безопасным местом. И не только наша страна. Весь мир. И не только для человека. Для всей природы. (*Восклицает.*) Но, конечно, не в ущерб развитию промышленности!

Голос. Прошу актеров по возможности играть просто, естественно, без гротесковых жестов или комических гримас, короче говоря, не пытаться с помощью всякого кривляния сделать пьесу более развлекательной. Спасибо.

Из дома выходит Гануш, под мышками у него по телефонному аппарату.

Ригер. Это Гануш, мой бывший секретарь, он помогает мне в некоторых делах. (*Ганушу.*) Я надеюсь, они не казенные...

Гануш. К сожалению, казенные, Вилем...

Гануш проходит через сцену и уходит с телефонами во флигель. Из дома выходит Моника с расческой, помадой, пудрой, темными очками и прозрачным платком. Она подает все это Ирене, которая тут же начинает краситься. Из флигеля выходит Гануш, проходит через сцену и уходит в дом. Джек копается в своих заметках. Наконец он находит следующий вопрос.

Джек (*читает*). Господин бывший канцлер, как идеалы, которые вы исповедовали, проявлялись в вашей конкретной политической деятельности?

Ригер. Я, например, придавал большое значение правам человека. Во имя свободы слова я значительно ограничил цензуру: я уважал свободу собраний — ведь во время моего правления не было разогнано даже половины всех демонстраций! — и свободу союзов, о чем свидетельствует несколько десятков обществ, образованных по инициативе из самых низов...

Ирена. Прости, Вилем, но тебе следовало бы сказать, что ты уважал и взгляды меньшинств...

Ригер. Я уважал и взгляды меньшинств, а в нескольких случаях даже не побоялся вести диалог с разными независимыми инициативными группами...

Виктор. В этом господин канцлер был действительно великодушен. Иногда даже слишком. Видели бы вы только, какой сброд иногда приходил!

Из дома выходит Освальд с мешком мусора и подносом, на котором стоят три стакана, в каждом остатки пива на дне. Мешок он отставляет в сторону и услужливо останавливается в глубине сцены.

Ирена. Я думаю, что он много сделал и для наших женщин...

Ригер. Женщин я всегда очень уважал и всегда себя ими окружал...

Джек. Отличный заголовок!

Виктор. Это, господин редактор, мы с вами потом вместе обсудим...

Ригер. Я вел жесткую борьбу с коррупцией. Ведь все помнят историю с Кляйном. Выпьете еще немного пива?

Джек. Но только, правда, немного...

Подходит Освальд с подносом, ставит пиво на стол, из нагрудного кармана он достает пакетик и насыпает Джеку в пиво корицу. Освальд кланяется и направляется с подносом в дом, из которого выходит Бабушка.

Голос. У истории с корицей нет никакой психологической или иной подоплеки, а если есть, то я не знаю, какая она. Мне кажется — по крайней мере пока, — что это чистое проявление авторского своеволия или даже моей несколько эгоцентричной радости от того, что я могу придумать любую ерунду, а актерам придется с умным видом это играть. А что мне делать? Мне просто так нравится, и мне кажется, что тут это уместно.

Освальд уходит в дом. На ступеньках он встречает Бабушку, у которой в руке номер "Тьфу". Ирена перестает краситься, надевает и снимает очки, играет платком, скромно позирует, Боб прыгает вокруг нее и фотографирует.

Бабушка. Оставьте его в покое! Вы же видите, как он устал...

Ригер. Мама, я не устал...

Бабушка. Нет. Я же вижу. Ты все равно каждый раз одно и то же говоришь...

Ирена. Неправда! Сегодня он действительно хорошо говорил!

Виктор. Я тоже думаю, что сегодня все было на редкость удачно. Но, как говорится, хорошего понемножку. Пожалуйста, последний вопрос...

Ригер. Знаете, что мне однажды сказал Тони Блэр? Если ты им не ответишь, они сами себе ответят. Хорошо, да?

Джек. Тогда последний вопрос. Вас волнует потеря неприкосновенности?

Ригер. Почему она должна меня волновать?

Джек. А вы не боитесь...

Виктор. Простите, но вам действительно...

Джек. Господин бывший канцлер, а вы не боитесь...

Виктор. Простите, но вам действительно пора заканчивать...

Джек. Господин бывший канцлер, а вы не боитесь, что вам придется отсюда уехать? Ведь это правительственная вилла...

Ригер, Ирена, Бабушка и Виктор удивленно смотрят друг на друга. Пауза.

Ригер. Они же не посмеют!

Джек делает еще какие-то пометки, потом складывает их, блокнот и магнитофончики в сумку, встает и подает руку Ирене и Ригеру. Боб делает последние фотографии.

Джек. Если нам будет нужно еще о чем-нибудь спросить, дополнить или выяснить что-то, мы можем прийти?

Ирена. Разумеется, Джек...

Джек и Боб собираются уходить, Виктор провожает их.

Виктор. Вы дадите нам до выхода номера еще раз просмотреть? Правда, дадите? Мы только взглянем и сразу вернем. Я вас очень прошу...

Ирена (*кричит*). Фотографии мы выберем вместе, Джек!

Джек и Боб уходят, Виктор возвращается.

Виктор. Господин канцлер, поздравляю! Вы были великолепны!

Ригер. Самое важное — уметь понятным языком говорить о разных вещах, уметь обобщить их и включить в надлежащие взаимосвязи. Конечно, хорошего лидера окружает и хороший network think-tank'ов...

Виктор. Простите, что?

Ригер. Network think-tank'ов. Вы заметили, что они совершенно забыли спросить об экономике и социальной политике? Об образовании я вообще не говорю! Кляйна — со вчерашнего дня заместителя — я нарочно упомянул, я ждал следующего вопроса об этом, а они — молчок. Странно, да?

Виктор. Печально, господин канцлер, что вам приходится иметь дело с такими людьми. Я пошел дальше работать...

Ригер. Да наплюйте вы на это...

Виктор. Не допустим же мы, чтобы всем занимался этот бюрократ!

Виктор уходит во флигель. Входят Власта, старшая дочь Ригера, и ее муж Альбин. Она несет сумку с фруктами, он — канцелярскую папку.

Власта. Приветствую тебя, папочка, привет, ба, салют, Ирена, привет, Моника. Я вам фруктов принесла. Альбин, помоги мне...

Власта с Альбином выкладывают на стол множество самых разных фруктов.

Ирена (*зовет*). Освальд!

Бабушка. Знаешь, Власта, что тут только что говорил один журналист? Что нам, может быть, придется отсюда уехать. Господи, куда же мы денемся?

Ирена. Моника, ты не посмотришь, где Освальд? Если увидишь его, скажи ему, пожалуйста, пусть он сначала принесет три плетенки с

салфетками и несколько ножей для фруктов, потом разбавленное пиво для Альбина, а потом пусть следит за картофелем. Когда он сварится, пусть он его как следует сольет, даст ему подсохнуть и остыть, а потом пусть очистит. Но не картофелечисткой! Кожуру можно осторожно снять ножом...

Моника. Он знает каким?

Ирена. Пусть берет любой, только не тот декоративный, который мне подарила госпожа Путина...

Моника уходит в дом.

Власта. Об этом переезде столько всяких слухов. Говорят, теперь тебе уже не нужно представительское жилье. В худшем случае вы — ты, бабушка и Зузка — можете переехать к нам. Вы же знаете, как мы вас любим и как мы вам за все благодарны!

Ригер. А как же Ирена?

Ирена. Не беспокойся, мы с Моникой себе что-нибудь подыщем, снимем квартиру, придумаем. Главное, чтобы мы были недалеко друг от друга...

Ригер. Ты умница, Ирена...

Из дома выходит Гануш с большим металлическим бюстом Ганди в руках. Гануш останавливается около Ригера.

Гануш. Это ты, к сожалению, не можешь взять себе. Пять лет назад кто-то занес его в инвентарную книгу...

Ригер. Пусть подавятся!

Гануш. Прости, Вилем, но не хватает еще какого-то набора линеек. Ты ничего об этом не знаешь?

Ригер. Не знаю!

Из флигеля выбегает Виктор.

Виктор (*резко*). Это были сувенирные линейки. Они розданы, и тебе вообще не следовало приставать с этим к господину канцлеру!

Гануш со скульптурой в руках уходит во флигель. За ним уходит Виктор. Одновременно из дома выходит Моника, она несет на подносе плетенки, ножи, салфетки и стакан разбавленного пива.

Ирена. Ну что?

Моника. Наверное, он где-нибудь спит...

Моника ставит на стол все, что она принесла, и укладывает фрукты в плетенки. Альбин берет стакан разбавленного пива. Пауза.

Ригер. Это был подарок госпожи Индиры...

Бабушка (*Власте*). Вы останетесь с нами ужинать? Будет картофель с творогом и маслом...

Входит Кноблох, садовник. У него в руке грабли.

Власта. Альбин, останемся?

Альбин пожимает плечами.

Власта. Попробуем и уйдем...

Голос. Согласен, пока ничего существенного не произошло. Но я хотел, чтобы действие разворачивалось очень долго и очень медленно. Тем благодарнее потом будут зрители за его постепенное ускорение.

Из флигеля выходит Гануш, проходит через сцену и уходит в дом.

Ригер. Мое почтение, господин Кноблох! Ну так что, много вишни будет в этом году?

Кноблох. По-моему, много...

Ригер. А что делается на улице? Что нового? Как люди все это оценивают? Вы видели где-нибудь какие-нибудь демонстрации в мою поддержку или хотя бы какие-нибудь надписи?

Кноблох. Мужики в пивной говорили о переезде...

Ригер. О каком переезде?

Кноблох. Мол, заместитель Кляйн где-то сказал, что государство не может позволить себе просто так раздавать виллы...

Из флигеля выбегает Виктор.

Виктор. Сейчас по радио сказали!

Ригер. Что?

Виктор. Заместитель Кляйн сказал в коридоре парламента, что государство не может позволить себе просто так раздавать виллы...

В этот момент поднимается ветер и начинает идти дождь.

Конец первого действия

Действие второе

На сцене сад виллы Ригера. Прошел час, обстановка та же, что и в конце первого действия. Дождь и ветер прекратились. Сцена пуста. Вскоре из дома по очереди выходят Власта и Альбин с папкой, Ригер и Ирена, за ними Моника и Бабушка.

Ригер. Вы еще останетесь?

Власта. Ненадолго...

Бабушка. Почему большие картофелины недоварились, а маленькие разварились?

Ирена (*Монике*). Будь добра, убери мои мазилки!

Моника начинает складывать косметику на поднос.

Власта (*Ригеру*). Папа...

Ригер. Да...

Власта. Мы бы хотели — Альбин и я — кое о чем с тобой поговорить...

Ригер. Пожалуйста...

Ирена. Бабушка, тебе пора домой, от земли холодом тянет. Моника, пожалуйста...

Моника берет поднос с косметикой, платок и темные очки, берет Бабушку за руку и уходит с ней в дом.

Власта. Тебе прекрасно известно, папа, как мы с Альбином тебя любим. Мы заботимся только о твоем благе. Это может выглядеть глупо, но так поступают все, особенно за границей, потому что никогда не знаешь, что может случиться. И вот мы — Альбин и я — подумали, что нам, мы ведь одна семья, надо быть готовыми ко всему...

Ригер. Ты говоришь о том, что нам, может быть, рано или поздно придется отсюда выехать?

Власта. Я уже ясно сказала: вы поедете — хотя бы на первое время, пока что-нибудь себе не найдете, — к нам. Но с этим связано много других вещей...

Ригер. Например?

Власта. Откуда мне знать! Мебель — картины — книги — сбережения — расходы на проживание — короче говоря, мы с Альбином и с еще одним нашим другом юристом попытались кое-что набросать...

Власта берет у Альбина папку, из дома выходит Моника.

Ригер. Завещание?

Власта. Это ужасно звучит, да? Но речь идет об определенных инструкциях на случай, если кто-нибудь усомнится в праве собственности на то или иное имущество...

Ирена. То есть после смерти Вилема?

Власта. Зачем сразу о самом плохом думать? Ведь все мы хотим, чтобы отец жил как можно дольше. Поэтому в нашем проекте предусмотрены альтернативы. В общем и целом это просто формальности — в нашей семье всегда все так или иначе принадлежало всем, — но мы живем в такое время, когда все что угодно может случиться, например, вступление в силу введения экзекутивного задержания личного имущества в случае подозрения в уклонении от расследования какого-нибудь подозрительного случая...

Ригер. Другими словами, ты хочешь, чтобы я перевел имущество на своих близких...

Власта. На членов семьи...

Ригер. А как же Ирена?

Ирена. Не беспокойся, у нас с Моникой свои сбережения имеются, да?

Моника кивает.

Ригер. Ты умница, Ирена...

Ирена (*зовет*). Освальд!

Власта. Тебе надо все изучить, обдумать, может быть, с кем-нибудь посоветоваться. Альбин и я, мы тебя вовсе не торопим, мы только думаем, что глупо попасть впросак только потому, что мы заранее не подумали. Нам просто надо все так оформить, чтобы не наткнуться на бюрократические преграды и чтобы это не повлекло за собой неблагоприятных отголосков в средствах массовой информации...

Ирена. Власта права, Вилем. Ты же знаешь, на что способна "Тьфу"! (*Монике.*) Пойдем?

Моника кивает, Ирена и Моника уходят. Власта отдает папку Ригеру, тот кладет ее на стол. Власта и Альбин обнимают Ригера и тоже уходят. Входит Кноблох с граблями.

Кноблох. Значит, ждете гостей?

Ригер. Я? Нет...

Кноблох. Заместитель Кляйн говорил по телевизору, что он собирается как можно скорее нанести вам визит...

Ригер. Он так сказал?

Кноблох уходит. Вскоре появляется Бея с книгой в руке. Некоторое время она просто стоит и смотрит на Ригера, который не сразу ее замечает.

Ригер. Вы кого-то ищете?

Бея. Вас...

Ригер. И что вам угодно?

Бея. Не будете ли вы так любезны поставить мне автограф на книге ваших речей?

Ригер. Пожалуйста...

Ригер жестом указывает Бее, что она может войти и сесть, что та, немного смущаясь, и делает. Ригер тоже садится и вынимает ручку. Бея открывает книгу на титульном листе и кладет ее перед Ригером.

Ригер. Неужели вы все это прочитали?

Бея. Я читала ее довольно внимательно, прежде всего потому, что мне это было очень интересно, а также потому, что я писала о вас дипломную работу. Я сама вас выбрала. Моя работа называется "Демократия в понимании Вилема Ригера"...

Ригер. И какую оценку вам поставили?

Бея. Я получила "отлично". Я уже много лет занимаюсь вами. Я знаю о вас, быть может, больше, чем вы сами. И чем больше я вами занимаюсь, тем большее впечатление производит на меня ваша деятельность...

Ригер. Вы политолог?

Бея. Да, но я еще несколько семестров изучала мультикультурную социопсихологию и интермедийную коммуникацию...

Ригер. Позвольте узнать, как вас зовут?

Бея. Вайсенмютельхоф. Бея Вайсенмютельхоф. Но вы можете называть меня Бея, господин канцлер...

Ригер. С удовольствием, Бея. Но я уже не канцлер...

Бея. Для меня вы всегда будете канцлером, господин канцлер!

Пауза. Ригер берет со стола одну из плетенок с фруктами и угощает Бею.

Бея. Нет, спасибо, я пришла не для того, чтобы объедать вас или задерживать...

Ригер. Вы меня не объедаете и не задерживаете. Угощайтесь...

Бея. Ну, спасибо...

Бея берет яблоко и с аппетитом надкусывает его. Из дома незаметно выходит Бабушка. Ригер и Бея ее не видят. Долгая пауза, Бея грызет яблоко.

Бея. Это из вашего сада?

Ригер. Нет, это дочь принесла. Здесь у нас только вишни...

Бея. Вы очень хорошо говорили о вашем саде — как символе культурной традиции и культуры места — в Харькове...

Ригер. Ах, это так давно было! Позвольте узнать, какие из моих речей или мыслей более всего вас заинтересовали?

Бея. Основой и главной отправной точкой вашей политики, господин канцлер, я считаю идею, что в центре внимания политика должен быть человек и что все должно служить его всестороннему развитию. Важной также была ваша мысль о том, что наша страна должна быть безопасным местом. Да, именно так! Разве можно всесторонне развиваться на каком-нибудь опасном пространстве? Еще я очень люблю мысль, которую высказали вы одиннадцать лет назад на Тайване, о том, что человек рожден для свободы...

Ригер. Да, припоминаю, эта речь тогда имела большой успех. Чан Кайши даже просил у меня текст выступления...

Бабушка. Надеюсь, ты ему не дал...

Ригер и Бея удивленно оборачиваются к Бабушке.

Ригер. Это Бея, мама. Это моя мать. Бея написала обо мне дипломную работу...

Бабушка. Это мило. Мне поискать Освальда?

Ригер. Просто посмотри, не оставил ли он что-нибудь на плите...

Бабушка уходит в дом. Пауза.

Бея. Я хотела бы когда-нибудь написать вашу биографию. Наверное, в вашей жизни было столько интересного!

Ригер. Да, в моей жизни было много всего, и я достаточно много сделал. Кое о чем пока мало известно или неизвестно вообще...

Входят Ирена и Моника. В руках у них много бумажных и полиэтиленовых пакетов с покупками. Увидев Ригера и Бею, они останавливаются.

Ирена. Я вижу, у вас гости...

Ригер. Это Бея Вайсенмютельхоф, политолог и мультикультурный социопсихолог, она также изучала интермедийную коммуникацию. Она занимается моим политическим творчеством и собирается написать мою биографию. Это Ирена, моя давняя подруга, а это Моника, подруга Ирены...

Дамы обмениваются рукопожатием.

Ирена. Я тебе шапку купила!

Моника достает из пакета спортивную шапку с надписью "I love you", подает ее Ирене, а та надевает шапку на голову Ригеру.

Ригер. Спасибо, дорогая...

Моника собирает все пакеты и уходит с ними в дом.

Ригер. Мы как раз остановились на моей речи на Тайване...

Ирена. У тебя хорошенькая почитательница. Впрочем, так было всегда. И всегда у тебя для них находилось время. Интересно, что мужики о тебе не пишут...

Ригер. А как же Добеш?

Ирена. Который из "Тьфу"? Ну уж этим хвастаться не стоит. Да ладно. Не буду мешать...

Ирена уходит в дом.

Бея. Кажется, ваша давняя подруга не в восторге от моего визита...

Ригер. Она очень меня любит, так что с ней иногда нелегко. Я с удовольствием расскажу вам о своей жизни. У меня сейчас достаточно времени, и я быстро все забываю, так что, чем раньше мы начнем, тем лучше!

Бея. Значит, я могу прийти завтра ближе к вечеру? Я ужасно хочу сделать эту работу! Ну, до свидания...

Ригер. До свидания, Бея...

Ригер секунду колеблется, потом быстро целует Бею в щеку. Она гладит его по волосам, берет свою книгу и убегает. Медленно входит Кляйн в сопровождении Кноблоха с граблями и Виктора. Ригер засовывает шапку в карман.

Кноблох. К вам гости, господин канцлер...

Ригер. Властик Кляйн! Вот это сюрприз! Садись. Хочешь чего-нибудь выпить?

Кляйн. Немного горячего чая...

Ригер. Сделаете, Виктор?

Виктор кланяется и уходит в дом, Кноблох тоже уходит.

Кляйн. Ну, как живешь? Наверное, теперь ты больше времени проводишь с семьей. Или скучаешь по политике?

Ригер. Это несколько парадоксально, но я только теперь стал понимать, сколько у меня почитателей. Ведь все-таки я явно был для людей воплощением определенных ценностей...

Из дома выходит Ирена.

Ирена. Привет!

Кляйн. Салют...

Ригер. Мы говорили о том, что у меня много почитателей...

Ирена. Да, многие демонстрируют свой интерес к нему и свои симпатии. Все время приходят то какие-нибудь журналисты, то студентки, которые о нем что-нибудь пишут...

Ригер. Ирена не преувеличивает. Но как мне как-то сказал Гавел: популярность еще не все...

Из дома выходят Виктор с чашкой чаю и Моника. Виктор подает чашку Кляйну.

Виктор. Еще что-нибудь?

Кляйн. Нет, спасибо. Разве что... капля рому найдется?

Ирена. Ром стоит прямо слева, над моими шапками и под обувным шкафчиком Вилема...

Виктор кивает, кланяется и уходит в дом.

Кляйн. Ловкий парнишка...

Ригер. Это Виктор, бывший секретарь моего бывшего секретаря Гануша. Он помогает нам отделять личные вещи от того, что принадлежит государству. Ты не поверишь, сколько с этим работы. Впрочем, тебя это тоже когда-нибудь ждет! (*Ригер нарочито долго смеется.*) А как ты — на новой должности? Как себя ощущаешь?

Кляйн. Ну знаешь, я пока стараюсь понять, кто идет с нами, а кто только делает вид...

Из дома выходит Виктор с бутылкой рома. Он подходит к Кляйну и капает ему в чай ром.

Кляйн. Спасибо, Виктор. А я могу позволить себе еще одно нескромное желание? Я очень люблю чай с печеньем...

Ирена. Моника, оно на столе. Если, конечно, его куда-нибудь не спрятал Освальд. У него своя система тайников. Например, недавно я обнаружила, что за холодильником у него стоит коробка с пятью пачками творога. Представьте, пять пачек творога, бог знает сколько они там пролежали, я, разумеется, все выкинула...

Моника уходит в дом, Виктор стоит в отдалении.

Ригер. Ходят слухи, что ты войдешь в правительство...

Кляйн. Говорят, шеф в данный момент не может себе там представить никого другого и готов предложить мою кандидатуру, так что все решено, но в данный момент это не входит в повестку дня...

Ригер. Идите же домой, Виктор, мы можем завтра продолжить...

Виктор. Я, с вашего позволения, хотел бы доделать еще один важный ящик...

Ригер. Что в нем?

Виктор. Какая-то ваша личная корреспонденция...

Ригер. Можете ее сжечь...

Ирена. Отложите ее, я потом посмотрю...

Ригер (*кричит*). Сожгите ее!

Кляйн. Твои архивные документы и правда не следовало бы уничтожать. Когда-нибудь они приобретут громадную ценность. Как минимум их следовало бы посмотреть младшей Каньковой из межведомственной исторической комиссии...

Виктор. Положитесь на меня, господин заместитель!

Виктор уходит во флигель. Из дома выходит Моника с блюдечком печенья. Она ставит его перед Кляйном, который тут же начинает есть печенье и ест его до самого ухода.

Кляйн. Благодарю, барышня...

Моника. Моника...

Кляйн. Спасибо, барышня Моника, вы очень милы, и у вас красивое имя. Мне всегда нравились Моники...

Ирена. Это моя подруга. Моника, пожалуйста, попробуй разбудить Освальда...

Моника. Если я его найду...

Моника уходит в дом.

Кляйн. Я надеюсь, что в присутствии Ирены я могу говорить обо всем...

Ригер. Разумеется...

Кляйн. Зачем я, собственно, пришел...

Ригер. Я слушаю...

Кляйн. Будет жаль и тебя, и всю твою семью, и новому руководству тоже будет неудобно, если тебе вдруг придется отсюда съехать, хотя ты столько сделал для государства и хотя все мы знаем, как вы тут хорошо за эти годы обжились, как вы любите этот дом и что вообще-то вам некуда переезжать...

Ригер. Я ценю, Властик, что ты так к этому относишься. По правде сказать, я о таких вещах совсем не задумывался, и мне казалось само собой разумеющимся, что мы здесь останемся...

Кляйн. Да и мне тоже! Я, собственно, только тогда начал этим заниматься, когда мои советники сказали мне, что кто-нибудь может начать копаться в этом деле — а ты, конечно, представляешь, как это способна раздуть какая-нибудь газета "Тьфу"!

Ригер. И какое же решение ты предлагаешь?

Кляйн. Государство просто сдаст тебе виллу внаем. Разумеется, за приемлемую сумму, это мы уже легко объясним...

Ригер. Это было бы неплохо. Что скажешь, Ирена?

Ирена. Шведская королева мне как-то сказала: бесплатно ничего не бывает...

Кляйн. Я, конечно, не торговаться пришел и уж тем более не по поводу жилья. Признаюсь, это оскорбило бы меня лично, а в моем лице и все руководство. Дело в том, что так мы политику делать не хотим, а кто о нас такое думает, тот забывает, что о подобных ошибках они потом пожалеют!

Ригер. Спокойно, Властик! Ирена ничего плохого сказать не хотела!

Из флигеля выходит Виктор с набитым портфелем в руке.

Виктор. До свидания...

Кляйн. Будьте здоровы, Виктор! Мы наверняка еще увидимся...

Виктор. Наверняка, господин заместитель!

Виктор уходит.

Кляйн. С другой стороны, необходимо заметить, что новое руководство не хочет, Вилем, видеть в твоем лице врага и безусловно не собирается ничего заострять. Зачем это? Это только повлечет за собой нестабильность в государстве. Следовательно, логично предположить, что и ты не будешь — хотя бы публично — выступать против нас...

Ригер. Властик, ты не можешь заставить меня думать о некоторых людях иначе, чем я думаю...

Кляйн. Да нам ведь все равно, что ты о нас думаешь!

Ирена. А тогда о чем речь?

Кляйн (*Ригеру*). В интересах политического спокойствия в государстве следовало бы в нужный момент в нужном месте нужным образом продемонстрировать, что ты поддерживаешь новое руководство, потому что не хочешь подвергать сомнению демократическое устройство нашей страны и механизмы его законов в том виде, в каком они сегодня установлены. Ведь и мы хотим поставить в центр нашей политической деятельности человека, и мы хотим, чтобы наша страна была безопасным местом!

Голос. У меня такое чувство, что этот диалог хотя и был для пьесы очень важным, но в то же время он немного скучен. Мне, правда, не кажется, что в этом виноват только я. Я, разумеется, имею влияние на свою пьесу, не могу этого отрицать, но во время работы над ней я стараюсь служить самой логике событий, она мне кажется важнее моих чувств. Значит, я только хороший или плохой посредник между чем-то, что выше меня. Но я не могу исключить еще одной возможности: речь идет просто об отговорке. Ведь сваливать все на так называемое "нечто вне нас" проще простого! Когда я вижу, как иногда манипулируют этим "нечто", мне становится не по себе!

Все смотрят на Ригера. Короткая пауза.

Ригер. Я подумаю об этом...

Кляйн. Вилем, ты знаешь, что я всегда к тебе хорошо относился. Именно поэтому я прошу тебя спуститься с небес на землю. Если до завтра от тебя не поступит позитивного отклика, я пойму, что́ это означает... (*Кляйн, стоя, берет еще одно печенье и поворачивается к Ирене.*) Передай привет Монике!

Кляйн уходит.

Ирена. Вилем...

Ригер. Да, дорогая...

Ирена. Что это за корреспонденция?

Ригер. Откуда мне знать...

Ирена. Что-то интимное?

Ригер. Ты же знаешь, что щекотливые вещи я всегда сжигал...

Ирена. Жег, жег, пока сам себя не сжег! (*Кричит, поворачиваясь в разные стороны.*) Освальд! Освальд! Вставай!

Конец второго действия

Действие третье

На сцене сад виллы Ригера. На следующий день. На сцене только Освальд, он приводит в порядок садовую мебель. Медленно входит Ирена в сопровождении Моники и Бабушки. Ирена садится, дамы ее окружают.

Ирена. Где Вилем?

Освальд. Господин канцлер в ванной...

Бабушка. Сейчас? Днем?

Освальд. Он вот-вот выйдет, я уже десять минут назад слышал, как из ванны выливается вода, сейчас он, наверное, бреется, душится, причесывается и бриолинится. Ему остается только одеться...

Ирена. Ага, интервью. Моника, будь добра...

Моника. Фиолетовый свитерок?

Ирена. Если он не мятый...

Моника. Я посмотрю...

Ирена. Спасибо...

Моника уходит в дом.

Ирена. Освальд, найди, пожалуйста, расписную тарелку, подаренную Чаушеску, положи в нее фрукты, которые принесли вчера Власта с Альбином, возьми салфетки, тарелки и ножи и принеси все это сюда...

Бабушка. Вы снова этих журналистов ждете? Я бы им ничего больше объяснять не стала, ведь Вилем уже все им сказал...

Освальд кланяется и уходит в дом. На ступеньках он встречает Гануша.

Гануш. Вилема тут нет?

Ирена. Как видишь...

Гануш. Мне его надо кое о чем спросить. Остались уже только кое-какие канцтовары...

Ирена. Он вслух не говорит, но ему жалко Ганди...

Гануш. Мне тоже...

Гануш уходит назад в дом, на ступеньках он встречает Монику, несущую косметику, фиолетовый свитерок и темные очки. Она кладет все это на стол, Ирена встает, раздевается до бюстгальтера и надевает свитер. Снятую одежду она отдает Монике, садится, начинает краситься и причесываться. Моника направляется с одеждой к дому.

Голос. Мне то и дело вспоминается что-то, что я забыл, но я тотчас же забываю, что я вспомнил. Дело начинает принимать серьезный оборот. Я, например, все время забываю, кто находится на сцене, а кто ушел, тыкает один персонаж другому или выкает, какое у кого было настроение, когда он уходил, и так далее, и так далее. Запросто может случиться, что кто-нибудь придет и уже больше не уйдет, или, напротив, уйдет в самом начале и уже никогда не вернется, или он должен прийти, хотя он уже на сцене, или он два раза подряд должен уйти, хотя в промежутке не приходил. Буду-ка я писать стихи...

Моника уходит в дом. Вскоре из дома выходит Ригер, он щегольски одет и причесан, даже сильно напудрен. Волосы приобрели экстравагантный темно-коричневый оттенок.

Ирена (*красится*). Они тебя шантажируют...

Ригер. Я знаю...

Ирена. Тебе не следовало говорить, что ты подумаешь...

Ригер. Легко сказать...

Ирена. Поддержать их — значит плюнуть в лицо самому себе! Я не смогу тебя уважать!

Ригер. Я знаю...

Из дома выходит Освальд с подносом. На нем большая декоративная тарелка с фруктами, салфетки, тарелки, ножи, а также бутылка шампанского и стаканы. Фрукты и прочие вещи Освальд ставит на стол, шампанское он уносит в глубь сцены, где услужливо останавливается. Из флигеля выходит Виктор.

Виктор. Они уже идут. У меня к вам только небольшое дело...

Ригер. Вы сожгли это?

Виктор. Я думаю, господин Ригер, что вам следует быть и твердым и одновременно немного дипломатичным. Слишком скоро слишком отрицательная позиция по отношению к новому руководству может произвести контрпродуктивное впечатление, ведь может показаться, что вы не в силах смириться со всем этим — что у вас осталась какая-то боль — горечь — ощущение отверженности — чувство незаменимости — или еще что-нибудь в этом роде...

Ирена. Ну и советники у тебя!

Ригер. Виктор не мой советник, он бывший секретарь моего бывшего секретаря Гануша. Вы сожгли это?

Виктор. Простите, я только высказал свое мнение, простите. Когда они придут, я их приведу...

Ригер. Вы сожгли или нет?

Виктор. Время! Время! Где его сразу столько взять?

Виктор убегает во флигель. Ирена накрасилась и причесалась, она складывает косметику и водружает очки себе на голову.

Ригер. Мама, ты не посмотришь, может быть, вишня уже созрела?

Бабушка. Как хочешь, сынок...

Бабушка уходит в дом. На ступеньках она встречает Монику.

Ирена. Ты вчера перед этой Вайсенмютельхоф распустил хвост, как павлин! Правда, Моника?

Моника пожимает плечами.

Выглядело это отвратительно. Мне было просто стыдно за тебя. Неужели тебе так нужно унижаться перед каждой юбкой? Скажи же, Моника...

Моника пожимает плечами.

Ригер. Какие глупости. Я вел себя с этой дамой точно так же, как со всеми прочими...

Ирена. Дамой? Ха!

За сценой звучит "Ода к радости". Вскоре она неожиданно прекращается. Из дома выходит Зузана. Она несет открытый компьютер и наушники, между ухом и плечом у нее мобильный телефон. Она направляется к качелям.

Зузана (*по телефону*). Now? And why not Lili? Yes – yes – it is possible – Fine! Fine! See you later! Bye-Bye.

Зузана засовывает мобильный телефон в карман, садится на качели, кладет на колени компьютер, надевает наушники и начинает работать на компьютере. Она не замечает ничего вокруг. Пауза.

Ирена. Ты меня любишь?

Ригер. Да...

Ирена. Больше, чем этот дом?

Ригер. Да...

Ирена. Больше, чем этот сад?

Ригер. Да...

Ирена. Больше, чем политику?

Ригер. Да...

Ирена. Больше себя самого?

Ригер. Да...

Ирена. Ты мне еще будешь рассказывать!

Из флигеля выходит Виктор и идет навстречу Джеку и Бобу, которые как раз появляются на сцене. Из дома выходит Бабушка с корзинкой в руке, проходит через сцену и удаляется.

Голос. Я люблю театральные приходы, уходы и возвращения, входы и выходы из-за кулис на сцену и со сцены за кулисы, прыжки из одного мира в другой. А на сцене ворота, заборы, стены, окна и, конечно, двери. Это границы миров, срезы пространства и времени, информация об их относительности, о началах и концах. Любая стена или дверь говорят нам о том, что за ними что-то есть. Они напоминают таким образом, что за каждым "за" всегда есть еще какое-то другое "за". Они опосредованно спрашивают, что находится за последним "за", чем, собственно, открывают тему тайны Вселенной и бытия вообще. По крайней мере, я так думаю.

Джек садится, вынимает из сумки заметки, блокнот и два маленьких магнитофона, кладет все это перед собой, после чего вытаскивает несколько экземпляров "Тьфу", показывает их всем присутствующим и тоже кладет на стол.

Джек. Завтрашний номер "Тьфу". Для вас...

Ирена. Спасибо, Джек. А сегодняшнего у вас нет?

Джек. У вас его нет?

Ирена. У нас только вчерашний...

Все, кроме Зузаны, берут газету, несколько экземпляров остается лежать на столе. Ирена и Моника какое-то время листают свои экземпляры, потом откладывают их. Виктор стоит в стороне и держит свой экземпляр в руке. Боб ходит по сцене и фотографирует, он старается снимать так, чтобы в руках у присутствующих был виден номер "Тьфу".

Ригер. Друзья, у меня есть идея. Это мое первое большое интервью после таких больших перемен в моей жизни, и мне очень хорошо со всеми вами работается. Разве это не повод выпить шампанского?

Все кивают, Освальд сразу же раздает стаканчики, открывает бутылку и наливает. Он хочет насыпать Джеку в шампанское корицу из пакетика, который вытаскивает из нагрудного кармана.

Джек. Сегодня не надо, спасибо...

Боб. А я не откажусь...

Освальд насыпает Бобу в стакан корицу, затем следует тост.

Ригер. Итак, за здоровье! За то, чтобы все хорошо закончилось! Может быть, нас ждет тяжелое время. Но пока мы будем вместе, будем хоть немного любить друг друга, прислушиваться друг к другу и понимать один другого, нам ничего не страшно!

Ирена. Мы с тобой, Вилем! Будь с нами!

Джек долго копается в своих заметках, наконец находит вопрос, включает магнитофоны. Ответ он записывает.

Джек (*читает*). Господин Ригер, не могли бы вы нам сказать, что составляло ядро вашей экономической политики в то время, когда вы были канцлером?

Ригер. Хороший вопрос. Ядром моей политики было стремление значительно снизить налоговое бремя граждан. Все налоги должны были постепенно снижаться, некоторые должны были быть отменены, как, например, налог на наследование процентов с процентов. Снижение налогов должно было привести к экономическому развитию, которое позволило бы государству постепенно повышать все пенсии и социальные выплаты так, чтобы все люди на них действительно могли жить, — это понятно?

Ирена. Разве ты не хотел произнести свою любимую фразу: "Меньше государства"?

Ригер. Меньше государства, меньше налогов и высокие пенсии и выплаты. Так это можно упрощенно сказать...

Джек (*читает*). А что в вашем проекте было предусмотрено для женщин?

Ригер. Со временем работающим женщинам мы должны были начать выплачивать специальное пособие за то, что они еще и ведут домашнее хозяйство...

Ирена. Вы об этом часто говорили. Вы это пособие называли "посудные деньги". Мы над этим смеялись, помнишь, Моника?

Моника с улыбкой кивает.

Виктор. Простите, но, наверное, в данный момент уместно отметить, что это были просто размышления о далекой перспективе...

Ригер. Конечно, все сразу осуществить не получилось бы. Но, с другой стороны, мы хотели покончить с политикой вечных отсрочек...

Джек. Если говорить об экономической политике, я хотел бы еще спросить, как (*быстро ищет в своих заметках*) вы хотели — как вы хотели (*находит вопрос*) — чем вы хотели привлечь иностранные инвестиции?

Ригер. Для этого есть несколько механизмов. Вы пьете? У всех налито? Освальд, налей, пожалуйста...

Освальд доливает всем шампанского. Из дома выходит Гануш.

Гануш. Вилем...

Ригер. Во-первых, там, где потенциальный иностранный инвестор задумал бы что-нибудь построить, например, склад или хранилище, мы хотели выровнять местность, выкорчевать деревья, сжечь кустарник, провести воду, газ, электричество, Интернет и построить шоссе и парковку. Таким образом мы повысили бы число работающих, что привело бы к снижению числа неработающих...

Гануш. Вилем...

Ригер. Во-вторых, мы хотели ввести так называемые разрешительные исключения, включая разрешение нулевой или отрицательной выплаты налогов и специального вознаграждения за прибыльное предпринимательство...

Гануш. Вилем...

Ригер. Ну и в-третьих... Виктор, что было в-третьих?

Виктор. Уж и не помню, господин Ригер...

Гануш. Вилем, прости...

Ригер. Разве это не было предложение о дотации полифункциональной презентации соответствующей корпорации?

Виктор. Не знаю. Да. Наверное. Может быть...

Ирена делает знак Монике, та подходит к ней, Ирена долго ей что-то шепчет, Моника кивает.

Гануш. Вилем, прости, но у меня тут небольшая проблема...

Ригер. В чем дело?

Гануш. Согласно протоколам административного комитета, ты несколько дней назад получил сто ластиков, пятьдесят цветных ручек, литр чернил, десять пачек бумаги — не следовало бы нам что-нибудь из этого вернуть?

Виктор (*кричит*). Хватит, Гануш!

Гануш. Мы же не можем позволить поймать нас на таких глупостях!

Ригер. Иди ты к черту, трус!

Ирена перестает шептаться, Моника уходит во флигель, Гануш удаляется в дом. После долгих поисков Джек находит следующий вопрос.

Джек (*читает*). Как бы вы, господин Ригер, отреагировали на критические голоса, которые упрекали вас в том, что вы недостаточно боролись с коррупцией, особенно среди ведущих политиков?

Ригер. Все было как раз наоборот. Ведь это именно я первым обратил внимание на то, что надо прояснить ситуацию вокруг Кляйна!

Ирена. Разве это не странно, когда политик покупает для себя и для своих родственников подряд пять вилл класса люкс? Вилем открыто говорил об этом — и что произошло? Все начали его порочить, а Кляйн только смеялся! Так ведь, Вилем?

Ригер. Да...

Виктор. Хочу уточнить: мы не подали в суд. Так что формально...

Ригер. Подали не подали, все знают, что я бы разобрался с коррупцией, если бы у меня было больше времени. Ведь последние пятнадцать лет я только этим и занимался!

Из флигеля выходит Моника, она подходит к Освальду и что-то ему шепчет. Он несколько раз кивает, потом кланяется и уходит во флигель. Моника с помощью мимики дает понять Ирене, что все улажено.

Ригер. Позвольте мне немного раздвинуть границы вашего вопроса: я всегда считал порядочность и нравственные принципы чрезвычайно важным дополнением рынка. Я просто хотел, чтобы эта страна была безопасным местом. Для всех!

Ирена. Вилем, ты это уже говорил...

Ригер. Некоторые вещи надо говорить все время! Например, что бывают ситуации, когда свободу надо защищать даже с применением силы. Для чего же еще у нас армия, полиция, информационная служба, вторая полиция, милиция, ударные бригады, штурмовые отряды, армия и прочее...

Входит Бабушка с корзинкой, полной вишни, в сопровождении Кноблоха с граблями. Из флигеля выходит Освальд с новой бутылкой шампанского. Он открывает ее и подливает всем, при этом все время тихо смеется.

Ирена. Это шампанское я несколько лет назад привезла из Парижа. Мы с Джеком Лангом купили его на бульваре Сен-Жермен. Он очень его любил, особенно двадцать второго года, октябрьский сбор. (*Освальду.*) Что ты смеешься?

Освальд. Епиходов бильярдный кий сломал!

Ирена. Зачем же здесь Епиходов? Кто ему позволил на бильярде играть? Не понимаю этих людей...

Освальд едва удерживается от смеха, быстро убирает со стола ненужные вещи, пустую бутылку и прочее, ставит все на поднос, кланяется и уходит в дом. Бабушка показывает всем вишню.

Бабушка. В этом году будет много вишни! Что мы будем с ней делать?

Кноблох. Когда я был маленьким, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая...

Ригер. Господин Кноблох, не вы один это помните. Расскажите лучше, что нового. Что обо мне люди говорят? Они чувствуют идейную

и духовную пропасть между мной и теперешним руководством? Вот господа журналисты как раз собираются об этом писать...

Кноблох. Людям нравится вице-председатель Кляйн...

Ригер. Как? Он уже вице-председатель?

Кноблох. Только что по радио сказали. (*Указывает на "Тьфу".*) Разрешите?

Ригер. Пожалуйста...

Кноблох берет один экземпляр "Тьфу" и уходит. Бабушка тоже берет один экземпляр и идет с корзинкой к дому. По дороге она просматривает "Тьфу". Джек копается в своих заметках, наконец находит новый вопрос. Возле дома Бабушка останавливается.

Бабушка (*восклицает*). Анжелина завтракала с Бредом в индийском ресторане!

Бабушка уходит в дом.

Джек (*читает*). А теперь немного о другом. Вы чувствуете себя молодым или старым?

Ирена. Ни разумом, ни телом он никакой не старик!

Джек (*читает*). Какие отношения у вашей давней подруги госпожи Ирены с вашей матерью и дочерьми?

Ригер. У Ирены почти со всеми хорошие отношения. (*Зовет.*) Мама!

В дверях дома появляется Бабушка с номером "Тьфу" в руке.

Ригер. Скажи, какие у вас с Иреной отношения?

Бабушка. Нормальные...

Джек (*читает*). Вы полагаете, госпожа Ригер, что ваш сын и его давняя подруга госпожа Ирена любят друг друга?

Бабушка. Вилем ее очень боится...

Ирена. Разумеется, он меня не боится, скорее, он старается делать так, чтобы все было по его, но я отношусь к этому с пониманием и всегда стремлюсь идти ему навстречу, потому что ужасно уважаю и люблю его...

Джек. А вы свою давнюю подругу госпожу Ирену тоже любите?

Ригер. Да. Можно сказать...

Ирена. В некоторых вопросах он ужасно робкий, из него толкового слова не выдавишь...

Ригер. Можно сказать...

Ирена. А в других он совсем не робкий!

Джек. В каких вопросах?

Ригер. Можно сказать еще немного о моей политике в области образования?

Джек. Пожалуйста...

Виктор. Тут мы немногого добились...

Ригер. Я бы не сказал, что в этом направлении я потерпел полное фиаско. Я хотел, чтобы наши школы покидали умные, порядочные и всесторонне образованные люди. Это была главная идея моей запланированной реформы образования. Если она и осуществлялась медленно, то прежде всего виной тому некоторые учителя, которые были недостаточно умными, порядочными и всесторонне образованными...

Джек. А вашей давней подруге госпоже Ирене вы с давних пор верны?

Ригер (*с раздражением*). Разумеется!

Джек. Когда вы с ней последний раз спали?

Ригер (*взбешенно*). Не все ли равно?

Джек. Читателей "Тьфу" это несомненно интересует...

Ригер (*кричит*). Мне плевать на них!

Голос. Настоятельно прошу актеров быть естественными, зря не галдеть, избегать пафоса, хорошо артикулировать, точно следовать тексту и насколько это возможно не скатываться к так называемому утрированию. Спасибо.

Джек выключает магнитофоны, складывает свои заметки и отправляет все в сумку.

Джек. Надеюсь, мы ничего не забыли. Вы позволите?

Джек встает между Ригером и Ireной, обнимает их обоих за талии. Боб с разных сторон фотографирует их.

Джек. Вы разрешите сделать еще пару снимков в доме?

Ирена. Только, пожалуйста, быстро...

Ирена уходит в дом, за ней уходят Джек, Боб, Виктор и Моника. Последним идет Ригер, но на ступеньках он останавливается.

Голос. Когда автору нужно, чтобы какой-нибудь персонаж остался один на сцене или говорил с кем-нибудь так, чтобы разговор не слышали остальные, обычно он ломает голову над тем, как убрать со сцены лишних персонажей. У Шекспира этих мук не было, в соответствии с его нуждами персонажи откуда-то приходили и куда-то уходили. В наше время их по-разному, со сложностями уводят со сцены, часто под предлогом, что им надо приготовить какую-нибудь еду. Это одновременно гарантирует, что и их возвращение, когда придет время, будет естественным. То есть они что-то приготовят и в нужный момент принесут еду. Я не уверен, что коллективный уход в дом для фотографирования не произведет впечатления, что всех надо было удалить, потому что сейчас будет что-то такое, где они не должны присутствовать. Да, признаюсь, мне надо, чтобы они ушли. Впрочем, хочу добавить, что интервью такого рода обычно сопровождают фотографии обстановки дома и что хозяева этого дома обычно хотят присутствовать при фотографировании, либо для того, чтобы в случае на-

добности быстро что-нибудь убрать, либо из опасения, чтобы журналисты что-нибудь не украли.

Ригер замечает, что на сцене стоит Бея.

Ригер. Бея...

Бея. Это правда, что вас хотят отсюда выселить?

Ригер. Они мне сдадут виллу, если я их публично поддержу. Они говорят, что будут продолжать мою политику...

Бея. Я в это не верю! Может быть, они объявят себя сторонниками вашей политики, но это будет неискренне, потому что для них важнее всего власть. Вы всю жизнь были мужчиной, это в вас главное; после всего, что вы пережили, вам нельзя сдаваться! Мы все попробуем найти вам достойную квартиру...

Ригер. Вы умница, Бея...

Бея целует Ригера.

Бея. Вы вкусно пахнете...

Ригер. Это, наверное, для вас...

Бея. Вы вообще мне кажетесь моложе, чем по телевизору. У вас почти нет седых волос...

Ригер. Вы даже не представляете, как я иногда нуждаюсь в ободрении. А если приветливое слово исходит от молодого, красивого, умного и всесторонне образованного существа, это поддерживает меня вдвойне!

Ригер и Бея внимательно смотрят друг на друга, потом Ригер быстро обнимает Бею и начинает ее целовать. Бея слабо, скорее только для виду, пытается освободиться из объятий.

Бея. Нет — не здесь...

Ригер. Пойдем!

Ригер берет Бею за руку и быстро уводит ее в беседку. Они обнимаются и целуются. Из дома выбегает смеющийся Освальд. В каждой руке у него по половине сломанного бильярдного кия, он разглядывает части в месте надлома, качает головой и опять смеется. Потом он уходит во флигель. У Зузаны в кармане звучит "Ода к радости", она откладывает компьютер, идет к авансцене, вынимает из кармана мобильный телефон и включает его. Музыка сразу прекращается. Зузана внимательно слушает. Гробовая тишина.

Зузана (*по телефону*). Ну и что?

В этот момент поднимается ветер и начинает идти дождь.

Конец третьего действия

Антракт

На сцене сад виллы Ригера. В тот же день, немного позднее. Дождь и ветер прекратились. В беседке обнимаются и целуются Ригер и Бея. Неподалеку от них за кустом спит Освальд, его не видно.

Ирена (*зовет за сценой*). Вилем! Дорогой! Где ты?

Входит Ирена, за ней следует Моника. Недалеко от беседки они останавливаются, прислушиваются, потом заглядывают в нее и замечают Ригера и Бею.

Ирена. Вилем!

Ригер и Бея поспешно выходят, они растерянно приводят себя в порядок. Ирена смотрит на Ригера и дает ему пощечину.

Ригер. Ой...

Короткая пауза, потом Ирена снова бьет Ригера по лицу.

Ригер. Ой...

Короткая пауза, потом Ирена дает ему несколько быстрых пощечин, тот только пытается увернуться.

Ригер. Ой — прости — я тебе все объясню — ой!

Ирена. Что ты мне собираешься объяснять? Ты старая, ничтожная, смешная и самовлюбленная свинья! А точнее — пародия на свинью!

Бея. Ну до свидания...

Бея уходит. Ригер подходит к Ирене и пытается погладить ее. Она отталкивает его.

Ирена. Как ты думаешь, зачем я велела принести французское шампанское? Потому что сегодня у нас пятнадцатая годовщина! Я нарочно ждала, вспомнишь ты или нет. Разумеется, ты забыл. Но если бы только это. Ты еще и изменил мне прямо в этот день и именно в этой беседке, где мы провели столько прекрасных и неистовых минут!

Ригер. Ты драматизируешь. Она меня просто поцеловала — не отгонять же мне ее...

Моника наклоняется к Ирене и шепчет ей что-то. Ирена кивает, а потом кричит, поворачиваясь в разные стороны.

Ирена (*кричит*). Освальд! Освальд! У тебя лук пригорает!

Освальд встает. Заспанный, он оглядывается по сторонам, кланяется и уходит в дом.

Ирена. Ты когда-нибудь отдавал себе отчет в том, что́ я из-за тебя потеряла? Квартиру. Место визажистки в фирме "Карапуз и братья". Семью. Квартиру. Дачу. Подруг. Квартиру. Лучшего друга...

Ригер. Какого друга?

Ирена. Ты его не знаешь. Квартиру. Я жила только тобой и для тебя, я во всем к тебе приспосабливалась, организовывала тебе гармоничный быт, взяла на себя роль твоей тени, как только могла старалась поддержать тебя в твоей карьере и покорно терпела все, что имеет отношение к тебе, включая твою мать. Ты говоришь, что в центре твоей политики находится человек. И при этом понятия не имеешь, что такое любовь! Ты такой же циник, как вы все!

Ригер. Кто мы?

Ирена. Вы все. Пошли, Моника...

Ирена берет Монику за руку и с ней уходит. Ригер идет за ней.

Ригер (*зовет*). Ирена! Милая! Прости! Это была просто ерунда...

Входят Власта с Альбином.

Голос. В предыдущей сцене мне что-то не нравится, я точно не знаю что. Она выпадает из поэтики пьесы? Она банальная? Она слишком плоская? Слишком пародийная? Мало пародийная? Или напротив, слишком патетичная? Но что мне делать, если у меня не получается написать ее лучше?

Власта. Ты посмотрел?

Ригер. Что?

Власта. Бумаги, которые мы с Альбином тебе дали...

Ригер. Нет еще...

Входит Кноблох с граблями.

Кноблох. Ну вот, господин Ригер! Приходил курьер с ордером на выселение. Говорит, с сегодняшнего дня вы здесь незаконно проживаете. Взамен вам выделили однокомнатную квартиру...

Ригер. Где?

Из флигеля выходит Виктор.

Виктор. В какой-то деревне, верст за сто отсюда. Жаль, что вы были таким несговорчивым, кое-что можно было сделать, а теперь, наверное, уже поздно...

Ригер. Мы поедем к Власте...

Власта. Не сердись, папа, мы с Альбином снова об этом поговорили, все взвесили и в конце концов пришли к мнению, что это не будет правильным решением ни для тебя, ни для нас. Нам будет тесно. И мы быстро начнем действовать друг другу на нервы. Зузке мы, наверное, можем на пару дней поставить на кухне раскладушку. Но что делать с бабушкой? Куда ее деть? В деревне тебе будет спокойно. Что бы я только не отдала за то, чтобы жить за городом!

Из дома выходит Бабушка со сковородкой в руке. Кноблох уходит.

Бабушка. У него лук подгорел. Что мне с этим делать?

Ригер. Выброси, мама...

Бабушка. Сковородку тоже?

Ригер. Или отскобли ее, или тоже выброси...

Бабушка. Где Ирена?

Ригер. Она ушла...

Бабушка. Куда?

Ригер. Не знаю...

Бабушка. Моника с ней ушла?

Ригер. Да...

Бабушка. Нам ждать ее к ужину?

Ригер. Я не знаю!

Бабушка (*Власте*). Вы с Альбином остаетесь?

Власта. Мы идем к родителям Альбина...

Бабушка. Ужинать?

Власта. Ага...

Бабушка. Где же Зузанка? Она только что была тут...

Ригер. Я не знаю, мама...

Бабушка. Не пошла ли она на дискотеку?

Ригер. Может быть...

Бабушка. А куда же она дела компьютер?

Ригер. Пожалуйста, мама, больше ничего не спрашивай!

Бабушка. Прости. (*Разглядывает сковороду.*) Наверное, ее придется выбросить...

Виктор. Это не так уж и плохо...

Ригер. Что?

Виктор. Ваше интервью...

Виктор уходит во флигель. Входит Кноблох с граблями и раскрытой газетой "Тьфу" в руках.

Кноблох. "Он думал только о женщинах" — это главный заголовок на первой странице. "В любви он не признается, но он очень чувственный, намекнула его теперешняя любовница", "Она не знает, верен ли он ей!"...

Ригер. Это сегодняшний?

Кноблох. Послезавтрашний...

Ригер вырывает "Тьфу" из рук Кноблоха и просматривает его. Из флигеля выходит Виктор с другим экземпляром того же номера "Тьфу". Он просматривает его вместе с подошедшей к нему Бабушкой. Власта и Альбин встают позади Ригера и через его плечо заглядывают в газету. Пауза.

Ригер. Что это за бессмыслица? Они хоть целиком интервью напечатали?

Виктор. Политической части там нет...

Ригер. Боже мой, зачем вы их сюда пустили?

Виктор. Помните, что вам как-то сказал Тони Блэр? Если вы им не ответите, они сами себе ответят...

Ригер. Эх вы, недотепа! Более фиглярской точки на моей политической карьере даже представить трудно!

Власта. Тебе следовало бы посмотреть наш проект, это в твоих интересах, скажи же, Альбин!

Альбин кивает. Ригер комкает газету и бросает ею в Виктора. Виктор уходит. За ним уходит Кноблох.

Бабушка. Куда мы поедем? К Власте?

Власта. Ну, ба, как тебе это только в голову могло прийти! У нас вы не поместитесь! И потом, у нас с Альбином своя жизнь, мы не можем все время слушать твои вопросы! И куда нам поставить твою кровать? Кто нам всем будет готовить? Потом Зузка приведет себе парня, и что дальше? Отцу нужен письменный стол, он принимает журналистов, это просто исключено! (*Ригеру.*) Ты посмотришь бумаги?

Вбегает Моника.

Моника. Ирена хотела прыгнуть со скалы!

Ригер. С какой скалы? Она прыгнула?

Моника. Я ее задержала...

Ригер. Спасибо, Моника! Вы золото! Следите за ней, пожалуйста!

Моника. Буду...

Моника уходит.

Власта. Правда, в нашей квартире масса квадратных метров, но планировка такая неудачная, что мы сами с Альбином то и дело натыкаемся друг на друга. И там все везде слышно. Хорошо еще, что Альбин неразговорчив. Там даже в туалет идти страшно, да, Альбин? Начинает накрапывать. Прочти бумаги! Пошли...

Власта и Альбин уходят. Приходит Виктор с какой-то бумагой в руке. Поднимается ветерок, и начинает накрапывать.

Виктор. Пардон, господин Ригер, пришло интересное предложение: не заинтересует ли вас такая своеобразная экскурсия. Вы будете рассказывать веселые истории из жизни канцлера — там-сям что-нибудь пикантное о других государственных деятелях — вперемежку с какими-нибудь шлягерами — госпожа Ирена тоже может поехать — вам же понадобится визажистка. Вы все поместитесь в одном микроавтобусе...

Ригер. Простите, кто мне это предлагает?

Виктор. Show-travel-tourist-agency "Вепршек, Айнхорн, Карапузы, Канькова-старшая и партнеры"...

Ригер. Не отвечайте им. По крайней мере пока...

Бабушка. Что же будет?

Ригер. Деревня будет! (*Виктору.*) Вы зайдете завтра просмотреть это?

Виктор. Не сердитесь, господин Ригер, но, по-моему, будет разумнее как можно быстрее нанести визит господину вице-председателю Кляйну, если он вас примет. Или написать ему. В противном случае вам грозят новые сложности. Надо спуститься на землю...

Ригер. Вы всё с этой землей! Вы зайдете завтра туда?

Виктор. Прошу прощения, но я приглашен в одно государственное учреждение. И будет очень несолидно, если я в первый же раз попрошу перенести встречу...

Входит Освальд.

Освальд. Ужин на столе!

Бабушка. Освальд, куда же ты теперь?

Освальд. Я? К Рагулиным. Договорился с ними смотреть за хозяйством. В экономки, что ли...

Ригер. Идите-ка вы все к Рагулиным! А потом ко всем чертям!

Ригер вырывает из рук у Бабушки сковороду, бьет ею Освальда по голове, потом отбрасывает в сторону и быстро уходит.

Бабушка (*Освальду*). Как ты? Пойдем, пока ты не заснул...

Освальд кланяется и уходит с Бабушкой в дом, Виктор уходит в смежное здание.

Голос. Пустую сцену я тоже люблю. Долго ли она может быть пустой, вот вопрос. Я замечал, что в первые минуты обычно ничего не происходит. Люди ждут. Потом они начинают беспокоиться, потому что не знают, что случилось. Следующий этап: они начинают слегка гудеть, потому что видят в этом молчании некое бессилие театра, который не способен объяснить публике, почему ни пьеса не продолжается, ни занавес не закрывают. Ну а после этого люди начинают или уходить, или смеяться. Но вот что главное: у пустой сцены есть свой особый смысл. Своя миссия. Это пустота мира, сгустившаяся в несколько минут. Пустота, пустая до такой степени, что она молчит даже о себе самой.

Пауза. На сцене становится немного темнее, ветер крепчает, и дождь усиливается. Медленно входит промокший Ригер. Краска тонкими струйками стекает у него с волос по лицу. За ним идет Гануш с бюстом Ганди в руках.

Гануш. Я знаю, как много значит для тебя эта скульптура...

Ригер. Она очень понравилась Мао Цзэдуну, когда он был у меня...

Гануш. Я тебе ее оставлю. Возьму вину на себя. Пусть меня даже посадят. Она принадлежит тебе по праву...

Ригер и Гануш уходят. Из дома выходит Бабушка. Она смотрит по сторонам, а потом зовет.

Бабушка. Вилем! Вилем! Где ты? У нас яйца готовы, со свежей вишней!

Бабушка уходит в дом, с одной стороны входит Ригер, на плечах его ветка от куста, а с другой — Гануш с бюстом Ганди в руках.

Гануш. Вот вы где, сэр? Ночную тварь, и ту бы такая ночь спугнула. Гнев небес удерживает хищников в берлогах!

Ригер. Вихрь, гром и ливень, я вас не упрекаю в бессердечье. Я царств вам не дарил. Да свершится вся ваша злая воля надо мной! Государство для гражданина, а не гражданин для государства. Я не так перед другими грешен, как другие — предо мной. Идет дождь. Ты стихи пишешь?

Гануш. С открытой головой, мой государь! Здесь рядом есть шалаш. Он вас укроет от бури...

Ригер. Верно, дружок. Ну, веди нас в свой шалаш...

Гануш откладывает бюст в сторону, берет Ригера за руку и уводит его в беседку, где они оба садятся.

Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки! Ты, гром, в лепешку сплюсни выпуклость Вселенной и в прах развей прообразы вещей и семена людей неблагодарных!

Из дома выходит Освальд.

Освальд. Где мой государь?

Гануш. Вот он. Но тише. О, если б, отдохнув по пробужденье, он вновь рассудком здравым овладел...

Освальд. Ужин стынет...

Гануш. Пусть!

Освальд кланяется и уходит в дом.

Ригер. Пес этот изображает должностное лицо на служебном посту. Мошенника повесил ростовщик. Но бархат мантий прикрывает все! Позолоти порок — о позолоту судья копье сломает, но одень его в лохмотья — камышом проколешь!

Гануш. Бессмыслица и смысл — все вместе!

Ригер. В слезах явились мы на свет, и в первый миг, едва вдохнули воздух, мы стали жаловаться и кричать. Мы плакали, пришедши в мир, на это представление с шутами. Меньше государства!

В следующей сцене с разных сторон появляются другие персонажи, произносят свою реплику, проходят через сцену и опять куда-то уходят. Только Ригер не покидает сцену. Ветер и дождь слабеют.

Ирена. Как ты спал?

Бабушка. Вы для какой-то газеты работаете?

Власта. Можно мне еще немного корицы? Альбин, тебе тоже насыпать?

Зузана. Передай привет Монике!

Бея. Епиходов бильярдный кий сломал!

Ригер. Меньше государства!

Гануш. Я пришел не для того, чтобы объедать вас или задерживать...

Освальд. С открытой головой, мой государь!

Джек. Мне всегда нравились Моники...

Боб. Это прямо под Акрополем было...

Виктор. Я не хочу плед!

Кляйн. Мама, я не устал...

Кноблох. Нам ведь все равно, что ты о нас думаешь!

Кляйн. Мама, я не устал...

Ригер. Я не хочу плед!

Ирена. Это прямо под Акрополем было...

Бабушка. Мне всегда нравились Моники...

Власта. С открытой головой, мой государь!

Зузана. Ты умница, Ирена...

Моника. Я пришла не для того, чтобы объедать вас или задерживать...

Гануш. Альбин, ты мне нравишься!

На сцене незаметно собираются все, кроме Ригера: Ирена, Бабушка, Власта, Зузана, Моника, Бея, Альбин, Гануш, Виктор, Освальд, Джек, Боб, Кляйн и Кноблох.

Голос. Вот такую слегка фантасмагорическую или же сновиденческую сутолоку разных более или менее случайно выбранных реплик из предыдущих сцен, их вариаций или же мелкой чепухи сам для себя я называю всякой всячиной и помещаю ее незадолго до конца пьесы, может быть, в том месте, где должен быть катарсис. Что это? Предвестие завязки или развязки действия? Метафора хаоса мира или же хаоса в душе главного героя? Проявление авторского плутовства? Продукт драматургической логики? Или просто назло? Наверное, все вместе.

Тихо начинает звучать "Ода к радости" в рок-обработке. Все слегка раскачиваются или же вертятся в ритме рока. Музыка становится громче, танец – темпераментнее, темп почти бешеный. Потом музыка внезапно обрывается. Все, кроме Ригера, тихо расходятся со сцены в разные стороны. Сцена сразу же наполняется светом, мгновенно прекращаются и ветер, и дождь.

Ригер. Мне сейчас хуже, чем тогда, когда мне было хуже всего!

Входят Первый полицейский и Второй полицейский.

Первый полицейский. Пойдемте с нами, господин Ригер...

Ригер. Куда?

Второй полицейский. В полицию...

Ригер. Зачем?

Первый полицейский. Чтобы дать нам объяснения...

Ригер. Я ничего вам объяснять не буду!

Второй полицейский. Придется!

Ригер. Нет спасенья? Я пленник? Да, судьба играет мной. Не делайте вреда мне. Будет выкуп!

Первый полицейский. Чмок тебя в мерзопакостника, чушечка моя!

Ригер пугается.

Голос. Еще раз, пожалуйста...

Первый полицейский. Чмок тебя в мерзопакостника, чушечка моя!

Ригер *(возбужденно кричит)*. Он не сжег бумаги! Я попрошу врача! Проклятые письма! Я ранен в мозг! Отвратительная Канькова-младшая! О боги!

Полицейские подходят к Ригеру и с двух сторон берут его под мышки. Ригер упирается, не хочет идти, его тащат со сцены, ноги его волочатся по земле. Затем вбегает совершенно голый Альбин, пробегает через сцену и убегает в дом.

Конец четвертого действия

Действие пятое

На сцене сад виллы Ригера. Днем позже. Вокруг садовой мебели стоит несколько больших чемоданов, а также бюст Ганди. Лицом к залу обращен большой портрет Ригера, прислоненный к одному из чемоданов. Портрет уже появлялся на сцене в первом действии. На одном из чемоданов сидит Ригер. У него опять седые волосы, может быть, он поседел еще больше. Ригер не напудрен, вид у него несколько одряхлевший и удрученный, особенно по контрасту с портретом, где он моложав и элегантен. Короткая пауза. Из дома выходит Бабушка с кучей носков, она начинает запихивать их в один из чемоданов.

Бабушка. Как ты?

Ригер. С меня брюки сваливаются...

Бабушка. Наверное, ты похудел...

Ригер. Наверное...

Бабушка. Ты выпьешь грогу?

Ригер. Сегодня нет...

Из дома выходит Освальд с огромной охапкой влажного белья, он начинает запихивать белье в один из чемоданов. Из флигеля выходит Ануш, проходит через сцену и входит в дом.

Бабушка. Мне нарвать еще вишни в дорогу?

Ригер. Как хочешь, мама...

Бабушка. Подвал мы тоже будем освобождать?

Ригер. Я не знаю...

Бабушка. Сначала за нами приедут и только потом за чемоданами?

Ригер. Да. Наверное. Однозначно...

Бабушка. Или сначала за чемоданами, а потом за нами?

Ригер. Может быть. Наверное. Не знаю...

Из дома выходит Ануш со стопкой одинаковых книг в руках, по всей видимости, это какая-то энциклопедия. Он проходит через сцену и уходит во флигель. Входит Кноблох с граблями.

Кноблох. Продали!

Ригер. Что продали?

Кноблох. И виллу, и сад!

Ригер. Правда? Государство продало? Разве так можно? А кто купил?

Кноблох. Господин вице-председатель Кляйн...

Ригер. По крайней мере известно, в каких руках все останется...

Кноблох уходит. Входит Власта, она несет на руках обнаженного Альбина.

Власта. Он загорал под вишнями и слегка окоченел...

Бабушка. Положи его ненадолго к плите...

Власта с Альбином на руках уходит в дом. Из флигеля выходит Ануш, проходит через сцену и уходит в дом. Запихнув белье в чемодан, Освальд кланяется и уходит в дом.

Ригер. У него пять вилл. Зачем ему еще?

Бабушка. Что они вчера от тебя хотели?

Ригер. Да просто кое-что объяснить...

Бабушка. Они прилично себя вели?

Ригер. Да. Наверное. Однозначно наверное...

Входят Ирена и Моника, Ирена прихрамывает, Моника поддерживает ее.

Ригер. Ирена, я беспокоился о тебе!

Ирена. И что только я, дуреха, в тебе нашла? Почему я тебе всегда все прощаю? Почему у меня никогда ничего не получается? Почему я растрачиваю свою жизнь на тебя, когда я могла бы так хорошо жить с... — или с этим — ну как его зовут? — или с...

Ригер. Хорошо еще, что все так кончилось!

Из дома выходит Ганush со стопкой одинаковых книг. Он проходит через сцену и уходит во флигель. Входит Кноблох с граблями и открытым номером "Тьфу" в руках.

Кноблох (*читает на ходу*). "Любовница бывшего канцлера соблазняла нашего редактора". И тут фотография, как этот журналист держит госпожу Ирену за талию...

Бабушка, Ригер, Ирена и Моника окружают Кноблоха и заглядывают в "Тьфу". Из дома выходит Ганush со стопкой одинаковых книг. Он проходит через сцену и уходит во флигель.

Бабушка (*Ирене*). Тебе не следовало допускать его к телу. Это твоя вина!

Ирена. Иди ты к бесу, бабка!

Кноблох с номером "Тьфу" в руках уходит.

Ирена. Ты им что-нибудь подписал?

Ригер. Не знаю. Наверное. Однозначно. Однозначно наверное...

Бабушка. И что?

Ригер. Протокол разбирательства. Пустяки. Трудно было отказаться...

Из дома выходит Ганush со стопкой одинаковых книг. Он проходит через сцену и уходит во флигель.

Ирена. Ты это собственноручно написал?

Ригер. Я только подписал...

Ирена. Своим почерком?

Ригер. Ведь это было просто объяснение! Я подписал, что я их выслушал. Это правда. Что в этом такого? Мне нужно думать обо всех вас. Впрочем, никто не знает, какое еще оружие держат в запасе эти мерзопакостники!

Ирена. Какие мерзопакостники?

Из дома выходит Ганush со стопкой одинаковых книг. Он проходит через сцену и направляется во флигель.

Ригер. Ганush, ты не хочешь передохнуть?

Ганush. С удовольствием, Вилем...

Ганush уходит с книгами во флигель. Из дома выходит Освальд с ящиком пива. Он ставит его к чемоданам.

Бабушка. Где Епиходов?

Освальд. Пошел играть к Рагулиным...

Освальд едва удерживается от смеха, кланяется и уходит в дом. На ступенях он встречает Зузану, у нее за спиной рюкзачок, в одной руке компьютер, в другой — сумка с вещами.

Зузана. Папа, нас всех приглашает к себе Жерар...

Ригер. Кто это?

Гануш выходит из флигеля и садится на один из чемоданов.

Зузана. Один француз...

Ригер. Какой француз?

Зузана. Он представляет здесь фирму "Smith, Brown, Stapleton, Bronstein & Stoessinger Inc.". У него хороший дом...

За сценой ржет конь.

Ригер. Откуда ты его знаешь?

Зузана. Он мой партнер. Я дам кучеру адрес...

Ригер. Я не знал, что у тебя есть партнер...

Зузана. Ты столько всего не знаешь, папа...

Зузана ставит свои вещи на землю, вынимает из кармана мобильный телефон, набирает номер, помещает телефон между ухом и плечом, опять берет свои вещи и, уходя, говорит в телефон.

Hallo! Everything is O. K. See you as soon as possible. Bye.

Ирена. Какие мерзопакостники?

Зузана уходит. За сценой слышен звук бензопилы и падающего дерева. Присутствующие прислушиваются. Из дома выходит Виктор с чашкой чаю, бутылкой рома и блюдечком печенья. Он ставит все это на стол, капает ром в чай.

Виктор. У господина вице-председателя здесь большие планы...

Гануш. А тебе до этого какое дело?

Виктор. Он сделал меня своим советником. Но, может быть, это не последнее его слово. Освободилось место заместителя. У нового руководства совсем неплохая программа. Оно хочет значительно снизить налоговое бремя и одновременно повысить разные пособия. Во многом оно напрямую продолжает ваше дело. К примеру, оно хочет в центр своего внимания поставить человека...

Ригер. Здесь будет жить он?

Виктор. С жильем у него все в порядке, и он не хочет переезжать. Он хочет заниматься здесь бизнесом...

За сценой ржет конь, а потом раздается звук бензопилы и падающего дерева. Пауза. Медленно входит Кляйн.

Господин вице-председатель, я велел там, в саду, поторапливаться...

Кляйн. Спасибо, Виктор. Мне с вами хорошо работается. Приветствую всех остальных. Привет, Вилем, привет, Ирена...

Ригер. Доброго здоровья, Властик. Ну, поздравляю тебя...

Кляйн берет чай, пьет его и ест печенье.

Кляйн. Мне жаль, что вам приходится ехать в деревню. Но строительство нельзя больше откладывать. Вы будете всего в ста верстах отсюда. Вы там уже были? Там красивая природа? Вы все там поместитесь? Я видел, что экипаж уже ждет...

Ригер. Мы лучше поедем к Жерару. Это один знакомый семьи. У него здесь хороший дом...

Кляйн. Это который из "Smith, Brown, Stapleton, Bronstein & Stoessinger Inc."? Я точно не знаю, но мне кажется, что с ним дело нечисто. Говорят, там были какие-то махинации с недвижимостью, уклонение от налогов и прочее. Утром мне об этом докладывал Канька...

Ригер. Этот зоофил?

Кляйн. Его ни в чем не уличили. Теперь он президент полиции. Я могу посвятить вас в свои планы?

Ригер. Прости, Властик, а тебе вообще-то известно, что меня всю ночь допрашивали?

Кляйн. Люди Каньки?

Ригер. Наверное. Однозначно. Однозначно наверное...

Кляйн. Я могу посвятить вас в свои планы?

Ригер. Прости, Властик, а тебе не кажется странным, что за мной пришли именно вчера?

Ирена. А сегодня эта клевета в "Тьфу"...

Кляйн. Я завтра утром расспрошу об этом генерала Каньку...

Ригер. Неужели этот человек еще и генерал!

Кляйн. Нам пришлось присвоить ему соответствующее звание, иначе после всей этой истории с телятами он не имел бы достаточного авторитета. Я могу посвятить вас в свои планы?

Виктор. Я думаю, господин вице-председатель, что всем это будет очень интересно. Ведь вы всё так здорово придумали...

Кляйн. Здесь, где сейчас находится неприбыльный сад, мы построим торгово-развлекательный центр среднего размера. Там будет три кинотеатра, пять магазинов, массажный салон, парикмахерская, бутик, редакция "Тьфу", мясная лавка, бензоколонка, танцевальный зал, салон тату, кино, антиквариат, мясная лавка, редакция "Тьфу" и три ресторана, включая тайский. Вон там, во флигеле, будет казино. В наше время без этого немыслимо. Или, может быть, не так, Виктор?

Виктор. Я думаю, что оно без этого немыслимо!

Кляйн. У меня есть хороший человек для руководства бильярдным залом, его зовут Епиходов. И наконец, там, в доме, будет современный эротический клуб. Мне важно, чтобы весь ареал все время был наполнен жизнью. И если днем главное внимание общественности будет обращено к торгово-развлекательному центру, потом, ближе к вечеру, эстафету жизни понемногу будет перенимать

эта красивая вилла, которую мы, разумеется, слегка перестроим. Я исхожу из принципа, который называю так: "Меньше государства". Поэтому я хочу сдать это предприятие в аренду одному другу, он не занимает никакой политической должности, то есть честному бизнесмену, который давно имеет в этой сфере прекрасное имя и огромный опыт, собранный во многих странах. Сотни украинских девушек благодарны ему за все...

Ригер. Ты имеешь в виду дядюшку Каньки?

Кляйн. Не все ли равно, чей это дядя!

Голос. Я знаю, что мне не следует вмешиваться. Но нельзя ли попроще? Благодарю.

Кляйн. Не все ли равно, чей это дядя...

За сценой ржет конь, слышен звук бензопилы и падающего дерева. Пауза.

А ты что будешь делать? Ты уже себе что-нибудь подыскал?

Ригер. Знаешь, это нелегко, всю жизнь я занимался только политикой...

Кляйн. У меня есть одна идея. Ты не хочешь работать советником моего советника Виктора?

Ригер. Советником?

Кляйн. Ага...

Ригер. Твоего советника?

Кляйн. Ага...

Ригер. То есть советником бывшего секретаря моего бывшего секретаря?

Кляйн. Ты же разбираешься в политике, раз ты ею всю жизнь занимаешься, будет жаль, если твой опыт пропадет зря. Будь ты больше готов к сотрудничеству, может быть, ты мог бы подняться выше, с другой стороны, это все равно лучше, чем копаться в грязи и всю оставшуюся жизнь стыдиться того хамства, которое ты в сугубо личных бумагах написал пятнадцать лет назад и которое теперь напечатано в "Тьфу". Ты же знаешь, что межведомственная историческая комиссия, я имею в виду комиссию Каньковой-младшей, дырявая как решето. Ну что, согласен?

Ирена. Не согласен!

Кляйн. Что посеешь, то и пожнешь. Моника, позвольте вас спросить, что вы делаете завтра вечером? Мы могли бы пойти поужинать. Я знаю отличный китайский ресторан, говорят, его однажды посетил сам бахрейнский принц. Вы будете моей гостьей, я все оплачу, еду, напитки, еду...

Моника. Простите, господин вице-председатель, но завтра вечером я уже буду в Париже. Джек Ланг ждет меня после восьми в "Двух макаках", правда, Ирена?

Ирена. Мне пришлось ее долго уговаривать. Но от Джека невозможно было отделаться. Ему всегда нравились Моники...

Бабушка. Ты с ней поедешь?

Ирена. Разве я могу сейчас покинуть Вилема? Что он без меня будет делать? Он, наверное, даже не знает, где лежат прищепки для белья! (*Ригеру.*) Какие мерзопакостники?

Кляйн. Как следует там повеселитесь, Моника! Надеюсь, что паспорт у вас в порядке! (*Кляйн нарочито долго смеется. За сценой слышен звук бензопилы и падающего дерева. Ригеру.*) Ну что?

Ригер. Мне надо подумать...

Ирена. О чем тут, скажи на милость, думать?

Кляйн. О чем тут, скажи на милость, думать?

Гануш. О чем тут, скажи на милость, думать?

Ригер. Тебе хорошо говорить, Гануш, у тебя ведь нет семьи! Не будет же нас всех содержать Альбин!

Виктор. Приехали!

Ирена (*Бабушке*).Ты не посмотришь, как там экипаж?

Виктор выбегает навстречу входящим на сцену Джеку и Бобу. Бабушка уходит. Кляйн садится на качели. Виктор берет со стола блюдечко с печеньем, подходит к Кляйну, слегка раскачивает качели и подает Кляйну печенье. Кляйн ест его все время, пока качается. Гануш подходит к Ригеру.

Гануш (*тихо*). Ты думаешь, хорошо, что ты им что-то подписал?

Ригер (*тихо*). Оставь меня в покое, баба!

Джек достает из кармана замусоленную бумажку и рассматривает ее. Боб фотографирует.

Гануш. Нехорошую штуку вы выкинули с этим интервью...

Боб. Мы не виноваты, редактировал наш новый арт-директор-менеджер господин бакалавр Канька-младший с нашим новым PR-представителем госпожой магистром Каньковой-старшей...

Джек (*читает по бумажке*). Здравствуйте, господин вице-председатель. Наших читателей интересует, продолжит ли новое руководство дело бывшего канцлера...

Кляйн. В период наших полномочий мы хотим продолжить все хорошее, что было во время прошлого периода, и одновременно избавиться от всего плохого, что было во время прошлого периода. Это понятно?

Виктор. Вы очень хорошо сказали!

Джек (*читает*). А в чем состоит главная цель вашей политики?

Кляйн. Государство для гражданина, а не гражданин для государства. Мы хотим, чтобы эта страна стала безопасным местом для свободного и всесторонне образованного человека. И не только для него! Для его семьи тоже!

Виктор. Браво! Господин вице-председатель, теперь вы утерли нос всем своим врагам!

Кляйн. Правда же, Виктор? Я тоже думаю, что сегодня я был в форме и как следует задурил им голову!

Джек с обеих сторон рассматривает бумажку. За сценой ржет конь. Из дома выходит Освальд.

Ирена. Освальд, ты убрал белье из сада?

Освальд. Оно в чемодане...

Ирена. Но ты ведь его туда не влажным засунул, правда же?

Освальд. Нет. Наверное нет. Однозначно наверное нет...

Освальд начинает собирать разбросанные чемоданы в одну аккуратную кучу, Гануш переносит туда и бюст Ганди, и картину. Тем временем Джек находит в другом кармане еще одну замусоленную бумажку. Он обращается к Ригеру.

Джек. Я могу вас тоже кое о чем спросить?

Ригер. Пожалуйста...

Джек (*читает*). Правда, что вас покинула ваша давняя подруга, бывшая визажистка, госпожа Ирена и что у вас новая любовница, научный работник?

Ригер. Простите, но я не буду высказываться на эту тему!

Джек (*читает*). И на тему того, почему вы не хотите высказываться на эту тему, вы тоже не будете высказываться?

Ригер. Не буду...

Джек (*читает*). И на тему того, почему вы не хотите высказываться на тему, почему вы не хотите высказываться на тему, вы тоже не будете высказываться?

Ригер. Не буду...

Джек (*читает*). И на тему того, почему вы не хотите высказываться, почему...

Моника. Ведь она, черт побери, к нему вернулась!

Ирена. Кто-то же здесь должен следить за тем, чтобы он опять чего-нибудь не подписал! (*Ригеру.*) Какие мерзопакостники?

Боб подходит к Джеку и шепчет ему что-то на ухо, Джек кивает головой. За сценой слышен звук бензопилы и падающего дерева. Освальд и Гануш заканчивают свою работу. Гануш присаживается на один из чемоданов.

Освальд (*Гануш*у). Бывало, сушеную вишню возами отправляли в Харьков!

Освальд вынимает из только что принесенного ящика бутылку пива, открывает ее, пьет из нее и потом уходит с ней в беседку и садится так, что его практически не видно. Джек обращается к Ригеру.

Джек. И еще кое-что, господин Ригер: это правда, что вы думаете занять место советника...

Прибегает Кноблох с граблями и машет номером "Тьфу".

Кноблох (*читает*). "Бывший канцлер не хочет покидать правительственную виллу!"

Джек. ...что вы думаете занять место советника советника...

Кноблох (*читает*). "Вице-председатель Кляйн хочет построить в бывшей правительственной вилле комплекс для широкой общественности, а его планы расстраивает ее бывший обитатель, бывший канцлер Ригер, который не хочет выезжать!"

Джек. ...что вы думаете занять место советника советника советника советника советника господина нового канцлера?

Кляйн. Я вице-председатель, а не канцлер. Пока!

Кляйн нарочито долго смеется. Освальд в беседке засыпает. Кноблох с номером "Тьфу" уходит. За сценой ржет конь, потом слышен звук бензопилы и падающего дерева. Короткая напряженная пауза. Все с любопытством смотрят на Ригера. Джек делает заметки на замусоленной бумажке, Боб иногда фотографирует, Виктор слегка раскачивает качели, на которых сидит Кляйн. Ригер вынимает из кармана спортивную шапку с надписью "I love you" и торжественно ее надевает.

Ригер. Послушайте, господин редактор! Сначала нужно спросить самого себя, что вам в жизни важно. В моем случае на сегодняшний день есть только две возможности. Первая возможность: всю оставшуюся жизнь жить только тем, что было, беспрестанно вспоминать об этом, все время снова и снова возвращаться к этому, анализировать, объяснять и защищать, снова и снова сравнивать с тем, что делается теперь, и находить подтверждения тому, насколько раньше все было лучше, просто заниматься уже только своим собственным следом в истории, своими давними заслугами, памятью о себе самом и обелиском, воздвигнутым в честь этой памяти у твоего жизненного пути.

За сценой слышен звук бензопилы и падающего дерева. Из дома выходят Власта с Альбином. Альбин одет в нормальную одежду, только через плечо у него перекинут бежевый плед. Они останавливаются и слушают Ригера.

Конечно, господин редактор, такая позиция постепенно может сделать меня довольно сомнительной фигуркой, оказавшейся на обочине жизни. Фигуркой, которая умеет только очернять, вспоминать, с кем только она ни была знакома, и кисловато посмеиваться надо всем, что пришло после нее...

За сценой ржет конь.

А результат? Всякий будет думать, что я просто озлобленный самолюбивец, который пренебрег великодушным предложением вложить свой опыт в продолжение осмысленной работы на благо своей страны. Итак, господин редактор, это первая возможность, которая у меня есть. Но есть у меня еще одна возможность...

Гануш. Прости, Вилем, но, если тебе когда-нибудь что-нибудь от меня будет нужно, ты знаешь, где меня найти...

Ригер. Спасибо за все, Гануш, но мне кажется, что не только для меня, но в конце концов и для тебя теперь будет лучше, если нас не будут все время и везде видеть только вместе, как каких-нибудь бирманских близнецов...

Гануш. Ну пока... (*Гладит по голове бюст Ганди и уходит.*)

Ригер. Но есть у меня еще одна возможность: всем ясно продемонстрировать, что служба Родине является для меня большей ценностью, чем личное положение. Этим принципом, господин редактор, я руководствовался всю жизнь, и я не знаю, почему мне теперь нужно отступить от него из-за такой мелочи, как то, что у меня будет — формально выражаясь — несколько более низкая должность, чем та, которую я долгое время занимал...

За сценой слышен звук бензопилы и падающего дерева.

Ведь важнее то, что ты реально делаешь для своих ближних и какое реальное влияние имеешь, чем то, на каком месте ты это делаешь, или же как теперь называется твоя должность. Мы, господин редактор, живем в демократическом обществе, а ведь в нем обычно люди приходят на разные должности, а потом снова с них уходят. Разве я не прав, Властик?

Кляйн. Иногда такое случается...

Ирена. Вилем...

Ригер. Что такое, дорогая?

Ирена. Ты лжешь себе больше, чем нужно, и больше, чем я могу вынести. Если бы я знала, что ты не бесхребетный и что у меня есть за что тебя уважать, я бы даже навоз из хлева тебе в деревне помогала выгребать и сносила бы любой мерзосрам. Я ухожу. Ухожу навсегда. Сам ищи прищепки для белья, сам закутывайся в плед, сам готовь себе грог. Или пусть тебе все это Вайсенмютельхоф делает. Пошли, Моника!

Ирена решительно подходит к Ригеру, срывает у него с головы шапку с надписью "I love you", бросает ее в сторону, подхватывает два больших чемодана и уходит. Моника берет один чемодан и тоже уходит.

Ригер. Она вернется. Раньше она всегда возвращалась...

Голос. Не знаю, будет лучше, если Ирена опять вернется или, напротив, если она окончательно расстанется с Ригером. Так или иначе, это должно произойти или же хотя бы как-то определиться по ходу действия, то есть сейчас или в течение нескольких последующих минут. Ведь после конца пьесы нет ничего. Ее мир заканчивается с ее концом, и остается только наше впечатление, наше толкование, наше воспоминание, наша радость или же недовольство. Но ждать, какое я приму решение, мне тоже не хочется. Так что я оставляю это дело открытым. Я не первый и не последний автор, который оставляет что-то открытым не потому, что это его авторский замысел, а просто из-за беспомощности.

За сценой ржет конь.

Ригер. И еще кое-что, господин редактор: поймите, пожалуйста, что развитие современной глобальной цивилизации имеет множество специфических последствий в сфере политики тоже. Одним из них является рост влияния профессионалов, специалистов и знатоков, потому что высшим политикам все труднее и труднее знать все и по всем вопросам иметь свое мнение. Следовательно, с неизбежностью — и с каждым днем! — растет значение и влияние советников тоже, равно как и степень, в какой политики от них зависят...

За сценой слышен звук бензопилы и падающего дерева.

Ведь кто вам рассчитает, как снизить налоговое бремя? Кто решит, сколько тысяч чиновников надо уволить, чтобы было меньше государства? Кто определит, сколько истребителей, которые предлагает тетя генерала Каньки, сделает нашу страну безопасным местом? Советники конечно! А откуда советникам точно известно, как обстоят дела? Да ведь от своих советников! Короче говоря, я, господин редактор, рискну сказать, что в должности советника советника я смогу, быть может, иметь больше влияния на осуществление моих идеалов, чем в моей предыдущей должности, которая меня к тому же обременяла многими чисто протокольными обязанностями, зачастую исполнявшимися в ущерб заботе о том, чтобы центром моей политики действительно был человек!

За сценой ржет конь. Боб опять что-то шепчет Джеку.

Джек. Связано ли изменение вашей позиции по отношению к новому руководству с вашим ночным допросом и с некоторыми архивными документами, обнаруженными комиссией Каньковой-младшей?

Ригер. Что касается допроса, как вы это называете, речь шла только об обычных разъяснениях, а что касается архивных документов, как вы это называете, речь шла только об обычной фальсификации. Но это не важно. Важно, что в данный момент я хочу служить данной стране там, где данной стране в данный момент это больше всего нужно и где я могу данной стране в данный момент быть наиболее полезен. Политика — это служба. Мы хотим иметь всесторонне образованную семью. Да здравствует рост. Речь идет о будущем. Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки! Мир — это лишь представление с шутами. С меня брюки сваливаются! Шах!

Кляйн при помощи Виктора притормаживает, а потом перестает качаться. За сценой слышен звук бензопилы и падающего дерева.

Альбин. Из всех твоих речей, которые я слышал, Вилем, это была одна из самых взвешенных. Ты ничего не переоценил и, напротив, ничего не недооценил. Скажи же, Власта...

Власта. Ты много говоришь, Альбин!

Кляйн. Альбин прав. Вилем говорил как мужчина!

Виктор. Именно это я как раз хотел сказать, господин вице-председатель. Господин советник советника говорил как мужчина!

Кляйн. Хотя, может быть, роль советника советника он несколько переоценил...

Виктор. Определенно, господин вице-председатель. Такой значительной роли советники советников — по крайней мере в данной стране — точно не играют. Я сказал бы, что на политику государства в данный момент больше всего влияют — по крайней мере в данной стране — вице-председатели...

Кляйн. Хотя в будущем более влиятельным все же должен быть канцлер!

Кляйн нарочито долго смеется. Прибегает Бабушка.

Бабушка. Экипаж ждет!

Бабушка берет портрет Ригера, Джек, Власта и Альбин берут по два чемодана каждый, и все уходят. Боб тоже уходит, но он ничего не несет, потому что фотографирует уход. Ригер перебрасывает себе через плечо последний чемодан.

Кляйн. Заходи посмотреть, когда тут все будет готово. Ведь ты всегда любил эротические клубы. Помнишь в Бангкоке пятнадцать лет назад?

Ригер. Прощай, дом, прощай, сад, прощай, беседка...

Ригер поднимает с земли шапку с надписью "I love you", надевает ее, чтобы сразу же резко сорвать ее с себя и одновременно церемонно поклониться Кляйну. Потом он опять надевает шапку, берет в руки бюст Ганди и уходит. Прибегает Кноблох с граблями и кричит Кляйну.

Кноблох. Не хотите вишню для камина? Она сказочно горит!

Кляйн. Можете забросить фуру на мою виллу!

Кноблох. На которую?

Кляйн. Ну хоть на ту, где жил тот француз, которого Канька сегодня выдворил из страны...

Кноблох убегает. Из беседки появляется заспанный Освальд с пустой бутылкой от пива в руке. За сценой ржет конь, а потом слышно только громыхание отъезжающего экипажа.

Освальд. Уехали! Про меня забыли! А барин небось шубы не надел, в пальто поехал? Жизнь-то прошла, словно и не жил. Я полежу. Силушки-то у меня нету. Точно без шубы уехал. Ничего не осталось, ничего...

Освальд укладывается за кустом. Кляйн и Виктор покидают качели.

Голос. Один друг советовал мне на этом закончить пьесу. Как чеховский "Вишневый сад". Но мне кажется, что тут еще чего-то не хватает. Так что я прошу прощения у друга-советника...

Виктор. Господин вице-председатель, вам не холодно?

Кляйн. Немного. Надену я, пожалуй, шубу...

Виктор уходит. За ним не торопясь шествует Кляйн. В этот момент он замечает, что поблизости стоит Бея с книгой в руке. Он останавливается.

Кляйн. Вы кого-то ищете?

Бея. Вас...

Кляйн. И что вам угодно?

Бея. Не будете ли вы так любезны поставить мне автограф на книге ваших речей?

Кляйн. Вы имеете в виду ту, что вышла сегодня?

Бея. Да. "Демократия, свобода, рынок и я"...

Кляйн. Покажите!

Бея открывает книгу и подает ее Кляйну, тот ее подписывает.

Знаете, что мне на одном коктейле сказал Молотов? Властик, никогда не отказывайся ставить автографы на своих книгах!

Бея. Это сказочно прекрасно, что вы в центре своей политики оставили человека. Спасибо!

Кляйн. Не за что. Мат!

Бея робко целует Кляйна в щеку. Одновременно с разных сторон начинают появляться все прочие персонажи: Ригер, Ирена, Бабушка, Власта, Зузана, Моника, Альбин, Гануш, Виктор, Освальд, который так и остается за кустом, Джек, Боб, Кноблох, Первый полицейский и Второй полицейский. Все медленно выходят вперед и окружают Кляйна с Беей. Боб начинает выстраивать всех присутствующих полукругом для общей фотографии. Потом он встает перед всеми спиной к залу и фотографирует.

Голос. Спасибо актерам за то, что они не кривлялись. Театр благодарит зрителей за то, что они выключили мобильные телефоны. Правда и любовь должны победить ложь и ненависть! Включите телефоны! Спокойной ночи и приятных сновидений!

Боб присоединяется к другим персонажам. Все кланяются. Громко звучит большая симфоническая запись "Оды к радости". Музыка длится до тех пор, пока зрители не покинут зал.

Конец пятого действия

Конец пьесы

Антуан де Сент-Экзюпери

Манон, танцовщица

Новелла

Перевод с французского и вступление М. Кожевниковой

"Манон, танцовщица"(1925), первое законченное произведение Сент-Экзюпери, принял к публикации журнал "Эроп" ("Европа"), идейным вдохновителем которого был Ромен Роллан. Журнал известил об этом своих читателей летом 1926 года. Однако первой стала другая публикация — в том же 1926 году, в журнале "Серебряный корабль" появилась новелла Сент-Экзюпери "Авиатор". Начинающим автором заинтересовался Гастон Галлимар и предложил ему выпустить книжку, включив в нее "Манон", "Авиатора" и еще две новеллы, которые будут написаны в ближайшее время. Однако Сент-Экзюпери, получив назначение в Кап-Джуби, аэродром в Северной Африке, написал там не две новеллы, а свой первый роман "Южный почтовый". Роман появился в издательстве "Галлимар" в 1929 году. При жизни автора новелла "Манон" так и не была опубликована. Сент-Экзюпери никогда больше не упоминал о ней. В 2007 году в издательстве "Галлимар" вышли отдельной книжкой две новеллы А. де Сент-Экзюпери — "Манон, танцовщица" и "Авиатор". Издательство выполнило свое обещание. Почему не состоялась журнальная публикация, неизвестно.

СИГАРЕТНЫЙ дым душит, беготня официантов неотступно стучит в висках — спешат от января к январю. Бармен уставился в одну точку, с трудом ворочает мозгами, а ты танцуй... Хочешь с томным — каждое движение обволакивает женщин, танцует и словно прилипает к сердцу, хочешь с грузным, что меряет каждую взглядом, как перекупщик... И шампанское. Без шампанского праздник — не в праздник, как без гирлянд, без флажков на автобусах... Нелепость!

Мимо спешит официант в белом пиджаке, полотенце на шее вместо шарфа, концом смахивает крошки со скатерти у нее перед носом и шепчет:

— Вон тот толстяк... спросил, как тебя зовут... банкир.

Подойти или нет? Лучше подкрасить губы. Она часто выходит в комнату для дам, болтает со служительницей. Жалуется: "Надоело до смерти". Становится легче. Там оазис спокойствия, собеседница вяжет себе и вяжет. Как за кулисами, верно? Можно расслабиться. Те, что постарше, за сценой сразу дурнеют, видна обвисшая грудь, жирные бедра. Ободряют друг друга: "Держись, старушка!"... И снова на публику. Шествуют по залу с надменным видом, скрывая изношенность и усталость.

Вернулась к столику. Саксофонист подмигивает:

— Типчик-то ждет тебя.

© Éditions Gallimard, Paris, 2007
© М. Кожевникова. Перевод, вступление, 2009
Книга "'Манон, танцовщица' и другие неизданные тексты", опубликованная издательством "Галлимар", выйдет в издательстве "Эксмо".

Чуть не расплакалась с досады.

Широко распахнулась дверь: на пороге Сюзанна. Сияет. Неудивительно. Она в новом манто.

– Привет, Манон!

– Привет! Гарцуешь как всегда?

– Скажешь тоже!

Сюзанна окидывает зал хозяйским взглядом. Освоилась. Это поначалу маешься, а потом... Да ладно! Каждый живет как может.

– Присяду?

– Не стоит, Сюзанна. Хочется побыть одной.

– Ждешь кого-то?

– Нет. Хочу посидеть одна.

– Ты в себе?

Что тут скажешь, объяснения не под силу маленькой девочке. Здесь охотно изливают душу, но жалостные признания остаются монологами и растворяются в пустоте.

– Сюзанна...

– Что?

– Не уходи!

Сюзанна мягко опускается на стул и царственно оглядывает окружающих. Она в центре внимания.

– Да забудь ты о мужиках, Сюзанна, давай лучше поговорим.

Сюзанна рассеянно берет ее за руку.

– Сюзанна! Посмотри на меня. Пожалуйста. Скажи, какого мужчину ты хочешь встретить?

– Брюнета.

– Ты меня не поняла. Мне нужно, чтобы он хотел не того, что все вокруг... Они все сначала вежливые, говорят комплименты, а потом... потом молчат, думают только о себе и своей выгоде. И так всегда. А настоящий поведет меня куда-нибудь, будет внимательно слушать и ничего не потребует, понимаешь?

Сюзанна кивает и небрежно поправляет пушистую лису. Она чувствует, что мужчины на нее смотрят, множество мужчин. И улыбается. Заученно. Для них. "До чего фальшивая улыбка, подумать только, ведь и я тоже так улыбаюсь!" Сюзанна не слушает, но соглашается: конечно, конечно. Вот и поговорили по душам.

Манон подпирает кулачками щеки. Манон... Имя манит, как красный шарф. "Скажите, официант, как зовут ту крошку в красном?" Манон. Мужчинам нравится ее имя. "Манон? Как приятно!"

– Я ухожу, Сюзанна.

Сюзанна не трогается с места. Кокетливо поправляет лису. Она занята.

– Счастливо, подруга.

– Пока.

Прыщавый вышибала наклонился к Манон, открывая ей дверь:

– Сегодня ты не того... А бываешь даже очень... – И ущипнул ее за руку.

Она вскипела. Потом успокоилась. Смешно кричать скверному мальчишке: "Да как ты смеешь!" Дурак, корчит из себя важную птицу, раз умеет отличить владельца "испаносюизы" от гостя, приехавшего на

такси. Первый для него — человек, о прочих он судит по качеству ботинок. И такой вот сопляк посмел ее ущипнуть...

До чего же все опротивело. Будто ходишь в засаленном платье. А ведь есть на свете чистые девушки... Она представила себе такую. Невинная девчушка в простеньком платьице, никто ее не щиплет, вечером ложится в свою постель, спит себе, как кошечка, в тепле и покое, а утром встает выспавшаяся, свежая. Да. Для Манон такая жизнь — небывалая роскошь.

Она вышла на улицу. Ночной холод будто освежающий душ. Стоит закрыть за собой дверь кабаре, сразу чувствуешь облегчение, хоть и обманчивое, — всем красоткам знакомо это ощущение. Там вино, самодовольные кавалеры с вонючими сигарами, а здесь кроткие глаза звезд, грустишь и думаешь, что стала чище...

Небо светлое. Свет холодный, кристальный. От дуговых ламп он — розоватый, не такой, как на окраине... там газ... А здесь розовый свет и дамы в мехах.

Она-то сейчас нырнет в узенькую улочку, мощенную выщербленными плитами, по которым так неудобно и больно шагать на высоких каблуках. Они с улочкой — добрые знакомые. Улочка — брод в бурной реке. "Моя улочка". Как же здесь тихо, ни единого фонаря, небо такое высокое... Лунный свет под ногами, словно белый снег. Она думает: "Моя улица, моя келья..."

Кошки крадутся по узкой улице, теплые шерстяные клубки, — их так приятно гладить...

Она тихонько шепчет: "Конечно, что тут поделаешь?.. Мужчины знают, какая я... Вот и не стесняются". Тоска и отчаяние возвышают ее в собственных глазах: "Я в их власти... Игрушка". Она сжимает крошечный кулачок и повторяет снова и снова, как заклинание: "А он меня будет уважать!"

Мечтая, она медленно поднимается к площади Бланш, уличная толпа течет мимо, не задевая ее.

* * *

Его томила тоска. Глаза отмечали ущерб, неисправности. Он всегда испытующе оглядывал все вокруг, будто усталостью и унынием делились с ним вещи. Вот обернулся назад, словно сейчас поймает грозящую сзади опасность, но нет, вокруг все так же тихо и мирно. Он сидит, погрузившись в глубокое кресло, стоящее перед тяжелым массивным столом, словно крепко укоренен в этом мире, словно удобно устроился в нем. "До чего же тихо", — отметил он вновь про себя. В мыслях безнадежность потерпевшего крушение, а тело покоится в удобном кресле. Он привстал, груз сорока лет показался ему тяжким, оглядел свои руки, что оперлись на стол, — праздные руки и уже покрылись морщинками. Подумал: хорошо бы чем-то заняться, поработать; представил себе: локти крепко упираются в письменный стол, книга раскрыта, мир перестал существовать. Но мечтал он не о работе — о прибежище, которое каждому дает работа.

Пробили часы на стене, шаги вторглись событием, но шаги-то привычные: вошла прислуга. Открыла ставни, задела стул, один раз, второй. Он мучился ожиданием, но ждать было абсолютно нечего.

Решил пройтись: В самом деле, лето. Асфальт пышет жаром. Спят собаки. Вдоль реки в тяжелой, маслянисто поблескивающей воде чуть покачиваются парусники. Мир вращался по инерции, как заводской станок, когда мастер присел отдохнуть. "Я страдаю, — думал он. — И не чувствую, что страдаю".

— А вы что тут делаете, милая барышня?

Манон, опершись на парапет, наслаждалась утром, как наслаждалась бы дивным неведомым садом. Обычно в этот час она спала, видела сны, освободившись от тела. Но сегодня прогуливала неожиданную гостью — бессонницу. Как изумила ее утренняя налаженная жизнь, парусники, их размеренное движение по воде, и этот мужчина, такой серьезный.

Плечи всегда говорят о мужчине правду. Говорят: он устал или, например, тщеславен до крайности. Порой свидетельствуют о непосильной тяжести. Как знакома ей тяжесть мужчины... А плечи этого незнакомца?

Незнакомец смотрит на нее рассеянно, он пытается оживить воспоминания. Что за странный день! Былое нахлынуло и отступило, верные дружбы, страстные влюбленности, могучие усилия показались вдруг чуть заметной рябью и ничего больше не значили. Неужели это и была его жизнь?

Милое, забавное существо привлекло его внимание. Рядом с ним ему стало легче, он снова почувствовал себя самим собой. Усталым охотником, что ласково треплет за уши собаку. Приятно ее приласкать.

— Так что вы тут делаете, милая барышня?

Они все начинают разговор одинаково, с пустых глупых фраз, но этот, может, и впрямь обращается к ней: он смотрит ей прямо в лицо, он ее не оглядывает. И потом, он неведомой породы — утренней. Должно быть, более благородной.

"Я прогуливаюсь, как он, а он говорит с такой же, как он сам, прохожей, — вот в чем разница..."

— Я? Мечтаю.

— О чем же, милая барышня?

Она внутренне съежилась. Все мужчины заняты одним и тем же. Почему им так хочется в нас проникнуть — и добро бы в сердце! — а насытившись, они не хотят ничего больше знать. Мужчина разомкнул объятия, лежит на спине и молчит, недоступный, как горная вершина.

— О чем же, девочка?

Нет, в самом деле похоже на нежность... А мы на нее так податливы... и признания нас так красят... Жизнь безрадостна и обыденна, но, рассказывая о себе, мы дарим себе прошлое, какого достойны, дарим себе сказку...

* * *

Они вместе завтракали, вместе ужинали. Официант подал кофе, и теперь она смотрела на мужчину. Обычно именно в это время мужчины становятся рассеянными, низко опускают голову. Желание пробуждается в них томлением, безрадостным, будто ярмо. Успокаивает их только уверенность в неизбежности обладания.

— Ну что ж, домой?

Она улыбнулась не без тревоги и не без нежности...

Он отворил дверь и пропустил ее вперед. Она сделала первый шаг в неведомое: спальня всегда ловушка. Села у изножья кровати. Отворот простыни, будто свежий надрез ослепительной белизны. Мужчина ласково взял ее за плечо.

— Дай мне привыкнуть... — Она немного задыхалась.

Он сказал глухо:

— Любовь моя...

Слова ее потрясли. В комнате, полной книг, с тяжелой и такой устойчивой мебелью, что кажется, будто ты в корабельной каюте и они обрели весомость. Портрет... Может быть, жены... Давний? Могло миновать и двадцать лет. Комната приготовлена к долгому странствию. Целый мир. Это тебе не гостиничный номер, в нем не до странствий, в нем и дух перевести не успеваешь, и не холостяцкая квартирка, в них все на ходу, там не хранят воспоминаний. А в этой комнате она показалась себе жалкой, потрепанной вещицей... Не надо бы ему так говорить... Любовь моя...

— Я ваша любовь? Хороша любовь! Да вы не знаете, кто я такая...

Глаза спросили: кто?

— Третьеразрядная танцовщица, понимаете? Понятное дело, жить одними танцами невозможно! — Ей стало так неловко.

— Бедняжка! — пробормотал он и рассеянно погладил ее по голове.

Она догадывалась, что он ее не слышит, не заметил ее признания. Еще полчаса назад оно бы развело их или, наоборот, сблизило, а теперь... Теперь и для него она только вещь, как для всех остальных. Неужели? Она сказала с тоской:

— Я служу мужчинам!

Он обнял ее и стал баюкать. Если бы просто баюкал, долго-долго... Он подарил ей день отдыха, разговаривал с ней по-дружески. А она — вся внимание! — столько узнала нового. Если бы так все осталось! Отважившись, она боязливо проговорила:

— Я мечтаю о друге. У меня был друг. Когда мне становилось грустно, я говорила ему, и он...

Он поцеловал ее.

— Только не в губы!

— Почему, детка?

— В щеку, так ласковее. — Она прижалась головой к его плечу.

А его донимает тоска, мучает, гнетет с утра, как проснулся. Ему необходимо забыться. В объятиях сгорает все — укоры, желания... После объятий ничего нет.

Между тем она раздевается, обнажилось плечо, лучик света. Он приник к нему. Тепло. Жизнь. "Маленький прирученный зверок". Он повторяет это навязчиво, упорно.

А ее охватывает безнадежность: мужчины, они не в себе, этот тоже, хотя так мягок, странно бережен и говорит туманными фразами, обрывая себя на полуслове... Ох уж эти мужчины...

Невозможно понять, на что они смотрят. Чего хотят. Знают или не знают, что лицо их вдруг искажается болью, радостью, а иной раз нена-

вистью. Не догадаешься, какая мечта их томит и можно ли им помочь... Они не в себе, мужчины.

Она боязливо повторяет:

— Стоит ли? Останемся лучше друзьями... — Ей так хочется сберечь ненадежный покой. — Вы подарили мне такой необыкновенный день.

Она нежно гладит мужчину по щеке, надеясь своей нежностью возвести между ними преграду. Но он говорит шепотом:

— Дай мне то, чего я так хочу, дай.

Она ломает пальцы:

— Знаете, но ведь это моя профессия. Представьте себе, вы метельщик, метете, метете день за днем, и наконец наступает выходной, вы приходите к другу, вы счастливы, а друг говорит: "Слушай, вот тебе метла, развлекись!"

У нее на глазах слезы. А он совсем тихо, глухим голосом:

— Ты не представляешь себе, как мне плохо, дай мне то, чего я хочу...

Она скрестила на груди руки — маленький зверок, бессмысленная жертва, почти невинная.

— Меня создали утешать мужчин и не позволяют забыть об этом.

Она покорится, апатично, безвольно. Горькая гримаса выдаст страдание. Глаза закроются, откроются, она снова увидит спальню и добротную большую кровать, предназначенную для многолетних плодовитых союзов, для жизненно значимых часов. Такая кровать могла бы ее возвеличить, очистить...

— Я жалкая горсточка грязи, я... я... — Она и не грустит больше: жизнь есть жизнь.

* * *

Пунцовые занавеси с преувеличенной торжественностью возвестили о рождении нового дня. А день оказался пасмурным. Ему все опротивело. Низкое серое небо, и на нем вороны, будто гарь на пепелище. Мужчина обвел взглядом спальню. Безликий свет выделял один предмет за другим. Каждый напоминал о чем-то, предлагая снова взвалить на себя нелегкий груз воспоминаний. На столе шляпа, платье на стуле, и там же скомканная нижняя рубашка.

Жалкие тряпки привлекли взгляд мужчины. Лихорадка возбуждения миновала, беспорядок вызвал недоумение. Жизнь ушла, перед глазами скудный итог.

Он подумал: хозяева кабаре выметают сейчас за порог обрывки голубого серпантина, обломки розовых вееров, ночную радость. От его вчерашней радости остались вот это платье и смятая рубашка.

Он оделся, застегнулся на все пуговицы, ощутил, как далеки сегодня все условности, ему и любезность ни к чему, можно смотреть в окно.

Она проснулась, но не открыла глаз. Разве забудешь, какое одиночество тебя ожидает: мужчины поутру на противоположном берегу пропасти. Еще больше она боялась нежности, мужчина не отличает нежности от желания, ты никогда не бываешь в безопасности. Если вас обнимают, прижимают к себе, в вас чувствуют женщину... Вот почему лучше молчать, подставить на ходу щеку, отказаться от надежды на дружбу, от стольких иллюзий...

Тебе не родиться поутру заново, прошлая жизнь облепила тебя влажной простыней.

Он и она подвели итог, каждый по-своему. Он сидел, ждал, неизвестно почему вспоминая о давней любовной встрече. В глухой провинции. Он тогда впервые, не испытав никакой плотской радости, узнал любовь женщины, она была профессионалкой, и добраться до ее наготы было невозможно, она разучилась обнажаться. Привычка и скука заковали ее в броню. Он явственно увидел красный шершавый плед, она и его не удосужилась снять, не обнажила и белизну простыней. И еще он подумал: "Мне сорок, сорок, мне сорок лет..." Резко обернулся:

— Ты меня ненавидишь. Оно и понятно. Я старый.

Манон привстала, она поняла, какой он. Он из тех, кто не дружит с жизнью. Кто заказывает шампанское, пригубливает и говорит: "Пить мне тоже не хочется!.." Она таких уже встречала. Не поймешь, чем они занимаются. Деньги тратят без удовольствия. Однажды такого как раз и арестовали. Вечером, в баре, два полицейских инспектора. Он зажался, стиснул зубы, молчит, а она: "Я, господин инспектор, уважаемая женщина, танцовщица с улицы Бланш". И осталась сидеть перед полной рюмкой, но уже одна, его увели, а приятели вокруг смеялись. "Не повезло, Манон..." Хозяин провожал полицию до дверей: "Бывает, бывает... Что вы хотите, мсье, — уж на что я человек разборчивый, но всех клиентов все равно не узнаешь!" И сразу поползли слухи. "Спекуляция, контрабанда. Ясное дело, иностранец". Она спокойно допила свою рюмку, хотя хозяин косо на нее поглядывал. "Идиот! Я-то тут ни при чем".

— Может, у тебя какая неудача?

У одних не бывает неудач, на других они накладывают отпечаток. Сразу его не заметишь, но в любви... Неудачники, наверное, не такие расчетливые, но ты им тоже не нужна. Что же им нужно? Какая же все это гадость. Мутит от омерзения.

Подошла к зеркалу. Посмотреть, что еще повредилось со вчерашнего дня. Спала, подложив кулачок, и вот, пожалуйста, пятно на виске. Морщины возле губ стали резче. "Уродина". Достала из сумочки помаду, пудру. Привела в порядок волосы, причесалась, накрасила губы, попудрилась: розовое платье с декольте выглядит сейчас так неуместно. Она надела пальто, застегнулась. Так-то лучше. Вот теперь она упакована, коробка с конфетами, сбоку бантик.

И всегда, всегда одно и то же.

* * *

Этой ночью она сожалела о своем кабаре. Вышибала у дверей, в конце концов, друг, к тому же услужлив. Бармен всегда что-нибудь посоветует, а служительница в дамской комнате — просто мать родная. Оркестр за ширмой притягивает, как толпа или море. И свет яркий-яркий: каждый как на ладони.

Она появляется, когда звучит последняя нота. Саксофонист улыбается ей, выдувая си-бемоль, она приветственно машет рукой и садится.

Наступил антракт, публика устала. Каждый углубился в себя, закрылся, замкнулся. Погружен в послевкусие. Невеселое ощущение, когда ты противен даже самому себе. Тот, кто валял в зале дурака, примолк, сник,

выдохся. На него еще смотрят, но он в смущении пробирается бочком к своему столу.

Женщин тошнит от вкрадчивых жиголо, словно от приторных сладостей, но и солидные тучные любовники их не радуют, женщины смотрят перед собой, подперев ладонью щеку.

Мужчины расправляют плечи, выпячивают грудь под белым картоном манишек, курят, изображая довольство, предчувствуя горькую минуту несогласия, когда женщина не потерпит ни слова, ни прикосновения.

Один посетитель отважился и положил руку на обнаженное плечо своей спутницы. Она отпрянула:

— Оставьте меня!

Он улыбнулся, пропустил сквозь пальцы бахрому скатерти, с беспокойным недоумением покосился на женщину. Еще дуется? Не сто же лет она будет дуться?

— А не уйти ли нам отсюда?

— Как вы смеете мне дерзить!

Он открывает рот и тут же закрывает, ищет слова, которые не задели бы ее. И не находит.

"Что поделаешь? Женщина..." — думает он, и это туманное объяснение его успокаивает. Он чувствует, что логичен здесь он один и силен тоже.

Похоже, все ждут какого-то тайного знака. Бармен, утомленный собственным глубокомыслием, зевает. "Оставь меня в покое, не мешай думать", — говорят приятелям девушки.

В них вспыхнуло возмущение, они корят себя за молчание, за сдержанность, которые помешали им быть самими собой. Винят дружков — те не захотели узнать, каковы они на самом деле, не приняли их целиком, помешали высказать себя. Повели себя как зрители, отняв возможность чувствовать себя свободно. Уж он-то тебя знает... Иронически скривил губы, и порыв угас. Потребовал: "Хватит ломаться!" И приходится снова ломать комедию.

Как ему скажешь: "Ты не знаешь меня!", ведь яснее ясного, что он не поверит. Тело оберегает сердце надежнее стыда, а ты с ним была — голой...

Гложет чувство несправедливости. Вкладываешь его в одно-единственное слово: "Эгоист!", и дружок в обиде. Но почему, почему же рядом с ним ты всегда испытываешь одно и то же и ведешь себя одинаково? Тебя сковало его знание о тебе, ты ненавидишь его, как кандалы.

Девушек томят смутные мечты о незнакомце, что однажды явится и освободит их, они мечтают: "Он... он..." Они верят в силу настоящей любви.

Но ищут они неискушенного зрителя, желая предстать перед ним в новом образе. Ему они скажут: "Вот ты, ты меня понимаешь..." — и предадутся чувствительным излияниям, которые сейчас под запретом.

Незнакомцу можно признаться: "Я пережила большую любовь и безутешна...", предаться воспоминаниям, они так красят, от них так влажно блестят глаза, и внезапно умилиться слушателем: до чего же внимателен и серьезен, и как я хороша в его представлении, я такой еще не была... Можно грустить, грустить и ощущать проснувшееся желание.

"Я хотела бы жить в Норвегии... Да-да, милый, из-за волшебных северных сказок. Жить в Норвегии, заниматься душой".

А этот знает все недостатки, слабости, ухищрения, и ты прикована к ним раз и навсегда. Какая каторга!

Девушка замкнулась в себе и мечтает, а мужчина следит за смешной зверушкой, осторожно прикасается указательным пальцем к шее, пытается понять,"не надоело ли нам капризничать". Смотрит на часы, курит, расправляет плечи, не понимая, что происходит.

А Манон, она — умница. Ждет, пока вновь заиграет оркестр, ведь музыка, шум, шампанское — это "то, что я и люблю... только это я и люблю..." Служительница говорит, что наконец-то видит разумную девушку.

* * *

— Знаешь, Сюзанна, когда ты с мужчиной, труднее всего оставаться веселой.

— Скажешь тоже, — отзывается Сюзанна, — когда грустишь, им даже интереснее.

— Но быть веселой веселее, — настаивает Манон. Мысль не совсем ясна, но Сюзанна с ней согласна.

Они снова пьют обжигающий кофе в очередном ночном бистро, короткая остановка, и они продолжат свой путь. Официант маячит маятником от одного конца стойки к другому.

— Который час?

— Пять утра. — Официант наполняет чашки с молниеносной скоростью. Хоп! Черная струя кофе перекрыта. Забирайте!

— Который час?

— По-прежнему пять утра.

Сюзанна уточняет:

— Пять часов и одна минута.

Манон трет глаза, зевает.

Кофе обжигает губы, и хорошо, а иначе как узнаешь, что еще жива. Ночь кончилась, но ее отголоски пока не умолкли, так, вернувшись из путешествия, долго слышишь мерный стук колес. Два красавца аргентинца мечтательно поглядывают по сторонам, они безобидны, не притянут тебя взглядом.

— Инженеры, знаешь, да?..

У них есть профессия — значит, твердо стоят на ногах. Они тоже зевают и потягиваются. Не так-то легко высвободиться из тенет ночи.

— Который час?

— Да утро уже!

В просвете между домами показывается солнце. От ночи у прохожих остались только длинные тени. Продавцы газет объявляют новое число звонков, будто возвещают о начале нового царствования. Свежие газеты пачкаются, прохожие снимают перчатки. У жизни запах теплых рогаликов и свежих простынь, которые ждут полуночников. Как мягко мы перекочевали в утро.

— Пока, подружка!

— Счастливо тебе!

— Счастливо.

Улица прозрачна, свет переполняет ее, как вода канал. Первые трамваи дребезгом и лязгом будят город. К площади Пигаль, к площади Клиши

поднимаются танцоры, поднимаются женщины. Им зябко, и зябкий свой инструмент они прячут, будто в футляры, в пальто. Люди шагают, переговариваются, светел утренний шум. Меха, бальные платья расцвечивают толпу красочными пятнами. Стая перелетных птиц снялась с места...

А утренний холодок пощипывает щеки...

Манон вернулась к себе, в свою голубятню, растворила ставни.

...Столица, а притворилась деревней — вставшее солнце осветило только одну колокольню, самую простенькую, оставив в тени все дворцы, все каменные украшения. Солнце обозначило один громоотвод, твою защиту, один флюгер, который сообщит о ветре, оно позволило лишь одной птице прилететь в город.

"Что случилось? Почему я так счастлива?"

Мужчины... она не делает между ними различий, хотя среди них встречаются филантропы, и они были бы разочарованы. Ведь их сочувствие — щедрый и благородный дар — нужно заслужить безысходным страданием. Но! На мужчинах свет не сошелся, ни на их пороках, ни на их добродетелях. Бескорыстны, нерасчетливы? Тем хуже для вас!

У окна всего-навсего девчонка, она протерла глаза и почувствовала: как же хорошо жить! Почему? Да потому что сердце время от времени расцветает... Девчонка шепчет сама себе: "Живем, старушка!"

* * *

Рядом юный мальчик, а тебе грустно. Почему? В мальчика нельзя влюбиться, в лучшем случае он вроде младшего брата, молодые — они еще ничто, пустое место...

— Манон...

У него ребячий рот, красивые веки: у мужчин они уже дряблые.

— Манон... я впервые...

— Милый мой малыш!

До чего юнцы восторженные, обнимают, целуют, благодарят. Им кажется, что они и тебя порадовали, ты их не разубеждаешь. Они так неуклюжи, ты учишь: "Женщины — существа хрупкие, с нами нужно обращаться нежно..." Наука пойдет впрок, они будут нежны с теми, кого полюбят.

— Манон, тебе грустно?

Да, она грустит.

Его изумляет, что нагота может умиротворять, успокаивать; лицо, шея, грудь, бедра — это же все едино, одна и та же плоть.

— Ты прекрасна, Манон.

Он выбирает самое ласковое, самое красивое слово. Его переполняют смутные образы, какие обычно теснятся в голове школьников, обнаженная женщина — часть его самого.

"Он думает, что я так же молода, как он сам..." Манон прижимается головой к его плечу. Они ровня, идут по жизни рука об руку, но только одну минутку. Завтра он ее обгонит. "Я — вещица. Взял и положил обратно. Подружка из бара..."

Она встретила брата, не различив родового сходства.

Он закрыл глаза. Его лицо — сжатый кулачок, воля читается в складках губ. На щеках тень: неведомый мужчина еще дремлет.

"Милый мой мальчик... ты пока еще полый, только розово-золотистая оболочка. В моих объятиях сегодня вечером ты почувствовал себя победителем, вот лицо у тебя и отвердело, будто кулачок. В тебе зарождается мужчина".

– Манон...

– Отдыхай! Будь умницей. У тебя вся жизнь впереди...

* * *

Манон на балконе, парит над городом, поднимается. Приближается ночь, и в сумерках без давящей перины дневных хлопот так отчетлив и так явственен каждый звук. Просвистел, отбывая, скорый – как отчаянно он пожаловался...

Фасады домов опираются на неверный свет витрин. "Да, у меня вот такая жизнь". В вышине зажигаются окно за окном, словно звезды.

Старичок учил ее, застегивая пиджак:

– Ты выбрала грязное ремесло. Ты заслуживаешь лучшего. Машинистки зарабатывают по шестьсот франков в месяц, выходят замуж, живут счастливо. Хорошо бы и тебе переменить образ жизни.

Манон смотрит ему в глаза:

– Вы сейчас это поняли? Да? А ведь я согласна, возьмите меня замуж.

– Такому, Сюзанна, хочется дать по морде!

* * *

– Пожалуйста... не мучайте меня!

А кто ее мучает, дурочку?

Бородач с лорнетом смеется. Юнец, похожий на девочку, крепко зажал ее локтем и заставляет пить. Край бокала уперся в стиснутые зубы – может и разбиться. Третий, пьяный вконец, говорит с медлительной важностью:

– Она не понимает... Брось с ней возиться... – Ему кажется, что девицу пытаются чему-то научить.

– Нет, она выпьет или получит пощечину!

Бородач хохочет.

Метрдотель, он только обслуживает, он человек-невидимка, руки, которые подают ликеры, никого не тревожа. Но она увидела метрдотеля:

– Они меня мучают.

Но метрдотеля это не касается. Он вежливо затворяет за ними дверь.

"Какая красная у меня щека..." Она смотрится в зеркальце, и у нее текут слезы. Потом она пудрит красную щеку.

Три посетителя за другим столиком смотрят на нее с сочувствием.

Он поправляет манжету. Рука белая-белая. "Точь-в-точь молочный поросенок", – приходит ей в голову. Что же, идти с ним? Да ни за что!

– Я сейчас вернусь...

Сбежала. Ох, какое облегчение! Улица... Ночной холод. Люблю холод!..

– Ну как? Хорошо поужинали?

– Да, Сюзанна, но... Я сбежала.

– Да-а, это на тебя похоже!.. Но ты не права!

Ночь только началась, а Манон оставило мужество. Ночь... тяжелая ночь...

– Я так к тебе привыкла, Сюзанна, но я тебя не люблю. Тебя ничем не проймешь, ты толстокожая. Говоришь мужчинам, что твое ремесло тебе опротивело, потому что им нравится спать с чувствительной лапочкой, но от души расхохочешься, если тебя пощекотать. И поддержка тебе не нужна, тебя ничто не колышет. Тебе повезло, а вот я все думаю, думаю.

– О чем же?

– Обо всем, Сюзанна... И знаешь, я тебя все-таки очень люблю...

* * *

Манон поглаживает чемоданы, они кожаные, с металлическими уголками. Надежность уголков укрепляет ее веру в жизнь. Манон восхищают и туго свернутые пледы, пушистые, мягкие, шерстяные, сколько в них тепла! Да, похоже, можно прочно укорениться в жизни.

– Держи билеты, Манон.

Как все стало легко. Портье, грумы, слуги расчищают перед вами день. Расчистили и приподняли фуражки.

В светлом купе стоят чемоданы, на перроне полно народу, но ты-то знаешь, что живешь уже в другом измерении. Поезд сейчас тронется, мягко, без толчка, и уплывет от толпы, фонарей, от прошлого. И все станет чистым, чистым...

– Ты замечтался, крепыш? О чем?

Он задумался о багаже, о чем еще и думать, как не о чемоданах, сначала их приходится считать, потом за ними присматривать.

Скорый скользит в ночной тьме, будто рельсы смазаны маслом.

– Хочешь, погашу свет?

До чего же луна сегодня яркая... Подплывает поляна, поворачивается, уплывает. Еще поляна... Еще... Нанизываются одна за другой деревни. Холм, будто облако, закрыл одну из них. Покачиваются башни, колокольни, и вот крушение – утонули за крутой спиной холма...

Он смотрит на нее.

– За что ты меня любишь, Манон?

– Не знаю...

Лунный луч осветил его лицо, побежали тени, он больше не из плоти и крови, он из мыслей.

– Моя маленькая прилежная девочка...

Манон улыбается. "За что я его люблю? Вот я говорила: мужчины..." Она размышляет о мужчинах. Но он, он совсем другой. С ним это не ремесло. "И к тому же он богатый. Но на богатство мне наплевать!"

Манон не права: когда боязливо оглядываешься на цены, следишь за выражением лица, за рукой, за кошельком, некогда быть женщиной. Невозможно быть женщиной, когда мужчину грызет забота о завтрашнем дне.

"Зато я люблю его всем своим существом..." Само собой разумеется. Манон спокойно засыпает.

* * *

У него немало расторопных друзей, которые охотно помогут ему избежать ошибок.

— Неужели он в самом деле увез эту шлюшку?

Бар кажется прибежищем призраков — четыре часа утра. Желание спать дурманит голову, как новая порция алкоголя после уже выпитого: глаза едва смотрят. Но затронутая тема всех воскрешает, и вот они уже слегка покачиваются, как водоросли, отдавая дань животворящей дружбе. Их движения так осторожны, словно они плывут против течения. Один из них медленно поворачивается на табурете, он обернулся, чтобы заказать кюммель, и все остальные поворачиваются вслед за ним к бармену, словно рыбы к червяку.

— Он подцепил ее неизвестно где и неизвестно что вообразил о ней, дурачок.

— Манон? Да цена ей десять луи.

— Надо ему открыть глаза.

Три сотни километров, когда ты под парами? Прогулка...

* * *

Фары пронзают ночь, проявляют фотографию за фотографией: смутные очертания, более отчетливые, и опять тьма. Фразы подхлестывают, торят дорогу, заставляют торопиться дальше. Тополя взмывают в небо, обрушиваются навзничь, будто дернули за веревку, метут небо. Подъемы, спуски ошеломляют, отпускают, и без всяких усилий. Дорога податлива при бешеной скорости.

Неожиданно стихает шелковистый шорох листвы. Они растеклись по пространной равнине, а равнина, несмотря на рев мотора, хочет течь мирно и неспешно, на равнине светит луна, и высокие тополя вдали утверждают, что в ином измерении бег их бессмыслен и медлителен. Заяц выскочил пред ними на дорогу. Они медленно его нагоняют. Он медленно затягивается под колеса. На недвижимой равнине только поперечные дороги, белые в лунном свете, хлещут вспышками по глазам.

Встало солнце и высветило подробности. Деревья, дома затемнели сумрачными обломками. А свет занялся другим — создал зеленые холмы, голубые озера. Люди с недоумением оглядели друг друга, оказывается, они обросли щетиной. Но хмель меховым воротником отгородил их от всего. Они не думают, они камни.

* * *

— С утра во фраках? Уже пьяны?.. — Манон узнала их и в тоске приникла к нему.

— Привет, Манон! Дела идут? А как Пигаль?..

— Меня-то вспомнила, старая знакомица? А ты такая же симпапуля, Манон!.. — Не хватит ли пощечин?

— С чего вы здесь, пьяные идиоты?.. — Он поворачивается к ним. — Господи! Да объясните же! — Теперь он повернулся к Манон, и она закрывает глаза.

Голоса становятся далеким-далеким шумом, слов она больше не разбирает. Она открывает глаза, видит перед собой светлую гостиную. В ней она с душой разложила все мелочи, как положено достойной супруге. Мирный покой ее корзинки с рукоделием на столике под угрозой.

"Зачем он их слушает, я же его люблю..."

Недосып сделал их лица задумчивыми и грустными, крахмальные рубашки, стоящие колом, наделили фальшивым достоинством. С неимоверным усилием она улыбается, а глаза с отчаянием еще цепляются за кресло, за корзинку с вышивкой и золотое солнечное пятно на паркете. Потом маленькая утопающая собачка перестала шевелить лапками, тяжкая усталость навалилась на нее, и она отделилась от солнечного спокойного мира, погрузившись на дно, где теснились дома, фонари, мужчины...

* * *

— Манон, это правда?

Она уцепилась руками за отвороты его пиджака, спрятала лицо на груди, такой широкой.

— Ах, крепыш, крепыш, разве ты поймешь?..

— Манон, это правда?

— Я люблю тебя, так люблю!

— Манон, это правда?

— Да.

— Ты меня обманула, ты мне солгала, ты...ты... поступила бесчестно.

— Да... Но тебе никогда не понять!

— Забудь меня!

— Никогда!

— Забудь.

* * *

Дребезжит последний звонок, крошечный чемодан весит тонну, рельсы блестят, как бритва.

Он ее любил, теперь брезгует. "Он знает обо мне все постыдное, всю грязь..."

* * *

"Умоляю вас, приходите. Мне так нужно с вами поговорить". Они встречаются. Вместо прежней, скромной, шляпка на ней теперь побольше и понаряднее. Она пополнела, а не похудела: спрятала сердце поглубже. Она из тех женщин, которые от горя полнеют, которые рано или поздно перестают страдать. Она протягивает ему маленькую пухлую ручку, круглую, словно яблочко:

— Подурнела, да?

Она поняла, что он хотел сказать. Смотрит прямо перед собой и кажется забытой вещью на банкетке в кафе. Губы дрожат, нос морщится. "Неужели она на что-то надеялась?"

Она берет его за руку. Иллюзии женщины раздражают мужчину. Она покушается на его свободу. Он готов сказать что-то очень жестокое, и все будет кончено, он готов сказать... Но она заговорила первая. У нее все тот же нежный, приятный голос, его лучше слушать, прикрыв глаза. С несказанной нежностью она произносит: "Старинный друг..."

Она не борется. Она жертвует прошлым, жертвует счастьем, надеясь сохранить дружбу, надеясь, что он не отнимет руку, хотя чувствует, что ему уже не по себе, надеясь...

Говорит:

— Старинный друг. — И все-таки плачет.

— Прощай, Манон!

— Я еще хотела тебе сказать, хотела сказать...

Она идет за ним следом. Она хочет понять, осталась ли хоть малая частичка ее в сердце того, кого она боготворит.

— Почему ты так жесток? Почему?

Они идут быстро, идут через Чрево Парижа. С грузовиков снимают тяжелые ящики с овощами, щекастая капуста при электрическом свете кажется отлитой из свинца. Похоже, что вокруг в страшной спешке воздвигают триумфальные арки, готовят жертвенники. Грузчики вытирают пот, они не хотят, чтобы рассвет застал их насквозь мокрыми, слабыми, постаревшими на сто лет, будто после ночи любви. Она думает: "Разгрузят еще вот этот грузовик, и покажется солнце..." Но как долго приуготовляется торжество встречи, как непросто дождаться солнечных лучей!

— Скажи... скажи, это потому что я солгала? Потому что у меня такое ремесло? Если бы ты знал, как я его стыдилась, когда была с тобой!

Он стиснул зубы. Ничего не хочет знать. Он богат, она нищая, она хочет его обокрасть. Ему и в голову не приходит, что деньги дают ему возможность любить. Он понятия не имеет, какая невиданная роскошь любовь для жалких девчонок вроде Манон.

— Не надо относиться с таким презрением... — Она уцепилась за его руку, но он твердо и жестко отстранил ее. И лицо у него стало таким неприятным...

— Ты, кажется, считаешь меня идиотом, милая?!

Глаза у Манон раскрылись широко-широко.

Колокольчики молочников оповещают о туманном молоке рассвета, едкая зябкость пронизывает улицы. Прохожие, что попадаются навстречу, грубые здоровяки, первыми отхлебнули свежесть нового дня, но она вместе с грузчиками начинает утро с непосильной тяжести.

— Манон! Куда ты, Манон?!

Визг тормозов. Она вскрикнула.

Она заметила только темную массу, что надвинулась на нее, а теперь ей так холодно. Голоса звучат глухо, долетают только отдельные слова, будто задремала в поезде: "Отойдите... Поймайте такси..." "Он мне сказал... сказал... Он такой же, как все..."

* * *

Больница. С носилок видна только арка входа и нескончаемый коридор, он покачивается, покачивается...

* * *

Не мешайте мне умирать... Не трогайте меня...

* * *

Постель как морская пучина.

* * *

Нет, я не хочу его видеть. Нет, пусть уходит.

* * *

Сюзанна! Он мне сказал... Да, Сюзанна, я угождала мужчинам, но не сердцем, не сердцем...

Для мужчин они кусок мяса. Она знала об этом. И для него, оплота добродетели, тоже — как это жестоко.

* * *

Температура все выше, выше. У постели сидит священник. Священник говорит: "Пора покаяться. Вы вели дурную жизнь..." Мне еще и каяться!..

Лицо у нее блестит от пота, горячка отнимает силы, как нескончаемая борьба. "Покаяться... дурная жизнь... метрдотель 'Пигаль' всегда смотрел на меня так грозно. Оно и понятно. А почему? Потому что я всегда хотела убежать. На площадь Клиши. Там ярмарка. Карусель с деревянными лошадками. Сядешь и кажется, что летишь, летишь... Больно-то как... Добрый вечер, мадам..."

Пришла сиделка. Она так терпелива, ее можно попросить: "Зажгите лампу, дайте попить". У нее хватает времени выполнить все просьбы. Сиделка смотрит сосредоточенно, будто видит далекую цель, и уверена, что непременно ее достигнет. Интересно, какую? Наверное, старость?

Сиделка подготавливает приход ночи. Наводит порядок на тумбочке, задергивает шторы, зажигает лампу под абажуром. Ходит по палате туда и сюда, возникает из тени белоснежным пятном, с ней становится светлее.

Как мягко она двигается, исполняя свою таинственную работу. Наполняет палату покоем. Прикасается к вещам, будто желает им спокойной ночи. Расправляет простыню, пусть над болью царит умиротворяющая белизна. Она ненавидит смятое, скомканное, любое прибежище теней. И вокруг все успокаивается.

"Свет погасить?" — "Не надо". Потом сиделка сядет в кресло и будет тихонько вышивать. Она бесшумно вытягивает иголку, проявляет на полотне невидимые цветы.

До чего же умной стала Манон! Она все наконец поняла. Поняла, в чем разница между ней и вот этой женщиной в белом, что ходит туда и сюда, твердо ступая по земле, — она живет на другом берегу, город в ее окне с трубами, колокольнями и облаками готов принять ее. И она спокойно живет в этом городе.

Манон прибило к противоположному берегу. Там все нереально. Город — всего лишь декорация, и жалкая жизнь маленькой Манон не в силах его оживить, он так и остается муляжом, картоном. Прошлые радости, прошлое горе тоже ничего не говорят больше сердцу, тени и призраки не причиняют боль. Она кукла в кукольном фарсе. Манон догадалась, что умирает: "Мадам, мадам..."

"Поспите, милая. У вас жар". Руки сиделки такие прохладные. "Не убирайте, пожалуйста, руку". Прохладные, как родник, что трепещет в ней, насыщает ее, преображается в мысли...

Медленно бьют часы. Один удар... Два... Три... И жизнь всякий раз замирает... Десять... Одиннадцать... Последний еще звучит, все еще звучит, и рождается необъятная тишина. Ночь... ночь... Колокольный звон пробуждает эхо...

* * *

"Будет прихрамывать", — сказал хирург. "А ведь я танцовщица..."

Съежившись у окна, за которым сереет день, она снова склоняется над вышиванием, в нем вкус вечности, оно делает возможным невозможное бегство, с ним остаются наедине, когда жизнь безысходна... Нельзя же плакать и плакать — смиряешься. И тратишь силы на труд без мечты, на белое полотно, белое-белое, как стена.

Письма к Натали Палей

Перевод с французского и вступление М. Кожевниковой

Натали Палей (1905—1981), Наталья Павловна, княгиня Палей, внучка Александра II и дочь великого князя Павла Александровича, вступившего в морганатический брак с Ольгой Валериановной Карнович, родилась в Париже. Детство провела на Лазурном берегу. В 1912 году Николай II признал брак своего дяди, и семья вернулась в Россию. Тремя годами позже Ольга Карнович, ее сын Владимир и две дочери получили титул, став княгинями и князем Палей. В 1918 году великий князь Павел Александрович был расстрелян, Владимир Палей погиб вместе с царской семьей. Натали со старшей сестрой и матерью бежали в Финляндию, жили в Швеции, в 1920-м вернулись в Париж. Впоследствии Натали написала о себе: "Пережитое научило меня любить трагическое и привило вкус к поэзии, обжигающей ледяным дыханием смерти". В 1927 году она вышла замуж за Люсьена Лелонга, великого кутюрье и законодателя мод, став главной его моделью. Дружбой с экстравагантной, светской, артистичной и очень умной Натали Палей дорожили многие яркие творческие личности — Серж Лифарь, Мари Лор де Ноай, Сальвадор Дали, Жан Кокто, Лукино Висконти, Эрих Мария Ремарк.

С 1933 года Натали снимается в кино, играя взбалмошных эксцентричных женщин. Необычайно фотогеничная внешность и роскошные туалеты привлекают к ней внимание, ее приглашают на съемки в Голливуд. В 1936 году она разводится с Лелонгом, в 1937-м выходит замуж за преуспевающего продюсера Джона Уилсона и навсегда уезжает в Америку.

Знакомство Натали Палей с Сент-Экзюпери началось еще в Париже и возобновилось в 1941 году в Голливуде, когда Сент-Экзюпери жил там у своего друга режиссера Ренуара.

В начале 1942 года в Нью-Йорк приехала жена Сент-Экзюпери Консуэло, в феврале вышел "Военный летчик". Книгу Сент-Экзюпери читали запоем. "Геральд трибюн букс" назвала ее лучшей книгой года. Она произвела переворот в сознании американцев. Америка узнала, что французы, прежде чем заключить с немцами перемирие и сотрудничать с ними, всерьез воевали. Презрение сменилось сочувствием. Теперь Сент-Экзюпери постоянно получал приглашения выступать с лекциями: участника войны просили рассказать о войне.

Ни сторонникам де Голля, ни сторонникам Виши книга не понравилась. Голлисты считали ее пораженческой, вишисты видели в ней призыв к неповиновению. И те, и другие ожесточенно нападали на писателя, а он нервничал, но публично не защищался, следуя принципу: в эти тяжкие для Франции дни не осуждать ни одного француза. Сент-Экзюпери был убежден, что без помощи Америки с Германией не справиться, и делал все возможное, чтобы побудить Америку вступить в войну.

В мае 1942 года его пригласили прочитать две лекции в Канаде. Отправившись туда, как он полагал, на несколько дней и не оформив визы, писатель вместе с присоединившейся к нему Консуэло вернулся только через сорок дней. Столько времени заняло получение въездной визы в Америку. Именно к пребыванию в Канаде и относятся публикуемые письма.

© Éditions Gallimard, Paris, 2007
© М. Кожевникова. Перевод, вступление, 2009

I

Я верю в архангела Гавриила. Но, видишь ли, он явился... в другом обличье.

Я точно знаю: меня только что взяли за руку. Впервые за много лет я закрыл глаза. Ощутил покой в сердце. Мне больше не нужно искать дорогу.

Я всегда закрываю глаза, когда счастлив. Так закрываются двери житниц. Переполненных житниц. Ты во мне — благодатный хлеб.

Да, я сделаю тебе больно. Да, ты сделаешь больно мне. Да, мы будем мучиться. Но таков удел человеческий. Встретить весну — значит принять и зиму. Открыться другому — значит потом страдать в одиночестве. (Как нелепы телефонные звонки, телеграммы, возвращения на скоростных самолетах, люди разучились жить ощущением присутствия.) В XIII веке моряк-бретонец ни на миг не разлучался с невестой, что осталась ждать в далекой Бретани. Она просто была рядом с ним. В час отплытия к мысу Горн он уже торопился к ней. И я, не боясь нажить непоправимое горе, предаюсь радости.

Благословенна грядущая зима. Я не прошу избавить меня от боли. Я прошу избавить меня от сна, который сковал во мне любовь. Не хочу больше ровных дней, не ведающих о временах года, не хочу бессмысленного вращения земли, которое не ведет ни к кому, ни от кого не уводит. Сделай так, чтобы я любил. Станьте мне необходимой, как свет.

Я знаю, как много существует для меня ограничений, знаю, как часто погружаюсь в небытие, тоскую. Знаю, сколько у меня обязательств, преград, противоречий. Само несовершенство. Но это лишь материал. Ничего, что сейчас все в разладе. Будьте светом, взрастите дерево. Любимая моя, так давно я не произносил этого слова. Оно сладко мне, как новогодний подарок. Знаешь, вчера вечером я почувствовал себя рабочим из черного от копоти предместья, который вдруг увидел перед собой луг и ручей с белыми камешками.

Я тут же зажмурил глаза, чтобы сберечь чудесное виденье.

Свежий мой ручеек с белыми камешками, поющая вода, моя любимая...

Антуан.

II

Вчера я послал тебе письмо и вдруг испугался. Ты не позвонила. Я подумал, тебе не понравилось.

Не знаю, право, что тебе почудилось, но, поверь, в нем только нежность.

Прими от меня подарок: обещаю тебе никогда не лгать. Разумеется, о чем-то я умолчу. Мои воспоминания принадлежат не мне одному. Гнусно, если признания становятся предательством. Но тебе я не солгу, даже при всей многозначительности умолчаний. На душе у меня светло и ясно. Я не омрачу этот свет политикой. Никогда.

Сразу скажу тебе правду: у меня было много любовных историй, если только можно назвать их любовными. Но я никогда не предавал значимых слов. Никогда не говорил просто так "люблю", "любимая", лишь бы увлечь или удержать. Никогда не смешивал любовь и наслаждение. Я даже бывал жесток, отказывая в значимых словах. Они срывались с губ три раза в жизни. Если меня переполняла нежность, я говорил: "Я полон нежности"; но не говорил: "Люблю".

Я сказал тебе "любимая", потому что это правда. Не сомневаюсь, что больше никогда и никому не скажу этого. Озарения сердца редки. Я встретил любовь, может быть, последнюю.

В моей жизни это ничего не меняет. Но это правда.

Скажу тебе еще вот что. Я довольно скрытен и не рассказываю о тех давних обязательствах, с которыми невозможно покончить. Если ты впоследствии узнаешь о них, не подумай, будто они возникли после нашей встречи. Я глубоко чту ожившее сердце. Я страшно неловок, я запутался, но любовь я не предаю.

Это письмо покажется вам, возможно, еще нелепее предыдущего. Нелепее и бессмысленнее. Но я нащупываю язык, слова которого говорили бы о сути. Я не лукавлю с весной и чудесами.

Происходящее для меня необычайно странно. Самое лучшее, что вы можете теперь сделать, — это положить мне на лоб руку доброй самарянки.

Я издерган, несчастен — исцелите меня.

Слеп — помогите прозреть.

Иссох — сделайте щедрым в любви.

Не делай мне слишком больно без особой надобности и спаси меня от возможности причинить боль тебе.

Пребывай всегда в мире,

Антуан.

III

Милая, я лежу, болею и несказанно этому рад. Я словно бы окунулся в детство и за себя не отвечаю. На животе у меня пузырь со льдом, в животе белладонна, и я наслаждаюсь передышкой от надсады писательства. Нелегко ждать каждую секунду спазма — строчка, еще строчка, еще... Оба процесса необычайно схожи между собой. Сейчас я не работаю. Краду отдых, пока незаслуженный, незаконно обеспеченный мне белладонной. Но мне так не хватает жалоб и утешений. Окажись ты со мной, я бы поплакал — конечно, притворно, ведь я был бы так рад тебе! А ты приняла бы мои слезы всерьез, но не слишком, потрепала бы меня за ухо, положила руку на лоб, улыбнулась. Ты приласкала бы меня с радостью и на меня не досадовала бы. Так ведь?

А мне так хочется любить вас. Сейчас я совершенно спокоен, необыкновенно мил и лежу на подушке совершенно ручной — но недавно, мечтая о тебе, страшно злился на заточение. Бессонные ночи долги. А когда ты один, не гаснет и желание. Вот и воображаешь, воображаешь, а что — я тебе никогда не скажу. Я в плену твоего естества, и ты щедра ко мне. Я умираю от жажды. Но опять начались боли, и этим вечером я совершенно безгрешен, я сама нежность. А как хорошо было бы чувствовать твою руку у себя на лбу. Удивительно хорошо, любовь моя.

У меня приступ холецистита. И не первый. Желчный пузырь мой износился от недостатка воды в Ливийской пустыне. Но до сегодняшнего дня мне удавалось уберечь от хирургов эту семейную реликвию. Надеюсь уберечь и на этот раз и встать с постели самое позднее завтра. (И, разумеется, уехать, если дадут визу. Тут уж меня не удержать! Ни за что!) Мне даже кажется — признаюсь тебе на ушко, — что сегодня вечером я не так уж интересен. Хотя, может быть, мне удастся избавиться, например, от пузыря со льдом. Но, думаю, будет

лучше, если ты меня еще немного пожалеешь, а я еще немного пожалуюсь. Так будет гораздо симпатичнее. Мелкие неприятности мне отраднее, чем большие, которые меня поджидают. Конфликты, хлопоты. Я имею полное право ненадолго сбежать от забот взрослой жизни. Имею право на небезутешное горе и твое утешение.

Любовь моя, поверьте, что на самом деле я попрошу у вас совсем не утешения, а сердечного покоя, без которого не могу ни жить, ни творить. И еще света, молочного и медового, которым вся вы светитесь: расстегнешь ваше платье — и сразу рассвет. Рассвет, моя радость, моя любовь, мне необходимо насытиться вами.

Знаешь... желание, оно не уснуло. Кроткий малыш на подушке — картинка весьма обманчивая. Мои помыслы не так уж невинны. Стоит тебе положить руку мне на лоб, как я схвачу ее и ты попалась. Будь настороже — я хитер и коварен. Лежу с закрытыми глазами, чтобы придать тебе смелости, но на самом деле я их только прикрыл и сквозь ресницы наблюдаю за тобой... Если ты подойдешь к постели слишком близко, я обхвачу тебя обеими руками, словно дерево, и не упущу сладких плодов.

Мне так нужна ложбинка у твоего плеча, я прижмусь к ней щекой. Нужна твоя грудь, чтобы пить любовь. .

* * *

Любимая, не могу больше мечтать. Поговорим о другом. Я обещал, что буду говорить тебе все. В прошлый раз я дал тебе понять, что кое-чего опасаюсь, оно и случилось помимо моей воли. Я же говорил, что у меня непростая жизнь. Случилось путешествие длиною в сутки. Разумеется, я не могу сказать с кем, но могу сказать: случилось. С одной стороны, было очень тепло, а с моей — горько и уныло. Грустная комедия. Милая, это случилось не по моей вине. Как уйти, не сделав слишком больно? Я уже многое упорядочил в своей вольной жизни. Хочу быть хранимым и связанным одной тобой. Оставалась последняя неурядица, я считал, что повел себя очень умно, но ко мне прилетели на помощь, приняв молчание за отчаяние.

Да творит ваша рука чудеса. Положите ее мне на сердце и умиротворите его. На лоб, и дайте немного мудрости. На тело, и пусть оно принадлежит вам.

Антуан.

Посылаю вам несколько страничек — письмо, которое писал в тот день между двумя телефонными звонками, первый известил, что все потеряно, второй — что сообщение о катастрофе было ошибкой.

IV

Любовь моя,

пришла отвратительная телеграмма от секретаря канадского посольства, меня примут только в среду. Готов повеситься. Не могу больше без тебя. Я в отчаянии, полном, безысходном. Любовь моя, моя любимая, я обрел благодаря тебе покой. Обрел в тебе кров. Обрел доверие, а теперь терзаю ожиданием. Причиняю боль, выматываю. Меня нет с тобой день за днем, я нарушаю все свои обещания, хоть и не по своей воле. Я заслуживаю, чтобы ты обо мне за-

была. Заслуживаю, чтобы больше не ждала. Заслуживаю одиночества. А я, хоть и не могу пересечь без визы границу, люблю тебя с каждым днем сильнее. С каждым днем становлюсь несчастнее. Разучился даже тебе писать.

Жестоко увидеть рай и тут же потерять.

Очень устал.

Антуан.

V

Любовь моя, любимая, моя любовь, я в таком волнении, в таком отчаянии, что перепутал каблограммы. Я похож на пьяного, качаюсь из стороны в сторону, не понимаю зачем, почему. Я все-таки пошлю тебе каблограмму, которую собирался послать.

Я люблю тебя слишком сильно, сомнений нет. Страдаю всем существом. Я болен от ожидания. Ты мне нужна. Необходима. Как воздух. Как дневной свет. Умоляю вас, когда мы увидимся, обнимите меня. Убаюкайте. Успокойте. Помогите. Мне и так невыносимо, и стало еще невыносимее с тех пор, как со мной сыграли злую шутку, поманив покоем и счастьем, а потом лишив их.

Умоляю, любите меня, когда я вернусь.

Антуан.

VI

Странно, никак не могу тебе дозвониться. А мне хотелось прочитать тебе все, что я наработал за последние месяцы.

И еще я хотел сказать тебе что-то, что сказать очень трудно. Некоторое время мы виделись очень редко. Думай обо мне, что хочешь, но не обвиняй в равнодушии. Это не так.

В Канаде мы ждем с минуты на минуту телеграммы-освободительницы, ждем вдвоем, моя жена, с которой внезапно меня свел случай, и я. Вышло так, что в мое отсутствие она распечатала твою телеграмму, подписанную полным именем. Я не сразу узнал об этом.

А когда узнал, почувствовал себя виноватым. Не по отношению к ней (мы давно живем врозь). Я виноват перед тобой. Невыносимо, если вдруг из-за меня поползут компрометирующие слухи. Я едва ли уговорю ее молчать, тем более при таких обстоятельствах.

Я клялся всем, чем только можно, старался затемнить смысл телеграммы. Настаивал: "Мы давным-давно не виделись", ссылался на алиби (сцены ревности я всегда выносил с трудом). Все это отвратительно, мне тяжело писать тебе об этом, дрязги калечат любовь. Глупая, пошлая, дурацкая случайность.

Вот я и объяснил тебе причину своей необъяснимой сдержанности. Я ждал передышки.

Сто раз собирался сказать тебе об этом. И не решался. Мне было невыносимо стыдно. Неужели я не смогу защитить тебя?

Я сказал тебе все. Я хотел все сказать. Мне показалось, что ты замолчала намеренно, и поэтому я никак не могу тебе дозвониться. Хотя вполне возможно, мне просто не везет. Наверное, больше не буду и пытаться. Я никогда не был

навязчивым. Уважаю даже то, чего не понимаю. Ну вот, я все написал. Должен был написать.

Нелепая планета, нелепые проблемы, нелепый язык. Может быть, есть где-нибудь звезда, где живут просто.

Целую тебя с такой тоской.

Антуан.

VII

Я в дурацком положении. Написал тебе несколько слов, уловив что-то неощутимое, невесомое, как воздух. Вполне возможно, нежданное ощущение обмануло меня. Зато письмо могло внушить тебе мысль, что писать мне домой не стоит. А я, ничего не получив, снова пишу тебе. Я так остро чувствовал твою любовь вопреки всей нескладице жизни, что не могу из-за недоразумения — если оно было — принять твое молчание.

Прошлое письмо не отличалось ясностью и в другом отношении. Речь не шла о необходимости опасаться "моего дома". В "моем доме" вот уже четыре года мы живем каждый своей жизнью. Однако случилось так, что короткое путешествие друзей обернулось в силу нелепых обстоятельств свадебным путешествием длиной в сорок дней и накалило атмосферу до крайности. После злосчастного происшествия с телеграммой — а оно не было даже следствием нескромности — я страшно мучался и без конца повторял (не из-за себя, я ни перед кем не отчитываюсь, из-за тебя), что это сущий пустяк, мы сто лет знакомы, я отказался от твоей помощи, когда лежал в больнице, мы редко видимся, отношения у нас чисто дружеские. Я говорил небрежно, ни на чем не настаивал, не требовал молчания, опасаясь дать повод к лишним разговорам. Да и не вправе был чего-то требовать. Делал что мог.

Я не хотел, чтобы нечаянная встреча, сопоставление случайных фактов или еще что-то в этом роде вновь разожгли костер, который, надеюсь, сумел погасить. У меня печальный опыт: на протяжении жизни мои сугубо личные проблемы не раз становились достоянием широкой публики, а теперь я оказался в ужаснейшем положении по отношению к тебе.

Я никогда-никогда-никогда никому ничего не рассказывал, ни разу в жизни не обмолвился словом ни о ком, а сейчас могу стать причиной слухов, которые принесли бы большие неприятности человеку не только мне не безразличному (я страдал бы и в этом случае), а той, кого люблю глубоко, всем сердцем.

Я решил больше никогда не видеться с тобой, мне показалось, я нашел самое правильное решение, вот только не знаю, как быть с собой и с тобой. Я не хотел ничего говорить. Не хотел, чтобы жалкие уловки подтачивали нежность. "Правильное решение", горькое, мучительное, возникло как компромисс. Разворачивались другие трагические события, усугубилась сложность моей общественной позиции. Настал день, когда я не смог дышать. Я сказал себе: если не хочешь сойти с ума или повеситься, если исчезло преображающее вдохновение, укорени в себе порядок. Пришлось начать с собственного дома. Выбрать насущные обязанности, первостепенный долг. Когда самые простые проблемы будут разрешены, я яснее увижу более сложные. Я долго раздумывал о новом браке. Долго и тяжело. И принял решение. (Правильное: я начал писать. Для меня — это главное.)

Теперь о нас с тобой. Если твое молчание — плод моего воображения, я просто дурак. И все-таки я рад, что ничего не утаил от тебя. Я должен был сделать это "признание". Я не открещиваюсь ни от чего, что исходит из "моего дома".

Если твое молчание не случайность, объясни его. Я не буду оспаривать твое решение, я чту права другого. Все права. Твои — в особенности. Твой ответ будет знаком уважения ко мне. Я не из тех недочеловеков, что, настаивая на своем, засыпают телеграммами и способны замучить до смерти телефонными звонками. Думаю, ты во мне не сомневаешься. Мы с тобой одной породы. Своих я узнаю издалека. Ты тоже всегда верна себе. Думаю, телефонная молчанка не для нас. Будем самими собой.

Я настаиваю на объяснении только потому, что для меня нестерпима мысль: ты обижена из-за недоразумения или ошибки. Мы живем в отвратительное время. Всюду грязь, она пятнает каждого. Не могу перенести, что она коснется моего, глубоко личного. Запачкает. Моя вселенная не от мира сего. Ничто извне не заставит меня изменить мнение о тебе. Если я не могу смириться с тем, что внешний мир искажает твой внутренний, то только потому, что полон глубокой нежности. Потому что в моих глазах до тебя ничто не может дотянуться.

Мой друг всегда правее окружающего мира. Я наделил его правом быть независимым.

Я дома завтра, в понедельник. Позвони мне между одиннадцатью и тремя. Если ты согласна позавтракать со мной (потом можем не видеться, я не стану докучать тебе), позвони в одиннадцать и разбуди (звони подольше, этой ночью я работаю). Позже я, возможно, буду занят. Мы пойдем в спокойное кафе, любое, какое захочешь. Хочу прочитать тебе, что я написал. Мне это необходимо.

Если не позвонишь, я останусь со своим недоумением, но никогда больше не потревожу тебя (не подумай, что "я удаляюсь, преисполненный собственного достоинства", ты можешь увидеться со мной, когда захочешь, просто я больше не буду тебя тревожить). Причина недоумения проста: честное слово, я понимаю, что жить со мной невозможно (я себя знаю), но во всех остальных отношениях я не сделал ни единого движения, не сказал ни единого слова, за которое мог бы краснеть.

Держу свои обещания. Не унижаю того, чем дорожу.

Прощаюсь. Сказать больше нечего.

Антуан.

Божена Дудко

"*Не делать однозначных выводов*"

Перевод К. Старосельской

У репортажа в Польше прекрасные традиции — почти всем значительным писателям случалось сочинять в этом жанре. Об этом известно редакторам "Иностранной литературы", подготовившим материал о современном польском репортаже и представившим читателю не только выдающихся репортеров — Лидию Осталовскую и Мариуша Щигела, но и прозаика Анджея Стасюка, последние книги которого — "По пути в Бабадаг" (2004), "Фаду" (2006) и "Дойчланд" (2007), а также будущую книгу о России[1] (фрагменты ее уже опубликованы), — тоже можно считать репортерскими (или очерковыми). Впрочем, Стасюк не согласен с теми польскими критиками, которые причисляют эти его книги к жанру репортажа: по мнению автора, они ошибаются — это "путевая проза". Сам он настойчиво подчеркивает, что не описывает действительность, а ее выдумывает: "Мои книги можно воспринимать как угодно, но сочиняю я прозу о том, что́ описываемые страны делают с моим сознанием, и книги эти скорее про то, что происходит на стыке вымышленного и реального. Ведь если я пишу, что Дойчланд напоминает мне Румынию, это значит, что я рассказываю не об объективной действительности, а о своих навязчивых идеях"[2].

Традиции польского репортажа уходят в далекое прошлое. Взять хотя бы дневники мемуариста эпохи барокко Яна Хризостома Пасека; очерком-репортажем можно назвать целые фрагменты III части "Дзядов" Адама Мицкевича, письма из путешествий Ю. И. Крашевского и письма Г. Сенкевича, присланные из путешествий по Америке и Африке. В межвоенный период (1918—1939), после обретения Польшей независимости, рождается новый вид репортажа, каковым он и остается по сей день: в центре внимания авторов (которые отныне занимаются им профессионально) уже не описание природы, памятников старины и т. п., а человек с его повседневными проблемами. В это время созданы великолепные очерки известными писательницами М. Кунцевич, З. Налковской, М. Домбровской, а также такими титанами репортажа,

© Bożena Dudko, 2008
© К. Старосельская. Перевод, 2009
Написано специально для "ИЛ" и безвозмездно предоставлено редакции автором.
1. По словам Моники Шнайдерман, владельца издательства "Чарне", это будет "сложная проза, неоднозначная, как польско-российские отношения, провокационная и политически некорректная". (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. автора.*)
2. Из письма Стасюка автору 1.10.2008.

как М. Ванькович или К. Прушинский, в круг которых позже вошла и Ханна Кралль[1], чье творчество до сих пор служит образцом.

Каждая деталь в репортажах того времени была чем-то большим, чем просто подробностью, обладала скрытым смыслом. В 2005 году, выступая на Первом всемирном конгрессе переводчиков польской литературы, Мариуш Щигел сказал: "При коммунизме печатное слово служило прежде всего сокрытию правды. Если талантливый репортер хотел поделиться своими наблюдениями в официальной прессе, он изобретал для этого различные изощренные способы. Началась масштабная литературная игра, целью которой было перехитрить власть. Если нельзя писать о самой системе, нужно описывать судьбы отдельных людей. Если нельзя писать об общих проблемах, будем описывать детали". Репортаж в социалистической Польше развивался на пограничье журналистики и литературы. Так, "Императора" Рышарда Капущинского (1978)[2], героем которого был эфиопский правитель Хайле Селасие, на берегах Вислы прочитали не как параболу о механизмах власти, а как критику правления Эдварда Герека и аллегорию распадающейся системы ПНР. Скончавшийся в 2007 году Капущинский возвысил журналистику до ранга искусства. В своем "Автопортрете репортера", который в Польше называют библией для журналистов, он вспоминает: "Мы начинали писать в очень трудных условиях. Цензура, всякого рода ограничения вкупе с преследованиями, даже отлучение от профессии. Но в ту пору, когда официальная пропаганда требовала исключительно ура-патриотизма, репортаж для моего поколения был единственной формой, которая позволяла хоть что-то сказать о польской бедности, польских несчастьях, о трагических судьбах".

После 1989 года, когда возникли свободные массмедиа и стало возможно писать обо всем, многие предсказывали, что репортаж утратит значение, что его вытеснят "чистая" информация и публицистика. С этим мнением решительно не согласилось руководство "Газеты выборчей", не представлявшее себе хорошей газеты без очерка и репортажа. С 1991 года в течение 15 лет отдел репортажа в "Газете" возглавляла Малгожата Шейнерт, благодаря которой жанр этот возродился в прессе. В лучшие времена в "Газете выборчей" печаталось около 500 репортажей в год, сейчас – около 400. Питомцы Штейнерт создали собственный, оригинальный стиль, о чем свидетельствуют их книги. Вот имена наших лучших репортеров: Войцех Ягельский, чье творчество наиболее близко "школе" Капущинского, автор трех книг о Средней Азии, Кавказе, Афганистане, Чечне, Африке; Павел Смоленский, поражающий своей многосторонностью (его называют "величайшим в Польше мультиинструментальным репортером"); Ольга Станиславская, лауреат престижной награды Костельских; Войцех Тохман – автор четырех превосходных книг[3], которого называют "достойным наследником Ханны Кралль"; Мариуш Щигел, чей "Готтленд"[4] (2006) осыпан награда-

1. Одна из лучших книг Х. Кралль "Опередить Господа Бога" опубликована в "ИЛ" (1988, № 4). (*Прим. перев.*)
2. См. "ИЛ", 1987, № 6–7. (*Прим. перев.*)
3. Одна из этих книг " Ты будто камни грызла..." опубликована в "ИЛ" (2004, № 10). (*Прим. перев.*)
4. Назвав свою книгу "Готтленд", Щигель имел в виду открытый в 2006 г. музей известного певца Карела Готта – единственный (по крайней мере в Чехии) музей здравствующего артиста. (*Прим. перев.*)

ми и переведен уже на семь языков, и многие другие, перечислить которых не позволяют размеры короткого журнального предисловия.

Я попросила Щигела, который сейчас возглавляет отдел репортажа в "Газете выборчей", диагностировать нынешнее состояние польского репортажа специально для этой заметки. Вот его ответ: "Часто это репортаж непредсказуемый, авторы не стремятся писать о громких проблемах, избегают пафоса. И ставят перед собой те же задачи, что и литература: не делать однозначных выводов. Польский репортаж не боится запретных тем".

Сегодня, когда электронные СМИ создают хаотический образ мира, репортаж выживет, если окажется способен расширять и углублять наши представления о действительности. Как писал Капущинский, "у репортажа, занимающегося чистым описательством, нет будущего. Эту функцию присвоили себе кино- и телекамеры — репортаж должен эволюционировать в другом направлении: в сторону эссеистики, то есть рефлексии". Если процесс "макдоналдизации" СМИ и сокращения места для репортажа в печати будет развиваться, репортаж приблизится к литературе. Это уже происходит, о чем свидетельствует хотя бы то, что сборники репортажей и очерков постоянно номинируются на высшие литературные награды (и многие их получают), переводятся на разные языки.

Варшава, октябрь 2008

Анджей Стасюк

Дойчланд

Фрагменты книги

Перевод Ирины Адельгейм

В Штутгарте на вокзале старик дал мне листок из календаря: "Пятница, пятое августа две тысячи пятого года". На листочке была цитата из "Первой книги Царств": "...а ты остановись теперь, и я открою тебе, что́ сказал Бог". Старик отошел. Я видел, как он идет дальше по залу и пытается одаривать других. Высокий, худой, седой и неспешный среди суетливой толпы. Кое-кто брал, но большинство обходило его, как обходят всех этих распространителей рекламы дешевой пиццы и распродаж.

Я был пятый день в пути и не мог остановиться. Меня ждали в Тюбингене. Штутгартский вокзал напоминал бухарестский Гара де Норд. Не хватало только охранников, гоняющих бездомных, да ребятни, нюхающей клей. Все прочее очень похоже. Так мне казалось. Я был пятый день в пути, и приходилось искать сходство, чтобы не потерять голову. Приходилось в Штутгарте вспоминать Бухарест, чтобы лучше запомнить Германию. Выход на перроны, во всяком случае, был очень похож. На Гара де Норд я когда-то купил черную бандану с узором из множества маленьких белых скелетов. Скелеты занимались сексом во всевозможных позах. Я ехал в дельту Дуная и забыл шапку, так что пришлось купить бандану. Но теперь я дожидался поезда в Тюбинген. Среди вокзальной толчеи старик выглядел пророком, вопиющим в пустыне. Он протягивал человеку листок, пару секунд ждал, как тот отреагирует, потом убирал руку и двигался дальше.

Поезд был пригородный, переполненный. Сплошная молодежь. Я был старше всех. Потом сел мужик в кожаной куртке. С новыми автомобильными номерами под мышкой. Он вынул телефон и заговорил по-сербски, а может, по-хорватски, в общем, как-то по-тамошнему. Вытянул ноги и говорил, говорил, говорил. Я пытался смотреть в окно, но серб — или хорват — меня отвлекал. Он болтал, словно у себя дома, словно бы вне времени, словно сидел где-нибудь в теньке, пил, курил и разглагольствовал о политике, мироустройстве и моторизации. За окном стоял баварский ноябрь, а на меня повеяло балканским летом. Поистине Белград или Тиват — во всяком случае, те края с их словоохотливостью, ленью и апломбом. На ногах у мужика были растоптанные туфли и синтетические носки. Наконец он замолчал, потому что собрался выходить.

Я вез через Германию все, что когда-либо видел. Пришлось захватить с собой, чтобы одолеть тридцать восемь немецких городов. Надо сперва побывать в Тульче, чтобы осилить вид Франкфурта-на-Майне, когда поезд прибывает с севера и на протяжении пяти-шести секунд с

© Andrzej Stasiuk 2007. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main
© Ирина Адельгейм. Перевод, 2009

моста видны переплетения железнодорожных путей, небоскребы и электростанции – картина величественная, грозная и прекрасная, словно аллегория Вавилона. Надо запечатлеть в сердце картину румынской степи, чтобы остаться целым и невредимым.

Но теперь я ехал в Тюбинген, чтобы глядеть из окна отеля на Неккар. Ей-богу, на зеленых волнах покачивались лебеди. По ту сторону реки город карабкался на холмы. Виллы, особнячки, кукольные домики, пряничное королевство, словно время остановилось сотню лет назад. Поздняя мягкая осень золотит этот пейзаж, затягивает голубой дымкой, обхватывает пальцами и осторожно извлекает из реальности, точно безделушку на память. Я пил красное вино прямо из бутылки и смотрел за мост Эберхарда, вверх по течению. У подножия башни Гёльдерлина были привязаны несколько черных лодок. Этот цвет воскресил в моей памяти суденышки в Сфынту-Георге. И лодки в Грудеке Надбужном. И те и другие воняли смолой, рыбой и илом. В Грудеке их использовали для ловли беззубки, которую потом скармливали свиньям. На берегу лежали кучи зеленоватых овальных скорлупок. Это было в семидесятые годы. Некоторые лодки стояли в прибрежных зарослях, заполненные водой. Их хозяева умерли или состарились.

Штутгарт, снова Штутгарт, и снова вокзал; прошло несколько месяцев, но ощущение, что это Гара де Норд, не исчезло, хотя на сей раз я еду трезвый как стеклышко, на сей раз не покупаю на вокзале красное вино по десять евро бутылка и не везу в рюкзаке "Джим Бим". "Бим" легче, удобнее, а на вкус, в сущности, – как крепкое вино, только слишком быстро кружит голову. Итак, на сей раз я еду трезвый. Нет старика, раздающего листочки из календаря. Суббота, пора туристов. Немцы любят свою страну и по выходным осматривают ее достопримечательности. Вокзал венчает одиннадцатиэтажная башня из тесаного камня. Поднимаешься на лифте и любуешься городом. Так они и делают. Лифт битком набит. Красные крыши, зелень, где-то течет Неккар, но с башни его не видно. Немцы сосредоточенно показывают друг другу и перечисляют: планетарий, парк, старый город, замок, Штифтскирхе... На башню, на самую верхотуру, водрузили большую серебряную звезду "Мерседеса". Собственно, весь город принадлежит "Мерсу". Если не буквально, то уж психологически – точно. Здесь все это начинается. А заканчивается, лет через десять-пятнадцать, на автомобильных кладбищах Албании, Турции или Черногории. "Мерседесы" ездят до последнего и живут дольше всех прочих марок. Как правило, они умирают вдали от родины: в Крыму, в Анатолии, в Африке. Это была хорошая идея: создать нечто, еще способное пригодиться, став уже, в сущности, бесполезным. Таково будущее. Кто-то примет в наследство наш мусор и скажет спасибо. Я прогуливаюсь по пустому перрону; моментально появляется барышня в железнодорожной форме: сообщает, что поезд сегодня отходит с другой платформы – они приносят свои извинения. Я спешу ее успокоить – мне нужен эс-бан[1], перроны которого располагаются несколькими этажами ниже, под землей, так что я предпочитаю подождать здесь, на поверхности, где все напоминает Гара де Норд. Чтобы

1. S-Bahn – городская электричка. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

выжить, я или пью, или сравниваю. Многих вещей я не помню и вынужден придумывать заново. Недавно даже купил себе путеводитель по Германии издательства "Паскаль". Возвращаюсь домой и читаю, где побывал. Или заранее читаю, где буду, чтобы не тратить время на запоминание, экскурсии и так далее. Мне всегда больше нравилось читать о достопримечательностях, чем ходить на экскурсии. Тут есть элемент принудительного восхищения, проявления интереса, некое лицемерие. Вот человек с гордостью что-то мне демонстрирует, а я чувствую себя обманщиком, потому что киваю, а самому наплевать на эту башню, замок и прочие чудеса. Я люблю скалу Лорелеи, мне правда очень нравится это место. Дважды я проплывал там на катере, десять раз проезжал на поезде, и скала по-прежнему меня поражает. В Германии у меня с полсотни любимых мест, но ни одного из них, кроме Лорелеи, нет в моем "Паскале". Нет, к примеру, окрестностей вокзала во Франкфурте-на-Майне воскресным утром — окровавленные клочки туалетной бумаги на тротуаре, мужики в забегаловках, что в восемь утра пялятся на экран подвешенного под потолком телевизора. Так было в албанской Саранде и здесь тоже так. Они сидят и курят — приятели, соплеменники, — сидят и чего-то ждут. На улицах стоят бледные, мучимые похмельем алкаши с прическами семидесятых годов: спереди коротко, сзади грива до плеч. Нигде уже таких не встретишь, кроме как у франкфуртского вокзала. Стоят и выжидают. Бледные и блондинистые. Те, что с Балкан, из Леванта, — черные и пострижены обыкновенно. Мне нравится этот район. От Линденштрассе, где я иногда останавливаюсь в гостевой квартире "Зуркампа"[1], до вокзала — каких-нибудь десять минут. Из спокойного шикарного района — в самую гущу эмигрантского Вавилона. Стоят здоровенные жирные русские в этих своих золотых цепях и туфлях с острыми полуметровыми носами. Сало да сивуха. Стоят и смотрят, и воображают, что все это принадлежит им. С таким же успехом они могли бы облачиться в меховые колпаки и шелковые кафтаны до пят. Ничего не изменилось. Утро сонное и вялое. Бордели спят, спят порнокинотеатры. Встали только те, кого гонит в поисках спасения похмелье и ломка. Да еще мужики из забегаловок, которые просыпаются на рассвете и должны немедленно собраться вместе, потому что жить друг без друга не могут. У самого вокзала двое полицейских проверяют документы у бритого наголо парня в кожаном пиджаке. Парень крупный, массивный, со славянскими чертами лица. Глядит поверх голов полицейских, куда-то в немецкую пустоту. На лице его написано полнейшее равнодушие. Но ничего этого нет ни в "Паскале", ни в "Lonely Planet"[2]. Нет пятидесяти пяти немецких вокзалов, где я садился в поезд, ждал и пересаживался.

Все началось в Лейпциге семь или восемь лет назад, в марте. Я вышел из вагона около полуночи; меня не встретили, хотя обещали. Кто-то из поляков. Я приехал из Кракова, у меня было двадцать марок и ни одного адреса, ни одного телефона. Несмотря на поздний час, на вокзале работала техника, что-то разбирали или ремонтировали — экскаваторы, бульдозеры, копёры, нечто в этом роде. Меня не встретили, отсюда, видимо, мое немецкое одиночество. Я гулял до рассвета. Осматривал Лейпциг. Возвращался на вокзал и глазел по сторонам. Я устал, и иногда

1. Немецкое издательство.
2. "Одинокая планета" (*англ.*) — серия австралийских путеводителей.

мне начинало казаться, что весь город вместе с черным небом накрыт куполом вокзала. Кроме меня тут бродили только полицейские и скины. И те и другие — одинаковой неспешной походкой патрульных. Мне хотелось стать невидимкой. Я выходил на улицу. Осматривал собор Святого Фомы. Размышлял об Иоганне Себастьяне Бахе. К счастью, у меня был с собой запас курева. Осмотрел ратушу. На улицах было пусто. Я прислушивался к звуку собственных шагов. Холод. Германия спала. Я должен был впасть в ярость, но испытывал лишь удивление. Вот я в Германии. Все тонуло в тишине и темноте. Живыми были только полицейские и скины. Вспоминались война и пустые разбомбленные города. На вокзале все было закрыто. Ни еды, ни кофе, только эти гудящие машины, прожектора и парни в комбинезонах, но в полночь и они исчезли. Да, изнутри Германия была холодной. Я ходил туда-сюда. Где-то в ночи маячили гэдээровские блочные дома. За восемь часов я ни с кем не обменялся ни словом. Что-то бормотал себе под нос. В семь открылся буфет. Я попросил кофе и пирожное. Мне стало все равно, можно было ехать обратно. Я повидал Германию, и совесть моя чиста. Я выполнил свой долг. Каждый человек должен увидеть Германию хотя бы издали и впотьмах.

Мне хотелось вернуться. Сесть "зайцем" и не дать кондуктору себя высадить. Около полудня уходил какой-то поезд в Польшу. У меня оставалось несколько марок, можно было выпить кофе и съесть еще одно пирожное. Но около восьми прибыл поезд из Польши. Из него вышли десять писателей, и их встретили те, кто не встретил меня. Сотрудники Польского культурного центра в Лейпциге. Какой-то кретин ошибся и выслал мне неправильные билеты. Я пошел вместе со всеми, чтобы согреться и поесть. Дело было во время книжной ярмарки. Девяносто шестой или седьмой, а может, и девяносто восьмой. Ярмарка проходила еще на старом месте, где-то возле рыночной площади.

Мне хотелось поспать, но те, что приехали, писатели, желали выпить водки. Я был самым младшим и не посмел отказаться. По утрам я не люблю пить водку с другими людьми, в особенности с писателями. По утрам я люблю пить в одиночестве. В полном одиночестве.

Гостиница располагалась у черта на куличках. Нас куда-то возили. Но запомнил я мало. Разве что самый конец. Роскошный банкет в лабиринте подвалов неподалеку от Рынка. Под землей играло несколько оркестров. Никогда в жизни я не видел такого количества еды. Она лежала повсюду. На столах, на полу, на стульях, в сортире, в коридорах, на лестницах. Того и гляди споткнешься. Я потерял ориентацию и блуждал по кругу. Есть уже не хотелось. Я был способен только ходить кругами и пить. Наблюдал за темным подземным празднеством. ГДР отыгрывалась за прошлое. Так я себя уговаривал, потому что впервые в жизни видел столько жратвы. В чем-то это все было сродни аду. Идешь по бесконечному подвалу, и справа и слева открываются какие-то ниши, боковые нефы, подземные капеллы с дубовыми столами и сводами из красного кирпича. В одной такой капелле за длинным опустевшим столом я увидел Хенрика Гринберга[1]. Он что-то ел. Подносил ко рту вилку. Медленно и задумчиво. Сидел с краю, у самой стены. Стол был метра че-

1. Хенрик Гринберг (р. 1936) — польский прозаик, поэт, драматург, эссеист. В его творчестве преобладает тема Холокоста и судеб польских евреев.

тыре в длину. Весь уставлен едой. Рядом — ни души. Вокруг бурлила лейпцигская ГДР, а Гринберг не спеша подцеплял что-то на вилку, и в глубине кирпичной ниши поблескивали его очки. Немцы убили всех его родных. Хенрика спасла мать, сама чудом уцелевшая. Отца во время немецкой оккупации убили поляки. А он сидел на этом тевтонско-гэдээровском празднике и смотрел. Смотрел, чтобы запомнить и унести эту картину с собой, куда бы ни лежал его путь.

Таков был мой немецкий дебют. Одиночество, ГДР, скины, пьянство, литература и Холокост. Поездки в Германию не проходят безнаказанно.

Однажды я отправился в Киль. Самолетом до Гамбурга, затем поездом. На вокзале я взял такси, у меня имелся адрес и все такое. Таксист был черный и улыбчивый. Мы дружно поносили немецкую музыку. "German music is shit"[1] — такой у нас выходил разговор. Таксист ставил мне правильные сенегальские записи. Мероприятие должно было состояться в каком-то здании на краю парка. Но дверь оказалась заперта, а на ней висело объявление. Я зашел в ресторан по соседству, съел венский шницель, а потом, прямо в этом парке, подложил себе под голову рюкзак и заснул на свежем воздухе. Разбудил меня молодой немец. Сначала я решил, что это полиция, и пытался проигнорировать реальность и не реагировать. Лишь спустя некоторое время до меня дошло, что парень упорно повторяет мою фамилию. Выяснилось, что тусовку перенесли в другое место, за много километров отсюда, и этот немецкий ангел-хранитель должен меня туда отвезти. Поехали. Какой-то дворец в огромном парке. Барокко в большом саду. Я со своим рюкзачком оказался в гигантских апартаментах. Вставал с вычурного ложа, шел направо и попадал в просторную ванную. Потом снова вставал, шел налево и снова попадал в ванную. В одной был душ, в другой — ванна. На меня веяло абсурдом, когда я думал о своем рюкзачке с двумя сорочками, тремя парами носков, привезенным из Польши запасом курева и купленным в аэропорту "Джимом Бимом". И — о двадцатиметровой дистанции, разделяющей две мои ванные с позолоченными кранами. Но позже, вечером, в этом барочном парке я повстречал Яхима Топола[2], и ощущение абсурда немного померкло.

Назавтра я уезжал домой. Черный "мерс" должен был доставить меня в Гамбург, в аэропорт. Мы ехали по автостраде со скоростью сто шестьдесят—сто восемьдесят, это было приятно. Мелькнул поворот на Любек, и мне, как всякому культурному человеку, вспомнился Томас Манн. А потом возникла беспросветно длинная колонна военных грузовиков и бронетранспортеров. Нам никак не удавалось их обогнать. Водитель выразил сомнение в целесообразности сего военного марша. Я его утешал: "Ничего страшного, это они в Польшу едут". Но тот не понял и замолчал. Когда мы уже остановились возле аэропорта, он открыл багажник, вынул термос с кофе и кружки.

Этот гамбургский эпизод, этот человеческий жест — что бы там ни было, давай вместе выпьем кофе, — напоминает мне Дрезден. Там я

1. Немецкая музыка — дерьмо (*англ.*).
2. Яхим Топол (р. 1962) — чешский поэт и прозаик, представитель андерграунда 1970—1980-х гг.

познакомился с Акселем и его друзьями. Они занимали сквот[1] с видом на Эльбу. Это была красивая разоренная вилла с террасой. Полночи мы пили в смешанной венгерско-немецко-чешской компании. Мне запомнились просторные темноватые интерьеры, украшения из искусственного мрамора, полумрак, зеленоватый пол ванной и отражающиеся в реке золотые огни города. Утром я каким-то образом попал в гостиницу. Кажется, Аксель вызвал такси. А потом, поспав пару часов, на прощание он предложил мне на дрезденском вокзале термос с горячим кофе.

Куда я поехал из Дрездена? В Лейпциг? В Котбус? В Хемниц? В Дессау? В глубь ГДР с пустыми полуразрушенными железнодорожными станциями, где на поросших травой перронах стоят одинокие негры в белых кроссовках. Они словно бы явились с полей, из сонных обезлюдевших деревенек. Стоят и дожидаются неторопливых пассажирских поездов. Не помню. Во всяком случае, я ехал, и во второй половине дня мне предстояло отыскать гостиницу, принять душ, побриться, переодеться и, потягивая "Джим Бим", дождаться вечера и встречи с немецкой публикой. Мое положение не столь уж отличалось от положения этих одиноких негров на забытых станциях. Кожа у меня была белая, но на душе — черно. Хочешь пережить подлинное одиночество — отправляйся в Германию. Чтобы пятнадцать раз проехать на поезде по маршруту Франкфурт—Кёльн и проснуться посреди ночи в Хамме на восьмом этаже отеля с позолоченными стойками и поручнями. И посреди ночи глядеть во тьму, и там, в ее недрах, заметить две большие освещенные колокольни, которые наутро обернутся какими-то промышленными конструкциями. И следует побывать в Крефельде, и в Хагене, и в Дуйсбурге, чтобы штутгартский вокзал принес наконец облегчение, навеяв воспоминания о Гара де Норд.

В моей памяти накапливаются события, с которыми я не знаю, что делать. Не могу найти для них места. Они наверняка имеют какой-то смысл, но разгадать его я не в силах. Откуда и куда я еду на заднем сиденье видавшей виды машины, а впереди сидят двое, напоминающие восковые фигуры из музея семидесятых годов? Оба курят травку, у обоих одинаково длинные волосы и одинаково хриплые голоса, а из колонок доносятся хиты "Iron Butterfly"[2]. Откуда и куда? Во всяком случае это, вероятно, север, потому что за окном плоский зеленый пейзаж и черно-белые коровы. Все это я храню в памяти и складываю из подобных картинок Германию.

Однажды я провел три часа в Шёнефельде. Ждал поезда в Веймар. Двое мужчин пенсионного возраста фотографировали проезжающие составы. У каждого было по нескольку фотоаппаратов, блокноты и бинокли. Они стояли в конце перрона и целились объективами в проносящиеся поезда. Что-то записывали. Им уже не нужно было работать. Они пользовались свободой. Не тратили впустую оставшееся им время. У меня было три часа. Я просто сидел и смотрел. Как те старые крестьяне в Польше, Венгрии или Румынии. Когда они перестают работать, когда уже появляется возможность отдохнуть, то садятся на лавочку перед до-

1. Сквоты — пустующие помещения, в которых обитают самовольно захватившие их жильцы.
2. "Железная бабочка" (*англ.*) — американская хард-рок-группа.

мом и смотрят. Смотрят на мир, как на экран. Сидят неподвижно, уронив руки на колени, и только время от времени моргают или достают сигарету. Пока не опустится темнота. В Германии я пользуюсь тем же методом. Кладу ногу на ногу и просто смотрю. Позволяю картинам проникать внутрь меня и стараюсь не думать. Наконец прибыл мой поезд. Начались перелески, рощи, луга, время от времени что-нибудь конноспортивное, конюшни, лошади, но всё скромно и в самом деле более погэдээровски, чем, к примеру, под Гамбургом. Вокруг плоская равнина, на желтоватых мартовских лугах чернеют кротовины, а поодаль стоят одинокие рассыпающиеся охотничьи лабазы. На закате я проезжал через Халле. Небо очистилось, было лучезарным и золотым. И в этом закатном свете я глядел на нефтехимический комплекс, резервуары, ректификационные колонны, сверкающий серебристый металл, султанчики красного пламени над высокими трубами, а потом на белые крылья генераторных мельниц. Все в этом зареве казалось бесчеловечным, выразительным и прекрасным. Но тут пошли огороды: рабочие тут отдыхают. Трущобы, фанерные будки, шалаши с трубами, цыганский табор трудового люда, подгнивший, мертвый после зимы, едва приподнимающийся над подмокшими низинами. И повсюду — это раскаленное золотисто-красное небо, испепелившее формы и обратившее Саксонию-Анхальт в черное пожарище.

Назавтра я возвращался из Веймара обратно. Завтракал в отеле и вспоминал слова своей немецкой знакомой, живущей неподалеку от Франкфурта-на-Майне. Мы тогда были в Больтенхагене. Ели жареную рыбу, потягивали пиво, гуляли вдоль приморских круч. До открытия сезона оставалось еще два-три месяца, но курорт уже функционировал вполсилы. Старые верные клиенты пользовались сниженными ценами. И вот однажды моя знакомая, глядя на них поверх жареной камбалы, сказала тихо и словно бы ни к кому не обращаясь: "У них здесь даже лица другие..." Прежняя граница с ФРГ, проходившая километрах в тридцати к западу, была стерта с карты, но эти люди оставались жителями ГДР. В новых "фольксвагенах", в суперспортивной одежде, на самых современных велосипедах из дюралюминия и титана, с превосходной фото- и видеоаппаратурой, они двигались и жестикулировали так же, как западные соотечественники, но отличить их можно было с первого взгляда. Даже мне. И теперь, сидя в восемь утра за завтраком в гостинице "Амалиенхоф" — а может, в какой другой, разве теперь вспомнишь, — я видел то же самое. За соседними столиками сидели расфуфыренные дамочки, увешанные массивной бижутерией. Блондинки с перманентом, с отличающимися по цвету корнями крашеных волос, они пили кофе, отставив мизинец с кольцом. Их спутниками были молчаливые мужчины с помятыми лицами. Старые инженеры, ветераны великих строек коммунизма. Кое-кто — в спортивных штанах, белых носках и мокасинах. Этот Веймар напоминал мою страну где-нибудь в окрестностях Горлице и Перемышля. Только завтрак был побогаче, кофе — покрепче, и официантка улыбалась естественнее.

А потом я чуть не опоздал на поезд, настояв, что пойду на вокзал пешком и по дороге хоть что-то посмотрю. Веймар в восемь утра был прекрасен и пуст. Город двоился в резком утреннем свете. Тени сделались более отчетливыми, чем предметы. Ни дать ни взять германский

Джорджо де Кирико[1]. Я плохо рассчитал расстояние. Спросить не у кого. Вокруг ни души. Я успел в последний момент. В Наумбурге сели люди совершенно восточного вида. То ли городские, то ли деревенские, с плохими зубами, в платках; толстые пожилые супружеские пары, украдкой высматривающие свободные места; робость и испуганные взгляды, потому что поезд с его вылизанными кондиционированными вагонами прибыл из какого-то лучшего мира.

В Рослау на железнодорожном пустыре стояла башня. Стена облупливалась, осыпалась. Ее разъедали старость, влага и заброшенность. Но часы на башне ходили. Черные стрелки скользили по белому циферблату.

Не помню, о чем мы говорили в Веймаре. В тот вечер я выпил только два пива, но не помню. Не помню лиц. На ужин я ел мясо. Много мяса в солидном немецком ресторане. Обычно после всех этих выступлений организаторы приглашают в итальянский ресторан. Непременно к итальянцам. Причем желательно, чтобы там было шумно, тесно, модно и какой-нибудь безумный дизайн. Вне всяких сомнений — у немцев на этот счет комплекс. В солнечной Италии житье получше. А я люблю немецкие рестораны и, если не теряю бдительности, требую немецкой жратвы и антуража. Люблю, когда приходят старые толстяки, супруги-обжоры, и люблю смотреть, как они едят. Особено на юге, в Баварии, в Швабии. Я люблю естественность. Итальянский ресторан в Германии — это притворство. Маленькие порции и много суеты. В немецком никто не притворяется. Однажды в Висбадене я побывал в единственном заведении, которое держит баварец. Меня привел приятель, хороший знакомый хозяина. Они давно не виделись и начали обмениваться последними новостями. Демонстрировали шрамы от операций. Прямо за столиком задирали рубашки и показывали разрезы, швы, хвастали, что́ там кому хирург вырезал. В итальянских забегаловках в Германии такого не увидишь. И во французских тоже. В балканских — случается. В чешских, вероятно, — тоже.

Во всяком случае тогда, в Веймаре, я выпил только два пива. Два месяца спустя в Оффенбурге — тоже, кажется, всего два во время банкета и третье в отеле перед сном. Это третье я выпил из чистого любопытства, потому что в инструкции, какие кладут в каждый номер, прочитал, что ночной бар находится в гараже. И вот в полночь я туда спустился и обнаружил большой железный шкаф с ящиками. Бросаешь монету — один или два евро — и выдвигаешь ящик, на дне которого лежит бутылка. Мне довелось ночевать в шестидесяти немецких отелях, но такое я видел впервые. Это был "Зоннеотель". Я взял свою бутылку и на цыпочках вернулся в номер. Кажется, я ее даже не допил.

Обычно все не так. Обычно я пью. Я был пьян во многих немецких городах и немецких деревнях. Я был пьян в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Дрездене, Лейпциге, в Нюрнберге, Кёльне, Бонне, в Ахене, Дюссельдорфе, Хайдельберге, Кобленце, Майнце, в Бремене и Вильгельмсхафене или Бремерхафене, в Касселе и Гёттингене — это если считать только крупные города. Трезв я был в Ганновере,

1. Джорджо де Кирико (1888–1978) — итальянский художник и скульптор. На его картинах 1910-х гг. резкие тени, зияющие провалы галерей, дверных и оконных проемов, одинокие фигуры, поезда на горизонте создают особую сновидческую атмосферу, проникнутую тревогой и меланхолией.

Магдебурге и, кажется, в Дармштадте. Не могу припомнить, где я напился сильнее всего. Вероятно, в Берлине или в Гамбурге. Это мои любимые города. Довольно основательно разрушенные, а потом отстроенные. Оттого атмосфера в них столь непритязательна. Вот мне и кажется, что там можно пить сколько угодно — и ни в одном глазу. Космополитический карнавал. Из Польши в Германию трезвым нельзя ехать. Не стоит обманываться. Это как-никак травма. Ее не избежать ни специалисту по выращиванию спаржи, ни писателю. Невозможно отправиться в Германию без напряга. Как, например, в Монако, Португалию или Венгрию. Поездка в Германию — это психоанализ.

Итак, за плечами у меня шестьдесят немецких отелей, шестьдесят немецких городов, шестьдесят вокзалов и семь немецких аэропортов. Три раза я плавал по Рейну и один раз переправлялся на лодке через Дунай. В Ульме. Кажется, я больше времени провел в пути, в движении, чем на месте. Больше в поездах, чем, скажем, в городах. Нигде дольше двух дней. Обычно день — и опять в дорогу, один вечер с этим поспешным душем, бритьем, потягиванием "Джима Бима", короткой дремой, встречей с читателями, ужином в итальянском ресторане, сном, поутру завтраком и вокзалом. Я — странствующий гастарбайтер. Развлекаю публику и утром тащусь на вокзал. Я — коммивояжер. Самолет, поезд, отель. Порой с похмелья мне не хочется завтракать. Только в поезде я выпиваю кофе, съедаю бутерброд. У меня сильная воля, и я открываю "Джим Бим" не раньше чем в час-два. Например, возвращаясь из Тюбингена. Отправляясь в Гёттинген. Пересаживаясь во Франкфурте. Умирая от страха в Хамме. Повсюду я мотаюсь ради денег. На Гара де Норд платить нечем. Никто меня туда не приглашает. Так что я еду в Кассель. Еду в Констанцию. Поеду даже в Котбус. Чтобы вспоминать Бухарест. Чтобы вспоминать Тирану. Чтобы вспоминать родную деревню моего отца. Чтобы вспоминать себя прежнего, когда все мои представления о Германии основывались на военных фильмах советского и польского производства. В начале восьмидесятых я добрался автостопом до Слубице и глядел на другой берег Одры, на Франкфурт[1]. Там не было ничего интересного. Легкий кошмар ГДР, вот и все. Коммунизм, обрученный с немецким духом, — страшноватый гибрид. Был закат, небо алело, дымили трубы. Красный цвет коммунизма и черный дым крематориев. Такие у меня были мысли, а точнее, предчувствия. Не успел я туда приехать, как уже начал возвращаться. Потом я некоторое время слушал Нину Хаген[2]. Приятели ездили на заработки в Западный Берлин, в Дюссельдорф, еще куда-то. Присылали — хорошенько спрятав — в посылках или письмах дозы LSD. Некоторые играли в ресторанах или на улицах. Снабжали меня хорошими гитарными струнами. Становились безработными и жили на пособие. Я не слышал, чтобы они дружили с немцами. Немцы не годились для дружбы. Приятели получали немецкие пособия, но немцы-люди, просто люди, в их рассказах не фигурировали. В лучшем случае — немцы-работодатели, полицейские или чиновники. Судя по рассказам, Германия стала бы куда привлекательнее, не будь в ней немцев. Останься там только гастарбайтеры и эмигранты. А немцы чтоб куда-нибудь уехали и

1. Франкфурт-на-Одере.
2. Немецкая панк-певица.

присылали деньги. Мои товарищи с восхищением отзывались об уровне цивилизации, о качестве жизни, но из их рассказов не следовало, что эти уровень и качество — заслуга людей, то есть попросту немцев. Порой мне казалось, что речь идет о какой-то приятной и комфортабельной стране, почему-то опустевшей, в которой живут только мои приятели. А кроме них — разве что русские или чехи.

Но самого меня туда не тянуло. Я поехал в те края только десять с лишним лет спустя. Около полуночи прибыл в Лейпциг. Чтобы увидеть постгэдээровских скинов. Мне надо было повзрослеть, чтобы отнестись к этому спокойно. Надо было отстраниться от советских и польских военных фильмов. Поставить крест на детстве. Отречься от тех волшебных заклятий: "Hände hoch, raus, polnische Schweine"[1], которыми мы пользовались во дворе, осваивая в семилетнем возрасте основы немецкого языка. Однако я был стоек и преуспел. Избавился от кое-каких условных рефлексов. Встречая пожилого немца, я вижу просто старого человека, а не члена той или иной военной организации. Теперь в поездах я помогаю им ставить чемоданы на полку. Придерживаю дверь, если замечаю, что они торопливо семенят следом. Улыбаюсь в лифте. С некоторых пор меня перестало волновать, служили они в вермахте, в СС или, может, в люфтваффе. Уж где-нибудь служили наверняка. Господь Бог дал им достаточно времени, чтобы об этом поразмыслить. Я помогаю им класть чемоданы на высокие полки скорых поездов. Когда они выходят, тоже иной раз помогаю с багажом. Улыбаюсь. Где-то между Вуппертaлем и Кёльном помог старушке найти ее купе и место. Потом, по традиции, забросил наверх, на полку, ее чемодан. Заинтересовавшись моим убогим немецким, она принялась расспрашивать, откуда я. Мы устроили игру в угадайку. Она перечислила почти все европейские страны, начиная с Франции и кончая Грецией, и уже, вероятно, с беспокойством подумывала о Турции. Я, как заведенный, отвечал: "Nein"[2]. В конце концов мы добрались до Югославии, а я продолжал качать головой. Остались, кажется, только Албания и Польша. Я затаил дыхание... "Polen?" — "Yes, my darling, Polen[3], естественно". Она взглянула на меня разочарованно и потеряла интерес. К счастью, за окнами как раз возник Кёльн, панорама города, собор и вокзал. Именно возле собора однажды ночью я видел самую большую крысу в моей жизни. Просто сидел посреди ночи на скамейке, а она прошествовала у меня между ног. Возле собора я сидел, потому что не хотелось возвращаться в гостиничный номер. Примерно на уровне окон проходили железнодорожные пути и не было даже телевизора, не говоря уж о мини-баре. Но два или три года спустя я жил в Кёльне в люксе. Кажется, он состоял из двух больших комнат, кухни и ванной величиной с однокомнатную квартиру. И бар inclusive[4]. Плюс терраса с видом на собор. На перилах сидели черные пластмассовые вороны. В люксе имелись две большие кровати, и, чтобы ничего не упустить, я полночи спал на одной и полночи — на другой.

1. Руки вверх, вон, польские свиньи (*нем.*).
2. Нет (*нем.*).
3. Польша? — Да, моя дорогая, Польша (*нем., англ.*).
4. Зд.: бесплатно (*англ.*).

Но в тот раз старушка вышла в Кёльне, а я поехал дальше. Вероятно, во Франкфурт. За Бонном берега Рейна начали вздыматься вверх. Была осень, наверное, начало ноября. Золотой свет заливал долину реки, теплое сияние патокой стекало с обрывов, поросших виноградом. Санкт-Гоар, Лорелея, замки на скалах, край словно с картинки в детской книжке. Самый настоящий китч в мягком свечении поздней осени. Я уже десятый раз ехал по этому маршруту. А может, пятнадцатый. Снова проезжал Бинген, грязную парковку и размышлял о легенде Хильдегарды[1]. Дальше начинались садовые участки, которые раньше всегда ассоциировались у меня с коммунизмом. Эти горе-домики, горе-беседки, сады и парки на сорока квадратных метрах в двух шагах от железнодорожных путей, по которым со скоростью двести километров в час проносятся поезда. Короче, я десятый или пятнадцатый раз ехал по этому маршруту, чтобы, как всегда, выйти на Главном вокзале во Франкфурте. Возле телефона-автомата стоял загорелый тип. Из карманов его джинсов торчали пачки денег. Разговаривая, он покачивался из стороны в сторону. Из задних карманов торчали стопки купюр по пятьдесят евро, из передних — рулончики двадцаток. Сотни или даже тысячи, и это его совершенно не волновало. У центрального входа огромная блондинка кричала на черного мужика. Она была выше его на голову. Настоящая Валькирия. Мужик щурился и ждал, пока она уймется. Я вышел из здания вокзала. Передо мной вновь возникла красная реклама концерна "KIA Motors". Я двинулся в сторону Вест-энда[2]. В сторону Линденштрассе. Если это была осень, под ногами шуршали листья каштанов. Я открыл входную дверь, поднялся на четвертый этаж и оказался в гостевой квартире моего издательства. Мне всегда было там хорошо. Я неизменно обнаруживал полный холодильник: сыр, ветчина и вино — и никто меня не беспокоил. В этой квартире все было серое. Пол, мебель и так далее. Все выдержано в мягких стальных тонах. Полная анонимность. Окна выходили на улицу, но было тихо. На расстоянии вытянутой руки росли высокие деревья. Я мог жарить себе яичницу, потягивать красное или белое вино и вслушиваться в звуки за окном. Прислушиваться к реактивным самолетам и монотонному гулу оплетающих город многополосных автострад. Как-то ночью я вышел погулять и наблюдал, как большой грузовик с бухарестскими номерами выпутывается из сети спокойных улиц где-то в окрестностях Мендельсонштрассе. Я сам чувствовал себя заблудившимся румынским шофером. Но мне нравилось там, в этой квартире. Ко мне возвращались силы. Не нужно было ни с кем разговаривать. Я жарил яичницу, стирал, пил и вслушивался в урчание города. В сером шкафу имелись даже гладильная доска и утюг. Я садился в комнате за стол, включал лампу и воображал, что должен написать книгу о Германии, иначе останусь тут навеки. Буду есть яичницу, прислушиваться, пить красное или белое вино и, когда ночью у меня кончится хлеб, кофе или выпивка, пойду в магазин на вокзале. Я воображал, как сижу перед окном и пишу. Записываю все, что запомнил. День за днем, город за городом, отель за оте-

1. Хильдегарда Бингенская (1098—1178) — немецкий мистик, натурфилософ и врач, представитель схоластики. Согласно преданиям, отличалась редкой проницательностью и глубоким проникновением в тайны окружающего мира.
2. Район Франкфурта.

лем, Literaturhaus[1] за Literaturhaus'ом, книжный за книжным, ресторан за рестораном. Самолет за самолетом и поезд за поездом. Во всяком случае, только там, в Германии, у меня было время обо всем подумать. Четыре или пять дней. Потом я снова собирал рюкзак, опускал ключи в конверт, а конверт — в почтовый ящик, и двигался дальше. В Регенсбург, в Хайльбронн, в Киль, ко всем чертям.

Я тоже, кажется, маловато пишу о немцах. Точь-в-точь как мои приятели двадцать лет назад. Не пишу, но наблюдаю за ними. Не свожу глаз. Во время всех этих путешествий я видел сотни, тысячи, десятки тысяч немцев. Это не может пройти бесследно. Так, навсегда оставил след тот одинокий старик со штутгартского вокзала: "...остановись теперь, и я открою тебе, что́ сказал Бог". Или те трое, что сели в битком набитый воскресный поезд в Карлсруэ: разменявшие шестой десяток, опухшие от алкоголя и вонючие. Двое мужчин и одна женщина. Совсем уж жалкая. Лицо дебилки и совершенно пустой взгляд. Они сели напротив. Я смотрел женщине в глаза и видел небытие, стену вагона за ее спиной и пейзаж за стеной. На шее у нее была пластиковая карточка — удостоверение инвалида. Молодые ребята вежливо уступили им места. Один из мужчин ехал как сопровождающий, и кондуктор не потребовал у него билета. Второй заплатил. Оба были бородатые, длинноволосые и воняли точь-в-точь как наши. Сидели неподвижно, будто индейцы в старых фильмах. Замурзанная ребятня с рюкзаками возвращалась домой. От детей пахло дымом костра. И этот чудесный запах смешивался с тем тяжелым духом. Лица пацанят стерлись в памяти, но черты женщины и ее сопровождающего я вижу по сей день. Она напомнила мне сумасшедшую из соседней деревни, а он — ныне покойного польского актера, игравшего разбойника в сериале. Они тоже ехали в Штутгарт.

В таком духе я мог бы описывать немцев бесконечно. За полгода до этого, осенью, я проснулся в Бонне, в гостинице, и подошел к окну. Было туманное субботнее утро. Солнце еще только поднималось над холмами противоположного берега Рейна и золотило туман. Похмелье меня не мучило, так что я спустился позавтракать в ресторан. Несмотря на раннюю пору, народу там сидело уже порядочно. Я пил кофе, ел сосиски с горчицей и смотрел на людей. Главным образом это были пожилые пары, супруги. Закончив трапезу, они выходили на террасу ресторана, с которой открывался вид на реку. Выходили, становились лицом к солнцу и, держась за руки, просто смотрели вглубь туманно-золотистого дня. Молча вглядывались в свою страну. В этом было что-то языческое и трогательное. Старые люди, держась за руки, смотрели на сияние света в почти первозданном виде. Словно дети, завороженные рождением дня.

Я съел свои сосиски и пошел наверх собрать вещи, потому что, как всегда, уезжал. С реки доносился гул моторов, сопротивляющихся течению. У набережной стояли "Ваппен фон Бонн", "Бетховен" и "Моби Дик". По тротуару бежала китаянка в черном спортивном костюме. Я еще издали понял, что это китаянка, потому что свет ложился на ее лицо совершенно иначе, чем на лица белых женщин. Я собрал вещи и через парк, как обычно, пошел на вокзал, чтобы в двадцатый раз отпра-

1. Дом литераторов (*нем.*).

виться долиной Рейна в Кёльн или Франкфурт. Но если это была осень прошлого года, то, скорее, во Франкфурт. Чтобы в пятидесяти километрах от него снова разглядывать в безоблачном небе белые инверсионные полосы приземляющихся самолетов. Я всегда любил смотреть, как они лучами сходятся над городом, над аэропортом, и словно бы обозначают еще один центр мира, еще одну фикцию. Теперь я пытаюсь вспомнить, был ли Frankfurt Flughafen[1] первым аэропортом, в котором я приземлился, — вылетал-то я с родины. Наверное. Скорее всего, я умирал от страха. Вроде того, как умирает от страха среднестатистический немец, отправляясь в Польшу на своем дорогом автомобиле. Перед среднестатистическим немцем у меня было преимущество — еще на родине я купил себе бутылку "Джима Бима". И, кажется, даже спокойно проводил глазами поезд без машиниста, который курсирует между терминалами, хотя мне казалось, что я вижу всадника без головы.

Однако постепенно я привыкаю и, в сущности, люблю аэропорты. Они напоминают мне квартиру на Линденштрассе. Такие же успокаивающе серые. Иногда там почти пусто, и можно прошагать полкилометра, читая номера очередных выходов. Вылета в Скопье ждут семь человек. Дальше мертвые стойки. Спят компьютеры. Светится забытая надпись "Кишинев". Между креслами валяются бумажные стаканчики от кофе и газеты. Ностальгическая грусть аэропортов сравнима только с меланхолией железнодорожных вокзалов. Так обстоит дело в Мюнхене, так обстоит дело повсюду, где есть эти длинные безлюдные залы. В идеале должен еще идти дождь. Чтобы в мокром асфальте отражались силуэты самолетов неведомых линий.

Да, меланхолия и ностальгия — единственный способ не сойти в Германии с ума. Только так можно нейтрализовать психически эту страну. Я пытаюсь представить себе плачущего немца и начинаю хихикать. Я не в силах вообразить даже плачущую немку. Разве что — какую-нибудь эмигрантку с немецким паспортом. Да, мир выглядел бы чуть лучше, умей человек представить себе плачущего немца. Увы. Остаются немецкие дети, немецкие младенцы. Меланхолия на коротком поводке и алкоголь в разумных дозах — только так возможно преодолеть литературный маршрут Мюнхен—Гамбург. Глядеть на заводы "Мерседеса" и глотать слезы. Садиться в серебристую сигару ICE[2] и ощущать в сердце осень. Гулять по олимпийскому стадиону в Берлине и напевать цыганскую мелодию из Семиградья. Не поддаваться, боже упаси, общей атмосфере на улицах, площадях и в транспорте. Смотреть в глаза семидесятилетнему гражданину в золотых очках, что сидит напротив в купе, и длинными восточноевропейскими глотками потягивать из горла "Джим Бим". Чаще всего гражданин отводит взгляд — боится, как бы его не угостили. Это простые советы, но могут пригодиться для короткой поездки.

<...>

Каждый раз, когда я начинаю оплакивать свою писательскую судьбу, мне в голову приходит мысль: "Ты бы мог, балда, ездить в Россию..."

1. Франкфуртский аэропорт.
2. Intercity-express (тип комфортабельных поездов, курсирующих между большими городами).

Да. Мог бы отправиться на цикл авторских вечеров: в Москву и затем, по порядку, через Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Тайшет, Иркутск, Улан-Удэ, Читу – до, скажем, Уссурийска. Иногда я представляю себе что-нибудь в этом роде. Когда шасси самолета из Франкфурта касается посадочной полосы краковского аэропорта имени Иоанна Павла II, я воображаю, что вот сейчас – передохнув, выпив кофе, съев картофельную запеканку и разменяв крупные банкноты – я отправлюсь дальше на восток разгадывать вечную загадку польской судьбы. Бросаю Люфтганзу, сажусь в самолет Аэрофлота и взлетаю в воздух, чтобы два часа спустя оказаться в Шереметьеве, Внукове или куда там они привозят поляков. Я захватил свои русские издания и на границе предъявляю их вместе с паспортом. Очередь за мной начинает расти, я слышу шорохи, перешептывания, ворчание, а между тем пограничник устраивается поудобнее и принимается изучать две мои несчастные книжонки. Слюнявя палец, листает страницы, поправляет большую фуражку, поглядывает на меня исподлобья, пробегает глазами текст, переворачивает страницу, откладывает книгу, берет вторую, потолще и в твердом переплете, пропускает между пальцами триста страниц, словно колоду карт, приподнимает козырек фуражки и, глядя мне в глаза, говорит: "Эх вы, поляки, вечные бунтовщики и коварные предатели славянства", а потом медленно, отрешенно ставит штамп в паспорт, ставит штампы на оба мои русские издания и говорит: "Иди, писатель, иди в святую Русь..." И я иду, выхожу из Шереметьева или Внукова и месяцами скитаюсь между Москвой и Уссурийском. О, бесприютный польский дух! Так я твержу себе в душе, карабкаясь по ступенькам вагонов класса люкс, купейных, плацкартных и общих. Отыскав наконец свою койку, кладу под голову узелок с русскими изданиями, сам сворачиваюсь в клубок и жду, пока поезд тронется и укачает меня в имперской беспредельности. "Кто я такой?" – спрашиваю сам себя сквозь сон, покидая Пермь, в которой никогда не был. Бог мой, всего тысяча четыреста километров от Москвы, а в голове сплошные вопросы, сплошные сомнения. Все они тут принимают меня за чудом вернувшегося блудного сына, конечно же, славянина. Помогая взобраться в вагон, обливаются слезами. Словно я уезжаю на войну, да и сам я плакал – мне правда казалось, что сердце вот-вот разорвется. Но теперь, когда я уже немного очухался и лежу, свернувшись в клубок и вслушиваясь в стук колес, отмеряющий имперскую бесконечность, я говорю себе: "Какое, твою мать, славянство? Спятил? Ведь вот уже Урал, вот уже Екатеринбург, где Ленин приказал убить царя и всю его семью, уже подъезжаем, и вы меня спросите, претендую ли я вообще на принадлежность к славянству в подобной его трактовке и с Лениным в роли незабвенного представителя..." Тысяча восемьсот километров от Москвы, а до Уссурийска еще ого-го... Какое отношение это имеет ко мне, сыну Мазовии, какое отношение это имеет к печали мазовецких низин, плакучим ивам и Фредерику Шопену? Никакого. Славяне – это Словакия и Словения. Уж скорее в ГДР больше славянского, чем в Омске на две тысячи шестьсот семьдесят шестом километре от Москвы или Новосибирске на три тысячи триста третьем. Да. Свернувшись в клубок с узелком под головой, уносясь в глубь Сибири, чтобы в местности Боготол встретиться с верными читателями... А потом, после трех

дней празднеств в честь раскаявшегося блудного сына, двигаться дальше, на четыре тысячи четыреста восемьдесят третий километр в Тайшет, чтобы прочитать публике фрагменты прозы. А в Черемхове на пять тысяч двадцать втором километре, натягивая одеяло на голову, я шептал бы сам себе: "Пожалуйста, не трогайте меня, я немец..."

Словом, пограничник в аэропорту был прав. Я — предатель. Мое славянство заканчивается где-то в Гомеле, а может, и раньше. Быть может, оно цепенеет сразу по пересечении восточной границы? Точно так же, как оживает и расцветает по пересечении западной. Как вы, вероятно, помните, в городе Граце я даже выдавал себя за русского. И только за южной, особенно юго-восточной, границей мой славянский дух ведет себя нормально. Я, впрочем, только раз в жизни пил с русским, и произошло это в Братиславе в июне 2000 года. Мы сидели в каком-то ресторане на берегу Дуная, на свежем воздухе, неподалеку от причала с речными трамвайчиками, и разговаривали. Этот русский был вдвое старше меня, его привел один словак. Я полагал, что молодая голова крепче, и опрокидывал одну рюмку за другой. Но в какой-то момент пришел к заключению, что сидим мы, возможно, и на берегу Дуная, но — в Будапеште, где-то неподалеку от моста Елизаветы. А потому встал, поблагодарил, попрощался и ушел. Дальше — темнота. Очнулся я в соборе Святого Мартина на вечерней службе. Стоял в толпе верующих и вместе с ними пел по-словацки. Вероятно, пытался омыть свое русское и православное падение в кринице католической веры.

Ну вот, снова разговор зашел о России. Так часто случается. Германия и Россия — это как кислород и азот, водка и запивка, Флип и Флэп[1] геополитики. Кем бы мы были, имея только одного соседа, а с другого боку, например, море или Великое княжество Люксембург? Никем. В лучшем случае — еще одной киснущей от тоски западной демократией, еще одной постмодернистской республикой, озабоченной главным образом поисками новых способов убить время, пересадкой органов и проблемой бессмертия. А так, благодаря соседям, мы дольше сохраняем человечность в старом добром духе. Мир еще способен нас удивлять, и мы не испытываем скуки. Можно сказать, что мы — Иванушка-дурачок Европы, этакий сказочный Иванушка-дурачок, меньшой брат, для которого мир — загадка и край чудес. Ведь что такое мое немецкое путешествие, если не скитания Иванушки-дурачка в поисках мудрости?

1. Популярный довоенный дуэт ("тощий" и "толстый") американских киноактеров-комиков Оливера Гарди (Норвел Гарди) и Стэнли Лорела (Артур Стэнли Джефферсон).

Мариуш Щигел
Готтленд

Главы из книги

Перевод Полины Козеренко

Ни шагу без Бати

Эгону Эрвину Кишу

Год 1882: Духота

– Почему здесь так воняет? – спрашивает своего отца Антонина шестилетний Томаш Батя. Так у него впервые проявляется желание упорядочить действительность.

Мы не знаем, что отвечает ему отец. По всей видимости, он вообще был неразговорчив.

Сапожник Антонин Батя женат второй раз. Оба раза он женился на вдовах с детьми. От каждой у него были еще и свои. В общей сложности в небольшой сапожной мастерской в Злине[1] растет двенадцать детей от четырех браков. А еще у Антонина семеро работников. Вторая жена не любит сквозняков.

Двенадцать лет спустя: Требования

Трое детей от первого брака – Анна, Антонин и восемнадцатилетний Томаш – стоят перед пятидесятилетним отцом. Они требуют свою долю материнского наследства. Предлагают, чтобы он отдал им и ту часть, которую должны унаследовать после его смерти. У них нет времени ждать невесть сколько лет, к тому же в доме тесно.

Они получают восемьсот злотых серебром и нанимают четырех работников.

Год спустя, 1895 год: Принцип

У них восемь тысяч долга. Не хватает средств на новую кожу, нечем платить за старую. Антонин получает повестку в армию, Анна нанимается прислугой в Вене.

Томаш смотрит на остатки кожи и с отчаяния придумывает свой самый важный жизненный принцип – недостатки всегда превращать в достоинства.

Gottland © by Mariusz Szczygieł, 2006. All rights reserved
© Полина Козеренко. Перевод, 2009
Полностью книга выйдет в издательстве "НЛО".

1. Злин – чешский город, расположенный в исторической области Моравия. (*Здесь и далее, если специально не оговорено, – прим. перев.*)

Раз у них нет денег на кожу, нужно шить обувь из того, что есть — из полотна. Полотно стоит недорого, а из остатков кожи можно делать подошвы. Так Батя изобретает один из хитов приближающегося столетия — полотняные туфли на кожаной подошве. Из Вены он привозит несколько тысяч заказов, полученных за один день. Туфли в народе называют "батёвками".

Благодаря им он строит свою первую небольшую фабрику — на двухстах квадратных метрах работает пятьдесят мужчин.

Год 1904: Вопросы

Рабочие замечают, что Томаш постоянно нервничает и так возбужден, что все в его обществе быстро устают.

Из какой-то газеты он узнает об американских станках и, взяв с собой трех сотрудников, отправляется в Штаты, где в Линне (Массачусетс), городе обуви, нанимается рабочим на крупную фабрику. Его люди, в свою очередь, поступают на работу в другие места. Томаш велит им внимательно следить за всеми стадиями производства. Каждую субботу четыре злинских сапожника встречаются в салуне и обмениваются наблюдениями.

Их удивляет, что в Америке даже маленькие дети пытаются зарабатывать себе на содержание. Самое большое впечатление на Батю произвел шестилетний мальчик, который ходит по домам и за деньги ловит мух.

Одни умирают от нищеты, а другие пекут лепешки на улице и продают по центу за штуку. Томаш подмечает интересное свойство американцев: они охотно заимствуют любые новинки, изобретенные человечеством.

В Штаты он приехал с шестьюстами восемьюдесятью восемью вопросами, на которые хочет получить ответы. За время его пребывания к ним прибавляется еще семьдесят. Батя приходит к выводу, что более высокий, чем в Европе, уровень жизни среднестатистического американца обусловлен отсутствием какой бы то ни было рутины.

("Томаш Батя определенно был в США промышленным шпионом", — напишут через шестьдесят лет чехословацкие историки.)

Год 1905: Темп

Томаш все лучше владеет английским и узнает о Генри Форде. Этот работодатель, — как писал о нем Э. Л. Доктороу, — уже давно уверен, что большинство людей слишком глупы, чтобы обеспечить себе пристойное существование. И ему приходит в голову идея поделить сборку автомобиля на отдельные простые операции, которые под силу произвести даже идиоту. Вместо того чтобы учить одного работника сотням манипуляций, он решает поставить его на определенное место, чтобы тот в течение всего дня выполнял одну и ту же операцию, а готовые части отправлял дальше по конвейеру. Таким образом, у рабочего отпадет необходимость думать. (Воплощение этой идеи в жизнь займет у Форда еще несколько лет.)

В Штатах Томаш Батя впервые встречается с понятием "наручные часы". Уже четыре года как оно там прижилось. С наступлением XX ве-

ка американцы начали вести счет на минуты, время стало основной мерой производства. "Производительность" и "американский темп" – новые фетиши: отныне труд поделен на равные отрезки времени. Рабочий день перестал зависеть от восходов и заходов солнца.

5 сентября 1905 года: Секунды

Ночью умирает отец.

Томаш вскоре возвращается в Злин – все еще захудалый городок, о котором в Чехии говорят, что "там заканчивается хлеб и начинается камень", – и на стене своей фабрички пишет крупными буквами: ДЕНЬ СОСТОИТ ИЗ 86400 СЕКУНД. Люди читают эту надпись и говорят, что сын старого Бати повредился в уме.

1905–911: Тяжелый труд

Томаш покупает немецкие и американские станки. На фабрике уже шестьсот рабочих. Он строит для них первые жилые дома.

Когда в 1908 году Форд выпускает серийный "автомобиль для всех", Томаша охватывает воодушевление – Форд уже запустил свой конвейер!

В Америке на производство одной пары обуви уходит семь часов, во Франции – почти шесть. Томаш на стене резинового цеха пишет буквами в человеческий рост: ЛЮДЯМ – ДУМАТЬ, МАШИНАМ – ТРУДИТЬСЯ!

У Бати на производство одной пары обуви уже затрачивается только четыре часа. Сапожники всей Моравии в отчаянии. Томаш огораживает свою фабрику и на кирпичной стене велит сделать надпись: НЕ БОЙТЕСЬ ЛЮДЕЙ, БОЙТЕСЬ СЕБЯ. (По прошествии двадцати с лишним лет он пренебрежет этим принципом. Но сейчас у него и в мыслях нет, что он станет причиной собственной гибели – себя Батя не боялся.)

Год *1911:* Любовь

Томаш влюбляется и обручается. Когда любимая признается, что не может иметь детей, расторгает помолвку.

Январь 1912 года: Маня

Батя едет в Вену на знаменитый чешский бал. Он уже известный сапожник – его обувь продается на Балканах и в Малой Азии. На балу он надеется встретить будущую жену. Ему нравится Маня Менчикова, дочь хранителя императорской библиотеки. Барышня играет на фортепиано, говорит на трех языках. Томаш знает, что на все случаи жизни нужно иметь письменный договор. И посылает приятеля, чтобы тот спросил, подпишет ли Маня такой документ: в случае, если она не сможет родить ребенка, – развод.

– А чего я смогу от него требовать, если не оправдаю его ожиданий? – отвечает будущая Мария Батева. (После двух лет бесплодных попыток родить она тайком купит пузырек с ядом.)

Декабрь 1913 года: Пузырек

Уже несколько месяцев они живут в новом особняке, который Томаш построил накануне свадьбы, чтобы жена не ощущала разницы между жизнью в Вене и в Злине. Когда количество заказов увеличивается и фабрика начинает работать по ночам, Мария наливает рабочим лимонад и разносит бутерброды. Кажется, по возвращении домой она задумывается, не следует ли срубить дерево, не приносящее плодов, и поглядывает на пузырек с ядом.

28 июня 1914 года: Война

В Сараеве погибает эрцгерцог Фердинанд. Австрия объявляет мобилизацию.

Самый знаменитый чех XX столетия, профессор философии Томаш Гарриг Масарик, депутат венского парламента, возвращается из отпуска. "Когда я ехал в Прагу, я видел, как идут на войну призывники: с отвращением, будто на живодерню, — скажет он впоследствии. Он испытывает угрызения совести. — Наши люди идут в армию и в тюрьмы, а мы, депутаты, сидим дома".

Томаш Батя в ужасе: на войну, которую ведет Австро-Венгерская монархия, должны отправиться все работники его фабрики. На следующий день за кофе и яичницей с беконом у него появляется идея: он поедет в Вену и добьется заказов на обувь для армии. Батя оставляет яичницу, садится в коляску и мчится на станцию в Отроковице недалеко от Злина. Но поезд уже ушел. Тогда Батя платит вознице за лошадей и велит гнать что есть мочи. Через три деревни лошади пронеслись со скоростью железнодорожного состава, но в четвертой пали. За шесть минут Томаш покупает другую упряжку, догоняет поезд и через несколько часов он уже в Вене.

Он полагает, что обстоятельствам нельзя подчиняться, их следует всегда с умом использовать в своих целях. В течение двух дней он получает заказ на полмиллиона пар и ручательство, что его рабочие не пойдут на войну.

У него остается семь минут, чтобы успеть на обратный поезд — полицейский наряд уже собирает на площади его рабочих как дезертиров. По дороге экипаж Томаша попадает в аварию, пассажир выпрыгивает, бежит на вокзал и вскакивает в поезд, направляющийся в Брно.

Батя берет к себе на фабрику рабочих и сапожников отовсюду. Даже своих бывших заклятых врагов. Говорят, он спасает всю округу от фронта.

В конце войны, несмотря на кризис, на него будет работать около пяти тысяч человек, которые ежедневно будут производить десять тысяч пар армейских сапог.

В тот день Мария Батева уже не вспоминает о пузырьке с ядом, который купила в канун Рождества, не вспоминает и о своем решении покончить жизнь самоубийством, если одиннадцатый курс лечения у восьмого врача не принесет результатов.

Последний врач объявил: зачатие не может произойти в Злине, Томаш Батя должен находиться за пределами своей территории. И они от-

правились на десять дней в Крконоше[1]. (Никто не мог поверить, что Батя согласится на столько дней оставить производство без присмотра.)

Когда сапожник, бросив яичницу с беконом, мчится за поездом, его жена уже на седьмом месяце беременности.

17 сентября 1914 года: Томик

У Бати рождается сын Томаш, которого, чтобы отличать от отца, все зовут Томиком. (Жив до сих пор.)[2]

Год *1918:* "Б*атизация*"

Конец войны, образуется чехословацкое государство. Значительная его часть уже с некоторых пор "батизована".

"Томаш практически в каждой моравской деревеньке строит филиалы 'Бати'. В результате в скором времени ни в Чехии, ни в Моравии, ни в Силезии, ни в Словакии не осталось почти никого, кто занимался бы сапожным ремеслом. Обувь, шитая по меркам, ушла в историю. Потом Батя организовал собственную сеть мастерских по ремонту обуви, и сапожное ремесло как таковое перестало существовать", – пишет Эгон Эрвин Киш.

Батя защищается: на Земле живет два миллиарда человек. Ежегодно на всем земном шаре производится только девятьсот миллионов пар. Минимальная потребность каждого человека – две пары в год. Для честолюбивого производителя обуви открывается перспектива продажи миллиарда пар ежегодно. Вопрос лишь в цене и уровне цивилизации.

Год *1919:* С*плетня*

Поговаривают (здесь я ссылаюсь на репортера-коммуниста Киша), что один сапожник из Остравы, поняв, что из-за Бати полностью разорился, запаковал свои старые, помнящие еще XVII век инструменты в два ящика и отправил их на фабрику лично Бате, а потом с женой и двумя детьми прыгнул в реку.

Томаш Батя, который одновременно с известием об этом жесте отчаяния получил такое наследство, заявил: "Разместите над этим надпись: 'Это – сапожные инструменты того времени, когда Батя начал работать'".

Год *1920:* Ч*еловек*

Шестилетний Томик ходит в школу босиком. Его отец хочет, чтобы он ничем не отличался от своих сверстников из Злина.

Отец устанавливает новые конвейеры, чтобы "каждая человеческая единица автоматически была вынуждена производить как можно больше". Если один рабочий замешкается, конвейер останавливается и на стене загорается красная лампочка. Благодаря сигнализации весь цех

1. Крконоше – горный массив на территории Польши и Чехии, самая высокая часть Судет.
2. Томаш Батя-младший скончался 1 сентября 2008 г.

видит не только, что должен приостановить работу, но и узнаёт, кто в этом виноват.

"В своей работе я не стремлюсь лишь к созданию фабрик. Я создаю человека", — записывает Батя.

Год 1921: Листовка

Ходят слухи, что Батя лежит в психиатрической больнице. Одна из газет даже сообщает ее адрес. Тогда вдруг по всей Чехословакии появляются листовки:

Я НЕ БОГАТ
Я НЕ БЕДЕН
Я НЕ БАНКРОТ
Я ПЛАЧУ ХОРОШИЕ ЗАРПЛАТЫ
Я ЧЕСТНО ПЛАЧУ ВСЕ НАЛОГИ
Я ДЕЛАЮ ХОРОШУЮ ОБУВЬ
САМИ МОЖЕТЕ УБЕДИТЬСЯ
Томаш Батя

Начало 1922 года: Кризис

В Европе уже третий год длится послевоенный экономический кризис, стремительно нарастает инфляция, но Чехословакии удается поднять крону с шести до восемнадцати американских центов. Позиция государства в глазах кредиторов упрочивается, однако у фирм долги за границей. Склады Бати забиты товаром, клиенты нуждаются в обуви, но у них нет денег.

За месяц уходит только то, что Батя произвел за четыре дня. Двадцать шесть дней можно было бы не работать.

Томаш не хочет бороться за налоговые льготы. К тому же он считает, что нельзя увольнять людей, иначе те сразу начнут требовать у молодого государства пособия по безработице.

Другие фабрики уже выгнали тысячи рабочих. Бате не дает покоя мысль, что в сложившейся ситуации у безработного не будет средств на покупку его ботинок. Ценность немецкой марки падает, и страну наводняет дешевеющая день ото дня немецкая обувь.

29 августа 1922 года: Дешевле

С самого утра шок: на стенах появляются рекламы с кулаком, ударяющим по надписи "Дороговизна", и текстом, сообщающим, что с сегодняшнего дня обувь Бати подешевела почти вдвое. Туфли, которые стоили двести двадцать чехословацких крон, можно купить за сто девятнадцать.

Томаш говорит рабочим, что большой кризис нельзя преодолеть мелкими шажками.

Он снижает заработную плату на сорок процентов, но никого не увольняет. Дает обязательство, что в фабричных магазинах продукты будут продаваться за символические деньги. Благодаря тому, что крона выросла, на меньшую зарплату рабочие будут жить почти так же, как раньше.

Клиенты набрасываются на его обувь. Все запасы распроданы за три месяца.

Конечно, Батя знает, что понижение цен означает огромные потери для фабрики, но только так можно получить "живые деньги". К слову, наличность эта имеет уже в три раза большую покупательную способность, так что на нее он приобретает в три раза больше материала.

Другие фирмы тоже снижают цены, только уже слишком поздно. Батя был первым. В прессе пишут о нелогичной на первый взгляд, но гениальной реакции Бати на укрепление позиции кроны.

Успех. Через год Томаш Батя примет на фабрику тысячу восемьсот новых работников и будет избран главой администрации города Злин.

Май *1924 года:* Шапка

Десятилетний Томик едет с родителями в открытом автомобиле в Брно. На ходу ветер срывает с него шапку. Автомобиль останавливается, мальчик бежит ее поднять. По возвращении слышит от отца: "Я говорил тебе: не зевай. Еще раз такое случится, поедем без тебя".

Через десять минут шапка слетает вновь. Томаш Батя велит остановить машину, дает сыну десять крон и говорит: "Иди на ближайший вокзал и езжай в Брно на поезде. Назад можешь поехать с нами в машине".

И все же отцу приходится смириться с тем, что он вернется без сына. Мальчик приезжает в Брно вовремя, идет в обувной магазин Бати, занимает денег у кассира и самостоятельно возвращается на поезде в Злин.

Год *1925:* Чек

Когда одиннадцати лет от роду Томик заканчивает начальную школу, родители посылают его в гимназию в Лондон. Он отправляется туда с собственной чековой книжкой, отец открывает ему счет в "Guaranty Trust Company of New York". За обучение мальчик расплачивается с владельцем школы чеками. Чехословацкий подросток производит фурор в элитарной школе.

В возрасте четырнадцати лет он возвращается в Злин и — по распоряжению отца — получает на фабрике самую низкооплачиваемую должность. Он уже имеет право носить ботинки.

(Когда ему будет восемьдесят восемь, я спрошу у его американской секретарши, можно ли задать шефу кое-какие вопросы. "Да, — отвечает она. — Лучше всего, чтобы вопрос был один и по существу".

Я пишу мейл: "Уважаемый пан Батя, как жить?"

"Нужно хорошо учиться, — отвечает пан Томик. — Смотреть на мир широко открытыми глазами. Не повторять ошибок и делать из них выводы. Честно трудиться и преследовать не только свою выгоду. Это ведь не так трудно, верно?")

Год *1925:* "Батя-мен"

Томаш Батя открывает свою первую школу. Он вынужден это сделать. "В нашей стране, — поясняет он, — неизвестны случаи, чтобы даже самые лучшие учителя становились миллионерами. Чаще всего они бедны".

Итак, он дает объявление, что примет шестьсот мальчиков в возрасте четырнадцати лет. Так появляется его "Школа молодых мужчин". Ученик этой школы должен сам обеспечивать себя материально. Восемь часов в день он трудится на фабрике, зарабатывая на еду, интернат и одежду, четыре часа учится. Получать какую бы то ни было денежную помощь от родителей запрещено. В неделю ученик получает сто двадцать крон, семьдесят из которых тратит, а остальное откладывает на счет. Все продумано таким образом, чтобы, когда молодой мужчина в двадцать четыре года вернется с армейской службы к Бате, на его счету было сто тысяч крон. Воспитатели в интернатах проверяют записи расходов, а также следят, чтобы мальчики держали руки поверх одеяла. Часто проводятся беседы о гигиене и онанизме.

Руки поверх одеяла будет держать и признанный в 1952 году лучшим спортсменом мира Эмиль Затопек. А также прославившийся (через сорок лет) писатель Людвик Вацулик и выдающийся представитель чешской "новой волны" в кинематографе (через сорок лет) режиссер Карел Кахиня. Режиссер начнет у Бати с должности подметальщика, а закончит профессиональным чертежником. "Я был 'Батя-меном', — скажет он в начале XXI столетия. — Знаете, в Злине я научился бороться со страхом".

Каждый ученик Бати — "Батя-мен".

Звание "Батя-мен" можно заслужить послушанием и трудом.

Сентябрь 1926 года: Молоко

Томаш доволен собой: он окончил только начальную школу, у него нет никаких титулов, если не считать надписи "Шеф" на дверях кабинета, а он уже автор первого учебника "Как стать богатым".

Открывается Торговая академия Томаша Бати.

Томаш Батя колотит по столу ботинком, когда один из студентов на заработанные своим трудом деньги отправился на машине в Прагу на выступление американской танцовщицы Жозефины Бейкер — пионерки стриптиза.

С того дня и впредь рабочим и студентам нельзя засиживаться в пивных. Распитие алкоголя на территории Злина запрещено; рекомендуется молоко.

1926–1929: Шахматы

Через восемь лет после Великой Октябрьской революции Томаш Батя начинает свои эксперименты в капиталистическом обществе. Он строит для жителей Злина девятиэтажный Общественный дом с гостиницей (после войны гостиница "Москва") и распоряжается, чтобы на первом этаже рядом с рестораном не было никаких кафе и винных погребков, а был зал для игры в настольный тенис, кегельбан и зал для игры в шахматы ("ибо нужно непрестанно думать").

Люди уже не будут работать по восемь часов, с 7.00 до 15.00.

Теперь они будут работать до 17.00, зато с 12.00 им положен двухчасовой перерыв. Женщины могут вернуться домой и приготовить обед,

но Батя не видит в этом смысла, так как он построил большие столовые и универмаг, в котором есть все. "Женщины, – говорит он в своей речи, – вам не нужно будет заниматься даже домашними заготовками, Батя сделает их за вас".

Мужчины и женщины во время перерыва могут делать все что захотят, однако рекомендуется следующее:

лежать на газонах на площади Труда (в хорошую погоду);

не предаваться безделью (лучше всего читать, с одной, однако, оговоркой: НЕ ЧИТАЙТЕ РУССКИЕ РОМАНЫ – гласит придуманный Батей лозунг на стене цеха по обработке шерсти. Почему? Ответ Бати на стене резинового цеха: РУССКИЕ РОМАНЫ УБИВАЮТ РАДОСТЬ ЖИЗНИ);

в плохую погоду ходить в кино (в центре города Батя уже построил самый большой в Центральной Европе кинотеатр на три тысячи мест, где билет стоит одну – символическую – крону);

те, кто опаздывает на работу, обязаны во время перерыва отрабатывать у станка свои задолженности.

Профсоюзы и Коммунистическая партия Чехословакии утверждают, что на самом деле Батя придумал этот перерыв специально ради дополнительной дармовой работы. Забастовки подавляются, а их участников без разговоров увольняют с фабрики.

Год 1927: Сигналы

Пресса пишет о необычайно высоком потреблении молока в Злине и о поразительном – для пивной страны – отсутствии интереса к алкоголю. Один автомобиль там приходится на тридцать пять жителей – это самый высокий показатель во всей Чехословакии.

Рационализации подвергается все: чтобы не приходилось, вызывая начальников цехов к телефону, перекрикивать машины, звонок подает сигналы азбукой Морзе. У каждого начальника свой сигнал, который он слышит даже в туалете. Фабричные цеха имеют собственные номера – потеряться невозможно. Все двери в зданиях тоже пронумерованы. Номера имеют даже улицы на территории фабрики.

По 21-й ходят к VIII/4а.

Год 1927: Травма

В рекламном отделе работает художник, который рисует плакаты. Когда вместе с коллегой он приносит Томашу Бате очередной проект, тот топчет плакат и даже не говорит, что́ он ожидал увидеть. Во второй раз он прислоняет бристоль к стене и прыгает в самую его середину (также без объяснений). В третий раз тридцать проектов плакатов швыряет на пол, скачет по ним, топчет бумагу и наконец-то изрекает: "Что за идиот это нарисовал?!"

Художника зовут Сватоплук Турек, и полученная психическая травма приведет к тому, что через несколько лет он из мести начнет писать книжки о Бате, в которых будет обливать его грязью.

Год 1929: Воздух

Томаш расширяет круг знакомств, его фирма — уже известное в мире акционерное общество. Его личный гость, сэр Сефтон Брэнкер, показывает сияющему хозяину нечто такое, что впоследствии приведет Батю к гибели.

Сэр Брэнкер — глава гражданской авиации Великобритании. Он прилетел, чтобы продемонстрировать в Злине новейший одномоторный трехместный самолет фирмы "Де Хэвиленд", который производит на Томаша столь сильное впечатление, что он незамедлительно покупает четыре штуки.

Строится аэродром, самолеты Бати будут летать по всей Европе. Скоро откроется завод и начнется производство спортивных самолетов марки "Злин".

Пролетая над городом, Томаш замечает лужок, окруженный лесом: "Вот красивое место для кладбища", — говорит он пилоту.

Год 1931: Графология

Томику семнадцать лет. Он возвращается из Цюриха, где последний год служил управляющим крупного магазина, и становится директором универмага в Злине. Ссорится по какому-то поводу с отцом. "Отец, вы еще пожалеете", — говорит он и пишет письмо с предложением своих услуг главному конкуренту Бати в США, фирме "Endicott Johnson".

Потом складывает листок, но письмо так и не посылает. Его находит мать и показывает мужу, поскольку тот велел докладывать ему обо всем. Томаш торжествует: у него прекрасный сын, который найдет выход из любой ситуации!

А вот брат у него идиот. Ян Антонин, сын второй отцовской жены, на двадцать лет его моложе. Томаш при всех обзывает его дураком и награждает пинками; персонал следует примеру хозяина.

Какое-то время назад Батя заказал у лондонского графолога Роберта Саудека анализ почерка ближайших коллег. Полученные заключения держит под ключом, чтобы жертвы ничего не узнали. Их обнаружит в архивах Эгон Эрвин Киш (в 1948 году он начнет писать репортаж "Обувная фабрика", но, написав первую страницу, умрет от сердечного приступа). Графологический анализ под номером десять — Яна Антонина — смахивает на объявление о розыске преступника:

1. Порядочность: не уверен. Если этот человек — ваш сотрудник, то, хотя и не хочется его подозревать на основании предоставленного мне образца почерка, должен сказать, что я никогда бы его вам не рекомендовал.

2. Инициативность: нацелен на быстрый успех, инициативность носит агрессивный характер. Имеет некоторую склонность к шантажу.

3. Открытость: на первый взгляд искренен, поскольку часто вступает с окружающими в конфликт. Тем не менее лицемер.

4. Заключение: абсолютно ни на что не способен.

5. Возможности развития: если бы вы предоставили ему свободу, развился бы скорее в отрицательную сторону.

(Эту свободу Яну А. Бате судьба дарует через полгода. Он ужаснет людей еще больше, чем его брат.)

Тем временем Томаш Батя приступает к устройству в лесу кладбища.

Апрель 1932 года: Открытие

"Мы привыкли смотреть на кладбище как на место, куда приходят скорбеть. А ведь кладбище, как и все на свете, призвано служить жизни. И поэтому выглядеть должно так, чтобы никого не отпугивать, чтобы живые могли ощущать здесь спокойствие и радость. Ходили бы сюда, как в парк. Развлечься, поиграть и помянуть усопших добрым словом", – с такими словами Томаш Батя открывает Лесное кладбище в Злине.

(Ему вряд ли приходит в голову, что он упокоится на нем первым.)

12 июля 1932 года, утро: Туман

Когда в 4.00 Томаш приезжает на свой частный аэродром в Отроковице, в воздухе висит густой туман. Батя настаивает на полете. Пилот просит подождать. "Я не любитель ожиданий", – отвечает ему пятидесятисемилетний Батя.

Они взлетают, и через семь минут на скорости сто сорок пять километров в час "Юнкерс" D1608 врезается в фабричную трубу. Самолет распадается на три части, и в сердце Томаша Бати вонзается сломанное ребро.

"Приказы Бати были святы. Только он один стоял выше них. Однажды он отдал приказ самому себе, от чего и умер", – напишет Киш.

Полчаса спустя: Шеф

Когда тридцатисемилетнего Яна Батю уведомляют о катастрофе, тот снимает телефонную трубку и звонит директору фабрики. "На проводе шеф", – представляется он. Не моргнув глазом он присваивает себе титул брата, что окружению кажется кощунством. Говорят, что известие о смерти Томаша Ян принял как знак свыше и потому вообразил себя самым важным человеком в мире.

13 июля 1932 года: Конверт

В окружном суде в Злине вскрывают конверт с последней волей Томаша Бати. Присутствуют директора фирмы, жена, сын и брат. Восемнадцатилетний Томик получает от отца наличные, Мария Батева – наличные и недвижимость. На втором конверте, датированном прошлым годом, написано: "Яну А. Бате". В письме Томаш сообщает, что все акции фирмы АО "Батя Злин" он продал Яну.

Ян стоит разинув рот и не может поверить, что уже год как является владельцем Злина и всех зарубежных филиалов! (Директор фабрики, один из немногих посвященных в этот замысел, спрашивал Батю о причине столь неординарного решения. "Даже самый большой мерзавец в семье крадет меньше, чем самый честный чужой", – якобы ответил шеф.)

Согласно последней воле Томаша, Ян должен управлять фабриками в Чехии и за границей. На некоторое время он теряет дар речи, но потом приходит в себя и на всякий случай дописывает к заявлению покойного, что год назад купил всё "по устной договоренности". Устная договоренность, по закону, освобождала от уплаты налога, так что все в целом выглядело вполне правдоподобно – не удивительно, что ни в одном ведомстве не было официального упоминания о сделке.

С *1932 года:* Новая эра

Два посланца Бати летят в северную Африку, чтобы изучить возможности поставок туда обуви, и присылают в Злин две телеграммы совершенно противоположного содержания. Один пишет: "Здесь никто не носит обувь. Никакой возможности сбыта. Возвращаюсь домой".

Другой телеграфирует: "Все ходят босиком. Огромные возможности сбыта, присылайте обувь как можно быстрее".

Обувь Бати завоевывает мир, а фирма обрастает своей мифологией.

С наступлением новой эры постоянно оперируют данными статистики: при Томаше 24 фабрики, при Яне – 120; при Томаше 1045 магазинов, при Яне – 5810; при Томаше 16560 сотрудников, при Яне – 105 700.

Год *1933:* Козел...

Продолжается мировой кризис тридцатых. Фирма – превосходный козел отпущения.

В Германии повышают пошлины на обувь и объявляют, что Ян Антонин Батя – чешский еврей. Десятки карикатур на него красуются в нацистских журналах. Подписи РЕБЕ БАТЯ говорят сами за себя. Директор немецкого отделения "Бати" приезжает в Злин для изучения семейных корней хозяина. Бати – католики в седьмом поколении, более старые документы не сохранились. По возвращении в Берлин директор публикует в газетах заметку о родословной Бати. Его допрашивают в гестапо. Ян решает немедленно продать немецкую фабрику. Во Франции фирма работает еще год. И все-таки ее приходится закрыть, так как конкуренты разворачивают дикую кампанию: БАТЯ – НЕМЕЦ. Огромные плакаты изображают Яна как хрестоматийного пруссака – светловолосым и голубоглазым. В Италии конкуренты распускают слух, что в чехословацких газетах Батя нападает на Муссолини. В Польше – что Злин ежегодно посещает какая-то тайная советская комиссия: БАТЯ ПОМОГАЕТ СОВЕТАМ.

На протяжении пяти лет – несмотря на кризис – Чехословакия занимает первое место в мире по экспорту кожаной обуви.

1933 год: Месть – I *акт*

Художник, который рисовал у Бати плакаты, издает роман "Ботострой"[1]. Фамилия Батя в нем не появляется, но всем понятно, что это острая критика "батизма".

1. "Ботострой" (1930) – роман-репортаж Т. Сватоплука (псевд. Сватоплука Турека, 1900–1972), повествующий о системе рационализации труда на фабриках Бати, которая сулила материальное благополучие рабочим, но взамен требовала полного подчинения. Автор, некоторое время служивший на фабриках Злина в отделе рекламы, писал о том, с чем сталкивался сам.

Ян Батя подает на Сватоплука Турека в суд. Суд постановляет уничтожить все нераспроданные экземпляры романа. Двести отрядов жандармерии производят обыски во всех книжных магазинах страны. (Как утверждает Турек, жандармов контролируют заведующие магазинов Бати — настолько привилегированное у него положение в стране.)

Многие печатные издания защищают книгу. Тогда фирма "Батя" убирает из них свою рекламу. К примеру, в "Право лиду"[1] она возвращается лишь тогда, когда в очередном выпуске газеты публикуется разгромная рецензия, опровергающая предыдущую хвалебную.

("Ботострой" переиздадут через двадцать лет, когда в стране сменится политический строй. Тогда же в злинском архиве Бати Турек найдет на себя более восьмидесяти доносов. Батя явно пытался загнать его в угол. Впоследствии Турек напишет, что его посетили представители фирмы, которые заявили, что, если он не откажется от написания новой книги о "батизме", ему придется покончить жизнь самоубийством.)

Год 1935: "Батёвки"

Ян увлечен нумерацией. Улицы называются, например, Залешная I, Залешная II, Залешная III и так вплоть до Залешной XII. Больше всего Подвесных улиц — целых семнадцать.

Батя объявляет международный архитектурный конкурс на жилой дом для семьи рабочего. Свои проекты присылают почти триста архитекторов. Выигрывает дом шведа Эрика Сведлунда — коттедж на две семьи. На недельную квартплату достаточно работать всего два часа.

— Рабочий, имеющий свой дом, полностью меняется, — утверждает Ян.

Такие взгляды на мир буржуазный Запад исповедует уже сорок лет. Домик с садиком превращает простого рабочего в полноценного главу семьи. У него повышается моральный уровень и заостряется ум, он ощущает свою связь с местом и пользуется уважением близких. Существует, впрочем, и другое мнение: рабочий, не живущий в коммунальной квартире казарменного типа вместе с другими семьями, замкнутый в собственном доме, отвернется от коллективных устремлений и синдикализма.

Дома все одинаковые и современные — красные кирпичные коробки пятиметровой высоты (то есть на самом деле низкие). Стиль без корней. Люди называют их "батёвками". На первом этаже на каждую семью приходится по восемнадцать квадратных метров: комната, ванная и кухонная ниша; на втором — еще восемнадцать метров: спальня. Слава богу, есть еще небольшой садик.

(— Жить здесь просто ужасно, — скажет через шестьдесят семь лет Иржина Покорна с улицы Братьев Соуседиков, жена электрика, прошедшего школу Бати. Ей уже семьдесят лет. — Знаете, я скоро умру, по мне это, наверное, заметно, а всю жизнь у меня не было нормальной кухни, ведь этот полутораметровый закуток в коридоре кухней не назовешь! — восклицает она.

1. Газета, выходившая (с перерывами) с 1883 по 1948 гг. С 1897 г. — печатный орган Чехославянской социал-демократической рабочей партии (с 1918 г. — Чехословацкая социал-демократическая рабочая партия, с 1993 г. по наст. вр. — Чешская социал-демократическая партия). После объединения в 1948 г. социал-демократов с Чехословацкой коммунистической партией "Право лиду" было поглощено печатным органом коммунистов "Руде право".

— А почему такая маленькая? — спрашиваю я.

— Ну, они делали все, чтобы жизнь проходила вне дома!

По прошествии шестидесяти семи лет Иржина Покорна сидит в садике у красного дома и пьет пиво — всё как положено.)

Дома стоят так близко, что жители, даже сами того не желая, контролируют друг друга.

К тому же "батёвки" на улице Паделки II точно такие же, как, например, на улице Паделки IX. У приезжающих в Злин в начале XXI века складывается впечатление, что одна и та же улица автоматически проецируется на следующие, как в компьютерной игре.

Конец 1935 года: Пророк

— Ах, самовоспроизводящийся город, — вздыхает восхищенный гость, решивший посетить Злин.

Этот гость — "пророк архитектуры XX века", автор бесчеловечных "машин для жилья". Его зовут Ле Корбюзье. Это он был председателем жюри злинского конкурса. Это его Ян попросит впоследствии составить план застройки всего города. Ле Корбюзье как раз разработал проект Дома Центросоюза в Москве, а через несколько лет ему будет поручен проект здания ООН в Нью-Йорке.

(Некоторое время спустя Ян Батя с гордостью выдаст "пророку" идею еще более широкомасштабную: "Я хочу создать во всем мире дубликаты Злина!")

Из-за слишком разных характеров до сотрудничества между ними так и не дойдет, и комплексный проект застройки города создадут два чеха — Франтишек Гагура и Владимир Карфик. Карфик два года работал у Корбюзье, год — у Фрэнка Ллойда Райта в Америке. Злину суждено прославиться как первому функционалистскому городу в мире.

Вернемся в май 1935 года: Монополия

В социальном отделе есть свои доносчики, которые выслеживают любовников. Познав про завязывающиеся отношения, они сразу же докладывают о новой паре начальству. Тогда фирма рекомендует тем вступить в законный брак и завести детей.

Начальник отдела кадров доктор Гербец имеет обыкновение говорить: "Дети — это поводки, на которых мы держим их папаш".

"Батя обладает монополией на человеческую жизнь", — кричат на всех углах красные профсоюзы.

"За всеми чехословацкими правящими и неправящими партиями стоит капиталист", — пишет коммунистическая "Руде право"[1].

И действительно, по крайней мере в Злине все политические партии на выборах в областной совет выдвинули людей Бати. Землевла-

1. Печатный орган Чехословацкий коммунистической партии, игравший ключевую роль в идеологической пропаганде. В нынешней Чехии существует под названием "Право" (с 18 сентября 1995 г.) и отражает социал-демократические взгляды.

дельцы на третье место ставят директора фабрики Бати в Отроковице, социал-демократы — на первое место высшего служащего Бати, крестьянская партия на третье место — низшего служащего Бати, националисты на первое место — начальника отделочного цеха Бати, фашисты на первое место — начальника мастерских Бати.

Год 1936: Ни шагу...

Реклама обуви в Европе: НИ ШАГУ БЕЗ БАТИ.

Год 1936 (продолжение): Человечество

Выходит антология канонических текстов Яна Антонина Бати.

— Я с ужасом замечаю, что наш честный простой народ становится попрошайкой. Научим людей, потерявших работу, жить скромно, но по-человечески — за свой счет. Требуя от государства пособий по безработице, они ослабляют страну. Возьмемся за ту работу, которую нам дают, работу за любые деньги. Признáем, что получение пособий — позор. Пособие — не проявление гуманности, это убийство человеческой души. Это подкуп слабых.

Как же помочь тем, кто теряет человеческий облик?

Ответ Яна Бати: "Махнуть на них рукой".

Ведь эти люди — согласно общественному мнению — уже давно должны были умереть с голоду, а они все еще живы.

Еще Томаш Батя в 1931 году, увольняя своих работников, предупреждал, что, если они возьмут пособие, дорога назад будет закрыта для них навсегда.

Газеты пишут, что в Злине нет безработных. На самом деле тех, кто потерял работу, город лишает жилья и вынуждает вернуться туда, откуда пришли. Если кто-либо коммунист или профсоюзный деятель — долго в Злине он не задержится. Батя создает собственные картотеки красных.

На случай возможных беспорядков у него есть свои люди: полицейские во всей округе подкуплены. К примеру, девятнадцать сотрудников полиции, живущих в коттеджах Бати, в январе 1934 года получают в награду шестидесятипроцентные скидки на коммунальные платежи.

Сенатор-коммунист Недвед гремит со всех трибун о том, что в Злине прекращает свое действие чехословацкое право.

Вернемся к кризису. Несмотря на то, что тысячи людей были уволены, количество производимой обуви не уменьшилось: в 1932 году изготовлено даже на миллион пар больше, чем годом раньше. "Батевский террор", — объясняют эти успехи коммунисты.

В 1936 году у Яна Бати уже четыре дочери, один сын и жена Мария. Нам немногое известно о его личной жизни. Мы знаем лишь, что через два года он привезет жене из непродолжительной заграничной поездки только-только появившиеся нейлоновые чулки. Что он рассказывает ей перед сном?

— Страна нуждается в нашей работе, Маня. Мы — самый крупный налогоплательщик в республике.

28 июня 1936 года: Литература

Ян Батя созывает в Злине съезд писателей. Возможно, памятуя историю с "Ботостроем", он хочет взять под свой контроль литературу.

Батя водит по городу сто двадцать литераторов, а потом предоставляет им слово.

— Я преисполнен радости, что вижу вместе промышленность и литературу. Эти две силы необходимо соединить, — говорит от имени пражских писателей бывший автор декадентской прозы Карел Шайнпфлюг и добавляет: — Литература может многое сделать для производства, как и производство — для литературы.

Батя тут же разъясняет писателям, откуда взялись культурные потребности жителей Злина и его самого: "Бой за улучшение человека мы выиграли".

На следующий день: Сюрреализм

Сто двадцать писателей осматривают картины ста пятидесяти художников в Художественном салоне Яна Бати. (Съезд скульпторов Батя уже организовал четыре месяца назад.) Он, в свою очередь, снисходительно смотрит на купленные им полотна самых крупных мастеров, и его взгляд останавливается на работе Туайен (псевдоним Марии Черминовой), изображающей фантастические яйца, камни и веревки, которые очень хвалил Поль Элюар во время своего визита в Прагу.

— Признаться, — говорит Ян Батя, — я хочу найти людей, которые не застревают на одном направлении. Я знаю парня, который рисует исключительно мертвых цыплят или мужчин, выглядящих так, словно им осталось жить не больше часа. По-моему, это неправильно. Кому нужна такая мазня? Каким социальным классам? Народу? Одна картина никак не выходит у меня из головы: словаки с топорами, из глаз искры летят, несутся куда-то опрометью, ужас! Я хочу помогать художникам, но таким, что нарисуют человека, который к чему-то стремится.

(Несмотря на ограниченные представления Бати об искусстве, четыре его следующие выставки оживили творческую жизнь: салон посетило триста тысяч человек.)

— Ага, — Ян вспоминает, что говорит с писателями, а не с художниками, — вы тоже избегайте пессимизма. И подготовьте наконец жизненное кредо для рабочего люда.

Год 1937: Лифт

Ян, по всей видимости, ощущает себя красивым, свободным и достойным восхищения — заканчивается постройка двух научно-исследовательских институтов и начинается строительство самого высокого небоскреба в республике. Он должен быть семнадцатиэтажным, семьдесят семь с половиной метров в высоту. Это будущий офис Бати.

Британский писатель Оруэлл только через одиннадцать лет опубликует принципы жизни под руководством Большого Брата, но Ян опережает мировую литературу. Ему приходит в голову создать нечто небывалое — передвижной офис, из которого можно следить за сотрудниками.

Свою канцелярию он располагает в стеклянном лифте (кабина пять на пять метров, раковина, в кране теплая вода, радио, кондиционер).

Ему не требуется никуда выходить, спускаться и подниматься по лестницам. Канцелярия останавливается, к примеру, на четырнадцатом этаже, стена раздвигается, и из своего передвижного тронного зала Ян Антонин Батя наблюдает за сотрудниками фирмы.

Он утверждает, что это сделано отчасти и для их блага: не нужно тратить время, чтобы прийти к шефу.

Если возникнет такая потребность, канцелярия мгновенно может появиться на нужном этаже.

Далее, около 1937 года: Лучшие

Ян Батя преобразует Школу молодых мужчин в Школу лучших. В столовой за едой ученикам разрешается разговаривать только на иностранных языках, а столы накрыты как в пятизвездочных отелях (Ян как раз вернулся из двухмесячного кругосветного путешествия). Мальчики ходят на занятия в смокингах, а цилиндры снимают, только когда переступают порог школы.

После уроков они переодеваются в обычные спецовки и идут на работу.

Старая пани Батева (жена покойного Томаша. Она вовсе не стара, но ее так называют, чтобы отличить от жены Яна, которую тоже зовут Мария Батева), несмотря на успехи Яна, называет его не иначе как "этот кретин".

Ян, который закончил только начальную школу, получает ученую степень honoris causa Высшего технического училища в Брно и требует, чтобы его величали "господин профессор".

12 марта 1938 года: Патагония

Он слишком много говорит. "Осторожность – мать мудрости", – сказал Швейк, но Ян Батя, как и сам Швейк, никогда этого правила не придерживался.

На следующий день после включения Австрии в состав Третьего рейха, предчувствуя, какая судьба ожидает в ближайшее время Чехословакию, он просыпается с некой идеей. Вскоре начнется "концерт великих держав". Даже Варшава считает, что Чехословакия – искусственное образование, обреченное на уничтожение.

В собственной газете "Злин" Ян Антонин Батя объявляет о своем замысле перенести Чехословакию в Южную Америку.

"Бразилия – страна размером с Европу. В ней живет 44 миллиона человек. В Европе – 480 миллионов. Зачем искать площадку для развития в тесной Европе? Почему бы не попробовать там? Лучше уехать. Последняя война обошлась миру в 8 биллионов чехословацких крон. Транспортировка десяти миллионов человек в Южную Америку стоила бы всего 14 миллиардов крон. А за 140 миллиардов уже можно было бы завести себе приличные хозяйства. Зачем заниматься такими вредными глупостями, как война? Нам бы отлично подошла даже Патагония в южной Аргентине".

Батя рассчитывает, что немцам эта идея понравится, ведь им станет легче, когда чехи уедут. (После войны в коммунистической Чехословакии это ляжет в основу выдвинутого против него обвинения в измене родине.)

— Но ведь народ и его культура тесно связаны с местом, — слышит он со всех сторон.

— Да какая там культура, если на войне гибнут дети, — отвечает Батя.

Год 1938 или 1939: Геринг

Батя приватно встречается в Берлине с рейхсмаршалом Герингом. Коммунисты напишут, что он побывал у Геринга сразу после того, как немцы начали оккупацию Чехословакии, то есть в марте 1939 года. Семья Яна — что на полгода раньше, осенью. Коммунисты — что ему самому пришла в голову идея наладить с Герингом личный контакт. Семья — что он был вынужден, поскольку прибыл курьер из Берлина и пригрозил неприятными последствиями в том случае, если Батя не явится к Герингу. Даже Томик, недолюбливающий дядю, попытается как-то объяснить его намерения: на встречу с Герингом его подтолкнуло только любопытство и ощущение собственной значимости.

(Я не нашел достоверных свидетельств того, о чем они разговаривали. Лишь бывший художник из рекламного отдела в книге "Предательство семьи Батя" приводит слова Яна: "Геринг сам мне сказал, что мы живем на немецких задворках, что мы должны осознать это и вести себя соответственно. Определенно в этом есть немалая доля правды".)

В любом случае экспорт теперь идет с пометкой "made in Germany". Обувь предназначена для вермахта, но ни у одной фирмы в период оккупации не было другого выхода. Гитлер даже приказал, чтобы специалисты по военной промышленности познакомились с системой работы в Злине. "Чехи — самые опасные из всех славян, потому что они очень прилежны", — утверждал он.

Во время войны фирма в четыре раза увеличит количество рабочих мест.

А пока Ян Батя объявляет своим работникам, что с этого момента свободу можно обрести только благодаря собственной предприимчивости. И незамедлительно уезжает в Америку.

Июль 1939 года: Велосипедист

Разумеется, перед немцами он вынужден делать вид, что едет на Всемирную выставку в Нью-Йорке, иначе его бы не выпустили из Протектората Богемии и Моравии[1]. Но он знает, что останется в Штатах. А двадцатипятилетний Томик с матерью — в Канаде. Томик был за границей, когда немцы вошли в Чехию, и решил не возвращаться.

Немцы хотят завладеть Злином и окрестностями. Законы Протектората разрешают конфискацию имущества, если владелец находится за границей.

1. Протекторат Богемии и Моравии — название учрежденного 15 марта 1939 г. указом Гитлера государственного образования на оккупированной территории, населенной этническими чехами.

Однако Ян Батя застраховался: по семь процентов своих акций отдал каждому из пяти членов контрольного совета. Теперь он уговаривает старую пани Батеву вернуться в Злин, поскольку она владеет двадцатью пятью процентами акций. Мария возвращается, чтобы Злин не перешел в чужие руки. У Яна в Америке остается всего сорок процентов акций — а следовательно, большинство владельцев "Бати" проживает на оккупированной территории. Конечно, в сейфе нью-йоркского банка у Яна хранятся письменные заявления, что по окончании войны члены совета вернут его долю.

Говорят, Гитлер, узнав об этом, приходит в ярость: "Чех — это велосипедист, который хоть и склоняет голову, но ногами жмет на педали".

Январь 1941 года: Большой поток

Ян с семьей покидает Лос-Анджелес на пароходе "Америка".

В Штатах он нежелательная персона, ибо значится в составленном союзниками черном списке как коллаборационист, чье предприятие работает на немцев. Судно держит курс на Бразилию.

Двадцатисемилетний Томик остается в Канаде, где начинает управлять дубликатом Злина — Батавой.

Ян в Бразилии создает собственные дубликаты. Он спрашивает индейцев, как на их языке будет слово "вода". "Й", — отвечают они.

— А как "хорошая"?

— Поран, — вежливо сообщают местные жители.

Так появляется дубликат номер один — городок Батайпоран.

Дубликат номер два называется Батагуасу, что означает "Бати Большой Поток".

Июнь 1942 года: Витрина

На Вацлавской площади в Праге с 1929 года стоит универмаг с большой витриной, который прозвали "дворец Бати". (Спроектированный чехом Людвиком Киселой, в XXI веке он будет признан одним из лучших в мире зданий в стиле функционализма.)

27 мая 1942 года группа чешских парашютистов, прошедших обучение в Англии, совершает покушение на самого высокого чиновника Третьего рейха в Протекторате — Рейхарда Гейдриха, который в результате умирает в больнице. Заговорщикам удается скрыться. В отместку Гитлер приказывает уничтожить целую деревню Лидице под Прагой[1]. Фашисты не только убивают всех мужчин, но и отправляют женщин в Равенсбрюк, а детей — в лагерь или в Германию. Они не только поджигают или взрывают все дома и ровняют деревню с землей. Они спускаются даже под землю: вытаскивают из могил все гробы, а из гробов — останки. Операция считается завершенной лишь тогда, когда вырваны с корнями все деревья и повернуто русло реки, дабы отныне никто не мог сказать, что на этом месте когда-то была деревня.

1. Затем будет уничтожена деревня Лежаки — там скрывался радист из группы, присланной из Лондона для подготовки покушения. (*Прим. автора.*)

Пока немцы не напали на след заговорщиков, власти вынуждают управляющего магазином Бати на Вацлавской площади выставить в витрине найденные на месте покушения пальто, головной убор, сумку и велосипед, а также повесить объявление о награде в десять миллионов крон тому, кто укажет местонахождение преступников.

(Предоставление витрины магазина для этой цели коммунистическая пропаганда впоследствии использует как одно из доказательств сотрудничества Бати с оккупантами.)

Год 1945: Слава и позор

Злин сначала бомбят американцы (уничтожив при этом шестьдесят процентов фабрик в городе), а потом освобождает Красная Армия. Польское правительство в изгнании отказывается пойти на компромисс с СССР и навсегда остается в Лондоне. Чехословацкое эмигрантское правительство в Москве вступает в коалицию с коммунистами и оглашает свою программу.

Директора фабрик Бати арестованы. Их заместители вынуждены на глазах у всех подметать улицы Злина. В течение двух месяцев пятидесятитысячный город покидают тринадцать тысяч жителей.

Фабричный радиоузел передает речи Ивана Г. и Йозефа В. Во время войны они работали на фирме и были осведомителями гестапо. Сейчас — записались в службу безопасности. "Слава Яна Бати закончилась его позором", — говорят они.

Ян живет в Бататубе (дубликат номер три в Бразилии), когда узнаёт, что декретом президента республики акционерное общество "Батя" отходит в государственную собственность.

Известный советский писатель Илья Эренбург посещает Чехословакию, а потом пишет: "Батя, который остался в Злине, славил фюрера и снабжал обувью рейхсвер, накануне Мюнхена[1] изменил свой герб. Раньше это было три ботинка, но он дорисовал четвертый, чтобы из перекрещенных линий получилась свастика".

Действительно ли Эренбург побывал в Злине? (Ведь Батя эмигрировал и у него не было герба.) Этот отрывок из статьи цитируют по всей Чехословакии, коммунисты готовят против Яна Бати судебный процесс за измену родине.

А Батя, в свою очередь, требует от чехословацкого государства компенсации за национализированный Злин — самую большую частную собственность в Центральной Европе, принадлежащую одному человеку.

Если суд докажет, что он сотрудничал с немцами, у него отберут все.

28 апреля 1947 года: Приговор

"Боже мой, а мы-то создавали Злин только затем, чтобы окрылить чешского гражданина", — говорит Ян Батя, когда узнаёт, что Национальный

1. Мюнхенский сговор — подписанное 30 сентября 1938 г. на международной конференции в Мюнхене Великобританией, Францией, Италией и Германией соглашение, а результате которого Чехословацкая республика передала Германии Судетские области, утратив треть своей территории.

суд в Праге приговорил его к пятнадцати годам тюремного заключения и десяти годам принудительных работ. Плюс – конфискация имущества.

Он требовал, чтобы ему как обвиняемому разрешили явиться в суд и дали возможность защищаться. "Я не верю, что подсудимый на самом деле хочет предстать перед судом", – говорил во время процесса председатель судебной коллегии прокурору.

В итоге прокурор объявил: "Процесс может происходить и в отсутствии обвиняемого, ибо тот в страну приезжать не хочет и не приедет".

Батя просит хотя бы прислать ему обвинительное заключение. Безрезультатно.

Несмотря на то что процесс был типичным сталинским спектаклем, коллаборационизм Яна Бати, не остановившего производства, доказать не удалось (работать на немцев были обязаны все фабриканты, а Бати даже не было в стране). Не удалось признать изменой и нелепую идею с Патагонией. Однако – приходит к выводу суд – коллаборационизм заключался в отсутствии поддержки движению сопротивления в Чехии.

Власти Бразилии быстро заменяют Бате вид на жительство гражданством и теперь могут протестовать: их гражданина судят вопреки международным юридическим нормам. Это ни к чему не приводит.

(Через сорок пять лет один из внуков Яна, чтобы реабилитировать деда, проведет собственное расследование. В 1992 году в архиве ФБР он найдет запись о том, что американцы хотели вычеркнуть фамилию Бати из черного списка по причине отсутствия доказательств его коллаборационизма. Однако коммунистические власти в Праге делали все, чтобы Ян Батя из списка не исчез, поскольку это лишило бы их возможности судить его в Чехословакии и конфисковать имущество.)

Год 1949: "Заря"

В честь товарища Клемента Готвальда – верного ученика Сталина, годом ранее приложившего все усилия, чтобы коммунисты пришли к власти, и провозгласившего лозунг "С Советским Союзом на вечные времена", – Злин переименовывают в Готвальдов.

Обувь "Батя" – в обувь "Свит"[1].

Год 1949: Ивана

Уже в Готвальдове у сотрудника концерна Зельничека рождается дочь Ивана, которая через двадцать с небольшим лет станет моделью, а потом Иваной Трамп – женой миллиардера Дональда Трампа и одной из самых богатых женщин США. Она будет жить в пятидесятикомнатных апартаментах шестидесятивосьмиэтажного небоскреба Трамп-тауэр в Нью-Йорке, известного своими интерьерами в стиле рококо.

Американская пресса назовет ее "духовной наследницей гения капитализма из Злина, который в славянское тело ввел инъекцию англосаксонской ментальности".

1. "Заря" – (*чеш.*).

Супруги разойдутся, поскольку — как утверждал муж — самой большой ошибкой было подпустить чешку из Злина к бизнесу. Вместо жены он получил неутомимого делового партнера.

Год 1957: Нобелевская премия

На пражских улицах уже давно говорят: "С Советским Союзом на вечные времена и ни минутой больше!"

Говорят еще, что Батя получит Нобелевскую премию. Кто-то слышал.

И действительно, бразильская пресса пишет, что шестидесятилетний Ян Батя за проект переселения Чехословакии в Патагонию, то есть современную идею миграции, номинирован на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру выдвинул президент Бразилии: за неоценимые заслуги в деле преобразования мира. (И все же премию получает канадский политик Пирсон за преодоление суэцкого кризиса.)

Гёте сказал: "Больше света!" — и умер. Предсмертные слова Бетховена — "Комедия окончена", Гейне — "Бог меня простит, это его специальность".

Как могли бы звучать последние слова лауреата Нобелевской премии Яна Антонина Бати?

МОЯ ОБУВЬ НЕ НАТИРАЕТ НОГИ?

Год 1957: Эксперимент

Пресса пишет, что в Бразилии Ян Батя начал эксперимент по увеличению поверхности коровьей шкуры.

Он объявил: "Мы поместим в небольшие отверстия в шкуре коровы личинки слепней. Они набухнут, шкура натянется, и таким образом ее поверхность увеличится на шестьдесят процентов".

Эксперимент был прекращен после гибели первой коровы.

Батин эксперимент с деревянной колеей закончился после того, как деревянные рельсы разъехались под первым железным локомотивом.

Конечно, это никак не связано с тем, что обувь Бати расходится на ура.

50-е и 60-е годы: Война

Ян Батя теперь воюет с Марией Батевой и ее сыном Томиком. Невестка с племянником вмешиваются в дела всех филиалов и организаций Бати (в тридцати с лишним странах), обвиняют его в незаконном присвоении имущества, принадлежавшего Томашу Бате. Их борьба — на страницах всей западной прессы. В результате развернутой в средствах массовой информации кампании Яна даже на две недели арестовывают в Нью-Йорке.

Он крайне истощен. Ему не хватает сил и денег. Процессы длятся пятнадцать лет. В конце концов в 1962 году Ян Батя отказывается от значительной части имущества в пользу Марии и Томика и в 1965 году умирает в Сан-Паулу.

Канадская организация Бати (Томика) принимает у бразильской кормило власти. В нескольких десятках стран действует по нескольку

компаний Бати: в одной лишь Франции их восемь. У каждой есть дочерние предприятия, за которыми зорко следит главное. Все это возглавляет сын Томика Томас Бата[1].

"Bata Shoe Organization" для собственных нужд издает журнал "The Peak" ("Пик").

Год 1959: Месть – следующий акт

Художник, некогда рисовавший у Бати плакаты, уже осуществил несколько актов мести: переиздал "Ботострой", опубликовал "Измену семьи Батя", "Кратко о батизме" и теперь печатает "Истинное лицо батизма", где собраны высказывания прежних работников Бати.

"Я работал в доме номер 33. Сменный мастер награждал нас такими прозвищами, которые лучше не произносить вслух. Когда я получил телеграмму, что у меня умерла дочь, я попросил мастера дать мне выходной на похороны. 'Твою мать, что ты там забыл, – ребенка не воскресишь. Вали, никто за тебя план выполнять не станет'. Не знаю, как я вернулся к станку, слезы застилали мне глаза. Несмотря на угрозы я поехал на похороны. Невозможно описать, чего я потом за три года натерпелся". (А. Вагнер)

"Батя обратился к нашим родителям, чтобы те продали ему их любимый сад. Родители отказались, ведь они двадцать лет ждали, пока деревья начнут плодоносить. Мы с братом и сестрой уже были самостоятельными и работали у Бати. Начальник отдела кадров пригрозил нам, что, если мы не заставим их продать землю, можем завтра не выходить на работу. В итоге мы вынудили нашего бедного отца это сделать. Плача, он продал землю за одну пятую цены, а все потому, что у пана Бати была такая прихоть". (Йозеф и Франтишек Градиловы)

Проанализировав документы, автор выяснил, что в 1927–1937 годах не было ни одного работника, который бы вышел от Бати на пенсию. Состав рабочих постоянно омолаживали: людей увольняли по любому поводу как минимум за десять лет до пенсии.

"Так эпоха ломала людей, так их унижал тот режим", – добавляет Турек.

Продолжение 1959 года: Москва

Другой автор (вероятно, не затаивший обиду – он просто историк) обращает внимание на то, как даже на уровне языка изощренный батизм размывает классовые различия и смягчает систему эксплуатации: своих рабочих Батя хитро называет "коллегами", а их зарплаты – "распределением прибыли".

В десятую годовщину образования Готвальдова и фирмы "Свит" в прессе цитируют слова одного коммуниста, который уже в 1932 году сказал Бате во всеуслышание: "Москва уничтожает человеческую зависть, а Батя использует зависть как движущую силу".

1. На международном рынке фирма известна как "Бата".

Готвальдов снова стал Злином.

Томаш Батя (Томик) после шестидесятилетнего отсутствия триумфально приезжает в город. Его встречают сто тысяч человек.

Раздаются крики: "Батя, эксплуатируй нас!"

Томаш посещает свои бывшие магазины. В одном из них он видит, как клиент примеряет ботинки. "Клиенты — это моя жизнь, — говорит он, — и меня раздражает, когда покупатель в моем магазине вынужден сам завязывать шнурки". С этими словами Батя встает на колени и начинает завязывать шнурки покупателю.

Фильм должен быть снят

47

Корабль "Marine Tiger" плывет из Саутгемптона в Нью-Йорк. В тридцатиместной каюте, заполненной европейцами, сидят пражанка Ярка Мосерова и Шарка Шрамкова из Прахатице. Ярка рассказывает, какая у нее удивительная семья.

Ее бабушка обеим внучкам говорит "ты", а к дочери и сыну обращается в третьем лице. Дедушка с детьми — на "ты", но сын с ним — только на "вы", зато сестра у него — "она", а маму он называет по имени. "Пусть дочь подойдет ко мне... Сын хочет добавки торта?" Ярослава подражает бабушке.

— И непонятно, откуда эта мешанина, — говорит она Шарке.

03

Зденек Адамец просыпается раньше обычного и видит, что на столе еще нет бутербродов с сыром. Но мама уже положила ему чистые трусы (выглаженные накануне вечером), носки (постиранные) и термос с чаем (уже с сахаром). Сама она вышла на минутку в магазин.

47

— Сейчас я покажу тебе наши фотографии, — Ярка Мосерова вынимает из чемодана семейные фото и показывает их Шарке.

На каждом снимке — бегущая пожилая женщина. Она или отворачивает голову, или пытается заслониться рукой, или выворачивается всем своим дородным телом.

— Это моя любимая няня Хильда, — рассказывает Ярка. — Когда ее снимали на камеру или хотели сфотографировать, она убегала. У нас огромное количество кадров, где Хильда убегает. Она уже у нас не работает. Мы с сестрой обе выросли, а кроме того, она была судетской немкой.

03

У Зденека Адамеца сегодня урок физкультуры. Опять ничего не будет получаться.

Избыточный вес. Насмешки. Издевательства.

47

Они подплывают к Нью-Йорку. До войны Мосеровы выписывали "National Geographic", и Ярка видит, что в действительности американская трава точно такая же, как на фотографиях. Значит, это не обман — трава темнее, чем в Праге, местами даже отдает в синеву.

В Нью-Йорке девушки сразу сядут в поезд, идущий в Сваннаноа (Северная Каролина). Они — стипендиатки American Field Service[1]. Эта организация, которая приглашает молодежь из стран, которые были оккупированы фашистами, учиться в американских школах. На дворе 1947 год, и организация хочет, чтобы молодые американцы именно от своих ровесников услышали, как живут люди в условиях постоянной опасности.

Обе девушки заходят в столовую художественного лицея. На них серые шерстяные платья, на американках длинные свободные рубашки и джинсовые комбинезоны. Ярка первый раз в жизни видит джинсы, а еще — тоже впервые — что все без малейшего стеснения держат вилки в правой руке. Ножи лежат рядом с тарелками — если кто-то хочет разрезать котлету, то просто берет нож и режет.

03

Квартира семьи Адамец находится на первом этаже невзрачного панельного дома постройки семидесятых. В прошлом году, в июне, Зденек посадил под своим окном пять подсолнухов.

Когда они выросли настолько, что головки стали заглядывать к нему в комнату, двое соседских парней подкрались вечером и искромсали каждый цветок.

47

Директор американской школы предлагает Ярке выставить ее рисунки и скульптуры на конкурс в Северной Каролине.

Номинаций на конкурсе восемь. Мосеровой присуждают семь первых премий, и она едет в столицу штата получить семь "Золотых ключей". Восьмой "Ключ" получает темнокожая девушка, Нора Уильямс. Она угрюма и необщительна. Из Роли[2] они возвращаются вместе. Заходят в пустой автобус, и Ярка хочет сесть вместе с новой подругой во втором ряду.

1. Американская полевая служба (*англ.*) — общественно-политическая организация (основана в 1914 г.), цель которой — содействие развитию международного взаимопонимания путем обмена школьниками с 80 странами мира.
2. Столица штата Северная Каролина (в другой транскрипции Рэлей).

– Мне не положено, – говорит Нора. – Даже если автобус совсем пустой, нам разрешается сидеть только в последнем ряду, а зайти может столько из нас, сколько поместится сзади.

– Тогда я сяду с тобой, – говорит Ярка, и Нора становится все разговорчивее.

Пока едут, весь автобус постоянно на них оглядывается. В какой-то момент ситуация настолько накаляется, что один из пассажиров велит водителю остановиться и навести порядок.

– Ты – черная? – спрашивает он Ярку.

Ярку разбирает смех.

– Ясно, что нет, – отвечает она.

Ярка не знает, что в этом нельзя признаваться. Каждый, кто считает себя черным, – негр. Достаточно одной капли крови. Если бы она сказала, что черная, у нее было бы право сидеть с Норой.

Двое мужчин встают со своих мест, лица их багровеют, а ноздри раздуваются.

– Я не черная, – вдруг выпаливает Ярка, – но я из Чехословакии!

Эта фраза спасает ее от линчевания.

03

Зденек Адамец включает сотовый. В телефонах он разбирается хорошо. Если у кого-нибудь из друзей трубка старая и разломанная, пусть даже и на десять частей, собрать ее может только Зденек. На один вечер мобильник кардинально меняет репутацию Зденека. На следующий день все уже помнят только, кто он в действительности.

48

Ярослава Мосерова сдает выпускные экзамены и занимает третье место в школе. Ей нужно возвращаться домой, но вот уже четвертый месяц, с февраля, там правят коммунисты.

Она читает в газетах, что Чехословакия не приняла американскую помощь, то есть план Маршалла, и Советский Союз – ее единственный друг. Даже символ демократии, министр Ян Масарик, с горечью признает, что он – советский лакей.

Директор американской школы убеждает Ярку, что если та вернется в свою страну, то уже никогда не сможет оттуда уехать. Он также добавляет, что по приезде в Прагу, прежде чем Мосерову вообще пустят к родителям, ее, как внучку генерального директора Земского банка, конечно пошлют на "перевоспитание".

В процессе перевоспитания ей наверняка постараются изменить образ мыслей.

03

Мать Зденека уверена, что сын встал раньше обычного, чтобы попасть в школу за час до начала уроков.

Американцы продлили стипендию для студентов из Чехословакии на год. Ярослава Мосерова учится в Art Students' League[1] и подрабатывает в мастерской по изготовлению ламп – рисует на подставках розы двух цветов.

Весной она заканчивает курс и хочет заработать себе на путешествие. С этой целью нанимается на три месяца воспитательницей к детям производителя автоматов с сухофруктами. В доме на Лонг-Айленде уже есть трое слуг-негров, в том числе кухарка. Но черная рука не имеет права прикоснуться к детской кроватке, детской ванночке и детской одежде. "Дети, само собой, не должны заходить на черную кухню! – объясняет ей жена производителя автоматов. – Ты должна следить за этим!"

03

Уже в семь утра в промышленном техникуме в Гумпольце открывают компьютерный зал, и Зденек ежедневно сидит там некоторое время перед занятиями. После занятий, впрочем, тоже. Вчера он общался в чате до самого закрытия. Переписывался с Томашем Б. (ник Неплохой).

Тема звучала так: "Я жирный, и у меня нет девушки".

("Жирными мы были оба, – скажет впоследствии Неплохой, – но девушки не было только у него".)

49

Ярослава Мосерова не вполне доверяет американской цивилизации. В сентябре она хочет вернуться к родителям. Ей уже девятнадцать, и она решает, что прежде, чем ее запрут в клетке, она съездит в кругосветное путешествие. Ярка плывет на транспортных судах из Сан-Франциско в Индию, а потом в Европу. По дороге играет в карты с моряками. За время путешествия ей так и не удается завести настоящих друзей. Домой она везет зонты из рыбьей кожи, которые купила на Филиппинах.

В поезде из Цюриха в Прагу Мосерова – единственная пассажирка. Никто не ездит в Чехословакию и никто оттуда не уезжает.

Ей хочется сразу же написать Норе Уильямс, но понимает, что в Чехословакии не пишут писем за границу. Точнее, писать можно, ведь Чехословакия – свободная, народно-демократическая страна, но делать это никто не решается.

Почему?

Потому что неизвестно, какой может прийти ответ.

Одной женщине кто-то написал из Канады: "Тебе никогда не нравился красный цвет – и что же теперь делать?" Эта фраза аукнулась не только ей, но и всей ее семье. Пражский журналист послал письмо в "Таймс", в котором сообщил, как сильно повысились цены на сигары и что название "Деликатесы" поменяли на "Продмаг", за что был осужден как шпион.

1. Нью-Йоркская художественная школа.

Нет, она не будет изучать изящные искусства. Кто знает, чей бюст ей прикажут лепить?

Она пойдет на медицинский. Врач, вне зависимости от обстоятельств, всегда помогает людям.

— Я стану пластическим хирургом, папа. Использую свой талант. Ведь не заставят же меня переделывать лица пациентов, чтоб они смахивали на Маркса и Энгельса?

03

Зденек Адамец одевается.

Его отец делает надгробные памятники, чем и известен в одиннадцатитысячном Гумпольце в центральной Чехии. Мать на пенсии и все свое время посвящает сыну. До шестого класса она провожала и встречала его из школы. Директор тогда заметил, что это единственный известный ему случай, когда мать носит за тринадцатилетним здоровым парнем портфель. На педсовете он поделился своими наблюдениями:

— У меня такое впечатление, что эта женщина прямо-таки срослась со своим сыном. Нехорошо!

51

Даже к учителям дети теперь в обязательном порядке обращаются "товарищ учитель".

Мама и дядя Ярославы, как государственные служащие (оба работают в банке), едут на субботник, где все говорят друг другу "товарищ".

— Представь себе, Ярушка, — рассказывала после этого субботника мама, — мой брат не посмел при посторонних, как у нас в доме принято, спросить меня: "Сестра что-нибудь съест?" Мы перестали нормально друг с другом разговаривать! Начали стыдиться этого и говорили безлично: "Можно бы что-нибудь съесть" или: "Потом хорошо бы перекусить..." И смотри-ка: вроде и не стали называть друг друга "товарищ", но все же пошли на компромисс. Не вырастают ли впоследствии из таких маленьких компромиссов большие?

03

Один учитель якобы сказал в классе во всеуслышание (вроде бы не при Зденеке), что мать Зденека делает за него то, что каждый делает сам.

Из-за фамилии Адамец Зденека называют Адой. "Ада! — закричали как-то мальчишки. — Мы знаем, что твоя мать тебе даже кончик моет!"

Зденек побледнел и перестал дышать.

51

У Яркиного отца, Ярослава Мосера, четыре слабости: жена, лыжи, хорошие машины и блондинки. Он не вступил в партию. Несмотря на это, его, как юриста и специалиста в области металлургии, назначают начальником отдела в Остравском горно-металлургическом тресте. По неизвестным причинам его партийный директор кончает жизнь само-

убийством у себя в саду, и отца Ярославы арестовывают. Через год выпускают. Без предъявления обвинений, без процесса, без суда.

Истощенный и безработный, отец всегда находит, чему радоваться. Говорит, что в тюрьме пел арии Вагнера. ("А если бы я туда не попал, мне и в голову бы не пришло петь".) Он находит работу референта на мусоросжигательном заводе и гордится, что Ярка учится на хирурга, а ее старшая сестра — на гинеколога.

03

Зденеку больше нравится выходить утром из дома, чем возвращаться во второй половине дня. Утром никто не играет во дворе в футбол и можно не бояться, что мяч случайно полетит в его сторону. Когда он видит летящий мяч и понимает, что должен его отбить, у него темнеет в глазах.

(Потом — когда уже все закончится — кто-то из пользователей сети вспомнит: Зденек признавался, что боится мяча, потому что не может по нему попасть. "Летящий мяч — это настоящий кошмар".)

55

Ярослава Мосерова ждет диплом. О том, чтобы прочитать рассуждения некоего польского писателя "Как в коммунистическом обществе закончить университет, не потеряв веры в жизнь?" (вывод писателя: "Это невозможно"), и речи не может быть.

На последнем курсе Карлова университета Ярослава Мосерова узнаёт, что не получит звания доктора медицины. Университетские власти объявляют: "По решению партии и правительства выпускники медицинских факультетов в стране будут не докторами медицины, а просто врачами".

Студенческая делегация доходит с петицией до президента республики. Они объясняют, что на это плохо отреагируют пациенты и упадет авторитет врача.

На следующий день всех собирают в аудитории. С речами выступают заместитель министра образования и руководитель канцелярии президента. Глава студенческой делегации сообщает, что товарищ президент выслушал их и сказал: "В принципе, я с вами согласен, но..."

И тут встает руководитель канцелярии и говорит, что это неправда. Товарищ президент сказал так: "Я принципиально с вами не согласен, но..."

Глава делегации смотрит на товарищей, которые вместе с ним вручали петицию, и говорит: "Но ведь у меня есть свидетели!"

За неделю с небольшим до окончания университета он показывает однокашникам требование явиться в Службу безопасности. В письме — обвинение: "Искажение слов Главы государства".

Он идет на допрос и исчезает.

Его просто-напросто нигде нет, никто уже больше ничего о нем не слышит.

Весь выпускной курс ждет окончания университета и сидит тише воды ниже травы.

Никто ничему не удивляется.

— Почему мы молчим? — задается вопросом Ярка.

— Видимо, потому, что слишком много людей исчезает, — отвечает подруга.

03

Если Зденек и выходит куда-нибудь после уроков, то с мамой, мыть машину.

Родители, конечно же, понимают, что мальчик должен где-то бывать. Они уговорили его записаться в рыболовный кружок. Рыбалка и пиво — любимые занятия настоящих мужчин с Высочины[1]. Зденек ходил в кружок два года. Даже его отец туда записался.

И — чтобы Зденек увереннее себя чувствовал — отец, приложив некоторые старания, стал руководителем кружка.

60

Ярослава Мосерова работает в ожоговом отделении клиники при Карловом университете в Праге.

В ее жизни все чаще происходят такие случаи, о которых можно сказать только одно: "О боже!"

У пана Я., типографского работника, на совести смертный грех: он владел типографией. Партия приняла решение: отныне быть ему электриком.

У него отобрали типографию и велели обучаться новой профессии. Месяц спустя его так ударило током, что он потерял лоб, нос, скулы и у него вытекли глаза.

— Представь себе, — говорит Ярослава своей сестре, — ток милосердно повредил ему мозг.

— Как это: "милосердно повредил"? — удивляется сестра.

— Ну, слегка, — объясняет Ярка. — Так, что он долго пребывал в состоянии — как бы это сказать? — беспричинной эйфории и рассказывал, как вернется к типографскому делу. Я начала его уговаривать научиться грамоте для слепых. Но он даже и слышать об этом не хотел! Говорил, что сейчас, когда люди вот-вот полетят на Луну, врачи быстро научатся трансплантировать глаза. И это утверждал человек, у которого не было не то что глаз — у него, Боженка, вообще не было лица!

Наш профессор сделал ему искусственное лицо, смоделировал нос, еще без ноздрей, и готовился приступить к глазницам. Чтобы можно было вставить стеклянные глаза. Потом, если пан Я. наденет очки, никто и не заметит...

1. Административная единица (край), расположенная на юго-востоке Богемии и частично на юго-западе Моравии.

Еще до глазниц мы отпустили его домой, потому что настал период летних отпусков, а его дочь говорила, пускай отец отдохнет в благоухающем саду. Ну и представь себе, что в доме, который дочь как раз построила, полностью слепой пан Я. самостоятельно провел всю электропроводку! А в довершение – сам установил телевизионную антенну на крыше.

– Это же прекрасно! – радуется сестра-гинеколог, у которой не бывает таких эффектных историй.

– Но когда дом был уже достроен, отпуска закончились, внуки пошли в школу, а дочь на работу, – пан Я. остался один. И представляешь, вернувшись вечером домой, они нашли его во дворе мертвым. Он повесился.

03

Зденек Адамец не может жить без Интернета.

Вчера, к примеру, он зашел на страницу о бездумном загрязнении мира и оставил пост: "Человечество приводит меня в ужас".

Он оставил след и на сайте, где доказывалось, что демократия бессмысленна. ("Ибо является лишь властью чиновников и денег", – дописал Зденек.)

Отметился также на страницах противников телевидения, утверждающих, что это – изобретение дьявола.

Заходил на страницу противников мультфильма "Том и Джерри". ("В этом, на первый взгляд, невинном мультике больше насилия, чем в любом другом".)

Побывал на сайтах, где предсказывается, что после всемирного энергетического кризиса вспыхнут войны за оставшуюся нефть. ("Это, кстати, единственная причина нападения на Ирак".)

В некоторых чатах и сайтах Зденек прячется за ником Satanic. (Впоследствии кое-кто будет утверждать, что Адамец – это еще и более агрессивный в своих высказываниях Satanic666.)

Ему не дает покоя несовершенство человеческой природы. "Зачем нужны законы? – спрашивает Зденек. – Неужели человек не в состоянии сам понять, что можно, а чего нельзя? Видимо, мы еще недостаточно зрелая цивилизация и нам есть чему поучиться".

60

Родители Ярославы раз в жизни выбрались за границу. Их пригласила бывшая домработница Хильда, которая теперь живет с мужем-гинекологом в ФРГ. Они здороваются. Она с чувством стыда за войну, они – за изгнание судетских немцев.

– Это прямо сцена из фильма, Боженка, – говорит Ярослава сестре. – Двое обедневших пожилых людей у своей прислуги, которая принимает их в прекрасной квартире. И все трое плачут.

Сестра показывает ей фотографии друзей. На одном из групповых снимков Ярослава замечает мужчину с мальчиком, которых никогда раньше не видела.

Сестра объясняет, что это юрист Милан Давид и его сын Томаш. Разведен, живет с двенадцатилетним сыном.

— Это мне нравится, — говорит Ярослава, — мужчина с готовым ребенком.

Они едут со всеми, кто запечатлен на фотографии, кататься на лыжах. Ярослава берет у Милана банки с супом и ставит рядом со своей банкой на плитку. Через неделю они чувствуют, что нет ближе людей на свете. Через два года — женятся.

Милан и Томаш живут втроем в одной комнате с отцом Милана, то есть дедушкой Юзефом. Предложение руки и сердца выглядит так: "Дедушка и Томаш очень хотят, чтобы ты переехала к нам", — говорит Милан.

Дедушка, отец Милана, до того, как к власти пришли коммунисты, был главой парламента. На следующий день после путча[1] он сам ушел из политики и вот уже двенадцатый год решает кроссворды. Теперь глава парламента спит за занавеской, протянутой от шкафа к стене.

03

Мать замечает, что Зденек берет рюкзак с книгами.

Директор техникума до сих пор был Зденеком доволен. Правда, у него нелады с чешским и физкультурой, зато с физикой и математикой все отлично. Директор даже собирался предложить ему поработать администратором интернет-класса, если бы не шокирующий инцидент с полицией.

Полиции стало известно, что Зденек Адамец дает советы пользователям сети, как, к примеру, сделать так, чтобы деньги на телефонной карте не кончались.

Некоторые улики указывают и на то, что Зденек Адамец предоставил антиглобалистам коды доступа к своему сайту. А те, в свою очередь, использовали его страницу для пропаганды метода прерывания поставок электричества. Конечно, чтобы разрушить монополию всемогущего капиталистического государства.

После первого допроса Зденек сразу же удаляет сайт.

63

Когда Ярослава Мосерова впервые видит гордость чехословацких пластических хирургов — профессора Франтишека Буриана, то не может поверить, что он ниже ее ростом. Ведь в ней, если стоять на правой ноге, всего сто пятьдесят восемь сантиметров, если на левой — сто пятьдесят шесть, а на обеих — сто пятьдесят семь.

— Вы увидели самого маленького гиганта, какой только родился на свет, — объясняет ей одна коллега.

Профессор Буриан мал ростом, но задумал великое дело — "Атлас пластической хирургии". Ему требуются восемьсот пятьдесят иллюст-

1. Речь идет о Февральском перевороте 1948 г. ("Победный февраль"), в результате которого к власти пришла Коммунистическая партия Чехословакии.

раций, притом на рисунках должны быть настоящие пациенты, похожие на себя, чего в атласах раньше якобы не было. Профессор не допускает наличия анонимных лиц. Он приносит старые фотографии, описания операций, и Ярослава Мосерова, молодой хирург и член союза скульпторов, четыре года рисует иллюстрации к "Атласу".

Профессор носит слуховой аппарат. Когда ему надоедает слушать Ярославу, он его отключает и принимается насвистывать. Он все время недоволен. Каждую иллюстрацию велит перерисовывать по нескольку раз. Перед каждой встречей спрашивает ее: "Сначала будем пить кофе или спорить?"

Она всегда предпочитает сначала спорить.

Кофе подает домработница. Профессор Буриан живет с дочерью, зятем и прислугой. Домработница уходит от них, когда зятя профессора по неизвестным причинам арестовывают. Профессор, видимо, ее понимает — рядом с родственниками заключенного знакомые не садятся даже в приемной у зубного. Люди имеют право бояться. Кофе приносит теперь дочь инженера.

Профессор Буриан умрет через два дня после написания предисловия и не дождется выхода "Атласа".

03

На столе Зденека Адамеца лежат распечатки. Распечатки эти касаются Факела номер один.

В прошлом году Зденек начал читать о необычном студенте. Его называли Факел номер один. Если бы в августе 1968 года не начался исключительно скверный период, если бы в страну не вошли Советы вместе с четырьмя другими армиями и если бы они не хозяйничали здесь чем дальше, тем больше, Факелу номер один не пришлось бы пойти на крайность.

Дело в том, что люди сперва подчинялись, а потом продавались. Нельзя было говорить то, что еще весной говорили свободно. Факел номер один был студентом философского факультета. Он хотел разбудить сограждан.

Зденек нашел высказывание студентки из Праги, ставшей впоследствии всемирно известным режиссером: она утверждала, что десятку, которой предстояло совершить акты самосожжения, отбирали очень тщательно. Сгореть должны были только хорошие студенты, без психических расстройств, неврозов, любовных разочарований, чтобы пропаганда не смогла исказить мотивы поступка. Выбрали лучших из лучших. И уже среди наилучших провели жеребьевку.

Зденек прочитал предсмертное письмо Факела номер один: "Если наши требования — в том числе отмена цензуры — не будут удовлетворены в течение пяти дней, то есть до 21 января 1969 года, если их не поддержит народ путем всеобщей забастовки, вспыхнут следующие факелы".

Подпись: Факел номер один.

Зденек берет эти распечатки с собой.

65

В ожоговом отделении, где лежат больные, зеркала висят не в каждой палате.

Не все пациенты хотят, чтобы близкие их видели. Предпочитают общаться с ними через ширмы.

Врач Ярослава Мосерова собирает материалы для своей книги "Кожные дефекты и их коррекция". Ее интересует обгоревшая кожа.

Пока на место обугленной кожи пересаживают собственную кожу пациента. Ее вырезают, растягивают в масштабе три к одному и накладывают. Если не хватает собственной, примерно на две недели накладывают кожу трупа. Но прежде чем Ярослава Мосерова через несколько лет закончит свою книгу, будет разработан метод восполнения кожных покровов с помощью кожи свиней. Кожа свиньи ближе всего к человеческой. Ближе, чем кожа шимпанзе.

В области компенсации кожных потерь Ярослава Мосерова сотрудничает с польскими учеными и получает от них золотую медаль.

Потом получает стипендию в Техасском университете в Галвестоне.

Замечает в себе странную особенность: она совершенно не помнит пациентов, которым помогла. Зато хорошо помнит тех, борьбу за жизнь которых проиграла.

Беспомощность — вот что больше всего ужасает ее в самой себе.

03

Мать спрашивает, взял ли он бутерброды.

Зденек знает, что Факел номер один купил где-то в центре Праги белое пластиковое ведро, а потом на автозаправке налил в него бензин. Он не будет брать с собой никакую канистру, а то мама сразу спросит зачем. Он тоже купит какую-нибудь емкость.

У него уже есть письмо, начинающееся словами: "Уважаемые Граждане Мира..." Он разместил его на сайте www.pochoden2003.nazory.cz[1].

69

Через отделение уже прошла волна обгоревших во время столкновений с советскими танками.

16 января Ярослава Мосерова как раз была на дежурстве, когда привезли молодого мужчину. Она слышит, как санитары говорят, что это Факел номер один. Его зовут Ян Палах. Он поджег себя у музея на Вацлавской площади. У него обгорела почти вся кожа и дыхательные пути.

Нянечки, которые всех молодых пациентов называют на "ты", к нему обращаются на "вы".

Медсестры говорят, что это Ян Второй, ибо он хотел напомнить о поступке Яна Гуса.

1. Pochoden — факел (*чеш.*).

Агония Яна Палаха продолжается семьдесят два часа.

К нему в больницу люди приносят сотни цветов, приходят сотни писем. Медсестры читают ему эти письма. Читает их и Ярослава Мосерова. А он в горячке открывает глаза и спрашивает хриплым голосом: "Ведь это было не зря?"

– Не зря, не зря, – отвечают ему.

– Это хорошо, – говорит пациент.

Тайная полиция стоит у больницы.

Несмотря на советскую оккупацию, гроб выставляют в вестибюле Каролинума[1]; в окнах домов – свечи. Толпы плачущих людей до полуночи приходят проститься с покойным. В стране голодовки, митинги и забастовки.

Похороны превращаются в демонстрацию, а могила на пражском кладбище Ольшаны – в место паломничества.

Через несколько лет власть принудит мать и брата Палаха подписать согласие на эксгумацию тела, ночью вытащит останки, сожжет и отдаст им урну.

Они будут хранить урну дома, потому что в родном городе Палаха Вшетатах кладбище год будет отказываться ее принять.

В 1990 году президент Вацлав Гавел торжественно вернет останки из Вшетатов в Ольшаны.

03

У Зденека есть выбор: ехать из Гумпольца в Прагу на автобусе или поездом. Если поездом – то только вечером и с пересадкой. В Колине ему пришлось бы сесть в скорый "Ян Палах". Поэтому он едет без пересадок на автобусе, отходящем в 6.30.

Дорога в Прагу – автострада, сто пятьдесят километров по оврагам среди деревьев и лугов. Что могло бы на этом пути привлечь его внимание? Единственное, что виднеется сквозь бурые кроны деревьев, пока еще без листьев, – это гигантские билборды:

"Время пришло! Сделай что-нибудь, как подсказывает тебе совесть. Воспользуйся лифтингом кожи".

"Подходящее время для эффективной инвестиции. Новая телефонная книга..."

"Охотно раздеваюсь – 0.800..."

И через пятьдесят минут Зденек уже в Праге.

76

Пациентов, поступавших после вторжения, сменяют пациенты периода нормализации – первые жертвы процесса создания нового, послушного человека. Вот, например, пан К. , один из семисот пятидесяти тысяч человек, которых после 1970 года вынудили поменять место работы. Пан К. (высшее образование, три языка) работал в министерстве внешней торговли. Партия решила, что теперь он будет заливать улицы

1. Главное здание Карлова университета в Праге, основанного в 1348 г. Карлом IV.

асфальтом. Однажды клапан цистерны не выдержал давления, и горячий асфальт хлынул прямо на К.

Асфальт растопил все его тело, кроме лица.

Человеку, имеющему дело с ужасами, нужно придумать себе что-нибудь, чтобы не сойти с ума.

Ярослава Мосерова, например, сначала рисовала в разных вариантах девочку, идущую с высоко поднятым подсолнухом.

Теперь от помешательства ее спасает Дик Фрэнсис. Первый жокей королевы-матери.

Он стартовал в Большом национальном, или Ливерпульском, стиплчезе на фаворите королевы — лошади Девон Лоч. Вся королевская семья верила в их победу. Вдруг на прямой трассе лошадь упала. Минуту спустя вроде как пришла в себя, встала и побежала дальше, но уже ничего не получила. Потом ее обследовали — она не была ни ранена, ни больна. Об этом удивительном случае говорили еще много лет, а королева-мать написала в своих воспоминаниях: "Это мое самое большое разочарование в жизни".

Разжалованный Дик Фрэнсис написал об этом целый роман.

Потом он начал придумывать детективные истории. Действие большей части его романов происходит на скачках, обычно в Южной Америке. Ярослава Мосерова переводит все их на чешский.

(До 2003 года она перевела сорок четыре его романа, получила премию за мастерство перевода, а Дик Фрэнсис побил в Чехии рекорды самой Агаты Кристи.)

— От чего вы пытаетесь отвлечься? — спрашивают журналисты. — Почему переводите именно эти книги? И почему только этого автора?

— Потому что в них добро всегда побеждает, а зло наказывается. К тому же автор неохотно посылает людей в тюрьму, — отвечает Ярослава Мосерова. — Если уж какого-нибудь мерзавца нужно наказать, то он скорее всего или упадет со скалы, или погибнет в катастрофе, — добавляет она.

На дворе семидесятые, и слово "тюрьма" настораживает чехословацких журналистов. Возможно, им даже не очень-то хочется видеть его напечатанным, и они ищут, чем бы его заменить.

— Ну что ж... — переводчица старается угодить им, — еще мне важно, что у него никто, кроме убийцы, не думает в первую же минуту об алиби.

03

Пани Адамцова звонит Зденеку на мобильный. Она уже один раз звонила, но он не взял трубку.

— Где ты, сынок? — спрашивает мать.

— А где мне быть? — отвечает Зденек и отключается.

77

Вацлав Гавел для Ярославы Мосеровой — маленький мальчик, который на фотографии стоит в коротеньких штанишках рядом с ней и Боженой. Их семьи дружили. Сестрам семь и девять, а Гавелу — три.

Сын рассматривает снимок и спрашивает:

— Мама, а о чем вы разговаривали с паном Гавелом?

— Ни о чем, Томаш! — возмущается мама. — Мы не обращали на него внимания. Он для нас был слишком маленьким.

03

Канистра Зденека Адамеца уже наполнена.

87

Про врача Ярославу Мосерову рассказывают, что она лечила человека, у которого взрыв газа не сжег только то, что было у него под плотными шортами. И руки, так как он держал их в карманах. Он был молодым скрипачом, незадолго до взрыва закончил консерваторию. Через год после трансплантации он снова начал заниматься, но не мог долго стоять со смычком в руках. Уже через десять минут у него пропадала всякая охота играть. Так как его врач была из семьи, в которой дети должны были отличать Моне от Мане и играть на фортепьяно, она начала разучивать с пациентом дуэт Корелли.

Чтобы соответствовать уровню выпускника по классу скрипки, хирург Ярослава Мосерова, которой было уже за пятьдесят, сама стала брать уроки музыки. Когда они играют вместе, юноша выдерживает целый час.

Так они играют в течение трех лет.

А потом выступают на европейском конгрессе пластических хирургов и исполняют Яначека.

Теперь у Ярославы Мосеровой появляется замысел сценария художественного фильма.

Мать нечаянно поранила дочери щеку. История начинается с того момента, когда девочка уже подросла, у нее шрам на красивом личике, интересная работа и много друзей. Все хорошо, если не считать, что мать гложет чувство вины. Она тиранит дочь нездоровой заботой. Вина — смысл ее жизни.

Сценарием заинтересовался Эвальд Шорм, легенда чешской "Новой волны", молчащий уже почти двадцать лет — приблизительно с момента гибели Палаха. Он хочет снимать фильм, но не хочет писать сценарий. Говорит, пускай напишет она сама. Ярослава сопротивляется, тогда режиссер объясняет, как это делается: слева на странице то, что мы слышим, например, сигнал автомобиля, справа — то, что видим, например, что заслонка отодвигается.

Роль матери сыграет подруга Ярославы — бывшая жена симпатичного молодого человека, сироты, который захаживал после войны к Мосерам. У него не было родных, а хотелось, чтобы кто-нибудь намазал ему хлеб маслом и даже накричал на него, что понятно: он ведь нуждался в семье. Подругу-актрису зовут Яна Брейхова, а ее бывший муж, тот, что мечтал о хлебе с маслом, — Милош Форман.

Фильм сняли, но его нельзя назвать так, как хочет сценаристка. А она хотела бы: "Белая ложь".

Слово "ложь", так же как и слово "правда", в искусстве запрещено, и в период нормализации ни одно из них нельзя употреблять. Другая легенда чешской "Новой волны", Вера Хитилова, не смогла использовать в своем фильме словосочетание "я думаю". "Я думаю, что..." — довольно медленно говорил актер, а приемная комиссия объявила, что это выглядит слишком многозначительно — такое можно по-разному интерпретировать. А одну сцену, когда у мужчины захлопнулась дверь в туалете и он кричит "Я заперт!", Вера Хитилова была вынуждена целиком вырезать.

Поэтому новый фильм Эвальда Шорма называется "Собственно, ничего не случилось".

03

Зденек Адамец поднимается по широким ступеням музея.

Восемь часов утра, холодно, начало марта.

89

Тяжело больной Эвальд Шорм умирает за месяц до премьеры фильма.

Ее случайно назначили на 19 января в кинотеатре "Люцерна" на Вацлавской площади.

Но в этот день на площадь не идут ни трамваи, ни метро. Именно 19 января двадцать лет тому назад умер Ян Палах и несколько тысяч демонстрантов были окружены милицией.

На фильме "Собственно, ничего не случилось" нет ни одного зрителя.

В мае в Польше выходит "Газета выборча", в Чехословакии же Вацлав Гавел еще сидит в тюрьме. Но уже в ноябре он возглавляет только что создавшийся Гражданский форум. К нему присоединяются актеры, философы, журналисты, врачи... Присоединяется и Ярослава.

— Только у меня есть опасения, я же не политик, — говорит она.

— И слава богу, пани Мосерова, никто из нас не политик, — успокаивают ее друзья.

03

Так же как и Факел номер один, Зденек Адамец обливается начиная с головы.

Он вскакивает на каменные перила и щелкает зажигалкой.

Прыгает вниз.

В результате соприкосновения с движущимся воздухом огонь равномерно охватывает все тело целиком.

01

Семидесятилетняя Ярослава Мосерова пишет воспоминания "Короткие рассказы. О тех, кого нельзя забыть". Создает сайт www.moserova.cz, где описывает последние двенадцать лет.

Она была вице-председателем Гражданского форума, послом Чехословакии, а потом Чехии в Австралии и Новой Зеландии, вице-председателем Сената Чешской республики. Далее – председателем Генеральной конференции ЮНЕСКО – высшего руководящего органа, который поддерживает общественные движения. Ярослава Мосерова считает, что есть простой способ помочь даже самым бедным странам. Если нет средств на образование, нужно сначала открыть радиостанцию. Радио будет развлечением, а одновременно научит, как соблюдать гигиену и как предотвратить нежелательную беременность.

Теперь Мосерова – сенатор от ОДА[1], то есть Гражданского демократического альянса, по пардубицкому округу. ОДА конкурирует с ОДС[2] Вацлава Клауса.

Ее партию поддерживают немногие. Подумаешь, они хотели годовую декларацию о налогах сократить до одной страницы формата А4 (это людям понравилось). Подумаешь, хотели зарегистрировать однополые браки (это уже не понравилось никому) и полностью освободить жильцов от квартирной платы (и это тоже почти никому не понравилось!).

Ярослава Мосерова выиграла только потому, что в Пардубице ее считают порядочным человеком.

03

Зденек Адамец падает в четырех метрах от того места, где поджег себя Ян Палах.

У него сгорели губы, но он еще хочет что-то сказать.

Потом будут рассказывать, что Зденек Адамец, так же как и Факел номер два – Ян Заиц, выпил кислоты, чтобы не кричать.

02

Ярослава Мосерова регулярно сталкивается с некой проблемой.

Дело в том, что 1 января 1977 года она не подписала очень важный для порядочного человека документ. Тем более что инициатор акции – мальчик с фотографии, тот, в коротеньких штанишках, который тридцать шесть лет назад был слишком мал для сестер Мосеровых, – не годился для серьезных разговоров.

Почему она не подписала "Хартию-77"[3]?

Ярослава Мосерова могла бы ответить что-то в стиле Богумила Грабала: "У меня столько проблем с самим собой, столько проблем с моими ближними, что не хватает времени ни на какие политические переме-

1. Чешская политическая партия правого толка, существовавшая с 1990 по 2007 г.
2. Гражданская демократическая партия – политическая праволиберальная партия, возникшая в 1991 г. после распада Гражданского форума. До 2002 г. ее председателем был нынешний президент Чешской республики Вацлав Клаус. Существует до сих пор, с 2002 г. ее возглавляет премьер-министр ЧР Мирек Тополанек.
3. Манифест о правах человека, опубликованный группой чешских и словацких правозащитников 1 января 1977 г. Одним из первых подписавших "Хартию" был бывший президент ЧР Вацлав Гавел.

ны. Я даже не знаю, о чем говорят те, кто этих перемен жаждет: я бы хотел изменить только самого себя".

Она могла бы сказать нечто подобное, и ее бы наверняка поняли.

Ярослава же говорит:

– Если бы Хартия "пришла" ко мне, я бы, скорее всего, ее подписала, а так как она не пришла, сама я ее не искала. Признаюсь: я проявила осторожность.

На предположение одного излишне самоуверенного польского журналиста, что человек – лишь то, кого он из себя изображает, и трудно поверить, чтобы сегодня она, политик и дипломат, не кривила душой, Ярослава Мосерова отвечает, что есть ситуации, когда политик не вправе сказать всю правду, но не имеет права лгать.

По крайней мере, она так считает.

Как и всегда – уже десятки лет – она ходит в костел.

В Сенате говорят, что Клаус ей не по душе, поскольку какое-то время назад сказал, что для него католическая церковь – такая же организация, как туристический кружок.

03

Зденек Адамец лежит мокрый – пожарные облили его водой. Температура на улице ниже нуля.

Люди стоят, не зная, что делать. Никто из зевак не звонит в "скорую".

Трое врачей приезжают только после сигнала от пожарных. Они переносят его в машину "скорой помощи".

Он живет еще тридцать минут.

02

Ярослава Мосерова говорит подруге, что Милан, Томаш и внуки – лучшее, что было в ее жизни. Семье сообщает, что все же решила баллотироваться на пост президента страны.

Даже приготовила речь в парламенте:

"Я знаю, что молодых людей больше всего раздражает непорядочность. И они винят нас, политиков, что мы допустили рост безнравственности. По-своему они правы..."

А конец речи такой: "В нашей стране политикам не доверяют. Я надеюсь, что это изменится. Пожалуйста, поверьте мне".

Солидные издания практически ею не интересуются. Не появляется ни одного материала с оценкой ее политических взглядов и шансов на выборах, никто не берет у нее более или менее обстоятельного интервью.

А журналистка из женского глянцевого журнала говорит репортеру из Польши, что у кандидатки, которая была пластическим хирургом, могло бы быть и поменьше морщин.

Ведь интервью в ее журнале не может выйти без эффектной фотографии!

03

Сенатор Ярослава Мосерова о смерти Зденека Адамеца слышит через месяц после того, как проиграла выборы.

Она сидит в конференц-зале Уинстон-хаус в Уилтон-парке в Великобритании на Всемирной конференции по борьбе с коррупцией.

Открывает ноутбук, выходит в Интернет, набирает адрес www.pochoden2003.nazory.cz и читает: "Вся моя жизнь была сплошным поражением. У меня ощущение, что я не вписываюсь в это время. Будучи очередной жертвой Системы, я решил навсегда покончить со своими мучениями. Я не могу так дальше. Никого ничто не интересует. Общество равнодушно. А политики — это высшая каста, которая топчет обычных людей. Я хочу, чтобы все задумались о себе и о зле, которое творят ежедневно. Остальное узнаете обо мне потом из газет".

И последняя фраза письма: "Не делайте из меня сумасшедшего". Ярослава Мосерова закрывает компьютер. Ей приходит в голову, что на конференции по борьбе с коррупцией ни одна страна не предложила эффективного лекарства.

03

Пресса замечает, что в прощальном письме мальчик ни словом не упомянул своих родителей.

Известный писатель считает, что жертва Зденека Адамеца — повторение жертвы Христа.

Известный епископ пишет, что, прочитав текст Зденека, служители церкви сразу же захотели поместить его случай в раздел "Патология". К сожалению, это только верхушка айсберга. А сам айсберг — это ощущение бессмысленности жизни у молодого поколения.

На следующий день на место самоубийства люди кладут цветы и записки. Жгут свечи.

Одновременно жгут свечи и кладут цветы Палаху.

Экскурсии иностранцев становятся так, чтобы на фотографиях были видны две горки цветов.

К сожалению, случаются ошибки. На месте, где сжег себя Палах, появляются записки: "Зденек, ты прав!"

03

Через два дня вечером к лестнице музея привозят подъемный кран. Рабочие устанавливают на нем телевизионные софиты.

Светло, как днем.

Камеры в ожидании сигнала.

Толпа. В самом центре стоят трое мужчин в элегантных черных пальто, они только что вышли из машины. Один из них держит цветы.

Все огорожено бело-красной лентой. Полицейский следит, чтобы никто за нее не заходил.

Атмосфера ожидания.

– Это будет передача о том мальчике, – объясняют друг другу прохожие и вытягивают шеи.

Расспрашивают полицейского о деталях:

– Это что, торжественное мероприятие? В честь этого Зденека из Гумпольца?!

– Мужчина, какого еще Зденека? – говорит полицейский. – Здесь снимают биографический фильм о Гитлере. Канадцы делают[1].

– Но ведь там было полно цветов и свечей. Как же так? Погасили?! Убрали?! Через три дня после смерти – ужас!..

– Никто ничего не гасил, – терпеливо объясняет полицейский. – Вот, пожалуйста, посмотрите – свечи заслонили автомобилем. Ну чтобы в кадр не попали, вот и заслонили. Ясное дело, договор есть договор, нельзя вот так просто взять и отменить съемки. Кино, видите ли, это кино. Фильм должен быть снят.

P. S. Ярослава Мосерова умерла через три года после написания этого репортажа, 24 марта 2006 года.

1. Речь идет о двухсерийном фильме "Гитлер: восхождение Дьявола", режиссер Кристиан Дюгэ.

Лидия Осталовская
Тут пока еще Польша...

Перевод Ирины Лаппо

Школьная спортплощадка на Рысовничей улице в Лодзи. Район называется Балуты. Глухая стена, в нескольких метрах от нее — костер и куча веток про запас. Чуть дальше, под деревом, полукругом — молодые люди. Кто сидит, кто лежит, кто-то примостился на корточках. Скамейка с проломленной доской и раздолбанный диван — вот их клуб. Несколько человек жарят на углях колбаски. В дыму очертания бритых голов. Вечер, 23 июля 2002-го.

— К скольким вы сюда приходите?

— Часам к двенадцати.

— И что делаете?

— До обеда перетираем, что было вчера.

— А что было?

— Да ничего.

— А после обеда?

— Подгребают остальные ребята.

— И тогда вы решаете, что будете делать сегодня?

— Ничего мы не решаем. Как будет, так будет. Никто не знает.

Клички ребят с Рысовничей: Москва, Першинг, Седой, Кукла, Дыня, Толстый, Ко, Джонни, Конь, Слива, Хромой, Чучело, Лапша, Плейбой, Манька, Лео. Самому младшему — семнадцать, старшему — двадцать два. Спортплощадку знают, как свои пять пальцев. Со школы. Все они здесь учились.

— Как вам вообще живется?

— Скучно.

— А что делаете, когда совсем невмоготу?

— Садимся в трамвай и шугаем народ. Ну, типа разборки устраиваем. Влетаем с криком: "Держи его!" Толкаемся, быкуем, воем. Как стадо бизонов. Народ, бледный с перепугу, на первой же остановке выходит. Раз мы такие плохие, нате вам!

— Вы еще учитесь? Где?

— Геодезический техникум, механический колледж, техникум коммунального хозяйства, общеобразовательные лицеи, курсы повышения квалификации для программистов.

Несколько человек поступило в местный политех. Конь вот закончил там первый курс, факультет охраны окружающей среды.

— Кто не учится, тот с нами не тусуется. Учимся, потому что без образования сейчас никак. Один Толстый пэтэуху закончил, и всё.

— Каникулы в разгаре, а вы сидите в городе. Можно ведь куда-нибудь поехать?

© 2005 by Lidia Ostałowska
© Ирина Лаппо. Перевод, 2009

— На какие шиши? Вот и сидим в этой жопе. Уже какое лето подряд? Пятое? Седьмое? Дождь, мороз, каникулы, а тут, у школы, всегда тусняк. Пивка вломим, в футбол поиграем или в сокс, но сейчас жарко.

— А как играют в сокс?

— Подбрасывают ногой тряпичный мячик, набитый камешками или горохом. Суть в том, чтоб он не упал на землю. Как можно дольше.

— Это же школьная территория, вам разрешают здесь находиться?

— С 15.30 до 22.00, без алкоголя. И собак приводить нельзя. Как-то раз мы себе парту притащили, но директриса запретила, и сторож ее забрал. А мы им за это все мусорки перевернули и таблички с надписями сорвали.

— На дискотеки не ходите?

— На Балутах нет дискотек.

— А в бар?

— Вот он — наш бар. В барах отстой. И не по карману. На Пётрковскую, в центр, никто не поедет, там пиво по восемь злотых. Весь день здесь и торчим. Всю жизнь. Присылают дружинников, чтоб нас разогнать, и начинается: "И кто вас только воспитывает?" Да сами мы себя воспитываем! Прямо тут. Значит, тут и будем сидеть.

Родители у них: слесарь, сварщик, сантехник, научный работник, медсестра, врач, учительница, скорняк, владелец маленькой строительной фирмы, хозяин обувной мастерской, менеджер бара, остальные — безработные.

— Полиция не цепляется, что вы тут сидите?

Москва, Першинг, Седой, Кукла, перекрикивая друг друга:

— Да суки они все, козлы, им только повод дай. Нет, чтобы нормально сказать, сразу хамить начинают.

— Сидим мы раз у нашего супермаркета. Здесь, неподалеку. Вдруг подкатывают, с мигалками, выходят, дубинками поигрывают. Один, жирный такой, типа крутой, выбил у пацана пиво, и пошел наезд: "Поднял банку или ща мордой об асфальт". Короче, оттянулись в полный рост. Клоуны.

— Едем мы с матча. Пацаны все злые, потому что наши продули. Ну и один компостер раздолбали. Так полиция на следующей остановке стала стрелять резиновыми пулями! Все окна в автобусе вдрызг. Пришлось валить по-быстрому.

— Обычно это выглядит так. Сидим компанией, вот как сейчас. Останавливается этот их говновоз вон там, у входа, вылезают двое, посветят фонариками и назад. Дальше ни шагу. Стрёмно. Пацанов боятся, двадцатилетних. А сами уже по тридцать лет в полиции служат. И оружие у такого, и заряжено ведь, а из машины выйти, чтоб документы у нас проверить, боится. Вот если на пяти тачках — тогда да. О! Смотрите, кто это к нам пожаловал.

Время 22.20. Действительно, как по заказу, у ворот останавливается большая машина, и из нее высыпают полицейские.

Среди ребят волной — шепоток:

— Легавые!

— Не нарывайтесь! — просит Пижон. Это он нас сюда привел.

Полицейские вооружены до зубов: дубинки, пистолеты, автоматы. Старший начинает допрос. Кто организовал посиделки? Где письмен-

ное разрешение директора школы? Пожарников? Внутренней охраны? Значит, костер нелегальный. Потушить!

Слива. Нечем.

Полицейский. Меня не волнует.

Москва. Можно мы домой сбегаем за ведрами?

Полицейский. Нет. Немедленно потушить костер.

Першинг. Ребята, может, поссым? Вот видите, не получилось. Ну и как его погасить?

Полицейский. Да хоть жопой сядь!

Со стороны скамейки и дивана доносится злобный ропот.

Полицейский. Ну так как?

Седой. Каком кверху!

Только что Седой сидел рядом со мной. Одно движение, и он летит через мои колени головой вниз. На его спину обрушивается дубинка.

О *чем базар*

Старые Балуты, Балуты-Теофилув, Балуты-Радогощ. В каждой многоэтажке живут ребята, которые держатся вместе. Человек десять. В соседних домах у них тоже друзья-приятели. Это уже тусовка. Место сбора: школьный двор, крыльцо поликлиники, подворотни, подъезды, качели, турники. Спортплощадка на Рысовничей. Ребята из разных тусовок знакомы, встречаются в школах, магазинах, пиццериях, пивных барах, на улице, на концертах хип-хопа и матчах. Балуты — самый большой (360 тысяч жителей) район Лодзи. Словом, у каждого за спиной — целая армия.

В том числе и за спиной Казановы: 1980 года рождения, рэппер (в последнее время сотрудничает с O. S.T. R.[1]), бывший юниор балутского спортклуба "Старт", судья Польской футбольной лиги. Школу не закончил, одна четверть оставалась. Учился хорошо, с поведением — хуже. Несколько раз менял школы. Родители работают на почте.

— Ты откуда?

— С Балут. Я, когда спрашивают, всегда так отвечаю. Если кто не знает, где это, — его проблемы. Я родился в этом районе, в трущобах. Сколько махачей у меня здесь было! Ну и получал не раз, не всякий бой можно выиграть.

— А из-за чего ты дрался?

— Я ездил на другой стадион, не на тот, что все, это раз. Во-вторых, по-другому одевался. Раньше я слушал панк. И меня разные гопники гнобили, обзывали вонючкой. Хотя я мылся чаще, чем эти бомжи.

— Теперь ты бреешь голову и носишь широкие штаны. Почему сменил стиль?

— Со временем, блин, человек взрослеет. В клипах увидел американский хип-хоп. Там все выглядят — супер. Крутой прикид, батник с капюшоном, золотые цепи, тачки навороченные — ребята хотят показать силу. А панку все по фиг, он себе лучше бухла купит. Кто слушает хип-хоп,

1. Псевдоним одного из самых популярных польских рэпперов, настоящее имя Адам Островский, живет и работает в Лодзи. (*Прим. перев.*)

тот пьет пиво. Плюс гигиена, это для нас очень важно. Есть разница, кто чего хочет от жизни.

– А ты чего хочешь?

– Я в конце восьмого класса познакомился с другой компанией. Тоже с нашего района. У нас была точка возле техникума. У своей школы, как парни с Рысовничей, мы никогда не тусовались. От школы надо держаться подальше. Эти, с Рысовничей, в три идут домой обедать. А у нас одни не хотели, а другим – нечего было жрать. Зато мы не скучали. Шатались по району, искали приключений. На Мусорную горку лазили, туда, наверное, когда-то мусор свозили. В Артурувек ездили, к воде. У одного из наших липовое удостоверение спортклуба было – бери байдарку. Ночью. В прятки играли на территории техникума, как дети. Прыгали по крышам и ржали до упаду. Были, конечно, и войны район на район, камни и все дела, разборки с полицией. Но в основном просто сидели на месте.

– Почему?

– Потому что бабла не было. Тридцати злотых, и тех не наскрести! Вот и получается, что просто нечего делать. Ну и приходим сюда каждый день, сидим, базарим. Тогда вроде бы незаметно, что ничего не происходит.

– Это в Лодзи ничего не происходит? Да здесь же масса клубов, пабов, концертов.

– Все это для пиплов, у которых нет таких проблем, как у нас. Золотая молодежь. Я стараюсь держаться подальше! У них мозги по-другому устроены. По мне, так лучше со своими потерять, чем ждать, покуда мне такой богатей поставит. Они хихикают, если заказываешь пиво 0,3 или какое подешевле, за три злотых. Типа интересуются: это что за пиво такое? И ухмыляются... Ну так вот, по пятницам мы собираемся всей компанией и решаем: в город не пойдем, потому что с бабками напряг. Да и вообще в центре фигово, нас там все нервирует. Ну так что? Остается район! Идем, а вокруг одни знакомые рожи. Пиво, второе, третье. Может, это и не совсем потерянное время, но...

– Но друзья-то есть?

– Настоящие! Не то что в доме Большого Брата. Они там все, как с зоны. Тоже сидят на одном месте и байки травят. День в камере – уже долго, неделя – еще дольше, а целый месяц? Месяц – и ты уже кореш. Месяц за решеткой, и группа – цемент.

– А сам ты хоть что-то сделал?

– В 1997 году. Была такая мысль – организовать группу, назвать ОЧБ. Типа "Общество чемпионов Балут", или "О чем базар". Записывались на длинном таком магнитофоне, знакомые подкладывали музыку. Мы сделали шесть композиций о жизни на районе, о дружбе, ненависти к полиции и о бедности. Хотелось кому-нибудь показать. А где покажешь, если не на закрытых тусовках? Собирали народ по домам. У нас в микрорайоне есть малина, там водяра по восемь злотых. Две комнаты, в одной – диван и стол, больше ничего. Хозяйка хаты подбросила идею: всех, кто хочет купить водку, пригласить на концерт. Мы тогда, помню, постарались. Достали шар, как на дискотеках, от которого такой мигающий свет. Трое нас было: я, Рыжий и Седой. Мы чувствовали, что все будет путем. Народу набилось – тьма. Сидят перед нами, как в театре, на каких-то табуретках, старых ящиках, на чем попало. И малолетки там

были, которых взрослые прислали за водярой, и куча старых синяков за пятьдесят. Начинаем. Поем, вдруг Седой забыл текст и стал читать по бумажке. Тогда и мы по бумажке. Вот так начинали.

— А публике хип-хоп понравился?

— А то! Не знаю, что больше: водяра или наша музыка. Потом мы раз в неделю играли, люди про нас уже узнали. А водку нам хозяйка на халяву давала.

Бандиты малолетние! И весь разговор

Время 22.25. Спортплощадка на Рысовничей. Полиция начинает действовать. В темноте их почти не видно. Один тащит Седого к машине, охаживая дубинкой.

Седой (*знает, что его ждет, и испуганно кричит*). Требую свидетеля!

Себастьян (*бежит к машине*). Он требует свидетеля! Я с ним!

И вот уже стоит, прижатый к дереву, на его шее сжимается рука.

Першинг (*в отчаянии*). Сейчас изметелят дубинками!

Москва. И вот так всю дорогу.

Мы подходим к старшему по званию, представляемся: журналисты. "Газета выборча".

Полицейский (*громко, но вежливо*). Вести себя надо нормально, тогда и с ними будут как с людьми.

Слива (*пытается разрядить обстановку*). Да ладно вам! У нас каникулы! Ну че вы на самом деле?

Оказывается, благодарить надо соседей. Это они вызвали полицию. Странно, до ближайшего дома метров двести с гаком. У костра было тихо, шум никому не мешал. Запах от трех кусочков колбаски — тоже.

Толстый (*горько комментирует донос*). Всем мы мешаем! Никому не нужны!

Полицейский. Проверка документов! У кого есть, приготовили документики!

Москва (*с вызовом*). А если нет, тогда как?

Тем временем подъехала вторая патрульная машина, с подкреплением. Вместе их уже девятнадцать, а ребят — двадцать один человек. Голос полицейского звучит тверже:

— У кого нет документов, к стене!

Сцена как из фильма об оккупации. Но все это происходит в действительности, две группы друг напротив друга. Ребята в гражданском, метровая полоска травы и взвод с оружием наизготовку.

Минута, вторая, третья. Полицейские включили фары, теперь можно рассмотреть их лица. У молодых — никаких эмоций. У тех, что постарше, — выражение привычной усталости. Выделяются только один, усатый, и второй, с животиком. В каждой гримасе, усмешке, жесте — презрение. Им так хочется его продемонстрировать, что они заводят разговор.

Усатый. Думаете, вам все можно? Гопники!

Лапша. Никакой я не гопник! Я человек!

Слива. А что мы такого сделали? Вы бы лучше настоящих бандитов ловили!

Усатый. У бандитов своя работа, у нас — своя!

Джонни. Из-за вас в этой стране жить нельзя!

Другой, с животиком (*вступает в разговор*). Да уж куда нам! На тебя вся надежда, ты тут все изменишь! Нужен ты своей стране, как же!

Ничего себе!

Джонни (*тут же огрызается*). Она такая же моя, как и твоя!

А этот, с животиком. Да что ты понимаешь, щенок! Ты знаешь, где я вырос? На Гурняке!

Джонни. И что с того?

Полицейский. А то, что это самый что ни на есть херовый район! Понял, фраер?

Парень по прозвищу Ко (*не выдерживает*). Ты форму сними, тогда мы посмотрим, кто тут фраер. Стоит, блин, дубинкой махает.

Полицейский. А откуда мне знать, что у тебя в кармане? Ты бы поработал в полиции, посмотрел, ка́к оно.

Ко. Я в легавые не пойду. У меня пока еще все дома. Как бы я своим предкам на глаза показался?

Полицейский. Жечь костры запрещено. Такой закон, и мы его соблюдаем.

Москва. Как вы его соблюдаете? Бьете пацана по мордам? Тащите в машину и там лупцуете, хотя мы ничего такого не сделали. Это закон?

Полицейский. Да, закон, наш польский закон, а ты его не уважаешь. Какой ты поляк после этого?

Ко. А вы что творите? К стенке нас поставили. Стоишь тут, пушкой машешь. Тоже мне поляк. Мы — один народ!

Что тут происходит? О чем они говорят? Сейчас 2002 год или начало 80-х, военное положение?

Полицейский с животиком (*машет рукой*). Бандиты малолетние! И весь разговор.

Толпа под стеной тает. Ребята по очереди подходят к патрульной машине. Там по рации проверяют личные данные. Нас тоже проверили. Потом ребятам сказали вывернуть карманы. Ищут марихуану. Того, у кого найдут травку, задержат. Таких нет. Зато нашелся паспорт Куклы. Полицейский холодно информирует, что за дачу ложных показаний его ждет судебное разбирательство. И штраф.

Кукла. Все равно не заплачу. Нечем.

— Значит, родители заплатят.

К машине подходит Мирек. Он немой.

Полицейский. Имя матери?

Мирек жестикулирует и что-то мычит.

Полицейский. Что, не знаешь, как мать родную зовут?

Лапша (*приходит на помощь*). У него нет матери, она умерла, когда он был маленький. Он немой.

Полицейский (*проверяет данные Мирека в компьютере, нависает над ним и чеканит по слогам*). Ю-зе-фи-на. Заруби себе на носу!

Подъезжают пожарные. Машины пожарников и полицейских "переговариваются" мигалками. Шум нарастает. Минуту спустя огромный пожарный шланг выплевывает струю воды в крохотный костер.

Полицейский. Поскольку организаторов не выявлено, за вызов пожарных заплатите все. Разойтись!

Теперь ребята стоят плечом к плечу. Последний обмен любезностями.

Ко. Вот подождите, будут и у нас стволы.

Полицейский (*делает вид, что не понял*). И что дальше? Пилить их будете или поливать?

Ко. Да нет, просто вы сразу в портки наложите.

Полицейский. Да? А что вы нам типа сделаете?

Ко (*мстительно*). Я бы, к примеру, тебе колено прострелил!

Машины с номерами 786 и 787 уезжают, а молодежь скандирует с ненавистью: Коз-лы! коз-лы!

Полицейский мегафон с ехидной доброжелательностью: Спокойной ночи!

Ребята возвращаются на спортплощадку. Прочесывают траву под деревьями. Ищут сброшенную травку. Производят инвентаризацию, подсчитывают убытки: лежавший на диване мобильник и бутылка спирта.

Дует ветер. Костер разгорается.

Пять кило хавчика на зону

"Наш бассейн" — так здесь говорят. Полный билет — девять злотых, льготный — пять. Цены выросли после недавнего ремонта. Ограду тоже починили, но все равно все лазят через забор. С расстеленных полотенец, из голубой воды, с вытоптанной игровой площадки доносится:

— Привет, Казанова! Хай!

— Тебя здесь все знают. Откуда?

— Просто я стараюсь помогать людям. Народ это знает. На уши стану, а помогу.

— А как ты помогаешь?

— Ну, например, есть один пацан, я знаю, где он живет, мы знакомы типа всю жизнь, просто никогда не общались. Привет — привет, и все. И вдруг он спрашивает: "Как дела? — А потом говорит: — Знаешь, а мне чего-то херово, тут кореша моего посадили". Я спрашиваю: "А сам-то справляешься?" А он: "Ну, типа да. Бабла только нет, а то бы я другану хавчика передал". — "Оки, без вопросов. Чем могу, помогу". Собираю бригаду, идем в супермаркет, берем что надо. И все. Пять кило хавчика готовы, и пацану есть, что шамать.

— А свою первую кражу ты помнишь?

— Больше всего запомнилась одна, но, вроде, не первая. Нам было лет по двенадцать. Шли мы с одноклассником — Мартин его звали — из школы и решили украсть по пакетику орешков. Спрятали эти орешки в мешок со сменной обувью, и к кассе. А кассирша, видно, заметила, вышла из-за кассы, руки повыкручивала. Закрыли нас в подсобке, куртки забрали. И говорят, что или вызовут полицию, или мы уберем складское помещение. Мартина заставили подметать. А мне велели мыть какие-то вонючие контейнеры из-под тухлого мяса. Сперли мы эти орешки в полсекунды, а пахали потом полдня.

— Зачем ты воровал?

— Денег не было. Мама давала по пятницам мелочь на карманные расходы, и это все, на что я мог рассчитывать. У отца не брал. У нас дома с баблом особого напряга не было, предки зарабатывали прилично. Может, они нас с братом так воспитывали?

— А чего тебе больше всего не хватало?

— Нормальной обувки. У всех была фирменная, а я рассекал в самых дешевых, с рынка. Меня бесило, что у других лучше. Если есть деньги, значит, все без проблем, скажи нет? А в Лодзи как раз стали открывать супермаркеты. Пять лет назад было клево, выноси что хочешь. На прицел мы брали в основном новые магазины, где персонал еще не врубился что к чему. Шуровали втроем. Заходили, понятно, по одному — иначе запросто засветишься. С интервалом в пару минут. Чистили их по полной. Один раз, в субботу — бухалово намечалось, — вынесли пятнадцать упаковок пива по 24 банки в каждой. Кладешь на ленту мелочевку, пиво на пол и передвигаешь ногой под кассой. Шаркали громко, не стремались. Со скуки ставили рекорды. Сидели у магазина и на спор: кто больше пива на себе спрячет. Я вынес 26 банок, выглядел как киборг. У каждого свой метод. Мы надевали большие куртки и штаны как можно шире, а в них двойные карманы. В такие карманы — грузить и грузить. В одной штанине пятьдесят банок икры помещается.

— Зачем столько икры?

— Товар за полцены брали оптовики. Потом это попадает на Балутский рынок или расходится по частным ларькам. У кого свой ларек, без вопросов возьмет. Их только одно волнует — чтоб не подделка. А когда убедились, что нет, даже заказывали. Ну и мы набивали по пять тележек и выезжали через главный вход.

— А охрана?

— Мы им сразу рога обламывали. Ну, вызовет охранник полицию. Мне влепят штраф, но я быстро эти пятьсот злотых в том же супермаркете верну. А охраннику так пацаны вроют, что больничный на месяц гарантирован. Да еще и работу потеряет. Бывало, что и начальники охраны получали по мордам. До того дошло, что мы с ними договаривались и внаглую прямо у них на глазах товар выносили. Ну и чистили наши супермаркеты в массовом порядке, а потом расширили поле деятельности и стали кататься по стране. Сначала вокруг Лодзи, потом — в Познань, Варшаву, потом даже за границу. А к нам приезжали бригады вроде нашей. Из Щецина, из Познани. Иногда мы из двери, а они в дверь. Мы тогда возвращались поглядеть, как они работают.

— Сколько ты тогда зарабатывал?

— Я не мелочился, брал вещи охренительно дорогие. Алкоголь, косметику. За один заход на 1600 злотых выносил, чистыми выходила половина.

— Наверное, золотое времечко закончилось? В супермаркетах поставили средства защиты.

— Да, навтыкали по семнадцать камер и пищалки на выходе. Но и мы не лыком шиты.

На службе как на острие ножа

Начальник 5-го Балутского отделения полиции считает, что в контактах с молодежью у полицейского два выхода. Один плохой, второй — еще хуже. А действовать приходится сразу, раздумывать некогда. Иногда сорок хулиганов спокойно разойдутся, а бывает, и пятерых хватит, чтоб

раскурочить патрульную машину. Полицейский на службе всегда как на острие ножа, многое зависит от интуиции. Но он тоже человек. Как работать с трудной молодежью, должны учить в полицейских школах. Об уровне этих школ начальник отделения предпочитает умалчивать, у него нет таких полномочий, упаси бог скажет не то.

Зато он консультируется с местным участковым и сообщает:

— С этой молодежью у нас никаких проблем. Младших они не трогают, школьное имущество не крадут, директриса не жалуется. Два раза выбили окно, но оказалось, случайно, просто мяч не туда полетел.

От зарплаты до зарплаты

Спортплощадка на Рысовничей. Ребята обсуждают вчерашнее происшествие. Разве полиция так должна себя вести? Могли ведь сказать: "Мы вернемся через пятнадцать минут — чтоб костра не было". Что им мешало так сделать? У каждого своя гордость. Почему они не дали нам шанса, а специально — мордой об стол? А соседи? Эти-то чего? Им-то что нужно? Боятся, что ли? Из-за того, что по телику все время трубят о каком-то хулиганье из спальных районов? Они ведь тоже живут в таком районе, и все друг друга знают. А может, взрослым тоже скучно? Смотрят свои бразильские сериалы, а потом выглянут в окно и вызывают полицию, чтоб развлечься? Или все из-за бедности? Кругом одна ненависть, люди злые. Или, может, не могут приспособиться к новым временам? Постоянно вспоминают, как было раньше. "Коммунистов долой!" "Коммунизм = фашизм!" "Солидарность!" Смешно.

Москва. Я живу с мамой, отец умер в прошлом году. А я живой. Плюс сестра. Крутимся на одну материну зарплату, сестра безработная. Мне мать даже жалко. На ботинки несчастные по три месяца экономит! В нашем районе многие так живут, многодетные семьи, например.

Толстый. У меня два брата и две сестры. Ну и мать с отцом. Но и нам не по карману, чтобы меня, допустим, отправить куда-нибудь на каникулы. Я бы не прочь — подальше отсюда, надоело.

Лапша. У матери зарплата шестьсот злотых, за квартплату и воду она отдает пятьсот. Чтоб хоть как-то ей помочь, сосед взял меня на работу, но по-черному. Знакомые ребята приторговывают спиртом или на местном рынке продают левые сигареты. Легальную работу можно искать с пяти утра до ночи, и фиг найдешь. А правительству на таких, как мы, плевать.

Джонни. Меня даже в армию не взяли! Я хотел контрактником, а мне говорят, в этом году нет набора. Что я буду делать через несколько лет? Нет у меня будущего. Вступим в Евросоюз, будет еще хуже. В Евросоюзе хорошо только богатым. У кого есть бабки, тот кусок наших Балут и отхватит.

Седой. Я отцу не могу сказать: дай десять злотых на пиво. Он ни гроша не даст — нету у него! Тут люди живут от зарплаты до зарплаты. Если не у кого перехватить до первого, труба. Откуда вчера колбаса была? А пиво? Не сопрешь — не пожрешь.

Кукла. Была бы работа, никто б не воровал. Алкоголизм, наркотики и воровство — все из-за бедности. Это факт. Вот такая фигня.

Манька. Да ладно тебе! Не такие уж мы бедные! Ты не от бедности воруешь, а со скуки. Потому что тогда жизнь кипит и есть о чем рассказать.

Они вдруг начинают яростно спорить. Еще чуть-чуть и начнется драка. Может, так выглядит жизнь в камере? Нервы на пределе, одна искра и уже пожар.

Кукла. Ладно, заткнись! Ты сколько раз тырил в супермаркете? Два. А я хожу как на работу — иначе не прожить. На пиво у тебя всегда есть, ты даже на Пётрковской можешь потусоваться.

Манька. А ты, скажешь, на Пётрковской пива не пил?

Кукла. У тебя дома комп!

Манька. А у тебя велик!

Пёршинг. Эй, кончайте гнилой базар, что про нас люди подумают. Здесь, конечно, не такая нищета, чтоб милостыню просить. На жизнь хватает. А вот на настоящую жизнь — уже нет. Бесят меня эти мажоры, все в фирмé и на тачках. Подошел бы, съездил по морде, он бы вмиг тачку отдал. Мамуля ему подарила путевку на Крит! Да он жизни не нюхал!

Кукла. У него есть выбор, не то что у нас.

Теперь (хотя минуту назад гневно сжимали кулаки) они мирно сидят рядом. Один вынимает из пачки сигарету и высыпает табак на бумажку. Другой добавляет туда щепотку травки. Ловко сворачивает косяк. Надо лизнуть по краю, чтобы бумажка склеилась. Два быстрых движения, и кончики уже скручены, как у фантика. Зажигалка.

Паровоз пошел по кругу. Глубокий вдох, глаза полуприкрыты от кайфа. Выдох. Кто-то комментирует церемонию:

— Мы настроены мирно. Курим себе травку, никого не трогаем. Тут почти все курят, нет, скажете? После травки человек расслабляется, и ничего ему не нужно. Не важно, что будет завтра. Видишь все в розовом цвете. Разреши государство травку, можно за год залатать дыру в бюджете.

Несколько минут тишины. Молчание никого не тяготит. Людям, которые встречаются изо дня в день, разговаривать не обязательно.

Первому стало скучно Сливе:

— Думаете, камеры в нашем супермаркете на самом деле чего-то записывают?

— Вообще не записывают, только смотрят. И внутренней охраны уже нет. Наняли из фирмы секьюрити, а они никого из местных не знают.

— Ну мы и гребем по полной!

— Угадайте, кто у них шеф. Мексиканец! Вот уж кто воровал, так воровал! Больше всех. Помните? Перед Рождеством дал нам список, что ему вынести из магазина.

— Ага! Я ему еще для крестницы спер здоровущую пластмассовую машину.

— Мексиканца надо окоротить. Сперва для себя брать, а уж потом ему. И не все, что хочет, а половину.

— А Габриеля, охранника, помните? Молодой такой, рябой весь. Посадили его. Он из магазина сейф на поддоне вывез.

— А меня больше всех бесил Петух. Ну тот, жирный. Просто жиртрест. Охраняет он, видите ли! Из кожи вон лез, следил, шпионил. На водку под этикетки датчики клеил. В один миг вылетел с работы. Своим же воровать мешал. Вот за честность его и уволили.

Кто отменил работу?

У Люцины, бабушки Казановы, в гостях подружка Халина. Обе когда-то работали на ткацкой фабрике, у станков. Обе давно на пенсии. Сидят в зале трехкомнатной квартиры и обсуждают современную молодежь. Отсюда до спортплощадки на Рысовничей метров двести.

Халина. В наше время молодежь была другая! Исполнилось 18 лет, не хочешь дальше учиться, пожалуйста, иди работать. А теперь баклуши бьют.

Бабушка защищает молодежь — была бы сейчас работа, они бы тоже не болтались у магазинов.

Халина. А куда она делась? Кто отменил работу? Кто удумал вернуть довоенные порядки? До войны моя мама работала три дня в неделю, а три — сидела дома. И теперь опять так. Капитализм портит людей. Я этих молодых боюсь! В парке бардак, вместо малышей на качелях взрослые парни. Только пиво лакают, и это называется "развлечение". Милиции на них нет! Звони, не звони, все равно не приедут. У меня внучке 19 лет, так она по вечерам на улицу не выходит, боится.

— В собственном районе? А чего ей тут бояться? — спрашивает бабушка Люцина.

— Иии... а сколько раз среди бела дня у женщин сумочки вырывали? И у меня квартиру обокрали, решетки на окнах подпилили. А кто? Соседи, эти — со второго этажа, которые не работают. Уверена, что они!

— Я на своих соседей не жалуюсь.

— Ладно тебе! Раньше лучше было. А сейчас? Хочешь, чтобы внуки образование получили и хорошо жили? Плати!

— Неправда, Халина. Тот, кто хочет учиться, будут у него деньги или нет, все равно образование получит. Конечно, каждый хотел бы жить получше, но ведь надо на эту лучшую жизнь заработать.

— А вот послушай, что я тебе скажу. Дети капиталистов, фабрикантов, внуки ихние получили бесплатное образование. А теперь думают: зачем мы будем кому-то что-то давать бесплатно? Нам ведь нужна кухарка, прачка, уборщица. Зачем ребенку рабочего высшее образование? Лучше он будет работать на нас.

На каждом шагу ломбард

Улица Пётрковская — это уже Европа: самые крутые машины, роскошные рестораны, витрины с дорогой бижутерией. Шик и блеск.

А на Балутах пока еще Польша. Маленькие магазинчики, где можно купить в долг, и пластмассовые вилки в барах. Старики играют в карты на скамейке под деревом, женщины несут помидоры с садовых участков, останавливаются у детской площадки поболтать. На каждом шагу ломбард. Огромное количество парикмахерских с новенькой вывеской "Солярий". Вместо отпуска и каникул — искусственный загар. Вместо клуба — раздолбанный диван на спортплощадке.

В самом центре микрорайона — супермаркет. Яркий, с кондиционерами.

Ребята не знают, кто владелец этой сети магазинов. Датчане? Голландцы? Французы? Неважно. Главное, не поляки. Иностранный капитал.

Директор супермаркета занят. Советует обратиться к начальнику охраны. Из глубины магазина выходит крупный мужчина. Судя по виду, тот самый знаменитый Мексиканец.

— У вас есть проблемы с местной молодежью?

— Когда-то были. Околачивались тут, шумели, мы даже полицию вызывали. Товар пропадал с полок партиями.

— А сейчас?

— Сейчас мы наняли охрану, я за нее отвечаю. И все в порядке.

— И что показывают переучеты?

— Что кражи прекратились. Пропадает небольшое количество товара. Поштучно.

Здоро́во, Чеслав!

Для Казановы дедушка — самый важный человек.

— Когда-то я хотел поехать в Штаты. Нелегально. Все уже было на мази, но я передумал. Потому что, вернись я в Польшу, меня потом в Штаты не впустили бы. Никогда. А я бы не выдержал там и дня, если б мне позвонили и сказали, что дедушка плохо себя чувствует. Я хочу быть с ним до конца. Это отец моей матери. Он классный.

Дедушку зовут Чеслав. 26 лет работал начальником автопарка городских коммунальных служб, ни одного дорожного происшествия. Живет в многоэтажке, квартиру получил при Гереке. Родился на Балутах.

— Ни за что не поверю, что кто-то с Балут может быть плохим человеком. Это же наша кровь. Надо знать язык Балут, здесь не так говорят, как везде, ну и места знать здешние. И историю фабриканта Познанского. И киркут, еврейское кладбище. Ну, не могу я складно сказать. Образование не то, несколько классов, но красиво!..

— А вы помните евреев, которые жили на Балутах?

— Соседка их прятала. Это было на Францисканской, 6о. Я, еще маленький совсем, сидел рядом с мамой. А тут сирены, жандармы. В парадных в дверях были тогда такие окошечки. И через это окошечко жандарм застрелил женщину, я, малыш еще, смотрю — упала. Евреи должны еще спасибо полякам сказать, сколько их тут спасли. А Квасневский этот меня бесит. Просить прощения у евреев? Ну за что? Теперь еще вернуть им все, что до войны было ихнее, а пол-Польши и так уже распродано. Кто бы мог подумать, что фабрика Мархлевского разорится, что завод Ленина разорится? Адское пекло устроили! Человек, конечно, должен уметь прощать. На киркут надо сходить, можно даму пригласить, посмотреть, какие мастера когда-то были, какие красивые надписи. И видно, что кто-то специально это разбил, прямо как будто молотом. Сопляки, небось. Ну разве это люди?

— Почему молодежь на Балутах так испортилась?

— Не только на Балутах. На Пётрковской красивую такую плитку положили. Я смотрю, сопляки на нее плюют. Ну, твою мать, они плюют, и никто им ничего не скажет, никому дела нет. А эти их бейсбольные пал-

ки. Зачем? Кулаки уже не годятся? Можно драться, пока противник не упадет. На Балутах так было всегда. А они теперь лежачего ногами!

— А что может их изменить?

— Спорт многое меняет, это точно. Вот если б их на беговые дорожки, в спортзалы. Но не хватает доброй воли и соответствующей организации. И работы: чтоб окончил школу и было на что жить. Потому как человек, пока молодой, хочет девушку на дискотеку пригласить. Эх, какое это удовольствие — поплясать! Я вот смотрю на внука, а он спрашивает: "Деда, а у тебя десятка найдется?" Ну и у меня нету, и так мне обидно. Я всегда был солидарный. Я бы хотел, чтобы между людьми было чувство солидарности. Раньше, при коммунизме, хоть путевки давали, дочка всегда на каникулы куда-нибудь ездила. А теперешние коммунисты думают, что мы темные. Ну и полетит этот нынешний премьер-министр, этот слащавый комуняка Миллер к ебени матери!

— А много времени вы проводите с внуком?

— Ох, сейчас распла́чусь. Да он у меня свет в окошке. Что тут говорить. На первой своей фотографии лежит в пеленках, а я рядом, с его соской во рту. Я в техникум ходил, где он в футбол начал играть и первый раз коленки разбил. Я его очень, очень люблю, и всё. У него глаза мои. И видит он все, как я. Моя кровь, и играет хорошо.

Казанова. Если зимой нам негде выпить, мы — к деду.

Дедушка. У моего внучка друзья — хорошие ребята. Моя отдушина, умеют человека уважить. У меня с ними полное понимание. Я не боюсь, что выйду на улицу, а он меня ударит, сопляк какой-нибудь. Иду и слышу только: "Привет, дед! Здоро́во, Чеслав!" И я не обижаюсь. Для меня — лучше не придумаешь. Молодежь эта — моя радость, мне нравится, что они не шпана последняя. С огоньком ребята, и музыка у них своя. Знают, что рассчитывать могут только на себя. Шваль всякая только и ждет, чтоб кого-нибудь обокрасть. А эти, если денег нет, чтобы развлечься, идут домой и не нарываются.

— Но в супермаркете они ведь воруют.

— Ну, не знаю, я ничего такого не видел.

Казанова. Деда знает, кто настоящие воры.

Дедушка. Правду говорит. Только что́ из магазина можно украсть? Ничего, там теперь эти пищалки пищат.

Там был сад

На спортплощадке техникума восьмиклассник Казанова прибился к старшим. Так он их называет. Они приглядели себе это место, а потом пригрели и ребят помладше. Старшие учили их законам Балут. Убийство, изнасилование и твердые наркотики — плохо. Женщина — это святое, у женщин воровать нельзя. Надо знать свое место. Выскочки получали по мозгам.

Теперь тут Казанова за старшего и воспитывает молодежь. Очень за них переживает. Самый страшный враг — героин. Особенно те, что побогаче, влипают. Каждый думает, что он герой и наркоманом не станет. А через полгода продает последние джинсы, воет от ломки под домом дилера, отбирает у детей на улице плееры и мобильники.

Тусовка Казановы распалась именно из-за героина.

— Это дерьмо так распространяется — через несколько лет тут будет апокалипсис. Поэтому я хочу уехать. Женюсь ведь когда-нибудь на красивой и умной, будут у нас дети. Как их тогда на этих наших Балутах воспитывать?

— Наши Балуты, наш маркет, наш бассейн. Ты считаешь все это своим?

— Без вопросов! Живу здесь с самого рождения, и каждый новый день приносит что-то новое. В бассейн я тоже хожу уже много лет.

— Нелегально. Через забор. Или через дырку в ограде.

— Если бы мы стали задумываться, что легально, а что нелегально, нам бы уже давно были кранты. Сто процентов Балут живет нелегально. Бассейн просто наш. Те, кто латает дыры в ограде, работают в нашем бассейне.

— А супермаркет?

— Когда-то его не было. Там был сад. Яблони, груши, тарзанка. Там вся молодежь собиралась. Те, что постарше, в первый раз там попробовали спиртное, настойки всякие, костры жгли. И в один прекрасный день кто-то все это уничтожает. Внезапно пригоняют бульдозеры, роют котлован. Что? Зачем? Никто ничего не знает. Потом уже поставили табличку, что строят супермаркет. Ну и построили! В нашем саду!

— А Польша чья?

— Общая. Всех поляков. Что не еврейская, это точно.

— Когда-то они тоже тут жили. Может, Балуты не только ваши, но и их?

— Если б мне кто-нибудь сказал, что Балуты еврейские, пускай даже это наши, балутские евреи, так я бы ему сразу в рыло, чтоб не порол чушь.

— Ты живешь в собственной свободной стране. Почему же ты воровал?

— Потому что все люди — воры. Каждый что-то украл или еще украдет. Неважно, пацан с Балут, университетский профессор или полицейский. Все знают, что есть воры покруче пацанов. Политики, вот кто гребет по-крупному! На Польшу им наплевать, лишь бы урвать побольше, воруют, как дышат. И это я плохой? Потому что одно пиво из маркета спиздил?

— Тогда почему ты перестал воровать?

— Потому что пообещал матери! Она из-за меня столько раз плакала! Она же все видела. Что я воровал, не жалею, а вот что у матери душа болела... Я бы хотел попросить прощения у своей семьи и у всех, кто меня знает, за все плохое, что сделал.

— Как бы ты хотел жить, если не эмигрируешь из Польши?

— Нормально. Как все. Пока я работаю "по-черному". Что дальше — не знаю. Может, буду вкалывать по восемь часов в день, потом обед, телевизор и прогулка с собакой. Если уж придется в эту тягомотину впрягаться, я бы хотел, чтоб все было законно, чтоб на пенсию стаж тикал, на пособие, если что. Но это сценарий на крайний случай. Конечно, хотелось бы чего поинтереснее, чем подъем в шесть утра. Все так хотят. У меня получится.

Борис Парамонов
Наедине с великаншей

Сартр в русском контексте

Мать, что бежишь ты, как только
тебя я схватить собираюсь,
Чтоб и в жилище Аида, обнявши
друг друга руками,
Оба с тобою могли насладиться мы
горестным плачем?
Иль это призрак послала преславная
Персефонея
Лишь для того, чтоб мое усугубить
великое горе?

Одиссея, Песнь 11[1]

1. *Дитя Гоголя*

У Блока есть статья "Дитя Гоголя", написанная в 1907 году, такая для него важная, что он включил ее в сборник 1919 года "Интеллигенция и революция". То есть это о революции статья, о том, что происходит сейчас, вот в этом девятнадцатом году. Блок видит в революции не "большевиков", а разворачивание мистического сюжета, равно близкого ему и Гоголю, — от Гоголя и пошедшего сюжета.

Что такое *дитя Гоголя?* Это сон, Гоголю приснившийся, — сон о России, долженствующей родиться, которую он сам родит, Гоголь. Просветленная, вознесенная на платоновские небеса Россия, *русская идея*, как стали говорить. "Русь! Чего ж ты хочешь от меня?" — на эти вечно призывные слова Блок отвечает:

> Чего она хочет? — Родиться, быть. Какая связь между ним и ею? — Связь творца с творением, матери с ребенком.

Русская литература, таким образом, — осуществление в самом ее процессе этого рождения вечной, идеальной России. Русская литература — это и есть "русская идея", идеальная, вечная Россия, памятник тверже меди и превыше пирамид. Это не Россия рожает нас во плоти, а мы ее рождаем в духе. "О, Дева-Мать, дочь собственного Сына!" — вот русская мистерия.

Блокова статья о Гоголе — пример "лирической дерзости" высшего порядка, парадоксального выворачивания наизнанку реального процесса русской истории и сюжетов русской литературы. Это гениально, это "Достоевский": взять и сказать "белое!" — на черное. Не оценки имею в виду, а тотальную обращенность, "вверх тормашки" Достоевского же. Все надо понимать наоборот — единственно безошибочная гносеология. Ибо подлинный сюжет, если и не всей русской литературы, то уж Гоголя и Блока точно, — это неспособность русского человека родиться, отделиться от земли, выйти на свет из родовых каналов России.

А о чем же еще написан "Вий"?

© Борис Парамонов, 2009
1. Перевод В. Вересаева.

Впрочем, для людей русского "религиозно-культурного ренессанса" главной вещью Гоголя была "Страшная месть". Достаточно посмотреть, какую пляску устроил вокруг нее Андрей Белый. Это стоит цитации:

Пришел из стран заморских пан, назвавшийся отцом твоим, Катерина, – казак в красном жупане; пришел и потянул из фляжки черную воду, и вот стали говорить в народе, будто колдун опять показался в этих местах. <...>

Пани Катерина, безумная, что завертелась бесцельно в степи, одна, когда муж твой лежит неотмщенный, простреленный на зеленых лугах? <...> Эй, безумная, ну чего ты пляшешь, когда дитя твое, твоя будущность – задушена?..

Но нет, еще есть время, сонная пани: еще жив твой муж, еще дитя твое – твоя будущность – не погибло. <...> Россия, проснись: ты не пани Катерина – чего там в прятки играть! Ведь душа твоя Мировая. Верни себе Душу, над которой надмевается чудовище в красном жупане: проснись, и даны тебе будут крылья большого орла, чтоб спасаться от страшного пана, называющего себя твоим отцом.

Не отец он тебе, казак в красном жупане, а оборотень – Змей Горыныч, собирающийся похитить тебя и дитя твое пожрать. (*Луг зеленый*)

В сущности этот текст повторяет Блок в "Дитяти Гоголя" – и не текст даже, а воспроизводит общую интуицию тогдашних русских. Главная тема – заневестившаяся Россия, не могущая найти любимого мужа и отдающаяся иноземным насильникам ("черная вода" у колдуна в фляжке – кофе, как выяснил позднее сам А. Белый). То есть потребно обретение "светлого мужеского начала" – в себе: вот русская программа. Когда из-под советских обломков выкопали "русский ренессанс", эта мысль стала с особенной эмфазой воспроизводиться всеми более или менее начитанными совками.

Но ведь можно с этими текстами, с этими интуициями и программами сделать как раз то, что Блок сделал с гоголевским "дитём", – понять "Страшную месть" ровно наоборот. "С точностью до наоборот", как говорят сейчас на новорусском. Что, если вместо пары отец–дочь взять другую: мать–сын?

Тогда очень многое станет на место.

Такие штуки – зашифровка сюжета путем его прямо противоположной репрезентации – очень любит выделывать бессознательное. В данном случае – подсознание великой русской литературы в лице гениев Блока, Гоголя и гоголька А. Белого.

Литература всегда и начинается в подсознании, в "стихии" (любимое слово Блока). Стихия и культура – любимая его пара, и не "бинарная оппозиция", а скорее уж "принцип дополнительности". Но подлинный коррелят стихии – не культура, а гений. В России никогда ничего и не было, кроме стихии и гениев. Культуры не было. (Была – но в маргиналиях, на обочине, в "Петербурге".)

И тогда "инцестуозной связью" (кавычки потому, что метафора) окажутся связанными не Колдун и Катерина, а Мать-Россия и Гоголь. И тогда станет понятен "Вий" уже не в простом своем качестве слова из трех букв. Это – дитя мужеского пола хочет вылезти из Матери-Земли и не может открыть веки. А открывать и не надо – слишком страшно узнать, что ты, оказывается, заключен заживо в гробу, в земле, в Земле, в России.

"В Петербурге жить – словно спать в гробу". Но в Петербурге не так и страшно, этот сон – "сон о мировой культуре", – а вот ты проснись в гробу!

Гоголь проснулся. Его голодовка – это и есть смерть в гробу заживо. Недаром же перевернулся: самый страшный русский сюжет.

Да ведь и Блока смерть была чем-то вроде этого.

Жуткая жизнь, когда спастись – всего-навсего в Финляндию выехать, за Белоостров. Эта Фин-

ляндия, которую Россия так и не смогла слопать, — какая-то издевка над русскими, какая-то белая (?) магия.

Посмотрим, как русско-материнская тема разворачивается у Блока. Материала тут более чем довольно. "Сын не забыл родную мать: сын возвратился умирать" — такие сюжеты постоянны у Блока. Тема преследует его всегда и везде — а в Италии не всего ли сильнее и яснее всего?

Великий шедевр Блока "Итальянские стихи" ("вторично меня прославившие") почти все — вокруг темы обретенной и, так сказать, преодоленной Матери. Италия — та материнская утроба, в которую *готов* вернуться Блок. "Сознательно" готов. "Бессознательно" — он из этой утробы и не вылезал: из российской, из России. "Итальянские стихи" — как бы возвращение на родину — "родину моей души" (Гоголь о Риме). Италия — преодоление неправедной, "инцестуозной" связи с матерью. Великое искусство в том, как этот "мотив инцеста" сохраняется в "Итальянских стихах". Всяческая сублимация ведет к вящему богохульству, утонченнейшему кощунству. Мать сублимируется в Приснодеву, а сын — в Младенца Христа, и именно в такой тональности начинает звучать пушкинский "Рыцарь бедный". Сквозной мотив "Итальянских стихов" — оттуда: "Не путем-де волочился / Он за матушкой Христа". Но поэт и сам — "Христос", и непотребные страсти сына находят извечное наказание (голова Иоанна Крестителя на блюде во второй "Венеции"). "Дева-Мать" становится если не дочерью, то женой собственного сына: "перевод из Данте".

В "Благовещении" и особенно в стихотворении "Глаза, опущенные скромно..." эта тема особенно заявляет о себе, стремится чуть ли не к прямоговорению. В Сиене даже церковные колокольни фаллически пронзают небо, а коварные Мадонны щурят длинные глаза; даже девушка из Сполето ("Счастья не требую, ласки не надо") превращается походя в "Марию", а Галла-Плакида ("О, Галла! Страстию к тебе / Всегда взволнован и встревожен"), сообщает сам Блок в примечаниях к первопубликации, была "сестрой, супругой и матерью римских императоров". Это всё — "означающие", а первоначальное означаемое только одно — мать сыра земля.

Это то же самое, что "О, Русь моя! Жена моя!"

Когда Блоку говорили, что "Благовещение" сильно напоминает "Гавриилиаду", он отвечал, что без "Балаганчика" не написал бы и "Куликова поля". Но "Гавриилиада" — это детский лепет по сравнению со скрытой темой "Итальянских стихов": инцест, вознесенный на небо. И в этом качестве, натурально, оправданный. А как же еще? На что другое "молнии искусства"?

Но последнее, в сущности, стихотворение цикла — "Успение", то есть смерть Богородицы. Блок "матери" мстит. Но так, что и сам умереть — "погибнуть" — готов раньше всех. Эта мистерия будет воспроизведена потом в "Двенадцати". Там ведь не Катька убивается, а Мать-Россия. Блок ее предает вместе с *Христом* — предает *Христом*: творительный падеж, падёж. Христос "Двенадцати" — автопортрет Блока: инцестуозного Христа, ушедшего к разбойникам.

> В черное небо Италии
> Черной душою гляжусь.

В Италии Блок спустился в подземелье, заживо лег в гоголевскую могилу, но так, что она предстала небом: "Призрак Рима и Monte Luca".

Сюжет последней мифической глубины преображен "Итальянскими стихами" в высочайшее искусство, само обратившееся в миф "Двенадцати". В "Двенадцати" имеет место эффект, описанный Гоголем в "Портрете": Блок собственную жизнь вовлек в искусство. И тогда жизнь обратилась в гениальную

смерть. Сюжет "Сын Человеческий не знает, / Где преклонить ему главу" у Блока имеет единственное композиционное решение: "Пиета". Эта смерть, а не "Двенадцать" — последний шедевр Блока. И если в случае Блока можно говорить о "гибели", то за нею следовало спасение. Пречистая впустила его в "Царство Вечно".

2. *Мать Бакунина*

Гибель без спасения — это уже тема как бы и не русская, во всяком случае не только русская. Это "Гитлер". Правда, в России был свой Гитлер. И это даже не Сталин, а нечто из жизни интеллигенции, даже и бытовое — Мишель Бакунин, увалень, лежебока, "скопец и онанист" (см. письма Белинского): проект Гитлера, реализовавшийся даже и не в Сталине, а в общем сюжете большевицкой революции. Сам Бакунин, конечно, произвел больше шума, чем прямого вреда, разве что написал "Катехизис революционера". Дело не в "литературном наследии" Бакунина, не в программах "бакунизма" против мирного "лавризма", даже не в апелляции к разбойничьей Руси — а в негативной энергии, аккумулированной в Бакунине. Это энергия матрицида. Вот одно из его писем сестрам:

> Мать же нашу я проклинаю, для нее в моей душе нет места другим чувствам, кроме ненависти и самого глубокого, решительного презрения. <...> Не называйте меня жестокосердым; пора выйти нам из сферы фантастической, бессильной чувствительности, пора становиться людьми и быть столь же постоянными и сильными в ненависти, как и в самой любви; не прощение, но неумолимая война нашим врагам, потому что они враги всего человеческого в нас — враги нашего достоинства, нашей свободы.

Фрейд говорил: когда потрясено сознание, бессознательное умолкает. Русское сознание потрясено в XX веке — вырвавшимися на волю демонами бессознательного. Что толку, если мы увидим в большевицкой революции реализацию страхов Гоголя и Блока? В имени "Мертвых душ" — метафору даром растраченного семени? Ортодоксальные евреи страшат ребят такой картинкой того света ("будешь брошен в котел с кипящим твоим семенем"). В литературе — да и в религии — это "не страшно": все эти метафоры разве что именно детей пугать. Но в России метафоры реализовались. Литература — это "так": пустяк, слова на бумаге, "сублимация". Но русская история — десублимация русской литературы. Да еще и с заездом в Германию, с "экспортом революции": Бакунин в Дрездене, призывающий сжечь "Сикстинскую Мадонну".

Это уж точно не Блок.

Эрих Фромм в "Анатомии человеческой деструктивности" разобрал случай Гитлера, увидев в нем "негативное инцестуозное влечение" — не предпосылку и основание любви как таковой, а тягу к гибели совместно с матерью, убийство матери:

> [*мать*] представляет собой символ Земли, родины, крови, расы, нации, истока, корня, первопричины... Но одновременно мать — это символ хаоса и смерти; она несет не жизнь, а смерть, ее объятия смертельны, ее лоно — могила. Тяга к такой Матери-смерти не может быть влечением любви... [Это] патологическое явление, которое встречается там, где развитие нормальных инцестуозных связей оказалось каким-то образом нарушенным.

Каким образом? Висконти в "Гибели богов", явно используя эту схему, расставил точки над *i*: у него носитель негативного инцеста, "холодный нарцисс" Фромма, реально совокупляется с матерью. При этом он — из Достоевского: проделывает ставрогинскую штуку с девочкой. Итальянец решил объединить таинственный опыт двух тоталитарных стран, и этот поворот, понача-

лу кажущийся какой-то собственной авторской перверсией, в конце концов как-то тяжело (не на манер ли "Двенадцати"?) убеждает. Инцест с матерью — "естественный" источник ненависти к ней, такая ненависть не может самозародиться в нейтральных глубинах бессознательного.

Гитлер Германию убил, однако она через десять лет восстала из пепла. Не то в России. Бабель: "Слонов у нас нет, нам лошадку подай на вечную муку!" Лошадка эта — из Достоевского, из сна Раскольникова, — да и вообще "Россия": русские "сыновья", похоже, ненавидят свою мать. Злая сила русских — от ненависти к собственной земле, из вечной тяги выйти наружу. Отсюда русская агрессия в мире, в мир — на волю, на воздух, на мелководье хотя бы каботажного плавания. Русский "империализм" — это просто желание русских убежать от себя, от России. Поднимите мне веки! Но сначала — отряхните от земли, стряхните землю. Отрясите с ног этот прах. "Окно в Европу" — как раз то, что надо: нормальный "родовой канал", но русского Пантагрюэля, залежавшегося в Гаргамелле, в это окошко не выпихнешь: слишком велик. "Хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец" ("Страшная месть").

В целостности, как известно, сторон не бывает, нет правого и левого, правого и виноватого, о чем и говорил Егор Федорович, а Виссарион Григорьевич протестовал. Протест стоил обиды: Белинский породил Ивана Карамазова, не принимающего Божьего мира. Зато Алеша его принимает, со всеми клейкими листочками. Но *как* принимает?

> Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю.
>
> Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков. "Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои..." — прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и "не стыдился исступления сего".

Текст, строго говоря, "плохой", "не художественный". Не "Итальянские стихи". Но смысловое его наполнение огромно, и как раз своей нехудожественностью, "прямоговорением" этот фрагмент интересен: инцест мирового масштаба, совокупление с Матерью-Землей. "Богородица — мать-сыра земля". Это мифическая фантазия, древнейшее содержание коллективного бессознательного, материал которого, по Юнгу, ближе всего подступает к поверхности сознания у гения или безумца.

Трудно, конечно, увидеть продолжателя Достоевского во Вл. Сорокине, но в одном из романов последнего есть сюжет, развивающий тему Алешиной любви к Земле: в "Голубом сале" действуют некие *землеёбы*, носящие официальный титул "деток". В отличие от соответствующей сцены "Братьев Карамазовых" тут никакой идеологии нет, но есть потребная художественная игра с сюжетом. Можно ли Алешу представить "землеёбом"? Абсурд? Но с другой стороны — а не было ли у нас Блока в ипостаси "Двенадцати"? Будущий революционер Алеша — это не просто "Каляев", а Каляев плюс Блок. Погружение в Землю "сублимируется" в ее уничтожение, в космическую ненависть: умереть, но вместе.

В 1906 году Блок написал статью о Бакунине:

> Тридцать лет прошло со смерти "апостола анархии" — Бакунина. Тридцать лет шеренга чиновников в черных сюртуках старалась заслонить от наших взоров тот костер, на котором сам он сжег свою жизнь. Костер был сложен из сырых поленьев, проплывших по много-

водным русским рекам; трещали и плакали поленья, и дым шел коромыслом; наконец взвился огонь, и чиновники сами заплакали, стали плясать и корчиться; греть нечего, остались только кожа да кости, да и сгореть боятся. Чиновники плюются и корчатся, а мы читаем Бакунина и слушаем свист огня.

Зинаида Гиппиус по этому поводу сожалела о детскости Блока, берущегося писать статьи, бросающегося от Девушки розовой калитки к Бакунину: как будто не понимала, что детскость иногда (не всегда ли?) необходимая составляющая гениальности. Она даже не сумела оценить несомненную красоту этого текста. Но здесь и пророчество: это весь будущий Блок, вся его программа и осуществление — и пресловутый "снежный костер" (дровато сырые!), и "Двенадцать", и Пушкинская речь. Огонь разгорелся и сжег библиотеку в усадьбе.

Концовка статьи: "имя ему — огонь" ("сырым дровам" Бакунина). Но "дети", "детское" трегубо необходимы: ведь они-то и играют с огнем. И в этом поэзия, которую не видит "Спенсер" и гимназические учителя, но видит Розанов — сам, между прочим, гимназический учитель.

Хороши были учителя в России!

Однако немецким языкам какникак обучили, Гегеля Бакунин прочитал. Убежав от "свиньи-матушки" (которая потом слопает Блока), написал "Реакцию в Германии": страсть к разрушению — творческая страсть. В Париже научил Прудона экономическую эволюцию представить в схеме диалектического процесса, чем и вызвал пожизненную ненависть Маркса к обоим. И как бы ни звал разбойников на царя, что к добру, известно, не привело, но одна негативная заслуга за Мишелем есть: предостерегал против Маркса — засечет Россию немец, кнуто-германская империя. Поначалу так и шло, но вышло — наоборот: самого немца загнали кнутом в ГДР, в состав империи, которая больше даже "панславянской федерации" (мечта Мишеля). Сами вымуштровали немца, и лучше, чем какой-нибудь профессор Унрат.

Самое интересное — почему этот русский растяпа, "ленивый и сырой, с припухшими, как у собаки, глазами, что часто бывает у русских дворян" (Блок), через сто лет после своей смерти так прозвучал в Европе? Его, конечно, можно подверстать к модным философиям, но такая связь отнюдь не украшает таковые. Бакунин, в нынешней терминологии, умел разглядеть насильственность любого дискурса, прозревал некий первоначальный хаос, попытка преодоления которого — любая философия, да и любая жизнь. Последняя правда — это небытие ("бытие-в-себе"). А небытие, хаос — это и есть анархия. Бакунин — человек, в котором Эрос был побежден Танатосом. В этом его диаболическая глубина, хотя внешне, на психологическом уровне, он казался скорее добродушным, незлобивым человеком, разве что сплетником и должником, не возвращавшим взятое (что опять же "по человечеству" даже и симпатично).

Есть книга американца Артура Менделла "Бакунин: корни апокалипсиса": анархист Бакунин, говорит автор, отнюдь не был апостолом свободы, его анархизм — это невротическая черта человека, боящегося ответственности и не способного к какому-либо позитивному жизненному усилию; радикальные слова и нежелание отвечать за последствия своей риторики — конститутивная черта всех интеллигентов, западных включая, настаивает американец. Получается, что "дьявол", "умный дух небытия" — всего-навсего интеллигентный невротик, в "диаболическом" открывается "человеческое, слишком человеческое". Нужна очень большая историческая культура (которой и в Германии не было, не говоря о России), чтобы бакунинские поджоги оказались только игрой, и преимущественно "детской". "Молотов-коктейль" — это не серьезно,

это не Сталин. Май 1968-го во Франции по истечении времени оказался фильмом Бертолуччи "Сновидцы". Приехали родители и выписали чек деткам, насосавшимся веселящего газа: настоящий конец Великой революции. Но не в детках-наркоманах этот результат, исход, точка над *i*, а у Бертолуччи: то, что было реальным террором ("ужасом"), превратилось в игру, в "поэзии блуждающие сны". Это и есть культура: Бертолуччи как ответ Робеспьеру, Томас Манн — Гитлеру (или Ницше?). Кому же отвечает Сорокин — действительно Достоевскому?

3. *Мадам Манси*

Бакунин в парижском Мае — облегченный Руссо. Не Жан-Жака в самом же деле было вспоминать, когда с его поры много чего произошло: например, "русский эксперимент". Для актуальной репрезентации такового советский Маркс был уже и неудобен — потому и вылез на свет давний его оппонент Бакунин. Это — для школьного возраста. Но во Франции не переводятся люди серьезно начитанные, прошедшие "Эколь нормаль" — школу для взрослых, так сказать. И они принялись искать *настоящего* Маркса.

Понятно, о каком книгочее мы будем говорить, — о Сартре. Но для связи идей нужно в нем указать на "детское", "сыновнее". И такая возможность у нас есть: Жан Поль Сартр — автор фундаментального труда о материнстве и младенчестве, он называется "Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии".

"Бытие" — то, что люди догуссерлианской эпохи назвали бы "природой" и что Сартр, вслед за Гегелем, называет "бытие-в-себе", то есть вне человеческой рефлексии, "непосредственное", "чистое бытие", как сказал бы тот же Гегель. "Ничто" — это сознание, по-старинному "дух", рефлексия, начинающаяся с вопрошания бытия, каковое (вопрошание) тем самым дает возможность его, бытия, отрицания. "Всякое определение есть отрицание" (еще Спиноза). Сартр согласно повторяет формулировку Гегеля: дух есть отрицательное. У Гегеля чистое, то есть лишенное определений, бытие равно ничто, что в синтезе дает идею становления (развития), и отсюда Гегель начинает свое диалектическое развертывание. Но Сартр потому и гуссерлианец, а не гегельянец, что ему недостаточно диалектического выведения Ничто, он дает его феноменологическое выведение, и тогда бытие как "бытие-в-себе" оказывается предшествующим "ничто", то есть сознанию. Впрочем, Сартр указывает на ограниченность как Гегеля, у которого сознание делается тотальностью бытия, так и Гуссерля, склонного к редукции субстанциальных содержаний опыта. Человек как бытие есть уже бытие-для-себя, носитель сознания, и тогда выходит: человек — это бытие, посредством которого Ничто входит в мир; Ничто — не снаружи бытия и не предшествует ему, а внутри него, "как червь внутри гнилого яблока". Такое уничижительное сравнение в духе Сартра, в другом месте называющего бытие "свалкой, громоздящейся до неба". Описание этого Ничто, то есть структур и ситуаций сознания, есть содержание феноменологической онтологии Сартра. О самом Бытии (бытии-в-себе) достаточно знать следующее:

> ...Бытие несотворимо. Но отсюда нельзя заключить, что бытие себя творит. Это предполагало бы, что оно предшествует себе. Бытие не может быть causa sui наподобие сознания. Бытие есть само по себе. Это означает, что оно — не пассивность и не активность. И то и иное — понятия человеческие и обозначают способы и орудия человеческого поведения. <...> Густота в себе бытия находится по ту сторону активного и пассивного. Бытие также — по ту сторону отрицания и утверждения. <...> Бытие не прозрачно для самого себя как раз по-

тому, что оно наполнено собой. <...> Бытие есть то, что оно есть. <...> У бытия-в-себе вовсе нет внутри, которое противопоставлялось бы некоторому вне и которое было бы аналогично суждению, сознанию, закону. У в-себе-бытия нет сокровенного: оно сплошное. <...> Бытие изолировано в своем бытии. <...> Оно не поддерживает никаких отношений с тем, что не оно. Переходы, события, все то, что позволяет сказать, что бытие еще не есть, — во всем этом ему в принципе отказано. Так как бытие есть бытие становления, оно находится по ту сторону становления. Оно есть то, что оно есть. <...> Оно не скрывает никакого отрицания. Оно — полная положительность. Оно, стало быть, не знает изменчивости. Оно никогда не полагает себя в качестве иного. <...> Оно не может поддерживать никакого отношения с иным. Оно само безгранично и исчерпывается бытием. С этой точки зрения, оно в принципе ускользает от времени. Оно есть, и, когда оно обваливается, нельзя даже сказать, что его больше нет, или, по крайней мере, сознание может его сознавать как уже не сущее, потому что оно во времени. Но само бытие не существует как недостаток там, где оно было: полнота позитивности бытия вновь образуется на месте обвала[1].

Приключения сознания, описываемые Сартром, раскрывают обреченность человека именно потому, что он свободен. Точнее — сознание свободно, но тотальность человека не определяется исключительно сознанием, он пребывает в мире, в "ситуации", и всякое сознание тем самым — разорванное сознание, сознание и есть разрыв, "зазор". Человек старается преодолеть этот разрыв, самоотчуждаясь в "вещь" — в то или иное объективированное бывание. Это самообман, "дурная вера", отчуждение, "Дас Ман" Хайдеггера ("Люди", как это названо в русском переводе: "быть, как люди"). Человек хочет быть "бытием", но обречен на "существование" — его экзистенция предшествует сущности, "эссенции". Сущность — это прошлое человека, говорит Сартр, воспользовавшись немецкоязычной игрой слов у Гегеля; человек развернут в будущее, то есть как бы "детерминирован свободой", "не совпадает с собой" (расхожая формула экзистенциализма), фундаментально свободен. Но эта свобода возникает в поле диалектической (или феноменологической, что в данном случае одно и то же) спекуляции, ее нельзя постулировать как реальность повседневного существования. Эволюция Сартровой философии, сколько она была возможна, развернулась позднее в отыскании социальных коррелятов этой изначальной человеческой ситуации. В онтологическом трактате свободно у Сартра сознание, а не человек "в его тотальности". "Бытие и ничто" кончается предельно мрачной нотой: коли фундаментальный проект человека — быть Богом, то есть начинать бытие из себя, с себя, быть "кауза суи", и коли это невозможно, то и все другие начинания ("проекты") человека обречены на неудачу: "человек — это бесплодная страсть".

Философия, как показал Ницше, не может быть "объективным" знанием или незаинтересованным поиском "истины". Это всегда — страсть, биография, личный опыт, "экзистенция", как стали говорить позднее, когда уже самого Ницше утвердили в качестве одного из основателей экзистенциальной философии. Даже Спиноза, говоривший, что цель философии не радоваться, не смеяться, не плакать, а понимать, и бывший, говорят, человеком исключительной нравственной чистоты, любил наблюдать драку пауков в банке. Найти таких пауков у Сартра не представляется трудным, и почти буквально, ибо один из жупелов самого Сартра — что-то вроде пауков: крабы.

Вот как появляются они в "Тошноте":

Поужинал в "Приюте путейцев". Хозяйка оказалась на месте, пришлось с

1. Эффектным дополнением к этому выступает формула: "Мир возникает в обвале бытия сознанием".

ней переспать; но это была с моей стороны чистейшая любезность. Она мне чем-то неприятна: слишком белая и пахнет новорожденным. В порыве страсти она прижимала мою голову к своей груди — она считает, что так надо. Мои пальцы вяло копошились под одеялом, потом рука отяжелела... скользнула вдоль бедра хозяйки, и я вдруг увидел маленький сад, заросший приземистыми широкими деревьями, а с них свисали огромные, покрытые волосками листья. И всюду кишели муравьи, сороконожки и моль. Были тут животные еще более отвратительные: тело их состояло из ломтика поджаренного хлеба — из таких делают канапе с голубями, двигались они боком, переступая на крабьих клешнях. Листья были черным-черны от этих насекомых. Позади кактусов и опунций стоящая в городском парке Велледа указывала пальцем на свои половые органы. "Этот сад воняет блевотиной!" — крикнул я.

— Я не хотела вас будить, — сказала хозяйка, — но складка простыни натирает мне ягодицы, и потом, мне пора сойти вниз, обслужить клиентов с парижского поезда.

Велледа — женское божество из германской мифологии, но это также насекомое, мотылек-сороконожка. "Крабы" Сартра, фигурирующие и в других его сочинениях как устрашающий образ раскрывающегося ада, демонстрируют свой сексуальный генезис, связь с женскими гениталиями. Важен в приведенном отрывке также городской парк, в котором позднее Раконтену, герою "Тошноты", явится его негативное откровение. Не будем приводить это слишком зацитированное место, возьмем другое, говорящее в очередной раз о женском теле как подлинном "месте Бытия" — до сознания, до всего, до Ничто:

Имею право существовать, стало быть, имею право не мыслить — палец поднимается. Неужели я буду... ласкать на расцветшей белизне простыней белую расцветшую плоть, которая тихо клонится навзничь, буду касаться цветущей влаги подмышек, жидкостей, соков, цветения плоти, проникать в чужое существование, в красную слизистую оболочку, в душный, нежный, нежный запах существования и буду чувствовать, что я существую между сладких, влажных губ, слезящихся, как глаза? Мое тело из плоти, плоть живет, плоть копошится, она тихо вращает соки, кремы, эта плоть вращает, вращает мягкую сладкую влагу моей плоти, кровь моей руки, сладкая боль в моей раненой плоти, которую вращают, она идет, я иду, я спасаюсь бегством, я негодяй с израненной плотью, израненный существованием об эти стены.

Связь этого куска с вышеприведенным о совокуплении с хозяйкой "Приюта путейцев" несомненна (маркер — "палец" и "простыня"). Но эта "хозяйка", следует помнить, — некое дурное единство матери и новорожденного. Эти два отрывка наслаиваются один на другой, и неясно, где тут совокупление и где пребывание в материнской утробе. Это и есть образ "бытия-в-себе", в котором возникновение сознания, "когито" — картезианской предпосылки "существования", выделяющегося из довременной утробы бытия, — требует некоей изначальной со- и противопоставленности. Таким образом, обвал Бытия, в котором Ничто порождает мир, происходит как бы в некоем довременном инцесте. Можно даже сказать, что "дорефлективное Эго", открытое Сартром, — метафора этого "инцеста" — неразличимого, но уже смутно сознаваемого, то есть расчленяемого, единства бытия и сознания, матери и ребенка. Рефлексия на него создает отрицание, как деятельность духа, то есть побег из и от бытия-в-себе, рождение "для-себя". "Люди" ("Дас Ман" Хайдеггера) обычно убегают недалеко, в отчуждающие ситуации социальной обыденности, но Сартр убежал дальше, в построение своей философии, должно быть, потому, что импульс отталкивания от "бытия" был сильнее, катастрофически силен.

Понятно, что в гуссерлианской методологии "Бытия и ничто" это рассуждение может предстать не-

корректной натурализацией, но, во-первых, мы совсем не обязаны придерживаться гуссерлианства, а во-вторых, выход за рамки этой методологии суть все первые (и лучшие) художественные произведения Сартра: "Тошнота", почти все рассказы сборника "Стена", пьеса "Мухи". Это не иллюстрации к философии — с каких пор философия требует художественных иллюстраций? — а ее "экзистенциальный" источник, поскольку (еще раз Ницше) всякое, в том числе философское, творчество строится на автобиографическом материале.

Пока Сартр не почувствовал себя социально ангажированным, он писал в своей прозе исключительно об изначальном, первозданном бытии (определения условные — бытие в феноменологии не бывает созданным и не знает начала). Это чрезвычайно трудная художественная задача, и у Сартра можно найти впечатляющие примеры ее решения, причем лучшими нам кажутся, помимо "Тошноты", два рассказа из "Стены" — "Интим" и "Комната". В первом женщина, заведя любовника, не может уйти от мужа-импотента, во втором не хочет уйти от сумасшедшего. Тема обоих рассказов — сосуществование "бытия" и "ничто". Оба эти "мужские" персонажа — образ "бытия-в-себе" (Блок вспомнил бы тут любимое из Шекспира — "пузыри земли"), но героини Сартра не хотят уйти от "бытия", не хотят "родиться", пытаются жить до сознания, "доситуативно", в мире, еще не созданном (=обрушенном) сознанием, вроде того, в котором живет фолкнеровский Бенджи из "Шума и ярости", любимой книги Сартра (у Блока: "полюби эту вечность болот"); и они гонят сознание, выступающее в лице озабоченных родителей или симпатизирующей подруги, то есть в лице "людей" (их лица, однако, — социальные маски). Они хотят жить "вне стен", за стеной, но не столько за стеной смерти (как в первом, давшем название сборнику рассказе), сколько за стеной рождения. Поэтому мать воспринимается враждебным, во всяком случае чуждым персонажем — ее отчуждают, объективируют, подвергают экстериоризации, то есть, в терминах самого Сартра, *неантизируют*.

> Люсьену понравилось воображать себя невидимкой, а потом он взял в привычку подглядывать в замочные скважины, чтобы, мстя за себя, узнать, как ведут себя другие, оставаясь наедине. Он видел, как моется его мать. Она сидела на биде с сонным видом, словно совсем забыв о своем теле и даже лице, потому что думала, что она одна. Губка сама собой двигалась по ее расслабленному телу; движения были ленивые, и казалось, что мать сейчас замрет. Мама намылила небольшую тряпочку и сунула руку между ног. Лицо у нее было посвежевшим, почти печальным, наверняка она думала о чем-то, об учебе Люсьена или о господине Пуанкаре. Но все это время она была этой огромной розовой массой, этим громоздким, усевшимся на фаянсовом биде телом. ("Детство хозяина")

Люсьену хочется быть невидимкой, потому что не хочется существовать в мире объектов — не хочется рождаться или, наоборот, хочется самому стать создателем объектов, их первопричиной, Богом: "фундаментальный проект", осужденный на неудачу. Люсьен может стать только "хозяином" — наследственным владельцем фабрики, или "мужчиной", да и это не фундаментальная характеристика, а маска, имитация, вроде усов.

Не мать рождает человека — человек родится "в духе" (у Сартра в "ничто"): философия Сартра дает поражающую параллель к этому едва ли не основному положению христианства, и общим выступает мотив отталкивания от матери (Матф. 12:46–50, Лк. 8:19–21). Давно замечено, что Сартр, при всем его атеизме и нигилизме, — криптохристианин. Как Христос удаляет "женщину", так Сартр отказывается от матери. А. Белый говорил, что движение по ступеням познания требует последовательного их отбрасывания; Бердяев сказал о нем: его Ло-

гос не имеет отчества. У Сартра Логос не имеет матери, Сартр "выбирает" сиротство. И понятен отсюда шокирующий мотив его сочинений: вражда к матери, вплоть до матрицида. Он пишет пьесу "Мухи". Познающий, идущий к свободе человек — с необходимостью матереубийца, "Клитемнестра" — это "бытие", внутри которого невозможно никакое сознательное движение, мать — это нутро свалки, громоздящейся до неба (хоть и не бывает в бытии наружного и внутреннего). Люсьен в "Детстве хозяина" хочет "плюнуть маме в рот". Предпосылка познания — матереубийство, сознание "ничтожит" мать. В этом смысле "Мухи" — гносеологическая метафора, в которой, конечно, вольно искать эзоповский язык Резистанса или маскировки бессознательного. Сартр вообще отрицал существование бессознательного, и все его убийства — с заранее обдуманными намерениями.

Позднейшая реминисценция "Мух" — в "Словах":

> Брут убивает своего сына, Матео Фальконе — тоже. Стало быть, это принято. Но никто из наших знакомых почему-то к такой мере не прибегал. В Медоне мой дед однажды поссорился с дядей Эмилем, и я слышал, как оба кричали в саду, но дед, по-моему, не выражал намерения убить сына. Интересно, как он относится к детоубийцам? Сам я воздерживался от суждений: лично мне опасность не угрожала, поскольку я был сирота, и эти помпезные кровопролития меня даже забавляли. Однако в рассказе о них я улавливал одобрение, и это меня смущало. Вот, например, Гораций — я с трудом удержался, чтобы не плюнуть на гравюру, где он в шлеме, с обнаженной шпагой в руке гнался за бедной Камиллой. Карл иногда мурлыкал: "Будь ты сто раз богат родней, / А ближе нет, чем брат с сестрой..." Это меня смущало: значит, выпади мне счастье иметь сестру, она была бы мне ближе, чем Анн-Мари?.. Выходит, она считалась бы моей возлюбленной. Слово "возлюбленная" я часто встречал в трагедиях Корнеля. Возлюбленные целуются и дают друг другу клятву спать в одной постели (странная причуда — а почему не в двух стоящих рядом, как мы с матерью?). Больше я ничего не знал, но под лучезарной оболочкой понятия мне чудились какие-то дремучие дебри. Так или иначе, будь у меня сестра, мне не миновать бы кровосмесительных помыслов. У меня была старшая сестра — мать, мне хотелось иметь младшую. И поныне — в 1963 году — из всех родственных уз только родство брата с сестрой трогает меня.

Вот это сопоставление матери с сестрой — соучастие их в преступлении — дано в "Мухах". Плевок в одного из Горациев соотносим с плевком в рот матери. Психоанализ здесь излишен, "избыточен": в том смысле, что не даст никакой новой информации, истина объявлена, провозглашена открытым текстом.

> Завел бы дружбу я
> с соседкой-великаншей
> И льнул к ее ногам,
> как сладострастный кот.

Это — Бодлер, о котором Сартр написал обширное эссе. Революция 1848 года нужна для того, чтобы убить генерала Опика — отчима Бодлера: переживание, совсем не свойственное Сартру, который не знал эдипова соперничества со своим рано умершим отцом и обладал матерью, этой юной великаншей ("Слова"), монопольно. Можно даже сказать, что ее второе замужество, когда она стала мадам Манси, освободило Сартра, в отличие от Бодлера, чувствовавшего себя обделенным.

Тут волей-неволей возникает вопрос о сексуальных особенностях Сартра, ибо нет лучшей "экзистенциальной", персональной иллюстрации или, лучше сказать, телесной манифестации его философии, чем соответствующие его "практики". Здесь имеется его собственное свидетельство, дословно воспроизведенное в книге Симоны де Бовуар "Прощание" (La Ceremonie des adieux), вышедшей на следующий

год после смерти Сартра, в 1981 году.

Бовуар спрашивает: "Вы никогда не сознавали себя (в половом общении) пассивным объектом?"

Никогда. И никогда в качестве объекта, ласкаемого другим. Был зазор между тем, что делал другой в отношении меня, тем, что он давал или брал, — и этот зазор был во мне самом. Я не жалуюсь на свои сексуальные способности, эрекция у меня всегда легкая и быстрая, я совокупляюсь часто, но без большого удовольствия. Я предпочитаю быть в контакте со всем телом партнера, ласкаю в любовном акте все тело, руки, ноги, и это предпочтительней того, что называется половым актом в ограничительном смысле. Мне нравится быть голым в постели с голой женщиной, касаясь и целуя ее, но без того, что обычно считается совокуплением. Другими словами, я мастурбирую женщину, а не совокупляюсь с ней.

Этот зазор — "свобода". В сущности, Сартр асексуален, сексуально пуст, он "уступает" женщине, как Блок в цикле "Черная кровь". Это что-то вроде "негативного инцеста", о котором Э. Фромм писал в связи с Гитлером. В позднейших изданиях "Бегства от свободы" Фромм иллюстрировал некрофилию Гитлера свидетельствами того, как на фронте он любил разглядывать разлагающиеся трупы. Это то же, что корни деревьев для Раконтена в городском саду Бувиля или, в финале "Тошноты", растительность, скрывающая и пожирающая город (отсюда, между прочим, финал "Ста лет одиночества" Маркеса, вместе с инцестом брата и сестры, которые остались одни в погибающем культурном пространстве). Разве что у Сартра, в отличие от Гитлера, все это не сопровождается аффектом ненависти. Вместо ненависти у него холод. "Это была свобода, но свобода, сильно похожая на смерть" ("Тошнота"). Сартр избегает тепла, боится проникновения в "бытие", предпочитает, как кот, ласться к ногам Великанши. Ему каждая женщина предстает такой Великаншей, и, в сущности, он бежит от них, женщина вроде табу, совокупление всегда как бы инцест. Его преследует образ Великой Матери, названной им "бытием-в-себе", он дистанцируется от него, "зазор" у него ледяной: абсолютный нуль, "ничто". Он не способен дать этот архетип в юмористическом преломлении, как Феллини, отсюда холод и страх, фобия краба. Краб у него — вульва, "источник бытия" на картине Курбе. Сартр безлюбовен, безлюб — и даже боится самого себя ("для-себя") едва ли не больше, чем "бытия-в-себе", краба.

Отсюда — его социализм, марксизм, пролетариат Бельвилля, даже совсем уж неподобный Алжир. Он хочет убедить себя — да и окружающих — в том, что он способен что-то полюбить, кому-то сочувствовать, с чем-то "ангажироваться". Но все это мертвый номер, "мертвая петля" и в конечном усмотрении — некое амбивалентное образование: прикровенный побег в то самое "бытие", капитуляция, отказ от свободы. Острый персонализм экзистенциальной установки не хочет отчуждаться в "ситуации", человек, действительно обретший себя экзистенциально, не может ужиться с промежуточными ступенями исторического бывания: нация, государство, культура. Для него как бы "логичнее" провалиться в ночь бытия. Его "возвращение в историю", солидарность с массами, "Алжир" — иллюзия, все та же игра с "бытием", стоянье бездны на краю.

В "Тошноте" под видом характеристики маркиза Рольбона, о котором пытается написать книгу Раконтен, Сартр дал автопортрет:

Дай я себе волю, я бы так ясно его вообразил: под блестящей иронией, жертвой которой пали очень многие, кроется простая, чуть ли не наивная душа. Задумывается он редко, но во всех случаях, повинуясь особому наитию, действует именно так, как следует. В своем плутовстве он искренен, непосредствен, воистину великодушен и так же чистосердечен, как в своей любви к доб-

родетели. Предав своих друзей и благодетелей, он со всей серьезностью обращает свои взоры к происшедшему, чтобы извлечь из него мораль. Он считает, что не имеет никаких прав на других, а другие на него, и дары, которые ему подносит жизнь, не заслужены им, но зато безвозмездны. Он страстно увлекается всем и так же легко ко всему остывает. А все его письма и труды писал вовсе не он – он заказывал их наемному писаке.

Этот наемный писака – сам Сартр после 1945 года: Сартр ангажированный. "Критика диалектического разума", в которой он задумал дать феноменологически выверенную социальную философию, относится к "Бытию и Ничто" так же, как трилогия "Пути свободы" к "Тошноте" и "Стене": явный упадок. В "Критике..." это различат немногие совсем уж изощренные специалисты, да и основной трюк "Критики..." не лишен изящества: найти в социальной реальности аналог первоначального "бытия". Таким аналогом Сартр делает отчуждение. Советские авторы, действительно знавшие Сартра – Мамардашвили, Киссель, Кузнецов, – писали о "Критике диалектического разума" с заметной ухмылкой, и она шла не от требования непременного дистанцирования, а "от души", это чувствуется. Основной ошибкой, можно сказать пороком, самого замысла была идея феноменологической, хотя бы и марксистски окрашенной, социологии: феноменология – это метод, а не реальность, которую потребно изменить в (социальной) практике (Маркс), феноменология "непрактична". Орудуя той или иной методологией, мы не выходим к тотальности бытия и ничего изменить в глубине его, целостно не можем. Методология, налагаемая на социальное бытие как его "истина", дает "тотализацию" только в дурном смысле тоталитарного порабощения, убиения той самой свободы, которую Сартр ищет – или делает вид, что ищет, – в историческом проекте.

В России существует культурный сюжет, дающий некую иронической параллель к Сартру в обоих его – гуссерлианском и марксистском – периодах. Это книга Бахтина о Рабле. Как издавна повелось в России, труд, маскирующий себя литературоведением, на самом деле философский, причем данный в линии экзистенциализма: Бахтин – самостоятельный экзистенциалист; его сильное увлечение Хайдеггером относится, кажется, к поздним годам, когда он уже создал главные свои сочинения. "Коллективное (или гротескное) народное тело" – аналог "бытия" в экзистенциализме:

> Гротескное тело... становящееся тело. Оно никогда не готово, не завершено: оно всегда строится, творится и само строит и творит другое тело; кроме того, тело это поглощает мир и само поглощается миром (отсюда важнейшее – мочеполовые органы и рот, где тело выходит за пределы свои в функциях). <...> Поэтому основные события в жизни гротескного тела, акты телесной драмы – еда, питье, испражнения (и другие выделения: потение, сморкание, чихание), совокупление, беременность, роды, рост, старость, болезни, смерть, растерзание, разъятие на части, поглощение другим телом – совершаются на границах тела и мира или на границах старого и нового тела; во всех этих событиях телесной драмы начало и конец жизни неразрывно между собою сплетены.

Это у Бахтина, так сказать, "диалектика природы": тотальность дана как телесность. У Сартра таковая дана как бытие-в-себе, в котором сознания нет. И Бахтин этому "подыгрывает": у людей Ренессанса, говорит он, нет понимания сознания как преимущественной характеристики человека, у них превалирует понятие микрокосма – и прочий ренессансный пантеизм. У самого Рабле индивидуального тела вообще нет, поэтому нет трагедии смерти: в коллективном народном теле смерти не бывает, смерть – карнавальный персонаж, "смеющаяся смерть". Соответственно нет и не может быть идеи свободы – основной у Сартра,

пошедшей у него, мы знаем, от культурных инспираций христианства. Сартр — человек глубоко "не ренессансный". Свобода у людей Ренессанса — титаническая свобода сверхчеловеков, гениев художества или действия. Но "второй" Сартр заигрывает с этой идеей — на горизонте его "обращения" 1952 года незримо присутствует Сталин. Это соблазн всех гениальных людей, ницшеанский соблазн.

Самое, так сказать, смешное, что у Бахтина в книге о Рабле представлен и "второй" Сартр, периода марксизма и "Критики диалектического разума": он начинает говорить об *историчности* народного тела:

> Таким образом, тема родового тела сливается у Рабле с темой и живым ощущением исторического бессмертия народа. Мы видели, что это живое ощущение народом своего коллективного исторического бессмертия составляет самое ядро всей системы народно-праздничных образов. Гротескная концепция тела является, таким образом, неотрывною составною частью этой системы. Поэтому и в образах Рабле гротескное тело сплетается не только с космическими, но и с социально-утопическими и историческими мотивами смены эпох и исторического обновления культуры.

Давно стало понятно, что под видом коллективного народного тела Бахтин описал тоталитарный социализм сталинского типа. Трактуя эту ситуацию в тонах историософского оптимизма, Бахтин "валял ваньку", "раскидывал чернуху" — это была ироническая отписка, вызванная идеологическим давлением. Можно ли сказать, что и Сартр прикидывался дураком в своем умозрении марксизма как "единственно возможного исторического горизонта"? Не исключено, а то и наверное, если вспомнить автопортрет в маске Рольбона. Но к тому же ему действительно были свойственны наивность и некоторая простоватость (Симона де Бовуар — Эренбургу, мемуары последнего).

О чем говорят Сартровы сексуальные "практики"? Множественное число тут более чем уместно, потому что в кругу Сартра культивировался коллективный секс, все спали со всеми, подчас и вне гендерных различий. Известно, что Симона Бовуар увела от Сартра девушку, на которую он сам претендовал, в ответ на что Сартр соблазнил сестру девушки (сестрички были, между прочим, русскими, из эмигрантов, — Ольга и Ванда Казакевич). Вся эта компания называлась "семья". При желании можно счесть ее тоталитарной сектой, где, как известно, глава секты сексуально обладает всеми ее членами. Но члены "семьи" были люди начитанные, и у них у самих, несомненно, возникали фурьеристские ассоциации. Позднейший лозунг Маркузе "Превратить социализм из науки в утопию" был задолго до того осуществлен в коммуналке Сартра. Уже ранняя (чуть ли не первая) его пьеса "За закрытой дверью" трактует групповой секс — и трудности его осуществления под взглядом другого. "Взгляд" — из важнейших сюжетов "Бытия и Ничто". Отсюда "ад — это другие", но следует, однако, преодолеть отчуждающую буржуазную ингибированность. Сартр отвергает буржуазность в смысле Флобера, но делает вид, что имеет в виду буржуазию в смысле Маркса. Для этого и понадобился трюк "Критики диалектического разума" — но это трюк, проделанный философским фокусником высшего разряда.

В главе "Действие и обладание: владение" "Бытия и Ничто" Сартр говорит о познавательной (в научном смысле) ситуации, которую называет комплексом Актеона: подглядывание за купающейся Дианой, вуайеризм: "Ученый — это охотник, который настигает чистую наготу и ласкает ее взглядом". Есть и другой образ познания, идущий от пожирания, "комплекс Ионы": это как камень в желудке страуса — съеденное, но остающееся в своей неприкосновенности (от Гегеля, говорившего, что всякое желание, в том числе познавательное, есть желание съесть).

И в следующем пассаже Сартр дает сублимированное описание своих сексуальных вкусов, эмпирическую репрезентацию каковых мы видели в цитированной беседе с Симоной Бовуар:

> Этот невозможный синтез усвоения и сохраненной от усвоения целостности объединяется в своих самых глубоких корнях с фундаментальными сексуальными склонностями. Телесное "обладание" предлагает нам соблазнительный и возбуждающий образ тела, которым постоянно обладают и который остается неизменно новым, обладание им не оставляет в нем никакого следа. Именно это глубоко символизирует качество "гладкого", "полированного". Нечто гладкое можно взять, ощупать, тем не менее оно остается непроницаемым, ускользающим от присваивающей ласки, как вода. Именно поэтому в эротических описаниях так настаивают на гладкой белизне тела женщины. Гладкое — это то, что сохраняется при поглаживании, как вода восстанавливает гладкую поверхность после того, как в нее брошен камень. И в то же время, как мы видели, мечтой любящего оказывается полное отождествление с любимым объектом при сохранении в нем его индивидуальности; пусть другой будет мной, не переставая быть другим. Как раз это мы и встречаем в научном исследовании; познаваемый объект, как булыжник в желудке страуса, полностью во мне, усвоенный, превращенный в меня, он полностью мой. Но в то же время он остается непроницаемым, неизменным, полностью гладким, в безразличной наготе любимого тела, напрасно ласкаемого. Он остается снаружи; знать — значит есть снаружи, не потребляя. Можно видеть, как сексуальные и пищевые токи сосредоточиваются, взаимопроникают друг в друга, чтобы конституировать комплекс Актеона и комплекс Ионы; можно видеть, как объединяются чувственные и пищеварительные корни, чтобы породить желание познавать.

Тут вспоминается еще один мифический герой — Пигмалион. Сартр — Пигмалион, отнюдь не желающий оживить Галатею. Его феноменология в марксистском продлении предлагает "пролетариату Бельвилля" камень вместо хлеба. А еще лучше видеть "марксиста" Сартра предающимся мальчишеской игре — бросать плоские камешки, чтоб подпрыгивали по воде. Такие камешки называются "блинчики": масленица с Сартром.

Но этот квазимарксистский проект никогда не соблазнил бы Сартра на такую игру, если бы не было в нем желания "утонуть", "пойти камнем на дно" и даже раствориться в желудке страуса, превратиться в содержимое кишечника, пожирать и быть пожираемым — одним словом, отождествиться с "коллективным народным телом". В его специфических терминах — из существования перейти в бытие: нырнуть в материнскую утробу, затеряться в женских глубинах. Это страшит, но и влечет. И здесь Сартр — такой, как все, Дас Ман, "Люди": равный всем другим, о чем он и говорит в финале "Слов".

4. *Вопросы, вопросы и вопросы*

Иногда возникает соблазн назвать новую французскую философию теоретической транскрипцией русского революционного опыта, равно как и последующей советской истории. Это началось, пожалуй, с сюрреалистов, основная интуиция которых была очень точна: революция — не раскрытие светлого будущего, а прохождение через зло, признание зла как истины бытия. Позднее у Фуко история и культура предстала как система телесных мук. Был открыт и канонизирован де Сад. С другой стороны — разве нельзя увидеть в "симулякрах" Бодрийяра тоталитарность идеологии как характеристику логоцентрического коммунистического проекта? Реакцией выступает Деррида, рушащий логоцентризм и по-новому выходящий к Руссо в анализе его "Опыта о происхождении языков":

это как бы теоретическое обоснование контркультурных практик западного шестидесятничества.

В этой системе ориентирован и Сартр, бывший если и не первым хронологически среди этих философов (можно назвать и другие имена), то самым значительным разработчиком этих тем. У него "русская" тема в связи с марксизмом и коммунистическим движением во Франции и его московскими инспирациями ставится открыто, теоретически эксплицируется. Но не нужно преувеличивать этих сторонних — русских — влияний: тема русской революции, как и любой революции, общечеловечна, это всегда бунт природы против культуры, и это было известно до Фрейда. Блок, в розановской реминисценции, писал, что тема всех революций — возвращение к природе. Русские в XX веке просто заставили французов вспомнить об их собственном Руссо.

Но природа организована не по Руссо, а по Саду, и тем более природа человека с его сознанием, с его Ничто. Инцестуозный Рай Руссо, а скорее Рай как свальный грех, в котором инцест включен всего лишь как один из элементов (а именно таков Рай в "Опыте о языках"), — худшая из ретроспективных утопий. Реализация утопий невозможна в культуре, невозможна "контркультура", или, точнее, возможна, но только как вящее страдание. Осуществленный инцест порождает не тотальное удовлетворение, а ненависть, Танатос окончательно торжествует над Эросом. Это "Гитлер", взятый уже не как исторический персонаж, а как глубинная тенденция, существующая в самых различных национально-исторических воплощениях. В России это прежде всего Бакунин; литературную антиципацию этой темы мы видим у Гоголя. Блок дает ее гениальную сублимацию, но при этом окончательно проясняется природа революционного опыта: революция как прорыв к бытийным глубинам — это инцест, сопровождаемый убийством матери. В "Двенадцати", повторяем, убита не Катька, а Мать-Россия. Этот матрицид продолжается в России до сих пор, сейчас он принял форму разграбления ее природных богатств и демографического вырождения. Россия — страна, совершающая самоубийство, и тут уже не различить матерей, сыновей и любовников.

Любой бунт в глубине — всегда бунт против матери, "мужской протест", создающий культуру как господство над природой. Ирония заключается в том, что культура, порождаемая в таком протесте, будучи борьбой с Великой Матерью, с природой, с Землей, ведет в катастрофический тупик. Сегодняшний матрицид называется экологической катастрофой. Культурный Запад просто растянул это во времени, сделал деяние процессом, тогда как некультурные русские выбрали "прямое действие", тем самым высказав правду времени и чуть ли не полностью взяв на себя его, времени, вину (то же по-своему — у немцев, об этом почти весь Томас Манн).

Блок сказал о гибели "Титаника": "Есть еще океан", и он же назвал лучшим романом о современности "Туннель" Келлермана (1911): туннель прокладывают трансатлантический, то есть идут на самое океаническое дно — и тем самым побеждают океан. Блок, чувствуя недоброе в своем приятии судьбы "Титаника", хочет преодолеть океан "культурно", в движении к "Новой Америке". Но туннель, как выяснилось, грозит бедами горшими, чем океан.

> И опять мы к тебе, Россия,
> Добрели из чужой земли.

Эти слова как нельзя лучше итожат впечатление от Сартра. Но Сартр по-своему "выше" Блока, потому что "культурнее". Он не гений. Гений — всегда риск, всегда прыжок с шестого этажа в уверенности окрылиться: превращение падения в полет (образ из Фета). Он "выше" потому, что остался на шестом эта-

же, а Блок разбился в полете: он Икар, а Сартр – Дедал, создающий всего-навсего проект выхода из лабиринта. Культурный человек не любит риска, он осторожен, "буржуазен", его риски всегда и только игровые, словесные, бумажные: бумажный змей, тоже на свой лад летающий. Культурный человек не устраивает революций – не носит их в себе, как Блок, как Достоевский, как Толстой. Даже самые устрашающие фантазии он реализует в культурной игре. Такой фантазией об инцесте, старался я показать, было "Бытие и Ничто". Есть примеры и попроще: не только вышеупомянутый Бертолуччи, но, скажем, фильм Луи Маля "Шумы в сердце", где инцест с матерью становится чем-то вроде милой семейной шутки.

Философия Сартра – не столько нигилизм, сколько сублимация нигилизма, культурная его репрезентация, "тематизирование". Он не Бакунин. Но и не Блок. Кто же "лучше" – Блок или Сартр? Оба. И такое уравнивание, в свою очередь, возможно только в подлинной, созревшей культуре, которая, опосредствуя и различая, в этом различении не противопоставляет, а примиряет.

Это отнюдь не означает, что Сартр, в гегелевском смысле, "снял" Блока, что человечество в культуре находит выход из тупиков и лабиринтов: культура создает новые – ту же экологическую проблему. Но, может быть, ее, культуры, цель – это и есть окончательный разрыв с Землей, выход в антропологизированный космос ракет и клонов?

Но как мне быть
с моей грудною клеткой
И с тем,
что всякой косности косней?

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. Автопортрет. 1799 г. Галерея Тейт, Лондон

С 18 ноября по 15 февраля в Москве проходит выставка величайшего английского художника Джозефа Мэллорда Уильяма Тёрнера (1775—1851).

Выставка организована Галереей Тейт (Великобритания), Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Алишером Усмановым, благотворительной организацией "Искусство и спорт" (Москва) и в сотрудничестве с Британским советом.

Первая и единственная до настоящего времени выставка работ художника прошла в ГМИИ более 30 лет назад, и с тех пор выросло не одно поколение любителей живописи, которые никогда не видели произведений этого выдающегося мастера-экспериментатора. Настоящая выставка — 40 живописных полотен и более 70 акварелей — будет для ценителей прекрасного великолепным новогодним подарком.

Выставку сопровождает обширная образовательная программа, включающая лекции ведущих британских искусствоведов, специальные экскурсии и встречи с куратором выставки, демонстрацию фильмов о Тёрнере и секретах его искусства (более подробно о программе можно узнать на сайтах www.britishcouncil.ru, www.museum.ru/GMII/, www.metcenat.ru).

Журнал "Иностранная литература" решил внести свой вклад в эту программу и публикует три произведения, посвященные Тёрнеру, — эссе Джона Рескина и Джона Апдайка и пьесу-монолог Саши Дагдейл.

Редакция выражает благодарность Британскому совету за помощь в подготовке материалов рубрики.

Джон Рескин
Современные художники

Фрагменты книги

Перевод с английского и вступление Игоря Мокина

Фундаментальный труд английского искусствоведа и философа Джона Рескина (1819—1900) "Современные художники" был задуман как небольшая работа в защиту творческих принципов Тёрнера. Однако со временем она превратилась в огромный текст, который Рескин публиковал частями с 1843-го по 1860 год.

В предлагаемых вниманию читателей фрагментах Рескин описывает становление Тёрнера как художника и отмечает его несхожесть с мастерами прошлого, особенно с живописцами Ренессанса (в качестве примера он приводит Джорджоне). Для Рескина важно, чтобы у художника имелись убеждения и принципы, даже если они идут вразрез с общепринятыми канонами, что он здесь и обосновывает.

Недалеко от юго-западного угла рынка Ковент-Гарден несколько кирпичных домов, стоящих вплотную друг к другу, образуют подобие колодца, куда лишь изредка пробиваются солнечные лучи. Попасть в этот колодец можно с Мейден-лейн, через низенькую арку с железными воротами; если задержаться под ней достаточно долго, чтобы глаза привыкли к темноте, вы увидите слева узкую дверь. Раньше, открыв ее, можно было прямо пройти в парикмахерскую — ее окно, выходящее на Мейден-лейн, сохранилось, однако ныне уставлено бутылками, указывающими, на некий старинный манер, что здесь обосновался пивовар. Итак, восемьдесят лет назад тут было место изяществу (кто знает, было ли место радости?), отчего мальчик, родившийся здесь в 1775 году в День св. Георгия, вскоре стал проявлять интерес к миру Ковент-Гардена и все виденное вокруг обращать себе на пользу.

В мире этом не сыскать рыцарей и, судя по всему, не найти прекрасных дам; здешние одеты, мягко говоря, нескладно — непременно шляпы с перьями и платья с высокой талией, а кавалеры если чем щеголяют, то лишь пряжками на туфлях да париками. Такими людьми восхищаешься на холсте Рейнольдса, однако для маленького мальчика здесь едва ли найдется источник чистого наслаждения.

Впрочем, bello ovile dovio dormii agnello[1] — не мужчины и женщины здесь прекрасны, но утренние лучи летнего солнца с клубящимися в них пылинками, капустные листья в лавке зеленщика, изборожденные глубокими морщинами, великолепные апельсины, которые продаются с тележки за углом, и берег Темзы минутах в трех от дома — если шагать быстро. Отнюдь не царские дары, однако кажется, что Англия не могла дать талантливому ребенку ничего лучше этого; во всяком случае, он любит их такими, как есть, и никогда не забудет. Высокая талия становится последним штрихом к его представлениям об античном идеале. На переднем плане

© Игорь Мокин. Перевод, вступление, 2009

1. "К родной овчарне, где я спал ягненком..." — Данте. Божественная комедия. Рай, песнь 25, 5. Перевод М. Лозинского. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

его картин, где-нибудь в уголке, всегда найдется место для одного-двух пучков сочной зелени. В английском саду Гесперид сияют золотые апельсины, а огромные корабли, раскалываясь на части, рассыпают их по волнам целыми коробками[1]. В чистом итальянском воздухе нередко стелется утренний лондонский туман, и хочется умереть на речном берегу, который нам дороже швейцарских озер и венецианской лагуны, — на берегу Темзы, глядя на скользящие по волнам паруса и вытащенные на песок баржи.

Давайте проследим, каковы необходимые следствия того, что мальчик рос в подобном окружении. Я полагаю, что к цвету и форме он был столь же чувствителен, как и Джорджоне (и даже более него, если только это возможно). Далее, уверяю вас, к людским страстям и горестям он оказался не менее восприимчив, чем к красоте природы, — он видел сердцем столько же, сколько глазами.

Поэтому он по-детски искренне любил все, в чем замечал схожесть с миром своего детства. Он не страшится даже уродливого — важно лишь, таит ли в себе видимое образы Мейден-лейн и берегов Темзы. Если они там есть, то Тёрнер создаст картину ради этого одного. Вот отчего он до самых последних дней мог вынести уродство, какого и мгновения не выдержал бы любой иной столь же чуткий человек. Глухие кирпичные стены, подслеповатые квадратные оконца, заношенное до дыр тряпье, человеческие типы, словно списанные с рыночных торговок, — его влекло отталкивающее, нечистое, будь то Биллингсгейт или Хангерфорд-маркет, черные баржи, заплатанные паруса или все, какие только бывают, виды лондонского тумана.

Его явно всю жизнь вело и питало это влечение, не скованное какими-либо условностями; всего заметнее это проявляется в его отношении к грязи. Венецианец никогда не изобразил бы нечто отвратительное, а Тёрнер пишет картину за картиной, запечатлевая предметы, испорченные копотью и дымом, покрытые сажей и пылью; здесь и борта старых судов, и чахлая придорожная трава, и навозные кучи, и сеновалы, и вообще неопрятность и неухоженность — спутницы честного физического труда. Более того, он не только не гнушался *хламом* и *сором*, он ценил и искал его — ибо им полон был Ковент-Гарден после рыночного дня. Иногда на картинах Тёрнера их не меньше, чем на лондонском рынке; поэтому же у него, как ни у кого другого, предметы на переднем плане всегда лежат в естественном беспорядке. Самая роскошная и тщательно выписанная растительность на его полотнах все же не застывает в идеальных контурах. Тёрнер наслаждается и видом сваленных в кучу камней, как и осыпями и галькой. Последние его слова, обращенные ко мне, были о пейзаже Сен-Готарда, которым он остался весьма доволен: "...*груда* камней, которую я решил изобразить".

Второй драгоценный плод ковент-гарденского воспитания — это чуткость и внимание к бедным. Как мы знаем, венецианцы их презирали; Тёрнер же, напротив, любил и, более того, понимал. Его представление о бедных было безошибочно верным и лишенным всякой романтики, ведь, когда ему доводилось прогуливаться по Мейден-лейн, изучая блики лунного света на зимнем пейзаже, он видел бедных не просто самих по себе, но и в их отношениях с богатыми. Он знал, о чем думают те и другие в радости и в горе и как они уживаются вместе. <...>

1. Имеются в виду картины Тёрнера "Сад Гесперид" и "Маас: торговое судно с апельсинами на мели".

И вот судьбе было угодно, чтобы этот мальчик зажил настоящей жизнью; однажды летним вечером, испытав всевозможные приключения по дороге на север (благодаря чему он на всю жизнь полюбит поездки в дилижансе), он остается один среди йоркширских холмов[1]. Впервые вокруг него лишь молчание Природы: ее свобода скрыта от него, но слава — ему явлена. Долгожданный покой: не грохочут тележки, не гудят недовольные голоса в задней комнате парикмахерской — только крик кулика в небесной выси и звонкое, будто колокольчик, журчание ручейка в тени от утеса. Долгожданная свобода. Глухие стены, темные решетки, огороженные поля, запертые на замок сады — все исчезло, словно во сне узника, и вокруг, сколько хватает глаз и сколько можно пройти пешком, — одни торфяники и облака. Долгожданная красота: вот она, здесь, в этих пустынных долинах, а не у людей! Не только их бледные лица, изможденные или ожесточенные, не только мириады несовершенных человеческих существ создал Господь. Здесь сотворенное Им пребывает в первозданном совершенстве: гордая высь порфирных скал, и голубизна речных заводей, и нежная блестящая листва деревьев, и пронизанный вечерним солнцем туман на нескончаемых холмах.

Красота, свобода и покой. Но нашелся и другой учитель, поважнее этих. Там, в Киркстоллской часовне, он слышит мудрую проповедь о судьбе и о жизни. В той самой часовне, где в озерце темной воды отражаются колонны хоров, где, никем не тревожимые в своем покое, лежат быки и неяркое солнце превращает их пятнистые шкуры в священнические облачения, а порывы вечернего ветра с лугов, напоенного запахом тимьяна, ерошат их белую пушистую шерсть.

Задумаемся о том, сколь важна оказалась для него встреча с прошлым, и сравним это с влиянием архитектуры родного города на Джорджоне. Тогда в Венеции безусловно хватало и старых зданий, но руин не было. Их сносили, чтобы строить новые дома — причем так же быстро, как и в нынешнем Лондоне; однако новые здания оказывались еще грандиознее и прекраснее прежних, и сам Джорджоне мальчиком с радостью помогал строителям возводить стены. Поэтому он и вообразить себе не мог, что сила человека и красота труда не вечны, ведь итальянские города, разрастаясь на холмах и равнинах уже три сотни лет, становились все великолепнее. Он видел только мощь и бессмертие и рисовать мог лишь их; его образ человека — неувядающая спокойная сила, одухотворенная искрой жизни.

Тёрнер же видел ровно противоположное. Всю скудость, бесцельность, неприглядность созданного современниками; глинобитные домишки с тонкими стенами, каркасом из реек, тесными чердаками — балаганы на мрачной Ярмарке Тщеславия, средоточие низменных забот.

Однако на холме Уитби и у Болтонского ручья[2] остались следы иного труда. Там жили люди, умевшие строить, и не ради дня сегодняшнего. Но тогда ради чего? Их твердая вера, крепкие руки, бодрый дух — неужели от них только это и осталось? Вот вершина деяний твоих на земле! — совиное гнездо, откуда разносится печальное уханье, и обнажившиеся ребра полуразрушенных арок на скале над морским берегом, окутанным бледными полосами тумана.

1. Я не имею в виду, что это была его первая встреча с природой, но она оказалась первой запомнившейся и тронувшей его в сознательном возрасте. Самые ранние наброски, которые я мог найти в Национальной галерее, сделаны в Клифтоне и Бристоле, следующие за ними — в Оксфорде. (*Прим. автора.*)
2. Имеется в виду местоположение двух разрушенных в Реформацию аббатств в Йоркшире — Уитби и Болтона.

Как Джорджоне видел одну только силу, Тёрнер — лишь человеческие слабости и пороки. Тёрнер знал людей, недостойных, недолговечных, знал плоды их труда, жалкие, разрушающиеся. У венецианца красота — в уверенности и гордости человека, у Тёрнера — в запустении, оставленном венцом творения после себя, в унижении, им испытанном.

Так в одночасье определились и судьба, и смысл всего его творчества. Он должен стать певцом природы, ведь красота только в ней; но также и певцом труда, страданий и угасания *людей*: вот открывшаяся ему истина, великая в своей человечности.

Их труд, печаль, смерть. Запомним эти три слова. Труд: на море и на суше, в поле и в городе, у горна и печи, за штурвалом и за плугом. Ни деланная беззаботность пасторали, ни надменность классицизма не помешают художнику увидеть заботы этого мира, и яснее всего — заботы родной страны: слепой, измученной, несгибаемой, прекрасной Англии.

Их печаль: все созданное ими великолепие бренно, их мысли забываются, честь рушится; наслаждение оказывается миражом, надежда — ошибкой; на храмовой паперти пора выпалывать сорняки, на пустынный берег набегают волны. Повсюду плач матерей: на улицах городов скорбят они о первородных младенцах и среди зверей полевых — об убитых старших сыновьях[1].

Наконец, *их* смерть. Тот же вопрос, что волновал и греков, но — не имеющий ответа. Непобедимый призрак смерти все так же мелькает меж деревьев в сумрачные часы, вырастает на песчаном берегу мертвенно-бледным подобием Афродиты, простирает свои серые, с рваными краями крылья от тучи к туче, обращает свет заката в кровь. Смерть нужно встретить, но в облике еще более ужасном, чем когда-либо являвшийся Сальваторе Розе[2]. Ведь если под грузом грехов рушится одна страна, думали тогда, прочие страны не гибнут, и нет причин страшиться того, что будут поколеблены самые законы Вселенной. То же у Дюрера: в небольших германских государствах радости и горести сменяли друг друга размеренно, на провинциальный лад, не давая вопросу о смерти раскрыться во всей его глубине и парадоксальности. Но у английской смерти — той, что терзала Европу в XIX веке, — другой масштаб и другие силы; ее хватка страшнее — довольно вспомнить, скольких она унесла, — а загадочность и унижение делают ее еще ужаснее. Что́ нападения разбойников и скоротечные бои прошлого перед всем содеянным лишь за годы юности художника огнем, мечом и голодом на всех холмах и равнинах христианского мира, от Москвы до Гибралтара? Ему было восемнадцать, когда Наполеон обрушился на Аркольский мост. Взгляните на карту Европы и сосчитайте, сколько на ней кровавых пятен, от Арколе до Ватерлоо.

Вот что видели глаза юного Тёрнера, вот боевой клич, раздававшийся в его душе в молодые годы.

И лишь усвоив эти уроки, готовившие его к делу жизни, он остался наконец один среди прекрасных холмов своей Англии и начал писать — спокойно и трудолюбиво — камни, поля, резвые ручейки и нежные белые облака в небесах.

1. Имеются в виду десятая казнь египетская и история Рицпы, дочери Айя. (*Прим. автора.*)
2. Сальваторе Роза (1615–1673) — итальянский живописец и график эпохи барокко; многим его картинам свойственны причудливость и мрачность.

Джон Апдайк
Сияющая ложь

Эссе

Перевод с английского Антона Нестерова

Посмотреть насквозь тёрнеровскую выставку в Метрополитен[1] мало не покажется: 165 экспонатов, все больше — масло и акварель, лишь пара гравюр на довесок. Стоит ли удивляться, что в день вернисажа, когда я осматривал экспозицию, почетные гости выходили с выставки на полусогнутых, чтобы в изнеможении упасть в объятия продавцов музейного магазина.

Тёрнер из тех художников, которых вроде в запасник не отправишь "за выслугой лет", но признаться в страстной любви к его полотнам?

В статье для каталога выставки "Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер и погоня за славой" искусствовед Ян Уоррелл пишет:

> Много ли найдется, кроме Тёрнера, английских живописцев, чьи полотна вызывали бы столь противоречивые отклики у современников и столь горячие споры — у потомков?

При этом его современники единодушно вторят друг другу: как личность он был совершенно не интересен. Один из его собратьев по цеху замечает: "На первый взгляд, Тёрнер производил впечатление полнейшего ничтожества", другой признается: "Этого живописца пристало любить за его творения, ибо в сем человеке нет и тени величия". Джон Констебл, познакомившись с Тёрнером, который был лишь годом старше его, но намного раньше достиг славы, обмолвился: "Я всегда полагал, что он таков, каким и оказался: этакий тугодум, но... насколько же всему открытый! Человек неотесанный — но насколько широко мыслящий!" Тёрнер не дотягивал до образа великого художника, и все же ни один пейзажист — во всяком случае в Англии — не тянулся к величию столь откровенно, с такой неутомимой отдачей в работе и безоглядной готовностью рисковать.

Он скончался в 1851 году — за полтора столетия, что прошли после его смерти, вкусы радикально изменились. Изменился и характер споров об этом художнике: наши сердца завоевали его поздние, почти абстрактные картины, хотя критики-современники не жалели яду, понося их, тогда как ранние полотна, снискавшие ему богатство и славу, — мифологические пейзажи да подчеркнуто картинные замки, Альпы, корабли в море и сельская Англия, — отталкивают нас своей помпезностью. Есть в них что-то невыносимо мелодраматичное, что-то затхлое, вымученное — как будто это все специально писалось для музея. И при этом те полотна Тёрнера, где его кисть снизошла лишь до загадочных

© John Updike, 2008
© Антон Нестеров, 2009

1. Выставка проходила с 24 июня по 21 сентября 2008 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

брызг и золотистых пятен ("Европа и бык", "Замок Норэм на рассвете"[1] – и та и другая около 1845-го), захватывают своим волнующим минимализмом и воздушностью. Когда эта никогда не выставлявшаяся часть его наследия по завещанию отошла галерее Тейт и была представлена публике, один критик воскликнул: "Да мы же никогда не видели Тёрнера!" А другой писал, пытаясь ухватить самую суть этой живописи: "Тёрнер в поздний период больше, чем кто-либо другой до него, рисовал не столько предметы, сколько игру света вокруг них".

Но все то, что выделяло Тёрнера среди других живописцев, делая его ни на кого не похожим, было дано ему изначально. Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер родился в семье парикмахера из Ковент-Гардена и его супруги, которая довела мужа до "весьма печального состояния", покуда в 1800 году, в шестидесятилетнем возрасте, не была отправлена в Вифлеемскую больницу – весьма специфичное заведение, в народе больше известное как Бедлам. Их единственному отпрыску, которого дома звали Уильям, стукнуло в ту пору двадцать пять. С двенадцати лет художественно одаренный подросток снабжал рисунками живущего неподалеку гравёра и раскрашивал для него оттиски; иные из этих ранних тёрнеровских работ продавались в отцовской парикмахерской "по цене от шиллинга до трех". В четырнадцать лет юноша был зачислен в Школу Королевской академии. Уроки рисунка и живописи там давали бесплатно, а расположена она была в пяти минутах ходьбы от дома. Хотя Джон Рескин, немало поспособствовавший славе Тёрнера, считал, что "обучение в Королевской академии было для художника сродни перенесенной болезни, от которой он оправился лишь три десятка лет спустя", однако академический курс служил ключом к признанию у английской публики. Среди прочего, это давало возможность выставлять работы на ежегодных выставках Академии, и в 1790 году отборочная комиссия впервые включает в экспозицию одну из работ Тёрнера – небольшую акварель. Юному художнику в ту пору едва исполнилось пятнадцать лет.

Картину маслом на академической выставке он впервые представил в 1796 году. Это были "Рыбаки в море" – работа, в которой есть что-то от чуда: в разрыве темных туч виднеется полная луна, свет ее отражается на воде, и вот, выхваченный этим светом, на волнах качается рыбацкий баркас. Изящные, словно кружево, клочья белой пены обозначают овальную впадину, на мгновение образовавшуюся на поверхности моря; впадина эта изображена с жадной точностью, вплоть до игры теней в прозрачной воде; жидкая чаша лунного света и гребень волны, создавшей ее, предвещают пожизненную одержимость Тёрнера мимолетными эффектами освещения во всей восхитительной их неуловимости. Слева на картине – темные скалы, справа – второй баркас: он почти скрыт от зрителя тенью, но при этом прописан так, что создается почти физическое ощущение его массивности; перед ним, полускрытая все той же тенью, белая птица, севшая на плавающую среди волн бочку; эта деталь, как бы не в фокусе, – явственное подтверждение того, что Тёрнера еще в самом начале пути интересовали всякого рода аберрации зрения.

Увлечение Тёрнера архитектурой сказалось в больших акварелях, написанных примерно в те же юношеские годы: точно схваченные руины

1. Здесь и далее названия картин, выставленных в ГМИИ им. А. С. Пушкина, даны по каталогу выставки.

Тинтернского аббатства, интерьер собора в Солсбери. Эта архитектурная точность — как древняя окаменелость, сохранившаяся в мельчайших деталях в толще геологической породы, — присутствует даже в самых смелых, почти импрессионистских размывках Тёрнера: так, на двух одноименных полотнах "Китобойные суда" (выставленных в Королевской академии в 1845 и 1846 годах) мы видим, во всей их четкости, мачты китобойного судна, обшивку накренившихся на волне вельботов; так, мы можем разглядеть в левом нижнем углу акварели "Люцернское озеро" (1842) маленькую деревушку — когда почти все остальное тонет на картине в дымке; в размывах полотна "Церковь Богоматери и Св. Лаврентия с замком Луи-Филиппа на заднем плане" (1845) архитектура храма воссоздана несколькими умелыми штрихами, тогда как на картине "Перевал Сен-Готард, близ Файдо", нарисованной по заказу Рескина, мы видим, насколько тщательно изображены изъеденные водой гнейсы — точность деталей доведена тут до совершенства: даром, что ли, заказчик слыл знатоком по части геологии.

Картины распахиваются нам навстречу, сменяя друг друга — в соответствии с тем, как по мере обхода выставочных залов сменяют друг друга десятилетия; работы, в которых чувствуется дерзостное восхищение стихиями, соседствуют с откровенно академической продукцией. Тёрнер одержим желанием переиграть других художников на их же поле — в самой эклектике его стиля есть какая-то натужность. Если верить каталогу, его "Рыбаки в море" вобрали в себя манеру таких мастеров XVIII века, как Верне, Джозеф Райт из Дерби и Филипп Жак де Лотербург. Но при этом "Рыбаки" — еще и шаг на пути к "Голландским судам в море в ветреную погоду", своего рода "амбициозному ответу Виллему Ван де Велде-младшему с его "Голландскими судами в разгулявшемся море". Эту тёрнеровскую вещь Бенжамин Уэст, президент Королевской академии, назовет полотном, которое "хотел бы, но не мог написать Рембрандт".

Тёрнеровский "Упадок Карфагена: Рим твердо вознамерился уничтожить ненавистного соперника, выставляя ему такие условия, чтобы либо вовлечь в войну, либо погубить согласием; взволнованные карфагеняне, стремясь к миру, согласны уступить противникам свое оружие и своих детей" (чего стоит одно название, длиннее которого трудно вообразить!) несет в себе несомненный отсвет Клода Лоррена, прежде всего его шедевра — "Отплытие царицы Савской" (1648). Тёрнер был полон решимости все достижения континентальных предшественников переплавить в единый, узнаваемо английский стиль — насколько это вообще возможно. Не связанный семейными узами и светскими обязательствами, он очень много путешествовал, даже по меркам того времени, когда жизнь в разъездах была неотъемлема от профессии художника. И всякий раз, оказавшись на новом месте, Тёрнер хочет доказать, что он в силах превзойти художников, когда-то там живших.

Так, если верить каталогу, Венеция пробудила в нем "воспоминания о полотнах Тициана, Тинторетто и особенно — Каналетто"; тёрнеровская "Венеция: Таможня и церковь Сан-Джорджо Маджоре" "явно создана под влиянием Каналетто (вплоть до того, что мы можем найти здесь такую типичную для Каналетто деталь, как фигурку художника, вписанную в пейзаж)". В этой картине, как и в парной к ней — "Венеция, вид из ворот Мадонны делла Салюте", Тёрнер использует яркую, наполненную светом сине-белую палитру, весьма нетипичную для него, — и при этом

с присущей ему инстинктивной точностью несколькими штрихами набрасывает очертания дворцов по берегам Большого Канала.

К 1840 году, ко времени создания этих двух венецианских акварелей, Тёрнер – зрелый мастер. Прикосновение его кисти смазывает все, кроме общих очертаний, а закатная желтизна окутывает изображенное характерной дымкой. Хотя, с другой стороны, ведь и ранняя, вполне ученическая "Десятая казнь египетская", выполненная в манере Пуссена и проникнутая возвышенным историзмом, – даже она подернута этой столь характерной дымкой. На картине, на среднем ее плане, мы видим город, странным образом лишенный теней и перспективы; по сути, в этом городе нет ничего египетского. Ближе к зрителю, на переднем плане, чернильное облако поглощает холм и оттеняет саму драму, о которой свидетельствуют фигурки "первенцев египетских", поверженных волею Господней.

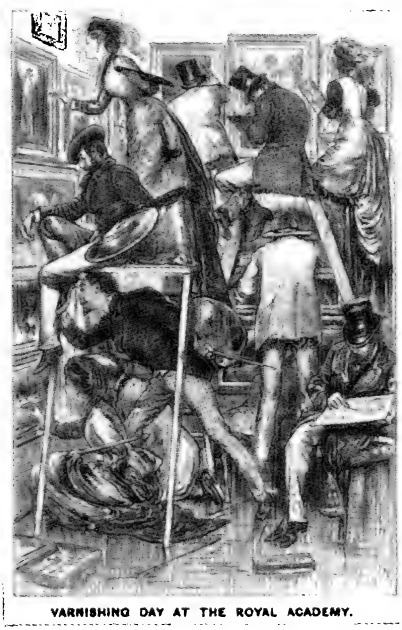
Люди на больших полотнах Тёрнера – почти всегда – лишь сноска, примечание: россыпь цветных пятен где-нибудь у подножья горы или у городских ворот. Написав в молодости прекрасный автопортрет (1798–1800), Тёрнер сознательно держался в стороне от английской традиции портретной живописи. И если в фигурах и лицах на таких полотнах, как "Выборы в Нортгемптоне, 6 декабря 1830 года" (1830–1831), "Дартмутская бухта, с изображением свадьбы моряка" (около 1825), или "Вид Лондона со стороны Гринвича" (около 1825), балансирующих на грани анекдота, "случая из жизни", и прослеживается свойственная карикатуре и шаржу живость, то в "Заливе Байя, сцене с Аполлоном и сивиллой" центральные фигуры, призванные, казалось бы, стать зрительным центром картины, не выполняют своего назначения. Вялые, невыразительные – такое впечатление, что они лишены костей, – Аполлон и Сивилла кажутся столь же бесплотными, как и все остальное на этой картине, написанной во славу популярного итальянского курорта и являющейся чистейшей идеализацией. SPLENDIDE MENDAX ("сияющая ложь") начертал на ее раме друг художника, и Тёрнер не стал возражать.

Что до фигур на ранних, подчеркнуто эффектных работах, вроде "Рейнских водопадов Шафхаузен" и "Рыбного рынка в дюнах – возможно, в Гастингсе" (около 1810) – видно, насколько серьезно работал над ними художник, но если сравнить поразительный "Плот 'Медузы'" Теодора Жерико (1819) и тёрнеровское "Бурное море с обломками кораблекрушения" (1833–1835), где жертвы кораблекрушения и плот, через который перекатываются бурлящие волны, едва намечены штрихами, то предпочтение, конечно же, будет отдано человеческой драме, представленной Жерико. На полотне Тёрнера единственное действующее лицо – бушующий океан.

Тёрнеровские фигуры – в них не только нет психологизма, нет у них и физической массы, массы, которую так умело сочетал с океаном и воздухом другой поклонник безличной природной силы, Уинслоу Гомер[1], стоит только взглянуть на его купающихся красавиц, изображенных в "Прибое", или – на силуэт моряка на картине "Рыбачья сеть" (1885). Тогда как на больших полотнах Тёрнера до странности трудно обнаружить главных героев: ослепленный циклоп на "Улиссе, насмехающемся над Полифемом – Гомерова 'Одиссея'" (холст впервые выставлен в 1829 го-

1. Уинслоу Гомер (1836–1910) – американский художник, автор жанровых картин, морских пейзажей.

ду в Королевской академии) сливается с утесами и скалами; умирающий Нельсон на "Виде Трафальгарской битвы с вант правого борта у бизань-мачты 'Виктори'" (1808) — едва различимый на картине карлик с застывшей на лице клоунской гримасой; и я так и не смог найти Нельсона на самой большой тёрнеровской картине "Трафальгарская битва, 21 октября 1805 года" (1823–1824), где почти нагие моряки, осененные громадой парусов проплывающего мимо корабля, отчаянно сражаются за место в спасательной шлюпке. Для Тёрнера человек ничем не выделяется среди прочих объектов этого мира; о его пугающем "Кораблекрушении" (1805) каталог говорит: "В человеческих попытках обрести спасение перед лицом стихийных сил есть нечто чуть ли не абсурдное, и это придает особую возвышенность взгляду художника". Зритель, глядя на "Рейнские водопады", непроизвольно сгибается под напором обрушивающегося с полотна водяного вала, кажется, водопад здесь для того, чтобы поглотить караван путников, изображенных внизу.


VARNISHING DAY AT THE ROYAL ACADEMY.

Тёрнер белила размазывал мастихином, детали наносил пальцем по невысохшей краске, и с самого начала карьеры ему приходилось выслушивать упреки в "небрежности и неотделанности картин" (так было и с "Рейнскими водопадами"). Его обвиняли (в частности, из-за мягкого золотистого колорита "Мортлейк-Террас усадьбы Уильяма Морффата, эсквайра, летним вечером", 1827) в "лихорадочной желтизне" цвета: один критик сравнил палитру художника с кухней повара, одержимого страстью к карри. Что ж, в качестве одного из ингредиентов, добавленных в тёрнеровское блюдо, известное как "Мортлейк-Террас", был еще и приклеенный к холсту черный силуэт собаки — в день перед выставкой он начал отваливаться и его пришлось вновь закреплять. В Королевской академии существовала традиция: накануне открытия выставки пускать художников взглянуть на развеску, и если надо — что-то поправить, нанести последний штрих; про Тёрнера было известно — ему ничего не стоит создать картину из случайного эскиза, по сути, почеркушки, которых у него в студии были десятки. И виртуозное, исполненное спонтанности превращение такого эскиза в картину прямо в день развески становилось настоящим публичным спектаклем. Один из свидетелей вспоминает, как накануне выставки художник "провел в зале весь день", не снимая старой вытертой бобровой шапки, в которой был похож на шкипера с Севера, и писал сухими минеральными пигментами, которые разводил скипидаром, иногда добавляя клей, воду и даже кислое пиво.

Другой очевидец, еще в 1803 году, сообщает, что Тёрнер "яростно брызгал краской на холст, а затем, достав коробочку с какой-то коричневой крошкой (судя по всему, нюхательным табаком), начал втирать ее в

картину". Когда знакомый торговец попенял Тёрнеру, что тот покупает нестойкие пигменты, живописец отвечал: "Ваше дело, Уинзор, делать краски для художников. Мое — красками пользоваться". Что ж, Тёрнер ими и пользовался, только его полотна — как те, что приобрел американский поклонник его творчества Альфред Райдер, — были недолговечны, шли трещинами, красочный слой отставал и деформировался, так что даже такой пропагандист Тёрнера, как Рескин, сокрушался:

Картины Тёрнера — уже через месяц после окончания они отчасти теряют свой вид... Он пользуется не очень качественными красками — и к тому же совершенно не заботится о работах, что хранятся у него, — все это просто не укладывается у меня в сознании.

Импровизационность, свойственная такому методу письма и проявляющаяся в способности дописывать картины прямо накануне показа, когда перед глазами нет ни модели, ни набросков с натуры, позволяет объяснить зазор между тёрнеровскими образами и узнаваемой физической реальностью. На картине "Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы" зритель не видит снегопада, а только смутные очертания армии на марше; крошечный силуэт слона — своего рода омаж Ливию и его рассказу об этом походе, — и что-то вроде серых водяных смерчей скрывают от нас сами Альпы. На полотне "Поле Ватерлоо" спектральный белый свет в небе озаряет переплетение тел, больше всего напоминающее спящий гарем; пояснить это зрелище могут, пожалуй, строки Байрона из "Паломничества Чайльд Гарольда", посвященные знаменитому сражению:

Но в небе туча огненная встала,
Извергла дым и смертоносный град,
И что цвело — кровавой грязью стало...
Перевод В. Левика

Но никакая поэзия не поможет нам разобраться, что́ на самом деле открывается нашему взору на картине "Снежная буря, лавина и паводок — вид верхней части долины Аосто, Пьемонт". Завихрение или искривление, неопределенного цвета, в центре — с включенными брызгами белых диагоналей и как бы подсвеченных мазков — то ли лавина, то ли буря, то ли еще что-то, решайте сами, и в правом нижнем углу картины — скопление фигур, поражающих своей беспомощностью. (Обозреватель лондонского "Атенеума" писал: "Говорить об этих работах как о картинах — издевательство над языком".) Рескин же в "Современных художниках" назвал эту вещь одной из "самых сильных" тёрнеровских работ.

По сути, от изобразительного Тёрнер переходит к возвышенному: век спустя по этому пути пошли абстрактные экспрессионисты, задействовавшие большие полотна, абстрактность изображения и субъективность взгляда[1]. Причем он неустанно делал наброски, а создавая известную серию прибрежных пейзажей Темзы, одним из первых стал работать на пле-

1. Абстрактный экспрессионизм — течение, сложившееся в послевоенном искусстве США и ассоциирующееся с такими художниками, как Джексон Поллок (1912–1956), Вилем де Кунинг (1904–1997), Марк Ротко (1903–1970), Франц Клайн (1910–1962) и др.

нэре, хотя по складу своему был студийным живописцем, привыкшим сгущать воспоминания о пейзажах до состояния виде́ния. Все эти световые арки и взрывы красок в поздних работах — рождаются из сознания художника, являясь плодом его внутреннего ви́дения. Именно так была создана, во всей ее бескомпромиссности, "Снежная буря — пароход выходит из гавани, подавая сигналы на мелководье и измеряя глубину лотом. Автор был свидетелем бури в ночь, когда 'Ариэль' отчалил из Хариджа". По свидетельству самого Тёрнера, он простоял четыре часа, привязанный к мачте.

Я писал это не для того, чтобы быть понятым, но мне хотелось показать, на что все это было похоже... Я не надеялся спастись, но чувствовал, что, если удастся, обязан зафиксировать происходящее... Однако никому не обязана нравиться эта картина.

Именно благодаря этой дерзостной воле художника появились "Дождь, пар и скорость — Большая западная железная дорога", "Стаффа, пещера Фингала" и "Вечный покой. Похороны в море". Когда Тёрнера упрекали, что на последней из этих картин паруса выглядят неестественно темными, он отвечал: "Будь моя воля, я бы сделал их еще чернее, да только для этого нет красок". Нет, он вовсе не тяготел к темным цветам. Серия полотен, посвященная библейскому потопу и созданная художником в 1840-е, пронизана ослепительнейшим небесным светом. В "Свете и цвете (Теория Гёте): утро после всемирного потопа — Моисей пишет Бытие" солнечное сияние превращается в небесный круг, прописанный множеством ударов сухой кисти. Теория Гёте, изложенная в книге "Учение о цвете", новый английский перевод которой как раз появился в 1840 году, интересовала Тёрнера прежде всего потому, что "в цветовом круге красный, желтый и зеленый связаны с теплотой и счастьем, а голубой, голубовато-зеленый и фиолетовый напоминают об образах, связанных с тревогой, заботой и чувством обиды", — утверждает биограф художника Бейли. Все эти арки света и световые покровы — они раз за разом встречаются нам на поздних тёрнеровских полотнах.

По мере того как художник делался старше, работы его становились все эксцентричней, а рецензенты все чаще задавались вопросом: в своем ли он уме; все ли в порядке у него со зрением? Так, один критик объявил картины Тёрнера "порождением слабых глаз и немощной дрожащей руки". Но близко знавшая художника леди Истлейк вспоминает: "Каждую вещь он, по его же собственным словам, видел как бы очерченной радужным сиянием". Купола света переливаются над его гаванями, написанными в манере Клода Лоррена; лунные отблески на воде столь ярки, что некий комментатор определил время суток, изображенное на картине "Угольщики на погрузке в лунную ночь", как "ни день, ни ночь". Полотно "Регул", написанное на сюжет легенды о римском полководце, попавшем в плен к жителям Карфагена, которые обрезали ему веки и посадили лицом к солнцу, — просто обжигает наблюдателя расплавленным золотом в небесах, отражающемся еще и на подернутой рябью поверхности воды. Тёрнер вовсе не был слеп — слепы были его насмешливые критики, слепы к такому его качеству, как безоглядный, упрямый поиск. И именно этот поиск открыл художникам путь в будущее. Так "изображенный на холсте вздор", как называли это иные критики, обернулся изображением истинной реальности.

Саша Дагдейл
Подобия

Монолог

Перевод с английского М. Фаликман

От автора

"Подобия" были написаны по просьбе организаторов литературного фестиваля в Льюисе (Суссекс). В то время я как раз работала над циклом стихотворений о Дж. М. У. Тёрнере и, начав писать, поняла, что это на редкость удачная идея. Тёрнер был человек закрытый и в частной жизни отнюдь не романтик, в отличие, например, от Байрона, биография которого вызывает не меньше интереса, чем его творчество. О жизни же Тёрнера, несмотря на его славу, известно немногое.

Надеюсь, "Подобия" верны духу искусства Тёрнера, а события, которые я описываю, могли иметь место в действительности.

Редакция журнала "Иностранная литература" благодарит автора за предоставленное нам право опубликовать "Подобия" еще до того, как они увидели свет на английском языке.

Тесная комнатушка. Торопливо входит неопрятно одетый худой и сгорбленный старик (ТЁРНЕР). На нем темные брюки и нечто вроде спецовки.

(Кричит.) А ну, впусти их, Ханна. Проведи в темную комнату. Я жду их. Но не рассказывай, где я. Сыграем в прятки.

(Умолкает. Оглядывается.)

Здесь снова кошки, Ханна. Не забудь их потом забрать. Они уже нагадили на холсты. *(Приглядывается.)* Вконец испортили.

А может, так оно и лучше. Я ведь из тех, кто своего не упустит. Да, сдается мне, так оно лучше. Назову иначе!

"Кот гадит на Карфаген"

Ха! Меня уже корили, что я пишу сметаной, шоколадом, яичным желтком, смородиновым желе. Всей этой кухонной снедью.

© Sasha Dugdale, 2008
© М. Фаликман. Перевод, 2009
Автор любезно предоставил этот материал журналу безвозмездно.

Но чтобы кошки! Это что-то новое.
(Раздается шум.)

Что, гости пришли?

Вот они, спотыкаются в темноте.
Пусть обождут в темной комнате.
Черной, как ночь, в своей простоте.

Светлой комнаты нищета,
темной комнаты чистота.

Мгновение в темноте — и мышца радужки начинает растягиваться. Зрачок расширяется. Где же свет?

Глаз взывает о свете, сетчатка взывает о форме.

Украденный свет
Шаловливые пальцы

Грабеж средь бела дня

Эгей! Они кричат, слепо, почти беззвучно кричат: Ну, Тёрнёр! Ну хитёр! Где ты? Прохиндей! Предатель!

Кто украл наш свет?

Обожди, Ханна. Еще чуток.

Им уже не по себе от темноты. Нежданное это затмение их напугало. Замерли, словно куры в мешке.

Выпусти нас, Тёрнер! Что за выходка! Сэр! Что все это значит?

Вот что у них на устах, но вдруг, нежданно, дверь отворяется, и их приглашают в студию.

(Шаги.)

Ханна.

(Звук отворяемой двери.)

И... ага!

(Неожиданный шум, возгласы. ТЁРНЕР приникает к глазку в стене.)

Свет.
Не льется, нет, рушится прямо на них.

Целое море света.
Жгущая белая боль.
Стрела, попавшая в глаз. Свет стоит стеной.

Здесь, наверху, столько окон, столько неба. Они такого в жизни не видывали.

Прячут глаза! О, как же они боятся! Солнце повсюду, но нежное, словно кошачья лапа, и, только если его изгнать, а потом впустить, оно наносит удар: свет, дикая кошка, острые когти твои тут и там оставляют узлы и царапины на моем распахнутом зренье, словно твердя: больше не смей закрывать глаза!

И снова их настигает боль. Раскаленная, белая боль. Мученики, которым отсекали безжалостно веки и заставляли смотреть на солнце — лишь они познали Бога.

День напролет он убивал их любимым своим орудием —
Светом, что создал в начале Творенья.

(Смотрит.)

И постепенно мы начинаем видеть. Свет скудеет, бежит натиска наших глаз. Солнце отступает, вновь водворяясь в центре, объявляет себя мерилом белого, там, где кончается радуга. Цвета прорастают на ощупь, лезут, словно черви из-под земли. Дрожащие, бледные, тусклые, открытые осязанью. Формы. Набережные, реки, отмели, города.

Они в смущении. Ничего не поймут. Вдруг — столько света. Но как иначе его познать? Свет родится из тьмы. А? Разбирайтесь, если сумеете.

(Бормочет.) Свет родится из тьмы.

(Наблюдает за посетителями через глазок.)

Они попались. Сейчас задохнутся в восторге. Не заметят всей этой рухляди, дырявой крыши, разбитых стекол... Запаха кошек. Она ведь пришла в упадок, моя галерея.

Зато можно наблюдать за ними отсюда. Так оно лучше. Ни тебе напрасных любезностей, ни показной приязни. Можно смотреть, как они разглядывают картины. Сразу видно, кому интересно. Кто понимает. Кто может купить. А кто зашел просто так, с визитом.

С визитом к самому уважаемому лондонскому художнику.

Самому плодовитому художнику.

...Вот ведь бездельники, с этим их уваженьем. Дня не пройдет без визита. Не больно-то надо.

Я привык работать. Рамы разных размеров, холст, порошки. Заказчики сами скажут, чего им угодно: тема, сюжет, обстановка, сколько дают в гинеях. Как если б просили отрез сукна или ящик фарфора. И я приступаю.

Время, время, время...

Но я доволен. Мне нравится, что они относятся ко мне как флорентийцы к своим мастерам: отвешивают ляпис-лазурь, высчитав, во что обойдется синий покров Богородицы. Они меня поддерживают. Я почти превратился в ничто — и лишь благодаря им тяну лямку.

(Медлит.)

Краска въелась в кожу и в одежду.

Глаз не свести с часов.

А поспешишь — людей насмешишь.

Мне это по нраву. Я вырос в Ковент-Гардене. Жемчужина в кольце Лондона. Теперь его не узнать. Но он меня сделал. И нынче во мне живет.

Еще до зари, до первого проблеска света на небосводе, раздавались крики и ругань.

Эй, конюх!
С дороги! Пора!
Пусть меня вздернут, если сейчас не четыре часа утра![1]
Э-ге-гей!

А как они говорили! Словно речные чайки на отмелях в час рассвета. Как ребятня на дворе, старухи на скамейках. Нараспев, не задумываясь ничуть, только вторя

стуку копыт по мостовой, что подобен стуку дождя.
Тяжелым телегам, натруженным их колесам.
Женщинам, расхваливающим горячую грубую пищу.
Музыканту, играющему на флейте.
Ночным сторожам, разносчикам газет,
охотникам за ворами. (*Медлит.*)
Ворам.

Из театра с гвалтом вываливается толпа.

1. Уильям Шекспир. Генрих IV (часть первая). Акт II, сцена 1. Перевод Е. Бируковой.

Строят, вечно строят, кирпич на кирпич, столп за столпом. Стучат, и звенят, и строгают, и красят... Бронзовые от загара крохотные человечки на хрупких лесах, что вознеслись над землею призрачным вестником грядущего, нового дома.

А пожары.
Огни, о да, языки пламени тянут и рвут материю города, и потом — внезапно — все распадается, рушится, и пламя торжествующе желтеет и вздымается к небесам, и дом вновь становится призраком, вновь — обглоданной костью.
А запах уносит река, но только когда ночью влажно и жарко и воздух напитан плачем, плачут женщины, мужчины, плачут котята, жмущиеся под юбками, их мир рухнул.

А толпы зевак только шепчутся и головами качают. Снова, мол, брешь в городских постройках. Снова стройка.

И так без конца и без края. Жизнь, дыханье, круженье, теченье — город, словно огромное тело. Человеческое тело. Ни минуты покоя.

Там я вырос. Вдыхал его ежечасно. Вечно с обрывком бумаги или с альбомом. Превращал каждый божий день в движенье руки. Учился, учился. Водил рукою по камню, по черепице, по штукатурке, по воздуху, если иного не было под рукой. Превращался в текущий, струящийся день, в бегущие облака, в реку, то бурную и полноводную, то вязкую, словно студень, то прозрачную и ясную, как рассвет. Вечно в движении.

Учился, набивал руку.

Пока мастерство не стало течь в моих венах. Сердце, аорта, мельчайшие сосуды разносили его по телу, мышцы и жилы обратились в память.

(*Заглядывает в глазок.*) Отец был цирюльником, изготавливал парики. Не мог позволить себе пойти в галерею. Но богатеи толклись в его лавке, держа в руках парики — сгнившие, засаленные, поеденные крысами.

Я глазел на их плешивые головы, а отец убирал их редкие волосы, болтая без умолку.

И порою тыкал расческой в мои рисунки.

(Изображает отца.)

Мой искусный сынишка. Редкостный дар. Взгляните, не пожалеете.

Так он продал немало моих работ. И научил продавать меня.

Я всегда говорил с покупателями, как он.

Давал им взглянуть. Давал пощупать. Делал, что просили.

Мальчишкой я начал с неба. Вечно глядел на небо и, не сводя с него глаз, слепо, грубо чертил облака осколком мела на досках... а то и на стенах.

Я даже нашел работу — писать небеса! Я писал их на досках, и юные леди покупали мои небеса, чтоб начертать на их фоне развалины или галантную сцену. Если б я не был столь неистово честолюбив, мне бы это казалось *мило*...

Я повсюду ходил со своим альбомом, ходил и рисовал. Ходил, а что поделать? На поездки не было денег. Порой подвозили. Но чаще ходил. Сперва по окрестностям Лондона. Скажем, в Брентфорд — и сразу домой, к отцу. Шестнадцать миль, не меньше — а мне от силы лет десять. Только потом, повзрослев, я облазил страну вдоль и поперек.

Ходить я любил. Был резв, что твоя блоха. Начну идти, отправлюсь в путь, — и дальше, как маятник, перебираю ногами, плевать на холод, жару, непогоду. И нет расстояний, что были бы мне не по силам. Мог бы дойти до луны с котомкою за плечами. Так я себе говорил. Когда я не был в пути, душа рвалась в дорогу, ноги рвались в дорогу, а ежели оставался где-нибудь на ночлег, то в беспокойном сне ворочался с боку на бок, дневные мои переходы галопом неслись сквозь сны, и я вставал на рассвете и снова пускался в путь по гужевой дороге, с офенями, бродягами, рыночными завсегдатаями, мамашами с малышней... А мимо неслись почтовые, летела карета, и пассажиры, высунув нос, могли увидеть меня — но мельком, смутно, как видят дерево или канаву, глядя без всякой цели. Такой, как была у меня.

Я же шел, сжимая в руке альбом, и рисовал, рисовал дилижанс у въезда на постоялый двор и вел черту через всю страницу ему вослед, когда он отправлялся в путь.

Порой и я ночевал на постоялых дворах, чем грязнее, тем лучше, ведь тогда я радешенек был оттуда уйти еще до начала дня, и собаки тявкали на меня, и дрожал на горизонте неверный свет, и птицы молчали. Вновь свобода.

Так я шел и чуял, как земля уступает, сдается, чуял подошвами ног.

И вставали среди полей города, поначалу неспешно: хижины, фермы, а следом дома, и шпили, и башни, и шум городской раздавался среди тишины и птичьего пенья, шум ударял мне в уши, а я шагал по узеньким улочкам, и почти добравшись до центра, до рыночной площади, до собора, суда и виселицы, я уже устремлялся обратно к птичьему пенью, к тишине, к пустоте.

Всё выше и выше растет человек над землей, и всё глубже и глубже уходит он в землю.

И вставал над равниною холм, как Голгофа, а следом еще и еще, и вскоре окрест только и видно было, что склоны, откосы, и сами холмы вздымались всё выше и выше, как будто бы скинуть пытались зеленую кожу, а там, наверху, громоздились и сыпались острые камни, а выше вились канюки и кричали, и солнце скользило по скалам и рассыпалось на тысячи речек и ручейков. Тогда я делал привал, лицо омывал и в лучах заходящего солнца садился и делал наброски, но не для гравюр или там акварелей, а чтобы рука и душа не разучились трудиться. Чтоб доказать себе: жив. Увериться: благословен.

А солнце — оно не стояло на месте. Когда я был молод, скакало бок о бок со мной, словно белый волк, скользило огромною птицей, кружило над морем. Вело меня к замкам, аббатствам, что были уже не более рукотворны, чем, скажем, плато и пещеры. К аббатствам, с которых веками смывали святость дожди. Там нынче гнездится зверьё. К замкам, растущим из скал — к этим вехам горькой вражды и долгих битв. Где раньше вершились казни, где были поля сражений — пасутся коровы и овцы. А солнце, поднявшееся над ними, как белый флаг, заливало их величавым светом, и лишь потом проступали цветные пятна, словно разводы крови в чаше для омовений.

Их странствующий взор — вот чем я был. (*Указывает на парочку в галерее.*) Мои гравюры висели у них в столовой.

Зачем самим пускаться в путь? Ведь есть же Тёрнер — он молодой, вот пусть и старается. Но как им тогда прикоснуться к этому чувству, которое я не в силах передать? К чувству, где смешались смертельная усталость и упоенье, к источнику жизни, чье пенье — как детский лепет, и... только так и можно жить. Но как им познать это чувство? А никак не познать.

Их странствующий взор — вот чем я был.

Им не узнать, как однажды я упал на тропе, ибо ноги в новых ботинках болели невыносимо, и, дальше шагать не в силах, я присмотрел поросший вереском холмик, где сидел так тихо, что прямо к моим ногам подобрался белый зайчишка и присел, словно мы были вместе. А я, тотчас придя в себя, схватил свой альбом и давай рисовать и делать заметки, он же устроился рядом с плащом моим и мешком, да так и сидел, пока я не встал и не пожелал ему доброй ночи, тогда поднялся и он, и отправился восвояси, и оба мы были печальны, как если бы рушилась дружба. Я больше туда не вернулся, нет, никогда не вернулся, ибо глаза мои застили слезы, и не под силу было вынести пустоту... Как им познать это чувство?

Я оттачивал взор, глядя на землю, я его развивал, чтобы сделать достойным солнца, приливов, отливов, медленных перемен, учил хватать различия и несходства, словно добычу. О мой взор! Мой истинный друг!

Мое орудие! Ты для меня извлекаешь из воздуха воспоминанья... И лишь тебе известно, что я хочу передать. Передать, как время течет, словно свет и вода.

И тебе известно, что эти люди видят отныне свою страну такой, как в моих пейзажах. Моими глазами! Все до единого. Все поколение. Я научил их видеть. Я научил их собственной родине!
Нет, я не научил их видеть. Быть может, я сделал так, что им больше не нужно видеть... Ничему я их не научил... Я не стал для них проводником, я просто присвоил мир, а мир присвоил меня.

Есть во мне какой-то проклятый непокой. Если что-то стоит увидеть, приметить и зарисовать, я должен быть там. Должен взять и присвоить. Сделать своим.

(*Начинает зарисовывать галерею через глазок.*)

Взгляни на меня теперь — покажется, что я какой-то оборванец. Пугало гороховое. Ха! Сейчас я вас удивлю. Я был бродяга, но я был щеголь. Вот!

(Открывает блокнот и читает.)

Три пиджака. Четыре белых жилета. Пять пар штанов. Четыре манишки. Шесть пар бумажных чулок. Две пары шелковых, черных. Восемь галстуков. Три носовых платка. Три пары ботинок. Три пары туфель. Четыре цветных жилета. Шесть рубашек. Две пары валлийских чулок. Пара белых шелковых. Шелковый платок. Пальто. Рабочий халат. Черный жилет.

Это я в двадцать четыре. Несмотря на непокой, одевался недурно. Знал, как потрафить взору. Как стать подобием тех, кто платил моему портному.

Тех, для кого я копировал картины и получал взамен тарелку устриц. Теперь они приходят ко мне. Ждут у моего порога и тешат мою душу.

(*Возвращается к глазку.*)

Шлют ко мне своих дочерей, чтобы в трепете стояли перед моими полотнами. Присылают их учителей музыки...

(*Заглядывает в глазок.*)

Что ему надо?! Ковыряет картину зонтиком... Как мне хочется...
О, взгляните-ка, он как будто что-то открыл.
Акварель поверх масла, сообщает он ей.
Ну и что? Я, между прочим, макал картины в бадью с водой. Резал. Царапал. Рвал. Скреб. Полосовал.

Беспощадно вершил расправу над холстами и тюбиками с краской. А он-то думает, что меня раскусил.
Как мне хочется вышвырнуть его прочь.
Но постойте. Что она говорит?

Она его останавливает. Тянет за рукав и оглядывается. Должно быть, опасается, что я сейчас войду.

Нет уж. Я подожду да погляжу. Ах, как трогательно!

Она его уводит. К моим "Геро и Леандру".

(*Говоря все это, Тёрнер делает набросок парочки, за которой следит через глазок.*)

Он садится. Она встает рядом и кладет ему руку на плечо, а другую подносит к своей щеке. Повернулась было к нему, но теперь ей пришлось отвернуться, чтобы взглянуть на картину. Их взоры устремились вослед сюжету.
Взошла луна. Вот Геро указывает любимому путь через Геллеспонт, в руках ее факел. Тонкий оранжевый росчерк над головой. А вот они едва видны у перил. Обнимаются. Сходят к воде.
Расстаются. Навеки.
И вот, наконец, справа темнеют фигуры каких-то людей и нимф, корчатся, жмутся к скалам.
Всё в одной раме.
Всё здесь: и жизнь, и любовь, и сладкое расставанье, и хладная смерть.
Я художник. А не часы.

Однако он заскучал:

(*слушает, затем повторяет слова посетителя*): "Мечты больного гения. И к чему здесь столько белого? Разве разберешь".

Он читал рецензии. Критиков. Тех, кто твердит, мол, моя палитра омерзительна и убога.
Омерзительна и убога?
Кармин
Бистр
Кобальтовая синь
Фиалковый
Умбра
А они правы. Но ведь и мир омерзителен и убог.

(*Прерывается, чтобы понаблюдать.*)

А не кажется ли вам, спрашивает она, что здесь *слишком много неба?*
Неба? – ответствует он. Это, что ли, небо? Не вижу ничего подобного.

На этих картинах и нет ничего *подобного.*

Я глядел и затем рисовал.
Гляжу и гляжу. Рисую и рисую.
Мой мир — это мир безумца.
А вокруг — альбомы, альбомы: летопись образов.
Каждый миг воплощен.
Карандашом, чернилами.
На синей бумаге, в какую обертывают сахар.

Не слишком ли долго глядел я? Не слишком ли пристально? Вот так иногда поглядишь — и воздух твердеет, а свет, об него ударяясь, бьется на тысячи тысяч осколков. Земля струится. И нет стихии, что была бы подобна *самой себе.* Но я все это видел. Научился видеть. И это уже не подобия, не отголоски — это самая суть вещей.

Она и сейчас у меня в глазах, в нервах, в кончиках пальцев и... вот в этих руках.
И в душе. Я вижу — и там, в душе, остается все то, что я вижу, остается на краткий миг, прежде чем превратиться в картину, прежде чем вылиться в мир. Остается — и в миг обладанья стать успевает моим. Но что же это такое, что стать успевает моим? Ну конечно, свет. Свет. Свет родится из тьмы.

Этот-то миг обладанья и есть искусство. Миг превращения, миг, когда я творю из света и больше его не вижу...

Надо им рассказать. Рассказать, как оно происходит на самом деле. А они станут ерзать, вежливо разглядывать носки своих туфель и думать, когда же старик заткнется и оставит их в покое.

Она такая милашка, что мне бы не хотелось заставить ее скучать и сожалеть.

Но надо им сказать... Ах да, я трачу время впустую.

Чувствую себя чужим. Сижу у своего глазка, а если б тут тоже было темно, то сидел бы в средокрестии камеры-обскуры — там, где картинка изгибается, словно гусиная шея, и виснет в воздухе вверх ногами.

Любопытная Варвара.

На мой глазок давит махина света. Вся его сдерживаемая мощь, подобная пару в котле паровоза, солнечным лучом выстреливает мне в глаз. А в этом луче две фигурки. Идут от картины к картине, восхищаются, движутся по галерее, словно пешки.

Стремись я добиться точности изображения, сделал бы себе камеру-обскуру вроде вот этой, и весь Лондон в миниатюре отразился бы на стене моего чердака.

...или приклеил бы листья к деревьям, прикнопил бы к небу птиц — и солнце, конечно, тоже — и заплатил бы Дагерру, чтоб пришел и сделал снимок.

Но я овладел светом. Научился его видеть и посвятил свою жизнь его тайнам. Какому Дагерру это под силу? Какая камера-обскура превзойдет зрачок своего посетителя, даже невинного, словно младенец?

Я сотворил искусство из света.

Стоит мне так сказать, и я себя чувствую Богом. Да, я сотворил искусство из света. Но мне страшно к ним выйти. Я их боюсь. Ибо им я покажусь стариком, а Бога они во мне не увидят.

Увидят лишь обветшанье.

А она хороша, моя галерея. *Была*, во всяком случае. Я ведь все выбирал сам: краску кирпичного цвета, тонкую сетчатую ткань под стеклянным потолком. Золоченые рамы. Обошлось в немалую сумму.

Лишь бы еще продержалась.

Печально, право.

(*Глядя в глазок, недовольно.*) Теперь эти двое озаботились тонкой фактурой холста.

Оно бы и ладно, но это же "Переход Ганнибала через Альпы". Есть на что посмотреть.

А ведь это не Альпы, нет. Помню снежную бурю в Фарнли. Кипящий, жирный свет. Черные своды туч. И солнце, ядовитый карлик. Тот низкий, грубый и тусклый свет. Теперь всё здесь...

Случалось ли тогда такое часто? Не помню. Мало что помню из той поры. Удивительно, правда? Долгие месяцы я проводил с любезным Вальтером Фоксом. И каждый божий день работал, набрасывал, рисовал. А вечерами сидели мы у камина и говорили. И он говорил, говорил. Об Уорфдейле — тогда я спросил о пейзаже, который пытался зарисовать. Он так любил эту местность, столь мало знакомую мне. И часами мог говорить о скалах, об ископаемых, о зверье, растениях и цветах. И о политике тоже. О, как тонко, как горячо он говорил о политике! О том, как меняется мир. Как нам его сделать лучше. Какие свободы нас ждут и какие друзья — теперь, когда абсолютная власть уже не у дел, а Наполеону и прочим опасным людям свободный мир показал, что захватчиков

не потерпит... О, как он умел говорить! Мне казалось, я в Парламенте, или в театре, а мысли его трогали меня до слез. Тогда, в Уорфдейле, я было поверил, что они настанут, лучшие времена.

Сейчас я уже не уверен.

Милый, милый Вальтер Фокс. Мой истинный друг, мой покровитель. С тех пор как тебя не стало, я больше не приближался к твоим владеньям. Да я бы просто не смог, не вынес. Сидеть с твоими детьми там, где мы сидели с тобой. Предаваться воспоминаньям.

С каждой смертью мы становимся уязвимей. Каждая забирает частицу нашей жизни. Они уносят меня с собой.

Те, кто меня окружал, превратились в ничто.

Месяцы в Уорфдейле — их почти уже нет во мне. Воспоминания стерлись, я их прогнал, и теперь, как чужой, вспоминаю прошлые дружбы. Стало быть, можно спрятаться от себя? Я боюсь превратиться в ничто, боюсь, словно страшной, мучительной боли.

И все же, хоть я еще и не умер, частицы меня исчезают во тьме.

(*Смотрит на пару в галерее.*) А они увлеклись картиной.

Солдаты.
По скалам разметаны тела. На переднем плане мужчина тащит женщину.
Крохотный слон с седоком.

Пожалуй, они слишком юны и не поймут того, что понимал каждый, когда я впервые выставил "Ганнибала".

В мире был тогда лишь один человек.

Один человек, а за ним — страна. Полновластный правитель. И куда бы он ни пришел, наступали смерть и разруха. Бессмысленное насилие. Мародерство. Грабеж.

И он был тут как тут. Одинокий человечек с водянистыми голубыми глазами и как будто детским выражением лица.

Он был так хитроумен, что сила его и власть, казалось, не знали границ. Те, кто его окружал, даже люди мыслящие, его боготворили. Творили портреты и бюсты. Скульптуры, гравюры, и всюду — он, он, он...

Должно быть, это была гордыня. И вот он зарвался. Выбрал местность, которой не знал. Народ, что был уж слишком непредсказуем. И повел своих людей на верную гибель.

Человечек на слоне. И лавина солдат.

О, мы с Вальтером много о нем говорили! Глупость или величие? В политике я не силен. Но, слушая Вальтера, остро чувствовал слом веков. Тогда, в Уорфдейле, я впервые, всем нутром, ощутил себя частью истории, что будет вновь и вновь возвращаться на круги своя. Я был тогда потрясен. И в ужасе содрогнулся. Вальтеру я не сказал: не хотелось его печалить. Он тогда разошелся: надежды, мол, идеалы...

(*Возвращается к глазку.*) А эти, похоже, флиртуют. Она на него бросает весьма влюбленные взгляды. А он теперь у нее за спиной. Для лучшего обзора.
Но на картину не смотрит.
На этом этапе очень недурно, сэр. И я их тоже любил. Даже когда постарел. Делал им комплименты, восхищался, даже заигрывал. Но они меня не любят. Помню их взгляды. Отвержение. Отвращение.

Мне не хватает... хороших манер.

И выгляжу я... снаружи... не в лучшем свете.

Но ведь я же знаю ее отца, верно? Один из моих нынешних меценатов. Промышленность. Китобойный промысел. О, эти люди мне по душе. Ох, по душе. Ибо так похожи на меня самого. Сами добились всего, достигли верхов — практичностью, хитроумием и тяжелым, тяжелым трудом.

Им даром не нужен Лоррен. О Пуссене они не слыхали, история искусств — это не для них. Им нужны новаторство, сюжет и напор.

О, у них на уме лишь сделки, фонарные столбы и железные дороги. Они приглашают меня к себе, и мы говорим. Говорим о делах, о науке, формулах, сплавах. Теперь среди тех, кто собирает искусство, джентльменов не сыщешь. Нынче это удел таких вот подвижных, пытливых душ.

А какие они гордые. Гордые, вроде меня, особенно когда говорят о выходной мощности, пробеге и паровой энергии. А я для них пишу. Снова пишу, как те флорентийцы. Граммы, унции. Им некогда позировать, некогда размышлять. Нет времени на праздность и на ученость. Старый Макконнел, Джиллот, Баллок, Бикнелл. Они хотят, чтоб и я был вроде них. Громада сталкивающихся сил.

Торговец, с которым легко сговориться.

Простой работяга и важная птица.

Мир изменился. И я изменился. Мир надвигается, надвигается, я всем сердцем чувствую эту зыбкость: поначалу незаметные, сочащиеся пере-

мены, потом их все больше и больше, одна за другой, и вот я уже забываю...

Забываю, что было. Ищу истинных воспоминаний, но нахожу одни лишь подобия.

Где тянулись бесконечные мили пути, нынче огромные города и столбовые дороги.

Кто был ребенком, давно уже взрослый.

Кто восхищался мною, нынче меня жалеет.

Я написал картину.

Я написал картину — давным-давно, когда был молод. Там была плавильня, какие-то шестеренки, железки, а рядом женщина настороже. Персики в миске. Сценка, которую я подглядел в Коулдейле. Она еще валялась потом в студии.

А когда в Академии объявили выставку, я ее нашел. И отнес туда перед открытием вернисажа.

И там переписал. Вокруг толпились люди. Перед открытием вернисажа я пишу споро. Это целое представление. Все глазеют. Бурчат себе под нос. Ну-ка, что наш Тёрнер притащил на сей раз?

Ну и в этой темной плавильне я написал уйму света. Белый свет в самом центре, а слева — фигуру всадника с вытянутой рукой. И обвел ее желтым и оранжево-красным. И все полотно наделил этим жгучим огнем. Словно пламя само коснулось безжизненного холста, с унылым его натюрмортом и бездвижными шестернями.

Это был Веллингтон. Отливка конной статуи.

Тогда все было недавно. Веллингтон был героем. Героем тысячи битв. Хотя, по правде сказать, как он сам признавался, Ватерлоо оказалось счастливой случайностью.

Все могло быть иначе. Могло быть иначе.

Но тогда история уже свершилась. Он герой, и является как герой, отлитый в бронзе, словно сама Британия отлила себя в бронзе. Создавая собственную прекрасную историю из этих зыбучих, сочащихся перемен.

Но стоит приглядеться — и он становится подобен глашатаям Апокалипсиса. Устремляется к вам, весь объятый огнем. Обрушивается на старый мир.

Картина где-то там. Может, они ее и увидят.

И вот что я хочу им в этом случае сказать.

Она знаменует миг, когда я почувствовал слом веков.

В ней нет подобия с истиной, кроме той, что в моей голове.

(*Глядит в глазок.*)

Эти двое меня беспокоят. Изучают текстуру холста, не замечая картины. Намеки, уловки — всё впустую. Не знают ни Веллингтона, ни Наполеона, а если что и знают, то не чувствуют. Нет у них чувства истории.

А что обидней всего... моя галерея для них — место для флирта.
Меня забыли, надо мной смеются. Считают чудаком.

(*Останавливается, припоминая.*)

Забежал я недавно к Лесли. Лесли писал портрет лорда-канцлера, и одежды канцлера, и его парики были разбросаны тут и там. После рюмки-другой меня уговорили примерить парик.

И знаете? Он подошел мне лучше, чем прочим. О, как хорош я был в парике. Никто надо мной не смеялся. Ай да Тёрнер!

(*Радостно улыбается.*)

Или когда я написал огромный, серый морской пейзаж и повесил рядом с "Мостом Ватерлоо" Констебла.

Ха.

Был один из предвернисажных дней, и я отошел и окинул взглядом его картину, а потом свою, и он был так убедителен. Настолько ярче. Бодрее. И ему это было ясно. И тогда я подошел к своему холсту и написал маленький красный буёк. Словно выпустил пулю. И тотчас же цвета засияли. Даже серый — и тот засверкал. И получилось куда основательней, чем у него. И ему это стало ясно.

И когда он увидел, то развернулся и поспешил прочь, бормоча: "Тёрнер пришел и выстрелил".

(*Торжествующе.*) Тёрнер пришел и выстрелил!

(*Успокаивается и глядит в глазок, желая удостовериться, что его не слышали.*)

Ага. Добрались до парохода. Наконец хоть что-то их увлекло. Застыли и смотрят, как громом пораженные.

А как же. Я знаю море лучше прочих. Лучше всех рыбаков, моряков, капитанов. Я смотрел на него день и ночь. И слушал.

Волны. Снуют взад-вперед, как челнок на вечном ткацком станке.

Разверзаются на песке, как головки хищных цветков.

Плещут, лижут детские пятки. *Я мячик потерял. Ты обруча не сыщешь.*

Я, как викинг, могу сказать без компаса и секстанта, далеко ли мы от земли, близко ли к сердцу мира.

Как-то раз, чтоб заглянуть в око буре, услышать песню сирен, я попросил привязать себя к мачте. Вокруг катались бочки, стонали, трещали борта, а волны вздымались по обе стороны, скрывая горизонт, пока наконец вокруг меня не воцарилась зеленая водная долина. А потом та долина, поднявшись, низвергла меня в другую, и кораблик казался игрушкой со спичечной мачтой.

Никогда не боялся моря. Моря надо бояться.

И с тех пор стоит мне иногда вглядеться — и земля превращается в море. Мужчины и женщины — в рыб и морских чудовищ. Я пью — и вода в моей чашке бьется о дамбу очков.

Критики надо мною смеются, люди находят странным, неотесанным и... противным, но я помню, как заглянул в око буре, и буря взглянула в упор на меня и спросила: "Все ли ты сделал, что в твоих силах?"

Однако о чем я?

Пароход. Снежная буря. Судно выходит из порта. Эй, вы, двое, глядите внимательней — и увидите пароходик, и отважный-отважный флажок, и море вокруг, словно вихрь. Кружит, смыкается все теснее вокруг корабля, и команды, и груза. Будто бы море нашло свою жертву и ею играет, прежде чем прикончить, перебрасывает из одной водяной своей лапы в другую.

И нет здесь ничего, что было бы сообразно природе. Но я это видел.

О, как эти двое застыли в испуге, рука в руке. Однако картинка их увлекла. Закружил их, закружил мой штормовой простор...

(*Кричит в глазок.*) Эй, поглядите! Поглядите на этот крохотный, измученный пароходик, гордящийся новым миром... вашим миром!

Сейчас его подомнет колесо судьбы, вращение волн, ветра, снега и туч.

(*Смотрит в глазок.*) Однако она приметила в небе над пароходиком жалкий проблеск света.
Лазейку.
Выход.
Показывает ему. Он замечает, и на лице у него облегчение.

Как два матроса на вахте. Буре конец.

(*Вновь торжествующе.*) Ай да Тёрнер! Вот герой так герой!

(*Смотрит в глазок.*) Теперь обнимаются. Как трогательно.

Я, знаете ли, сентиментален. Любезничать там, волочиться — нет, не умею, но уж ежели полюблю, то с концами. Там, внизу, моя Ханна, чье лицо заставило вас содрогнуться, когда она отворила. Вот моя краля. Что, оценили глубину моего чувства?

Там, в позолоченных рамах. Вот оно, истинное воплощение моего чувства. Но, когда меня не станет, оно им придется не по нраву. Мои глубокие чувства никому не будут нужны. Небось все предадут огню.

Я превращаюсь в ничто, верно?

(*Глядит в глазок.*) Они меня не слышат.

Вот так всегда. Я оставил уйму картин. А голос мой им не нужен.
Сдается мне, ничего им от меня не нужно.

А в углу еще одна. "Морозное утро". Ну-ка, взгляните.

Телега. Пара лошадей. Та, что впряжена, — моя. Старик оперся на ружье. Рядом девчушка, а у нее на плече, словно печальный плащ, пристреленный заяц.

Старик мне тоже знаком.

А видите...

Но они не смотрят.

...Нет, вы видите на дороге повозку? Почтовую карету, что скоро промчится мимо? А может, уже промчалась — бог весть.

Пассажиры приникли к окну. И что они зрят? Телегу. Двух лошадей. Старика, что оперся на ружье. Девочку с зайцем на плече.

А может, в карете художник. Хватает альбом и рисует.

Девчушка. Старик оперся на ружье. Лошади. Мертвый заяц.

Смотрят.

Я приближаюсь?

Или все-таки удаляюсь?

(*Задумывается.*)

Итак, я превращаюсь в ничто, верно? Когда я сказал это доктору, он даже разволновался.

А я ему говорю, что не в силах остановиться. Что слишком уж разогнался.
Был полон сил и беспечен.

(*Улыбается.*) Как бублик с дыркой.

Я приближаюсь?
И резв, что твоя блоха.

Пора идти.

Да, пора идти.

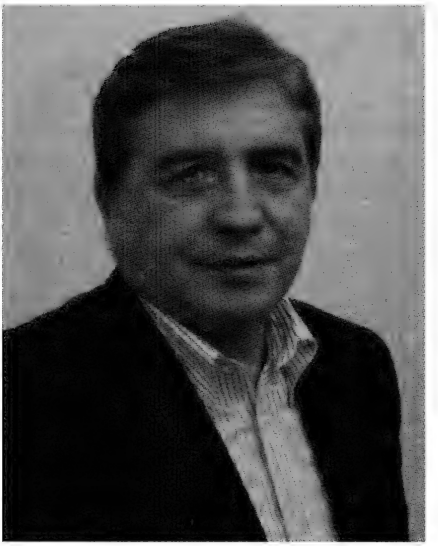
Свет родится из тьмы.

(*Бормочет*) разбирайтесь, если сумеете...

ТЁРНЕР распахивает дверь студии (камеры-обскуры) и выходит в галерею.

Фонд Ельцина: ресурс языка и культуры

Интервью с исполнительным директором Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина А. А. Дроздовым.



А. Ливергант. Александр Алексеевич, Вы — исполнительный директор Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина, поэтому начну с вопроса о вашем фонде. Когда он был создан, с какими целями, кем?

А. Дроздов. Фонд Ельцина был создан в 2000 году с целью продвижения гуманитарных идей в российском обществе, создания условий для реализации интеллектуального потенциала молодежи, которой предстоит отстаивать интересы России в XXI веке. Задача фонда — содействовать формированию пространства для сотрудничества с окружающим миром, прежде всего со странами СНГ, но также и со странами дальнего зарубежья. Можно сказать, что Фонд Ельцина — это своего рода универсальный канал диалога как внутри России, так и за ее пределами. Конечно же, фонд, который носит имя Первого Президента России, выполняет важную роль популяризатора всего, что связано с личностью Бориса Николаевича Ельцина. Создавали фонд известные люди: это самые близкие друзья и родственники Бориса Николаевича. Материальные ресурсы фонда складывались из добровольных пожертвований представителей крупного российского капитала.

А. Л. Борис Николаевич Ельцин лично имел какое-то отношение к созданию фонда?

А. Д. Да, безусловно. Это была его идея. Непосредственно в повседневные дела фонда он, конечно, не вмешивался, тем не менее для него было очень важно, что такая организация существует, и не только потому, что она носит его имя, а потому, что она включена в работу важного сектора экономики. Сегодня Россия постепенно приближается к показателям западного сообщества по части благотворительности: на Западе благотворительность, гуманитарные проекты, финансируемые из частных источников, становятся очень серьезной частью экономики. Борис Николаевич бывал в фонде, мы регулярно отчитывались перед ним, при этом никогда не бывало никаких капризов или недовольства с его стороны по поводу того, что фонд не разрекламирован. Его собственный стиль, как и стиль его дочери Татьяны Борисовны Юмашевой, директора фонда, был далек от нарочитой публичности. Это была совершенно сознательная

установка Бориса Николаевича: действовать спокойно, ненавязчиво, без ненужной помпы.

А. Л. Фонд Ельцина существует уже восемь лет. Какова его идеология на сегодняшний день, основные направления деятельности?

А. Д. Мы исходим из того, что все наши действия в конечном счете должны способствовать поддержанию пока еще очень слабого гражданского общества в России, а главное — повышению его качественного уровня. Это проявляется в проектах, которые мы адресуем прежде всего молодежи, проектах, связанных с языком, культурой. Таким образом, одно из важнейших направлений нашей деятельности — культурно-образовательное. Другой важный ее аспект — это социальная защита, включая такие, казалось бы, совершенно банальные вещи, как бесплатные обеды для малоимущих в Москве, и многое-многое другое. Все, что мы делаем, так или иначе преломляется через призму гражданской ответственности.

А. Л. Вы упомянули о других фондах. Какое место ваш фонд, который существует уже без малого десять лет, занимает среди других фондов? Многие иностранные фонды, в частности Фонд Сороса, если и не вытеснены из России, то, по крайней мере, занимают сейчас довольно скромное место в том направлении, о котором вы говорили.

А. Д. Если кто-то ставил задачу вытеснить Фонд Сороса, чтобы дать простор российским фондам, то будем считать, что эта задача выполнена, хотя, с моей точки зрения, все, что происходит сейчас вокруг некоммерческих и неправительственных организаций, в том числе с иностранным участием, по меньшей мере странно. Действительно, за последние годы российские фонды существенно увеличили свой удельный вес. Понятно, что раньше не хватало практики, не хватало опыта. В свое время Фонд Сороса взял на себя заботу об очень многом. Это была яркая и весьма эффективная модель.

А. Л. В каком-то отношении Фонд Сороса занимался тем же, что и вы: образовательные проекты, интернет-программы, наука. Идея была — начать, чтобы потом государство перехватило эстафету.

А. Д. Могу сказать только одно: мы не состязались и тем более не намерены состязаться в дальнейшем с иностранными фондами. Я считаю, что они безусловно должны присутствовать здесь, но думаю, что основная ответственность за то, что сегодня происходит в России, лежит на нас, россиянах, в фондах ли мы состоим или в общественных организациях или не состоим вообще нигде. Вместе с Фондом Ельцина поднялись организации, которые так же, как и мы, скромно и ненавязчиво работают, например, в провинции. Я бы отметил Фонд Михаила Прохорова, который возглавляет Ирина Прохорова. Нам интересно то, что они делают, и в некоторых проектах мы, конечно, будем участвовать вместе — в частности, в Книжной ярмарке в Красноярске. У них примерно та же задача, что и у нас, — забота об интеллектуальном потенциале России. Сегодня Россия имеет в качестве ресурса совсем немногое. Я имею в виду, конечно, не полезные ископаемые, а ресурсы развития. Ресурсом развития являются не полезные ископаемые, а люди, интеллектуальный потенциал.

А. Л. Который у нас чрезвычайно высок.

А. Д. Да, только надо уметь им правильно распорядиться, создать условия, необходимые для его развертывания. Сегодня для этого существуют такие крупные организации, как уже упомянутый Фонд Прохорова или Фонды Потанина и Зимина. Нам приятно осознавать, что мы движемся параллельными курсами, хотя пока не возникло того, что можно назвать солидарной ответственностью. Это свойство России в целом — большие расстояния развеивают мысли. Мы плохо консолидируемся там, где это было бы вполне возможно, и даже иногда довольно плохо знаем друг о друге.

Отчасти это объясняется тем, что в 90-е годы то, что происходило с фондами, точнее с псевдофондами, сильно подпортило репутацию самого института благотворительности, тогда еще очень молодого. Фонды использовались как средство отмывки, перекачки денег, вымогательства, мошенничества. Так было, например, с "липовыми" фондами Толстых, Рериха. Только сейчас происходит реабилитация фондов как института; вместе с тем теперь фонды вынуждены вести двойные отчеты — отчитываться не только перед налоговыми службами, но и перед Министерством юстиции. Тем не менее, как мне кажется, институционализация этого инструмента практически состоялась. Над этим уже всерьез работает группа законодателей, появился федеральный закон о целевом капитале, который чуть развязывает руки фондам.

А. Л. То есть государство поворачивается к вам лицом?

А. Д. Постепенно. Мы участвуем в нескольких крупных федеральных программах, при этом именно мы всегда были инициаторами объединения усилий в рамках федеральных программ. Вот вы говорите о том, что мы должны создавать такие "триггерные" проекты, после запуска которых включается государство. Пока я этого не наблюдаю. Хотя есть исключения. Например, Министерство образования очень серьезно отнеслось к нашей инициативе, связанной с программой дистанционного обучения инвалидов. Оказалось, что есть федеральная целевая программа, адресованная инвалидам, и то, что мы предложили, оказалось очень полезно и своевременно. Заработал институт государственно-частного партнерства, которое, с моей точки зрения, пока еще осуществляется довольно робко в России. У нас есть проекты, в которых областные бюджеты участвуют с нами примерно пятьдесят на пятьдесят. Важно, что это как раз та самая модель триггерной ситуации, которая потом подхватывается государством.

А. Л. Наша совместная деятельность началась с переводческих проектов. Несколько слов о них. Ведь именно ваш фонд был инициатором создания премии для переводчиков русской прозы и поэзии на европейские языки, теперь уже не одной. Мы познакомились на круглом столе, организованном в связи с вручением премии "Россика" за лучший перевод русской литературы на английский язык. Началось все как раз с английского языка, а сейчас, насколько я понимаю, вовлечен уже и французский, и испанский, и итальянский, и, кажется, немецкий язык.

А. Д. С этим проектом получилось все исключительно легко, потому что он понятный, красивый, яркий, доступный. Не преувеличу, если скажу, что важную роль играет то, что проект очень рационален с точки зрения инвестирования. По крайней мере до тех пор, пока речь не идет об издании переводной литературы. Началось же все с того, что мы уловили, — возвращаясь к разговору о том, какими ресурсами обладает Россия, — что ресурс языка и культуры — это, пожалуй, и есть то немногое, что пока еще основательно "подпирает" российскую внешнюю политику. На языке технологов это принято называть soft power, мягкая сила. Русскую литературу и культуру по-прежнему знают и ценят. Не воспользоваться этим было бы грешно, тем более что мы начали этот проект в период затишья, которое переживало профессиональное переводческое сообщество, во всяком случае, за рубежом. Традиционные институты общения, каналы культурных связей были перекрыты или, вернее, высохли сами собой из-за отсутствия финансирования и соответственно — особого интереса. И вдруг мы нащупали с помощью наших английских партнеров в Academia Rossica такой проект. Оказалось, что он работает, востребован. И не только в Европе: к нам уже обращались потенциальные партнеры из Латинской Америки, проявили интерес Соединенные Штаты. В

Азии мы сейчас ведем разговоры с японцами, которые, к слову сказать, недавно в очередной раз перевели Достоевского и издали его тиражом 600 тысяч экземпляров, а это даже для Японии колоссальный тираж.

А. Л. Вы начали очень правильно, потому что англосаксонская культура самодостаточна, они очень мало переводят с других языков, мало поддерживают свою культуру и литературу, ведь она и так востребована в мире. Поэтому когда оказывается поддержка переводам русской классики и современной русской литературы на английский язык, это особенно важно. У англичан переводы занимают очень скромное место, гораздо меньшее, чем у французов, итальянцев и немцев. Французы сейчас все-таки русскую литературу переводят много, а англичане и американцы предельно мало и очень плохо ее знают. Будем надеяться, эта инициатива будет способствовать увеличению интереса к русской литературе. А кто является соучредителем премий в странах-партнерах?

А. Д. Фонд Academia Rossica в Англии (премия называется "Россика"), Ассоциация "Франция–Урал" во Франции (премия "Русофония"). В Италии премия называется "Россия–Италия. Сквозь века", ее курирует Витторио Страда. В Испании мы сотрудничаем с Фондом Пушкина, который основали проживающие в Испании русские. В Германии нашим партнером является пока неформализованное сообщество переводчиков, которое предложило назвать премию именем Ивана Тургенева в силу особой популярности писателя в Германии. В декабре планируется первое вручение немецкой премии, а в ноябре – испанской. Испанцы и немцы участвуют в проекте первый раз, а французы и англичане уже двигаются к третьей премии, итальянцы – ко второй. Поначалу казалось, что вручать премию раз в два года – это даже много, но, как выяснилось, ежегодная премия нужна всем.

А. Л. А за какие произведения присуждают премии?

А. Д. Это и классика, и современная литература. Пожалуй, я даже не могу выделить какие-либо национальные особенности применительно к каждой премии. Это абсолютно открытый выбор, мы никоим образом не вмешиваемся в работу жюри, в каждой из стран все решает именно оно. Бывают, правда, казусы: так, в Италии официальная российская сторона – не мы, не буду называть кто – вдруг выразила обеспокоенность тем, что в числе номинантов фигурирует перевод книжки Анны Политковской "Другая Россия". Итальянское жюри приняло такое решение не только в память о Политковской (был как раз год со дня ее гибели), но и просто высоко оценив труд переводчика. Мне показалось, что итальянцы и французы в целом переводят значительно больше актуальной литературы, чем англосаксы. Пока у жюри нет жанровых предпочтений.

А. Л. Каков размер премии?

А. Д. В среднем победитель получает пять тысяч евро. Первая немецкая премия будет несколько необычная: немцы попросили наградить ветерана переводческого цеха Петера Урбана, который перевел около ста произведений русских авторов от Чехова до советской лагерной литературы. Немецкое жюри решило в первый раз конкурс не проводить. Ну, раз решило, так тому и быть.

А. Л. Эти премии очень важны еще и потому, что переводчик, как известно, не относится к обеспеченному профессиональному сословию. Переводчики, конечно, нуждаются в подобной поддержке. И здесь хочется вспомнить совместный проект Фонда Ельцина с Союзом "Мастера литературного перевода", премию которого – "Мастер" – вы будете вручать уже второй раз. Хочу здесь выразить вам огромную благодарность. Я считаю, что это очень важно для российских переводчиков, ведь все время идет разговор о том, что советская школа художественного перевода терпит крах. Вручение премии "Мастер", безуслов-

но, способствует сохранению переводческой традиции. Параллельно с этим возник еще и проект с журналом "Иностранная литература": вы увеличили тираж журнала и вместе с некоммерческим фондом "Пушкинская библиотека" обеспечиваете распространение журнала по регионам. Ваше отношение к этому проекту, его перспективы?

А. Д. Во-первых, я вам очень признателен за то, что вы познакомили фонд с союзом "Мастера литературного перевода". Я, честно говоря, и не подозревал о том, что в таком безумном городе, как Москва, есть такой волшебный творческий цех. Это не просто клуб по интересам, это серьезное профессиональное сообщество, оно живо и трудится. Прекрасно, что сохраняются традиции журнала "Иностранная литература". Замечательно, что журналу удалось сохранить свой бренд, свою высокую репутацию. Вы твердо держите занятую территорию и пытаетесь постоянно ее расширять, это у меня как у давнего читателя "Иностранной литературы" не может не вызывать восхищения.

А. Л. А вы читатель журнала?

А. Д. Да, я ваш читатель с детства, с семи лет, или точнее "листатель" в том возрасте. Мы тогда жили на даче в Малаховке в поселке Совнаркома, и одним из самых интересных мест был набитый старыми книгами и журналами сарай — общая собственность четырех соседей. Я держал в руках издания довоенной поры: и время, и бумага пахли особенно... Чего там только не было: журнал "Огонек" со Сталиным (а это для меня, ученика средней московской школы 60-х годов, было, конечно, в диковинку), журнал "Новый мир" и журнал "Иностранная литература", который, как я уже знал, был безумно популярен и недосягаем — иначе как по подписке.

А. Л. Да, ведь это было либеральное окно в мир, и государство при всех своих цензурных рогатках позволяло "Иностранной литературе" то, что оно не позволяло "Новому миру".

А. Д. Я даже помню первое, что я прочитал в "Иностранной литературе". Это был рассказ или короткая повесть о Мозамбике, о мозамбикских повстанцах, очень хорошая литература с таким крепким эротическим духом. Так что можете считать меня читателем с приличным стажем. Тогда меня поражало жанровое многообразие, и теперь я понимаю, говоря взрослым языком, что у журнала всегда был приличный редакционный портфель.

А. Л. "Иностранной литературе" тоже сильно мешали, но меньше, чем русским "толстякам". А вот мне запомнился в этой связи журнал "Коммунист", который мы вынуждены были выписывать в нагрузку к "Иностранной литературе", и я потихоньку вечером выносил его на помойку. Тираж "Иностранной литературы" был очень велик, но подписаться на него при этом было очень трудно.

А. Д. Видимо, вкус к политике у меня возник в результате знакомства с этими журналами. Я помню на ощупь старые, слегка отсыревшие "Огоньки" с карикатурами на "кровавую собаку" Тито в исполнении Кукрыниксов или Бориса Ефимова. Мне уже тогда было интересно, что такое Уолл-стрит и почему такая длинная цепь тянется оттуда к Югославии через Атлантический океан.

Возвращаясь к нашему общему проекту, я повторю, что очень признателен вам за то, что вы своим существованием подсказали нам следующий шаг. Этот шаг был абсолютно неизбежен. Когда мы в фонде узнали, что вы ни с кем не сотрудничаете и не имеете постоянной опоры, мне показалось абсолютно закономерным протянуть вам руку помощи. Союз "Мастера литературного перевода" и журнал "Иностранная литература" — это естественные партнеры Фонда Ельцина. Это та самая интеллектуальная часть нашего общества, без которой его существование в принципе невозможно.

А. Л. В сущности, ведь мы работаем на одной площадке — в области поддержки гражданского общества.

А. Д. Именно так. И дело не только в премии, что, конечно, само по себе очень важно: профессионалы должны получать общественное признание. Но и в самом журнале: он кажется мне по-прежнему интересным, содержательным, актуальным. Это качественный интеллектуальный продукт, по-прежнему востребованный обществом. И мне отрадно, что мы сделали хоть что-то для того, чтобы этот журнал поддержать.

А. Л. Вы сделали очень много. Часто приходится слышать, что нам на руку бум переводной литературы. На самом деле все ровно наоборот. Ведь это бум не просто переводной литературы, а массовой переводной литературы, поэтому мы вынуждены плыть не по, а против течения. И здесь помощь фонда очень существенна. Теперь, коль скоро мы заговорили о журнале "Иностранная литература" и об этом проекте, расскажите о других издательских проектах фонда. Вы были столь любезны, что подарили журналу несколько книг из серии "История сталинизма". Несколько слов об этом проекте.

А. Д. У нас нет своего издательства или издательского отдела, мы не можем воспользоваться плодами своих издательских усилий, то есть торговать книгами, поскольку устав и закон нас сдерживают. Мы некоммерческая организация, поэтому можем только финансировать издательские проекты и, если это входит в условия договора с партнерами, брать на себя обязательства по рассылке в библиотеки разного уровня — вузовские, областные, районные и прочие. На таких условиях мы работаем, например, с издательством "РОССПЭН" ("Российская политическая энциклопедия"). Первым же издательским проектом Фонда Ельцина было участие в программе Фонда "Демократия", который возглавлял Александр Николаевич Яковлев (сейчас возглавляет его дочь Наталья Александровна Ушацкая). Фонд Яковлева вот уже пятнадцать лет публикует документы российской истории. Раньше этот проект поддерживал Фонд Сороса. Затем обязательства по поддержке взял на себя Фонд Ельцина, поскольку нельзя было останавливать эту программу, и она продолжается до сих пор, слава богу. Последние тома были посвящены истории военной разведки, деятельности Дзержинского, чуть раньше вышли сборники документов, посвященные Хрущеву, Маленкову, Кагановичу, Молотову. До конца этого года мы издадим еще три-четыре тома и, безусловно, пойдем дальше. Одновременно с этим мы начали свою собственную программу — это серия "Новая библиотека русской классики". По сути, это издание хрестоматий, но с очень качественными предисловиями, комментариями, серьезной научной базой. Это сто ведущих имен русской литературы, дореволюционной, советской и современной. Серия предназначена для высшей и средней школы. Комментарии к изданиям пишут лучшие специалисты по русской литературе. Так, например, комментарии к тому, посвященному Пушкину, готовил Пушкинский Дом. Мы выпустили уже двадцать один том, некоторые книги выходят в двух частях.

А. Л. Вы финансируете издание книг, а дальше?

А. Д. Мы рассылаем книги вместе с нашими партнерами, обществом "Знание" и издательством "Парад", которые предоставляют нам базу данных. Прежде всего это школьные и вузовские библиотеки по всей России.

Помимо этого у нас возникло очень интересное сотрудничество с издательством "РОССПЭН". Мы начали с переиздания книги Егора Гайдара "Гибель Империи" дополнительным тиражом в десять тысяч экземпляров, который полностью профинансировали. Сейчас готовим издание этой книги на французском языке во Франции с помощью наших партнеров по переводческому проекту "Русофония". С "РОССПЭНом" мы договорились осуществить долгосрочный совместный

проект "История сталинизма". Пока издано семнадцать книг, в работе до конца года еще шесть. Думаю, что к конференции, которая откроется в Москве пятого декабря, мы их презентуем.

А. Л. А какова схема сотрудничества?

А. Д. Схема сотрудничества та же. Мы финансируем издание полностью или же пятьдесят на пятьдесят вместе с "РОССПЭНом" и рассылаем книги по имеющейся у нас базе данных. Этот проект выходит за рамки издательского — сюда входит также международная конференция "История сталинизма — итоги и уроки общественного осмысления", которую мы намереваемся сделать регулярной. Мы воспринимаем как исключительно тревожную тенденцию то, что в общественных опросах Сталин занимает ведущие места, что издан учебник, в котором Сталин назван эффективным менеджером, а все его действия объясняются не чем иным, как неизбежными издержками мобилизации страны, которая иначе бы не смогла достойно встретить 1941 год. Такого рода вопросы надо обсуждать публично, причем трезво, громко, ничего не стесняясь. Первые лица государства обязаны давать оценку происходящему, потому что, как сказал недавно наш действующий президент, страна понимает только сигналы. Вот этого сигнала до сих пор и не последовало. В нашем издательском проекте мы не сообщаем ничего нового. Об этом периоде уже известно довольно многое; многие скажут, что они уже все это знали. Но если вы это знали, почему вы тогда согласны на такую переоценку истории и на такого рода восприятие или на равнодушие?

А. Л. В этой связи еще один вопрос, касающийся истории сталинизма. В августе не стало нашего большого писателя, замечательного и при этом крайне противоречивого мыслителя — Александра Солженицына. Предполагаете ли вы переиздать труды Солженицына? "Архипелаг ГУЛАГ", например.

А. Д. Идея такая была, а сейчас сам бог велел. Мне кажется, это необходимо сделать. Есть книги, к которым надо возвращаться как к молитве. Я думаю, для страны было бы значительно полезнее начинать каждое утро с Варлама Шаламова или с Солженицына, чем с телевизионного шоу. Ведь духовно мы недалеко ушли от той эпохи. Тема не закрыта.

А. Л. И еще один вопрос, чтобы закончить разговор об издательских проектах и связать их с переводческой деятельностью. Мы скоро начинаем проект антологии "Мастер", в которой будем издавать сборники трудов замечательных переводчиков, мастеров, живых и ушедших. Это также повышает престиж профессии, потому что все мы с детства знаем и читаем переводные книги, но крайне редко обращаем внимание на фамилию переводчика. Если книга напечатана по-русски, значит, и написана по-русски. Придаете ли вы значение этому проекту?

А. Д. Да, безусловно. Этот проект продолжает и замыкает работу, которую мы начали в рамках "Русской премии", когда победители получают возможность быть напечатанными в столичных издательствах. Причем речь идет о трудах, которые жюри получает либо в электронном виде, либо — в лучшем случае — в журнальном и практически никогда в изданном, в книжном варианте. А переводческая составляющая — это, с моей точки зрения, важное и красивое продолжение. Мы давно уже ничего такого не держали в руках.

А. Л. Александр Алексеевич, вы ведь тоже зарубежник. Вы японист. Скучаете без профессии? Полагаю, что сейчас у вас нет времени заниматься современной японской литературой и писать о Японии. А раньше?

А. Д. Когда я возвращался из Японии, у меня, кажется, даже был заключен договор с издательством "Молодая гвардия" на книгу о Японии, но мне в тот момент, в конце 80-х, значительно важнее было заниматься своей собственной страной.

Фонд Ельцина: ресурс языка и культуры

Хотя книги, основанные на впечатлениях от поездок по разным странам, были и остаются очень востребованными.

А. Л. Как книга "Ветка сакуры"?

А. Д. Да, книга Всеволода Овчинникова. Владимир Цветов позже написал "Пятнадцатый камень сада Рёандзи". Единственной возможностью заглянуть в Японию были книги, написанные этими людьми. И они это делали ответственно. Цветова уже нет в живых, к сожалению, а что касается японоведческой линии в журналистике, то она просто умерла. Ее не существует. Вы не видите этого по телевидению, не слышите по радио. Периодически о Японии что-то рассказывают, но такого созвездия журналистов, которое было в 80-е годы, сегодня нет.

А. Л. Насущность создания такой книги сохраняется? Взялись бы сегодня?

А. Д. Взялся бы, только это была бы совершенно другая книга. Япония, конечно же, остается со мной постоянно. Это такой внутренний фон. Сам язык и работа в Японии очень многое изменили в моем характере. Например, строй японского языка таков, что он не содержит однозначного отрицания. И многие из тех, кто работает со мной, обращают внимание на это мое свойство — не то чтобы я не умею говорить "нет", но мое "нет" звучит не так, как иногда оно звучит по-русски.

А. Л. Это же самое мне говорил ваш коллега, известный писатель Борис Акунин, который долгое время был заместителем главного редактора журнала "Иностранная литература" и много переводил с японского.

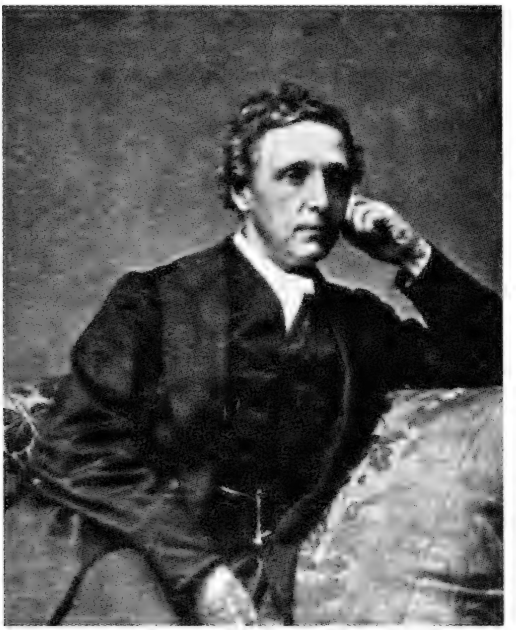
А. Д. Значит, я здесь не одинок. Большое влияние на меня оказал также японский быт. С моей точки зрения, Япония страна исключительно удобная во всех отношениях — для жизни, для работы, для контакта с природой. Я полюбил ее и чувствовал себя там как дома. И совершенно необязательно для этого знать японский язык. Разговоры о загадочной японской душе — это преувеличение, с которым я никогда не соглашусь. Все это мифология. Не хочу упрощать, но вполне возможно чувствовать себя адекватно, не будучи японцем и не пытаясь быть японцем.

А. Л. У нас в целом велик интерес к древнекитайской, японской литературе, а у них, в свою очередь, велик интерес к русской классике — вот и вы говорили о переводах Достоевского. Мы рассчитываем когда-нибудь сделать специальный номер "Иностранной литературы", посвященный Японии. Во время нашего чуть ли не первого разговора мы как раз говорили о том, что вы могли бы нам каким-то образом помочь — может быть, как составитель или переводчик. Будем надеяться, что это получится. Большое спасибо и успехов вам, Фонду Ельцина и нашему партнерству.

А. Д. Большое спасибо.

Льюис Кэрролл
Стишки на случай и не только

Перевод с английского и вступление Марины Бородицкой



Стихи Льюиса Кэрролла (кроме тех, что вошли в "Алису в Стране чудес" и "Алису в Зазеркалье") у нас не очень известны. Между тем знаменитый автор обеих "Алис" начинал в литературе как юмористический поэт. Мировая слава книг об Алисе затмила все остальное — даже остроумнейшую поэму "Охота на Снарка". Что уж говорить о стихах и тем более всевозможных стишках на случай, которых Кэрролл написал великое множество. А ведь по ним можно изучать эпоху, подробно и с наслаждением. Чего тут только нет: и репертуар театров, и перечень "захватанных" викторианскими поэтами приемов (передразниваемых в "Poeta Fit..."), и приметы семейного и детского быта, и непременное посещение первой Всемирной промышленной выставки на территории лондонского Гайд-парка (куда не сразу удается попасть незадачливому Дамону и его верной Хлое)...

В большое собрание поэтических произведений Л. Кэрролла (которое готовит к изданию "Водолей Publishers") наряду с самыми известными стихотворениями и поэмами войдут и письма в стихах, и стихи из писем, и акростихи, и стихотворные загадки с пропущенными буквами — словом, целые россыпи поэтической "мелочи", забавной и драгоценной.

© Марина Бородицкая. Перевод и вступление, 2009

Poeta fit, non nascitur[1]

— О, как бы мне поэтом стать?
Как убежать мне тленья?
Я чую, дедушка, в груди
Высокое стремленье!
Скажите лишь, с чего начать —
Начну без промедленья.

Старик с улыбкой на устах
Любуется юнцом:
Каков задор, каков размах,
И смотрит молодцом!
Без всяких там сюсю-фуфу,
Видна порода в нем.

— Ты, значит, вздумал сей же час
Заделаться поэтом?
Садись и слушай мой наказ,
Внимай моим советам!
Сперва усвой прием простой,
Сравнимый с винегретом:

Ты должен фразу написать,
Нарезать на слова
И как попало разбросать,
Перемешав сперва.
Порядок слов не важен тут,
И не нужна канва.

Чтоб впечатленье произвесть,
Как все твои собратья,
Учись писать с заглавных букв
Абстрактные понятья:
Добро и Совесть, Ум и Честь —
Все, словом, без изъятья.

При описаньях (затверди!)
Предметов и фигур
О них не прямо речь веди:
Намек иль каламбур
Тут будет к месту — взгляд не взгляд,
А мысленный прищур.

— Так я могу о пирогах
Мясных, для нас привычных,

1. Поэтами становятся, а не рождаются (*лат.*). Ироническая вариация известного изречения Цицерона: "Oratores fiunt, poetae nascuntur" — "Ораторами становятся, поэтами рождаются". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Сказать: "То агнцев нежный прах
В узилищах пшеничных"?
— Ну что ж, отменный оборот,
Притом из лаконичных.

Затем эпитетов набор
Запомни и усвой:
Как соус рединг ский, они
Пойдут к еде любой.
Всех лучше — *сирый, тайный, злой,*
Безумный и младой.

— А взявши несколько, нельзя ль
В одну собрать их фразу:
"Безумец сирый, глядя вдаль,
Младую кушал зразу"?
— Нет, мальчик мой, остерегись
Их применять все сразу.

Они, как перец, остроту
Твореньям придают:
Стручок добавишь там и сям —
И слюнки потекут,
А переложишь — ад во рту,
Испорчен весь твой труд.

Теперь о технике письма:
Читательское стадо
Кормить излишней информа-
цией совсем не надо.
Куда ты гнешь, к чему ведешь —
Скрывай, как тайну вклада!

Имен, названий, точных дат
Упоминать не смей:
Пускай гадает невпопад
Пытливый книгочей.
В поэме должен быть туман —
Чем дальше, тем плотней.

Сначала выбери размер,
Не слишком утонченный,
Воды налей, не пожалей —
Сырой иль кипяченой,
И заверши полет души
Строфой сенсационной.

— Сенсационной? Вот словцо
Из философских сфер!

Вы не могли бы разъяснить
Его значенье, сэр,
И к разъясненью приложить
Доступный мне пример?

Старик в окно, на сад и луг,
Взглянул без интереса:
Роса сверкала, солнца край
Виднелся из-за леса.
— В театр Адельфи, внук, ступай,
Там "Коллин Бон" есть пьеса,

И новая теория
В ней провозглашена:
Мол, Личность и История —
Песчинка и волна.
Коль это не сенсация —
То *что* тогда она?

Итак, дерзай, мой юный друг,
Ищи себя в работе...
— А там — в печать! — воскликнул внук. —
В зеленом переплете,
Формат in duodecimo[1],
С обрезом в позолоте.

И он вприпрыжку побежал
Взять перьев и чернил.
Довольным взглядом провожал
Парнишку старожил,
И лишь подумав про *печать*,
Вздохнул и приуныл.

Мисс Джонс

Вы, горячие сердца, собирайтесь вкруг певца!
Эта горестная песня тронет старца и юнца.
Чтоб со мною вы скорбели о несчастной Арабелле,
Попрошу не расходиться и дослушать до конца.
Саймон Смит — высокий, стройный —
малый был весьма достойный,
Но девицу Арабеллу червь сомненья вечно грыз,
Ведь ее не звал он Беллой, только *Джонс* и только *Мисс*.
Чуть она: "Мой Саймон, милый!" —
враз глухим он притворится.

1. В двенадцатую долю листа (*лат.*).

И сказала как-то Сьюзен, Арабеллина сестрица:
"То ли вежлив он сверх меры, то ли робостью томим, —
Если хочешь, кавалеру мы проверку учиним.
Напиши в записке краткой, что дела у нас в порядке,
Что простуда у тебя прошла совсем,
Что согласна ты умчаться, чтобы тайно с ним венчаться,
И что будешь у кожевни ровно в семь.
Нет, лучше в девять!"
Арабелла написала — и, заклеив, отослала —
и надела самый лучший свой наряд:
Серьги, брошку и браслетку, бусы, часики, лорнетку
и с брильянтами колечки все подряд,
Ведь мужчины страсть как падки до всего, что тешит взгляд!
Вот стоит она и ждет, придя на встречу роковую,
и сказал ей булочник: "Пора на боковую!"
И кожевник старый вышел глянуть, *кто*
Так гулко кашляет в ночи — и вынес ей пальто.
И, чихая, повторяла Арабелла:
"Милый Саймон, не спеши, хоть я совсем окоченела,
И день угас, и минул час назначенный давно, —
Я знаю, ты придешь! Я верю все равно!
О Саймон! Мой Саймон! Мой самый-самый Саймон,
Мой дорогой, любимый Саймон Смит!
Но вот часы на башне бьют, и на вокзале тоже бьют,
на почте и на площади — все бьют двенадцать раз!
О Саймон! Как поздно! Нет, правда, нет, серьезно —
Пускай меня колотит дрожь, я верю, утром ты придешь,
ведь ты ко мне придешь?
Тогда в карете золотой мы в Гретна-Грин[1] умчим с тобой,
И верный Саймон... боже мой, ну что за имя — Саймон!
Вульгарно, пошло, просто стыд, я буду миссис Саймон Смит,
Но нет, меня он пощадит и согласится, например,
взять имя Клэр..."
Так сидела Арабелла и вздыхала то и дело
На сыром, холодном камне и ужасно оробела, когда кто-то,
незнакомый ей совсем,
Вдруг промолвил: "Добрый вечер, мэм!
И не страшно вам одной? Бродят воры в час ночной...
Это что у вас, браслетик? Вероятно, золотой!
А колечки? Разрешите... и напрасно вы кричите,
Потому что полицейский завершил уже обход
И чаёк на кухне пьет". —
"Стой! Держите негодяя! —
Завопила Арабелла, руки к небу воздевая, —

1. Городок на юге Шотландии, у самой границы с Англией, куда с середины XVIII века тайком приезжали венчаться юные английские парочки, ослушавшиеся родителей или опекунов (в Шотландии жениться можно было без родительского согласия и без предварительного "оглашения" в церкви).

О, когда решилась я осчастливить Смита, разве знала я,
что стану жертвою бандита?
О мой Саймон, как ты мог поступить так гадко,
И зачем сидят с кухарками блюстители порядка!"
И вопль ее в ночную тьму летел шагов на двести: "Ну почему,
ну почему их вечно нет на месте?!"

Дамону – от Хлои
(понимающей его с полуслова)

Помнишь, следом за мной в магазин овощной
Ты зашел и сказал мне, бедняжка,
Что дурна я лицом и спесива притом,
Сам же, знаю, подумал: *милашка*!

Покупая муку (я ведь славно пеку)
Для шарлотки и сало свиное, –
Помнишь, взяв кошелек, яблок полный кулек
Поручила держать тебе Хлоя?

Не забудь, как потом ты запрыгнул с кульком
Прямо в омнибус, я же осталась:
Не рассеянность, нет, пожалел на билет
Ты три пенса мне – сущую малость!

Помнишь, как удалась мне шарлотка в тот раз,
Как считал ты минуты до чаю?
Ты сказал, что она сыровата, пресна, –
Это шутка была, я же знаю!

Вспомни, как пригласил нас на Выставку Билл,
Где штуковины всякого рода.
Ты сказал, что пойдем мы *кратчайшим путем* –
Два часа он прождал нас у входа.

Этот путь был кружной, миль двенадцать длиной,
В павильон нас уже не впустили,
И приятель твой Билл над тобой же трунил,
А тебе хоть бы что, простофиле!

Тут, уняв свою прыть, ты спросил, как нам быть,
Я сказала: "Домой, и скорее!"
Ты, как верный мой паж, оплатил экипаж.
(И не взял даже сдачи с гинеи!)

Но припомни, Дамон, как ты был удивлен,
Что затеяла *этак мудрить* я:
Ехать нынче домой, а с утра в павильон
(Ты бы ждал там всю ночь до открытья).

Или вспомни загадку, которую Джон
Повторил тебе, милый, раз десять:
"Если кто-то кого-то зарезал ножом,
То за что его нужно повесить?"

Ты ко мне со всех ног прибежал, дурачок,
Угадав, что помочь я сумею.
Ну-ка, вспомни, Дамон, как ты был потрясен,
Когда я отвечала: "За шею!"

Ты, Дамон, тугодум, слабо развит твой ум,
Все смеются вокруг над тобою,
Хоть собой ты хорош — что с такого возьмешь?
Соглашайся-ка лучше на Хлою.

Только Хлоя тебя так сумеет, любя,
Защитить и понять с полуслова!
Ты же сам без меня не протянешь и дня...
Может, все повторить тебе снова?

Три девицы

К мисс Мэри Уотсон

Три девицы (их мог бы назвать я,
Но не стану) сидели рядком
И на пяльцы свои, и на платья
Лили слезы тайком.

Пальцы мерзли, кололась иголка,
Разноцветные нитки рвались —
От шитья не предвиделось толка,
Только слезы лились.

"Мама, мамочка, — плакали дети, —
Зимы в Гилфорде — просто беда!
Есть же теплые страны на свете?
Увези нас туда!"

Мать сказала: "Терпение, дочки!
Летом солнце пригреет сады,
Собирать вы пойдете цветочки
И бродить у воды".

"О, скорей бы уж, — всхлипнула Мэри, —
Приезжал господин сочини-
тель историй и прочих *материй*
Коротать с нами дни!"

(Дочь имела в виду джентльмена,
Что на поезде издалека
Ездил к ним, но она неизменно
С ним бывала дерзка.)

"А пока что оставьте уловки
И учитесь, — продолжила мать, —
Ведь должна же три детских головки
Чем-то я занимать!

Вы, однако ж, сегодня устали,
Да и ужина час подошел...
Вот что, крошки: забудьте печали —
И скорее за стол!"

Трем девочкам из поезда, от автора

Трем мисс Друри

Три девочки, уставшие от тряски,
Три пары ушек, слушающих сказки,
Три поднятых руки — в надежде сладкой
С ужасно трудной справиться загадкой,
Три пары глаз, взирающих на чудо:
На трое ножниц маленьких — откуда?!
Три ротика, благодарящих друга,
Что книжечку прислал им для досуга...
Но будут ли всё это вспоминать
Недельки через три они? Как знать!

Марина Ефимова

Арабское семейство в американском веке[1]

Книга Стива Колла, сотрудника журнала "Нью-Йоркер" и пулицеровского лауреата, рассматривает не только историю клана бен Ладенов, но на их примере и общие последствия нефтяного шока, потрясшего Саудовскую Аравию в XX веке. Персонажи его книги – представители народа, который разрывается между верностью традициям, святыням предков и неодолимой тягой к дерзаниям и соблазнам Запада. Огромный материал, собранный в книге, по-новому проясняет отношения "народа пустыни" с форпостом Запада – Америкой. Отношения, которые автор характеризует как "вынужденные, сложные, искаженные жадностью и перегруженные секретами". Но начнем с самих бен Ладенов и с их патриарха. Вот что о нем пишет рецензент книги, критик "Нью-Йорк таймс" Мичико Какутани:

Книга Колла обладает поистине романической энергией. Это настоящий эпос о семейном клане, поднявшемся из самых низов до самых вершин иерархии и богатства, совершившем, образно говоря, путь от Мекки и Медины до Лас-Вегаса и Диснейленда. Собственно, путь-то этот проложил один человек, патриарх клана, отец Усамы бен Ладена и тридцати его братьев и сестер – каменщик Мухамед бен Ладен, уроженец Йемена. Он бежал из нищей деревни в Джедду – город пилигримов, где с ним произошла история из сказок "Тысячи и одной ночи". Благодаря своему искусству, уму и безоговорочной преданности королевскому саудовскому семейству, Мухамед бен Ладен стал главным королевским строителем, ответственным за обновление священных строений в Мекке, Медине и Иерусалиме. Он стал богачом, однако в наследство детям оставил не только богатство, но и мечту о возведении нового мира – мира без границ, основанного на прогрессе и на вере.

После смерти Мухамеда жезл патриарха унаследовал один из его сыновей – Салем, получивший образование в Англии, но не утративший харун-ар-рашидовского размаха отца, а в эксцентричности даже превзошедший его. Он вел дела мультимиллионной империи по всему миру и передвигался только на реактивных самолетах, мечтал завести четырех жен четырех западных национальностей, чтобы над их четырьмя дворцами (как над зданием Организации Объединенных Наций) веяли бы четыре флага: американский, немецкий, французский и британский "Юнион Джек". Салем носил джинсы, играл на губной гармошке и однажды в Лос-Анджелесе, на банкете в честь призеров "Оскара", заплатил оркестрантам сотни долларов, чтобы они дали ему спеть американскую народную песню "Дом восходящего солнца" на семи языках. Он погиб (как и его отец) в

© Марина Ефимова, 2009
1. Steve Coll *An Arabian Family in the American Century.* The Penguin Press, 2008.

авиакатастрофе, только на 21 год позже – в 1988-м.

Что касается Усамы бен Ладена, то, по мнению Колла, его превращение в исламского террориста во многом объясняется стечением обстоятельств. Главное обстоятельство – гибель отца в 1967 году, после чего у Усамы (который был еще школьником) появилась целая плеяда радикальных менторов. Один из них – школьный учитель физкультуры, который вовлек Усаму в занятия по изучению ислама. Вел эти занятия харизматический фанатик Абдулла Аззам, познакомивший Усаму с концепцией международного джихада. Однако влияние радикалов сказалось не сразу. В старших классах своей привилегированной школы в Ливане Усама бен Ладен был самым знаменитым юным плейбоем Бейрута, увлекался кинематографом и путешествовал по Европе. По мнению Колла, Усама даже в момент иракского вторжения в Кувейт еще не занял своей будущей позиции:

Когда саудовская королевская семья летом 1990 года согласилась на ввод американских войск в ответ на агрессию Ирака, Усама бен Ладен не проявил формального несогласия. Он только, вместе с остальной семьей, быстро предпринял шаги по обеспечению безопасности своих капиталов – на случай, если падет режим аль-Сауда. И хотя Усама впоследствии представлял себя тогдашним, по его выражению, "лидером международного мусульманского партизанского движения", очевидно, что в 1990 году его взгляды были еще шаткими, переменчивыми и полными противоречий.

Что, конечно, странно, если учесть энергичное участие Усамы бен Ладена в войне Афганистана с Советским Союзом... По версии Колла, отношения Усамы с королевской саудовской семьей портились постепенно. В 1991-м он уехал в Судан, где купил ферму и конный завод. Он занялся лошадьми, подсолнухами, толковым вкладом своих капиталов и тренировкой воинов джихада, которых рассылал в разные горячие точки мира, например – в Боснию. Колл пишет:

Похоже, в те годы Усама бен Ладен считал, что в Судане ему удастся совместить все: семейную жизнь с многими женами и детьми, процветающий бизнес, роскошный досуг, религиозную страсть и джихад. Усама еще не осознал, что поддержка терактов в странах, дружественных аль-Сауду, или в тех, от которых король зависел, не только навлечет на него немилость королевской семьи, но и разлучит его с его собственной семьей в Джедде.

Однако по другим источникам, например, из книги Адама Робинсона "Бен Ладен", следует, что к лету 1990 года Усама уже был убежденным джихадистом и ссора с саудовскими правителями произошла именно из-за ввода американских войск:

Усама бен Ладен обратился к правительству Саудовской Аравии с письмом, предлагая выставить на защиту нефтяных приисков армию в 10000 человек. Родственники Усамы говорят, что после этого он несколько дней не расставался с мобильным телефоном, ожидая ответа, – пока не узнал из новостей, что американские войска уже приглашены. На его письмо никто не ответил, и гордость Усамы была глубоко уязвлена.

В июне 1993 года семья бен Ладенов, как известно, официально лишила Усаму его доли в семейных бизнесах: "Muhammad bin Laden Company" и "Saudi bin Laden Company". По этому поводу рецензент Кукутани пишет:

В то время как Усама бен Ладен шел по пути насилия, его семья энергично укрепляла связи с Западом. Они вложи-

ли деньги во многие сферы: от разработок иридия до сателлитных систем и сети американских баров "Хард-рок-кафе". После атаки 11 сентября 2001 года расследования ФБР показали, что клан бен Ладенов не имел ни малейшего отношения к терактам, и правительство Соединенных Штатов не стало применять против них никаких санкций. Один из агентов ФБР сказал: "У нас бегают миллионы бен ладенов, и из них 99 целых и 999 тысячных – безвредны".

Уверенность эта может поколебаться после книги Жана Бриссара "Запрещенная правда"[1]. В беседе с ее автором саудовский диссидент доктор Саад аль-Фаги говорит, что по арабским обычаям лидеры клана не могут лишить брата его доли семейного богатства. Так что не исключено, что, покупая бензин и платя за телевидение, мы все вносим свою небольшую лепту в дьявольские затеи террориста № 1.

Дом умников[1]

Великий американский писатель Генри Джеймс, автор романов "Вашингтонская площадь", "Крылья голубки", "Золотая чаша" (и еще шестнадцати других романов), автор повестей "Европейцы", "Дейзи Миллер" (и еще двенадцати других повестей), автор знаменитого труда "Мастерство романа", а также сотен статей и тысяч писем, родился и вырос в удивительной семье. "Дом умников" – назвал эту семью автор семейной хроники Джеймсов Пол Фишер. Но рецензент его книги, известный биограф Гермион Ли, считает, что более подходящим было бы название "Дом ужасов". Да и сам Фишер называет дом Джеймсов то "чумным кораблем", то "павильоном ужасов", то "джеймсовской трясиной". Что же это была за семья?

Американскому клану Джеймсов положил начало в 20-х годах XIX века иммигрант из Ирландии, ставший успешным бизнесменом в Олбани – столице штата Нью-Йорк. Но *главным* персонажем семейной саги стал его сын – богатый наследник (и отец писателя) Генри Джеймс-старший, которого автор хроники характеризует так:

Генри Джеймс-старший: человек высокого полета ума и высоких духовных запросов, привыкший доминировать над окружающими, одноногий (и глубоко травмированный ампутацией, пережитой в детстве), без постоянного дела, вечно кочующий с места на место и вечно находящийся в состоянии борьбы со своими персональными демонами.

Его жена Мэри Джеймс (мать писателя) была женщиной, безраздельно преданной домашнему очагу, но тоже с довольно сложным характером.

Мэри была тем типом страдалиц, которые любят и умеют держать под постоянным контролем жизнь всей семьи. Но не криком и приказом, а жалобой, обидой и тихой настойчивостью. Современная психология дала этому типу женского характера название "passive-aggressive".

Третьим взрослым человеком в семье была тетка – Кейт Уолш. После короткого брака она постоянно, до самой старости, жила с Джеймсами, но, будучи приживал-

1. Paul Fisher. House of Wits. Intimate Portrait of the James Family. Henry Holt & Company, 2008.

1. Jean-Charles Brisard. Forbidden Truth. – New York: Thunder's Mouth Press, 2002.

кой, сохраняла неожиданные для ее положения независимость и даже бесстрашие мысли. Весь этот конгломерат создал для пяти детей-погодков духовно насыщенную и требовательную атмосферу, в которой они постоянно соперничали друг с другом.

За столом шла постоянная борьба за то, чтобы рассказать свою историю и сделать ее интереснее и смешнее других. Семья часто переезжала с места на место, дети учились то в Нью-Йорке, то в Бостоне, то в Европе и делались подопытными кроликами множества образовательных систем. В самой семье обстановка определялась амбициями и непоследовательными, но всегда настоятельными требованиями отца — Генри-старшего, непомерно много ожидавшего от детей. Это была хаотическая смесь огромной информации, больших ожиданий, свободного выбора и тиранического контроля (например, родители всегда читали письма детей).

В этой атмосфере росли пятеро детей: старший сын, Уильям Джеймс, пережив приступы детской неврастении и депрессии на грани самоубийства, стал знаменитым гарвардским психологом и философом, автором многих классических научных трудов. Следующий — Генри — стал литературной славой Америки (убежав в Европу).

Сестра Элис, самая талантливая, по мнению братьев, из всех детей, с детства страдала нервными срывами и физиологическими дисфункциями. Она стала полным инвалидом и умерла в 43 года, но перед смертью написала дневники, которые принесли ей спорную славу. Через 60 с лишним лет Сьюзен Сонтаг написала по этим дневникам пьесу — "Элис в постели".

Два младших брата (Уилки и Боб) воевали в Гражданскую войну, причем Боб шестнадцатилетним мальчиком вступил в батальон, состоявший из освобожденных северянами рабов. Его война закончилась солнечным ударом и больницей. Отец писал ему, что считает его не героем, а лентяем. Уилки был тяжело ранен, долго болел и умер в 38 лет.

В книге Фишера, в отличие от многих биографий Генри Джеймса, проводится мысль о том, что великий писатель (с его суперчувствительностью к слову, с его так и не реализованной гомосексуальной ориентацией, с его душой, живущей на перепутье между Европой и Америкой) был *в первую очередь* "творением своей семьи", как и все остальные дети семейства Джеймсов. Рецензент Гермион Ли так характеризует эту гипотезу:

Пол Фишер считает, что никого из клана Джеймсов нельзя понять отдельно от этой семьи, далеко обогнавшей свое время. Джеймсы действительно жили по критериям общества не середины XIX, а конца XX века — общества, принявшего однополую любовь и изменившего отношения между мужчиной и женщиной. Но Фишер приписывает Джеймсам и психологические черты сегодняшних американских интеллектуалов: ни в чем не уверенных, психически неустойчивых потребителей антидепрессанта прозак; сосредоточенных на себе невротиков; людей, склонных к самодраматизации, но не склонных к самопожертвованию (а следовательно, к браку); ловцов успеха, помешанных на славе. Книга Фишера — несколько тяжеловесная сага о пяти личностях (о пяти детях Джеймсов), которые всю жизнь рвались вон из этих семейных пут и всю жизнь возвращались обратно, словно притягиванием могучей силой семейного магнита.

Оба младших Джеймса, думавшие, что вырвались из тисков семейных амбиций, после Гражданской войны безуспешно сражались с жизнью: работали клерками, рабочими-металлистами, управляющими плантаций. Однажды Бобу, который хорошо знал живопись, предложили место куратора музея

в Милуоки. Но он считал, что служба в убогом провинциальном музее оскорбит джеймсовскую гордость, и отказался. После смерти брата Уилки, не оправившегося от ран, Боб запил. Он закончил жизнь под крылом Уильяма и часто объяснял его жене, какое это невезение — быть младшим братом таких талантов, как Уильям и Генри.

Но и самого Генри после смерти родителей, сестры и всех братьев Фишер описывает как бесконечно одинокого человека, порвавшего со всеми своими друзьями и разрушившего все профессиональные отношения. Автор кончает книгу сценой, в которой умирающий писатель мысленно возвращается в детство. Эта сцена особенно раздражила рецензента.

Фишер постоянно называет Генри Джеймса детским уменьшительным семейным именем "Гарри". Он явно хочет заставить нас почувствовать близость не с великим МАСТЕРОМ, но с ранимым, неуверенно пробивающимся сквозь реальность Гарри Джеймсом. Эта насильственная идея инфантильности пронизывает всю книгу и не дает ни одному члену клана (а меньше всех Генри Джеймсу) выйти из-под влияния семьи и детства и стать взрослым.

Драконоборец Ежи

Ежи Помяновский *К востоку от zapada:* Очерки. — М: изд. "МИК", 2006

Книга издана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках федеральной программы "Культура России", а также "Института книги" в Кракове.

Книга эта не о литературе, не о театре, не о проблемах художественного перевода, хотя ее автор — литератор, критик, знаток польского и мирового театра, наконец, великолепный русист, познакомивший польского читателя с произведениями Толстого, Чехова, Ахматовой, Мандельштама, Бабеля и, конечно же, Солженицына: "Архипелаг ГУЛАГ" в переводе Ежи Помяновского радиостанция "Свободная Европа" прочитала для миллионов поляков в социалистической Польше от первой до последней страницы. После начала Второй мировой войны он оказался в СССР, поработал на шахте в Донбассе, провел несколько лет в Средней Азии, окончил в Москве мединститут, но врачом так и не стал. Стал университетским профессором в Италии, куда был вынужден уехать из Польши в конце 60-х, и активным деятелем польской демократической эмиграции, а вернувшись на родину, основал и десятый год редактирует популярный в среде российской творческой интеллигенции журнал "Новая Польша".

Книга эта — о мифах и стереотипах, которые уже не одно столетие и определяют, и отравляют отношения между народами Польши и России, ПНР и СССР, а теперь вот снова Польши и России. Так что в известной мере она все-таки и о литературе, поскольку зарождению, поощрению и распространению подобного рода мифов и стереотипов в немалой мере способствовала прежде и способствует сегодня именно литература.

Слово *запад* набрано на обложке книги *латиницей*. Автор не поясняет — почему и зачем. Быть может, он хотел подчеркнуть принадлежность России и Польши к разным мирам, к разным цивилизациям? Мысль не бесспорная: слишком многое в нашей противоречивой, отнюдь не бескровной *общей* истории и подтверждает, и опровергает подобного рода утверждения. Впрочем, кто знает, не эта ли *близость-удаленность* превратила польско-российские отношения в крайне важный фактор не столько общеевропейской политики, сколько общеевропейской судьбы? Не это ли и приковывает к ним интерес, не всегда бескорыстный, в Европе, да и не в ней одной?

Книга эта — сборник статей и интервью Ежи Помяновского, которые он публиковал в последние полтора десятилетия. Но читается она как цельное и живое изложение его взглядов на то, что́ мешает доброму соседству народов, накрепко связанных близостью языка, культуры, национальных традиций, совместной борьбой с общими врагами и взаимными обидами. Последнее, пожалуй, имеет решающее значение: взаимные обиды выросли не на пустом месте. Они порождены реальным злом, которое наши народы и государства причиняли друг другу, когда ссорились, враждовали, воевали.

Кое-кому в Польше и у нас подобные обиды все еще застят глаза, не позволяют взглянуть на российско-польские взаимоотношения беспристрастно. Ежи Помяновского тревожит, что многих в наших стра-

нах приходится убеждать: *делят нас отнюдь не реальные противоречия, а лишь устаревшие теории, анахронические взгляды, изжившие себя предрассудки и предубеждения.* По его мнению, на взаимном невежестве *жируют шовинисты и подстрекатели с обеих сторон; одни запугивают Польшу российским нашествием, другие делают из Польши дежурного врага России. На этой почве вырастает ядовитое зелье – разлад. Не между правительствами. <...> Речь идет о разладе между поляками и русскими.* Автор порой выражается и резче, говорит о "глупости толпы", которая всегда культивирует свое невежество, а оно опаснее сознательной лжи, ведь глупость *пользуется правом голоса и голосами избирателей* и *горе государству, которое во внешней политике руководствуется настроениями толпы.*

В этой книге Ежи Помяновский *попытался* распутать клубок болезненных для наших народов проблем. Я написал – *попытался*, потому что вряд ли кому на берегах Вислы или Москвы-реки под силу оставаться в этих вопросах совершенно беспристрастным. Да и представления о нас (русских, поляках, американцах...) за нашими границами часто расходятся с тем, *что́* и *как* мы сами о себе думаем. Они бывают фантастически далекими от реальности, а то и просто обидными, оскорбительными. С этим приходится считаться. А противостоять им может только правда, которая, однако, глаза колет, и нужно немалое мужество, чтобы сказать ее своему соотечественнику или соседу. У Ежи Помяновского такое мужество нашлось.

Вечная польская иллюзия, – замечает он, – *заключается в том, что о русских здесь якобы знают всё.* Однако это вовсе не так: *...наши знания о России и русских обширны, но поверхностны, ибо мы смотрели на них с неоправданным легкомысленным высокомерием. <...> Для польской интеллигенции Россия долго была вопросом, в котором предпочитали не разбираться: он был связан с нестерпимым ощущением гнета. Тот, кто мог, отворачивался от России, ибо она была оккупантом большей части польских земель и представляла угрозу национальному бытию. <...> А знание наших дел у русских было подпорчено нечистой совестью: они чувствовали, что отношения с поляками отравлены насилием одной стороны и лицемерием – другой.* Такие слова режут сегодня слух многим. Тем не менее ни нам, ни полякам оснований отмахиваться от них как от злокозненных выдумок врагов, увы, нет.

Вот простой пример. История последней мировой войны началась для нас в июне 1941-го вероломным нападением нацистской Германии, для поляков – в сентябре 1939-го тоже вероломным нападением той же нацистской Германии. Но для поляков это нападение обернулось еще и четвертым разделом страны, освященным подписанными в Москве в августе 1939 года секретными договоренностями о том, как тогдашние Москва и Берлин расчленят Польшу, как, перекроив существовавшие в Европе границы, поделят ее на сферы влияния, как будут соблюдать интересы друг друга в их пределах. Это исторический факт, который СССР полвека называл злобной фальсификацией истории и только на закате горбачевской перестройки признал и осудил. Схожая судьба постигла и еще одну трагедию, виновницей которой стала уже одна сталинская Москва, – расстрел в Катыни, Харькове, Медном 23 тысяч польских офицеров, в большинстве своем интеллигентов-резервистов, оказавшихся после четвертого раздела Польши в советском плену. Выдающийся польский режиссер Анджей Вайда, чей отец был одним из этих ни в чем не повинных людей, снял фильм "Катынь"[1]. Пройдет ли он широко на наших экранах, не знаю: Россия признала этот *отнюдь не свой, а советский грех*, но вспоминать о нем у нас сегодня вроде как и не принято.

1. См.: "Катынь в Москве", "ИЛ", 2008, № 7.

И немало наших сограждан все еще считают Катыньское преступление выдумкой "западной пропаганды".

Может, также и потому, что в период между двумя мировыми войнами отношение к Польше в Советской России было крайне негативным. Отчасти выросло оно на старых дрожжах — на протяжении столетий Польша оставалась для России и соседом, и партнером, и соперником, который с оружием в руках не раз вторгался на российские земли, пытаясь ослабить и подчинить себе Москву. В XVIII столетии, после трех ее разделов, в которых принимали участие Пруссия, Австрия и Россия, Польша перестала существовать как государство, и "польский вопрос" для образованных классов России превратился в болезненную нравственную проблему. Советская же Россия, отбросив представления о нравственности, начала свою историю декларацией о мире и агрессией против обретшей независимость Польши, потерпела поражение и двадцать лет мстила за это своему соседу враждебностью, ложью, "воспитывая" советских людей в неприязни не к полякам даже, таких словно и не было, а к *белополякам*, то есть к "классовым врагам". Этот миф давно поблек, но он еще жив для части граждан новой России. Немало подобного же рода мифов, в которых Москва выступает коварным врагом, а Варшава безгрешной страдалицей, по сей день живы и в польском общественном сознании. Причин тут много. Но одна, по-видимому, лежит в сфере психологии: в межгосударственных отношениях, как и в межчеловеческих, мы куда лучше помним беды и обиды, которые приносили и наносили нам другие, чем несчастья и трагедии, какие по нашей вине пережили эти "другие". С этим и полякам, и нам тоже приходится считаться.

Особый интерес у нашего читателя могут вызвать соображения Ежи Помяновского о том, как Польше следует вести себя по отношению к России. Прежде всего, считает он, полякам надо научиться *уживаться* с нею, иначе не удастся ни уберечь наши страны от новых ссор, конфликтов и вражды, ни гарантировать им свободное и плодотворное развитие в семье европейских народов. А это требует *терпеливости и привыкания друг к другу.*

Во-первых, убежден Ежи Помяновский, *пора, наконец, осознать: столкновение интересов у Польши в этом веке было не с Россией, а с Советским Союзом.* Он призывает своих соотечественников не возлагать вину за *преступления советского коммунизма* на нынешние поколения российских граждан, не применять *проклятой доктрины коллективной ответственности.* И поясняет: *Да, Красная Армия не освободила поляков, ибо навязала им нежеланный режим. Но все-таки она их спасла! Спасла от массового уничтожения, от истребления, от преобразования в массу рабов Третьего рейха. Отрицать это значило бы оскорблять не власти России, но ее простых граждан, всех потомков и близких тех сотен тысяч парней, которые до сих пор лежат "в полях за Вислой сонной".*

Во-вторых, нельзя строить отношения с Россией, опираясь на оценки, почерпнутые из книг де Кюстина, Маркса, Герцена, которые выдавали за русский национальный характер то, что на *самом деле* было характером русского самодержавия. Ежи Помяновский не закрывает глаза на то, что́ в Польше называют "отрыжкой имперской политики" в отношениях Москвы с ее "ближним зарубежьем". И не столько в провозглашаемом ею курсе, сколько в реальной практике, но особенно — в рассуждениях некоторых российских политиков, общественных деятелей, части печати о возможном "возвращении" бывших советских республик (или каких-то их территорий) *в лоно матушки России.* Он настойчиво подсказывает и Варшаве, и Москве: непременным условием польско-российского сотрудничества должно быть сохранение независимости наших общих соседей, в первую очередь Украины. Вместе с тем важ-

ным элементом восточной политики Польши он считает поддержку прав русских, которые стали меньшинством в государствах, бывших прежде советскими республиками, а также в самой Польше.

Наконец, утверждает Ежи Помяновский, *наивно искать в России союзников и единомышленников только среди убежденных демократов и "западников"*. И в Польше, и в России противников такой точки зрения наберется немало. Даже в демократических кругах наших стран она может показаться неудачной попыткой автора найти общий язык с теми, кто находится во власти мифов и стереотипов, против которых сам он так последовательно сражается. Тем более, что своих симпатий автор не скрывает: он посвятил книгу *памяти Галины Васильевны Старовойтовой*, демократу первых послесоветских лет, а его собственный путь в "польские шестидесятники", сотрудничество с советскими диссидентами, очутившимися на Западе, вроде бы не дают повода ожидать от него приведенных выше слов. Но это не оговорка и не тактическая хитрость. В них — решительное неприятие Ежи Помяновским сектантской узости и партийной пристрастности в том, что касается подхода к столь болезненной проблеме, как российско-польские отношения.

Россия и Польша нащупывают сегодня дорогу навстречу друг другу, преодолевая недоверие, неумение, а порой и нежелание лучше узнать и понять друг друга. Это стало возможным, в частности, и потому, что, как написала в предисловии к книге Наталья Горбаневская, *драконы польского и русского массового сознания* — невежество, предрассудки и фантазии — постепенно отползают в *глубину своей пещеры*, а устрашили их и *такие неустрашимые драконоборцы*, как Ежи Помяновский.

Хорошо, что его книга вышла в русском переводе. В ней немало горьких суждений, неприятных, порой обидных и для польского, и для русского уха истин. Но это честная, бесстрашная, нужная книга. Она призывает поляков и русских не расковыривать старые раны, не обвинять друг друга во всех смертных грехах, а говорить друг другу правду в глаза даже о самых "неудобных" проблемах нашего общего прошлого, если мы не хотим, чтобы оно управляло нашим настоящим и помешало нам стать добрыми соседями в будущем.

А. Ермонский

На капитанском мостике

Григорий Кружков *Пироскаф. Из английской поэзии XIX века* / Художник Сергей Любаев. — СПб.: изд-во Ивана Лимбаха, 2008

Представьте, что добрый знакомый водит вас по своему любимому городу: он не обязан показывать дежурные достопримечательности по списку, как экскурсовод, но все-таки хочет, чтобы ваши впечатления были как можно полнее. Он непременно приведет вас на главную площадь с ее непременным собором, однако вряд ли задержится там надолго. Зато вы часами будете бродить тихими дворами и окраинами, которые не сыщешь в путеводителях. Вы узнаете удивительные истории о жителях покосившихся особняков, да и о самом рассказчике услышите немало — как быть, его жизнь слишком тесно сплелась с городом, и невозможно отделить ее от этого рассказа.

Конечно, пройдись вы по этим же улицам с другим провожатым, все было бы совсем по-другому. Может быть, вы даже не узнали бы уже знакомый город. Как не всегда узнается одно и то же стихотворение в разных переводах. Сколько провожатых — столько и городов.

Сколько переводчиков — столько и Шекспиров.

Книга со странным, немного вычурным названием "Пироскаф" — это прогулка по английской поэзии XIX века рука об руку с переводчиком Григорием Кружковым. Нет, не рука об руку — автор забегает вперед, ведет за собой, останавливается, жестикулирует, чертит схемы. Он выбирает маршрут и задает темп — по собственному вкусу, по собственной прихоти. Мы пробегаем бегом мимо Шелли и Байрона — несколько скупых строк, несколько переведенных стихотворений (соборная площадь, туристический центр). Зато Джон Клэр и Джерард Мэнли Хопкинс (имена, мало известные русскому читателю) удостаиваются многих страниц. Так что же это — антология? Сборник переводов?

В том-то и дело, что нет. Книга слишком субъективна, чтобы быть антологией. И слишком целостна, чтобы сойти за сборник. Это рассказ об английских и американских поэтах, объединенных общей эпохой — эпохой, которая представляется автору "полупарусным, полупаровым кентавром". Отсюда название, отсылающее к одноименному стихотворению Баратынского. "На первых пароходах (пироскафах) обычно имелись и паровая машина с трубой, и мачты с реями и парусами", — объясняет автор. Стало быть, поэзия в век прогресса — словно парус над паровым двигателем. Вступительная статья (с красноречивым названием "Золотые крупицы железного века") рисует общую картину того бурного времени, в которое выпало жить героям книги — поэтам разного масштаба и дарования, многие из которых были знакомы между собой, соперничали, дружили, выпивали в пабах.

Структура книги (довольно необычная), которую сам автор называет "слоеным пирогом", была уже опробована Г. Кружковым на поэтах английского Возрождения. (В 2002 году в издательстве "Б. С. Г.-Пресс" вышла книга "Лекарство от фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова", также подготовленная в сотрудничестве с художником Сергеем Любаевым.)

"Пироскаф" таков, что его можно не только читать, но и рассматривать. Подборке стихов каждого поэта предшествует эссе — эссе эти очень разные, иногда многосоставные, с анализом переводов, личными воспоминаниями автора, рассуждениями о влияниях и заимствованиях. Некоторым поэтам досталась лишь краткая биографическая справка. Другим — развернутый рассказ о жизни и творчестве.

Скажем, заметки о Китсе включают рассказ о его жизни, рассуждения о "лунном" и "солярном" в его поэзии, главку "Китс и Пушкин", подробный сравнительный анализ двух разных переводов "Осени" и эссе о Риме, помимо прочего повествующее о том, как Григорий Кружков бродил по Вечному городу по местам Китса.

О Льюисе Кэрролле написано целых пять текстов, в том числе очерк о Кэрролле-фотографе и пояснения к переводу "Охоты на Снарка". Г. Кружков подробно рассказывает, как ему пришлось "малость перекрестить" персонажей, поскольку все имена непременно должны были начинаться на букву "б" — Балабон, Браконьер, Барахольщик, Билетер, Болванщик... Не могу не упомянуть (исправляя упущение автора), что "Болванщика" придумала Н. М. Демурова, автор лучшего русского перевода "Алисы" (хотя в "Алисе" это Hatter, а в "Снарке" — Bonnet Maker, преемственность налицо). Н. М. Демурова, впрочем, появляется на страницах книги — именно разговором с ней[1] завершается раздел, посвященный Кэрроллу.

Подробный рассказ о Вордсворте (в сравнении с крайне лако-

1. Г. Кружков приводит выдержки из интервью, взятого у него Н. М. Демуровой для ее книги "Картинки и разговоры", которая готовится к публикации в издательстве "Вита Нова".

ничной справкой о Байроне) как бы призван восстановить давний перекос русского восприятия, ведь именно Вордсворт, а не Байрон считается в Англии главным романтическим поэтом.

Одно из самых увлекательных эссе — под названием "Старый Чеширский сыр и с чем его едят" — посвящено членам так называемого "Клуба рифмачей", который был основан Уильямом Б. Йейтсом. К сожалению, оно неожиданно прерывается на странице 599 прямо на знаке переноса. Вообще надо отметить, что опечатки, пропущенные пробелы и другие корректорские промахи весьма неуместно выглядят в книге, оформленной с таким вкусом и фантазией.

При всей своей коллажной структуре "Пироскаф" не распадается на отдельные новеллы и стихотворения. Напротив, в нем живо ощущается единство эпохи, связь судеб, переклички строк. Причем это касается не только английских, но и русских писателей и поэтов. Пушкин — один из главных героев книги, и, если вдуматься, в этом нет ничего удивительного. Восприятие английской романтической поэзии в России неразрывно связано с Пушкиным и Жуковским: именно они выбрали для нас "романтических" героев, именно у них ищут переводчики пресловутый "стилистический ключ". Г. Кружков чутко отслеживает случайные и неслучайные сближения, влияния и заимствования. В статье о Браунинге — "Браунинг между Пушкиным и Достоевским" — начерчено даже несколько диаграмм. Последняя из них имеет вид воздушного змея, в голове которого оказываются Браунинг, Достоевский и Пушкин, хвост составлен из Лэма и Корнуолла, а за ниточку змея держит конечно же Шекспир.

Надо признать, что попытки автора "поверить гармонию алгеброй" носят скорее поэтический характер (что лишний раз доказывает, как правильно он поступил, сменив физику на лирику). Например, при сравнении китсовской "Осени" в переводах Маршака и Пастернака автор пытается соблюдать научную объективность: "Эмфатической лексики у Китса — 1 шт., у Пастернака — 0, у Маршака — 3. <...> С чисто арифметической точки зрения Пастернак ближе к оригиналу". Нельзя не улыбнуться этой простодушной арифметике. И конечно же меньше всего Григорий Кружков заботится об объективности. Совсем не пытается он притвориться прозрачным стеклом, незаметным суфлером, послушным орудием. Да и при всем старании мало кому из переводчиков поэзии удавалось сохранить эту иллюзию собственного отсутствия. Маршак всегда остается Маршаком, а Пастернак — Пастернаком; и лично мне очень бы хотелось увидеть книги их переводов, изданные по такому же принципу — с отступлениями, байками, рассказом о "своем" Шекспире и "своем" Бёрнсе (пастернаковского "Гамлета", например, непременно нужно издавать вместе с перепиской Б. Пастернака и М. Морозова: в ней Б. Пастернак подробно объясняет и яростно отстаивает свои переводческие решения).

Сейчас все чаще появляются поэтические сборники с именем переводчика на обложке — и этот подход к поэтическому переводу представляется мне более трезвым и более честным. А формат "слоеного пирога", придуманный Г. Кружковым, дает переводчику возможность пустить в дело все те лоскутки и обрезки, находки и открытия, которые накапливаются в процессе работы и так часто остаются за кадром. Читая поэзию в переводе, мы всегда следуем за провожатым — так не лучше ли знать его в лицо?

Александра Борисенко

У книжной витрины

с Михаилом Визелем и Татьяной Трофимовой

Пуриша Джорджевич *Косовский одуванчик* / Пер. с серб. Василия Соколова. — СПб: Лимбус-пресс, 2008. — 212 с. — 3000 экз.

Серб Младомир "Пуриша" Джорджевич — в первую очередь не писатель, а кинорежиссер. Причем отнюдь не начинающий: первые его фильмы появились в середине шестидесятых. Вот и "Косовский одуванчик" — даже не киносценарий (несмотря на то, что почти полностью состоит из стремительных диалогов между несколькими персонажами и лапидарных описаний их внешности), а, по сути дела, неснятый фильм. Действие этого фильма-книги разворачивается в Косово в июне 1999 года, а главная его героиня — молодая косовская сербка Мария, которая отказывается покидать занятую войсками НАТО Приштину — то ли из-за любви к лугу, на котором паслись ее овечки, то ли из-за любви к британскому капитану-десантнику Гарольду, то ли просто из любви к авантюрам. Написанная по горячим следам, в декабре того же года, небольшая книга вобрала в себя всю горечь, обиду и политическую риторику того времени. А кроме того — тот бурлескный карнавальный взгляд на мир, который позже стал фирменным стилем Эмира Кустурицы, не зря считающего Джорджевича своим учителем.

Магден Перихан *Убийства мальчиков-посыльных* / Пер. с тур. Аполлинарии Аврутиной. — М: Livebook, 2008. — 208 с. — 2000 экз.

Турецкие авторы — нечастые гости на книжных полках русских магазинов. (За исключением Орхана Памука, конечно). Но странное, сновидческое ощущение, которое оставляет по прочтении книга радикальной журналистки Магден, трудно свести к одной только экзотичности турецкой прозы. Действие ее романа происходит в неопределенное время (это может быть и конец XIX, и начало XXI века) в некоем южноевропейском городе-государстве, полном странных людей (одного из персонажей книги зовут Ванг Ю, и он индиец, а другого — Волковед) и еще более странных установлений. Самым странным из них является институт разносящих для горожан посылки мальчиков-посыльных — обособленно живущих и не стареющих благодаря таинственным медицинским ухищрениям. Убийства этих идеальных посланцев, расследуемые главным героем, и составляют сюжет. Только ведутся эти расследования тоже как-то странно: пока герой, поминутно прикладываясь к бутылке с виски, пытается понять, как он, собственно, в эту историю ввязался, его стремительно несет дальше, к неожиданному финалу. То же самое происходит с читателем: пока он с недоумением пытается понять, что же это перед ним такое, он оказывается погружен в текст, выбраться из которого уже невозможно.

Курбан Саид *Али и Нино* / Пер. с нем. Мирзы Гусейнзаде. — М.: Ad Marginem, 2008. — 336 с. — 5100 экз.

Они встретились по пути из гимназии на одной из пыльных улиц Баку и полюбили друг друга с первого взгляда. Али — мусульманский юноша, который не мыслит своей жизни без законов Корана, и Нино — христианская девушка из старинного грузинского рода Чавчавадзе. Однако Первая мировая война и извечное противостояние Европы и Азии как двух мировоззренческих систем вне-

сли существенные коррективы в эту романтическую историю с восточным колоритом. Под стать замысловатым сюжетным перипетиям романа и загадочная история его появления. Впервые книга, подписанная именем Курбан Саид, была напечатана в 1937 году в Вене. Псевдоним был закреплен за баронессой Эльфридой Эренфельс фон Бодмерсхоф, однако не имел к ней никакого отношения. В 1970-х годах роман пережил настоящий пик популярности и был переведен на английский, испанский, французский, арабский и турецкий языки. Примерно тогда же стало известно настоящее имя автора — Лев Нусенбаум. Впрочем, все эти околороманные интриги никоим образом не мешают оценить роман сам по себе — лаконично простой и по-восточному утонченный.

Пер Петтерсон *Пора уводить коней* / Пер. с норвеж. Ольги Дробот. — М.: Текст, 2008. — 284 с. — 3000 экз.

Один из самых популярных в мире норвежских авторов Пер Петтерсон уже известен российскому читателю по роману "В Сибирь!" о девушке, которая мечтает уехать из Дании и жить среди сибирских просторов. "Пора уводить коней" — еще одна возможность оценить Петтерсона как блестящего стилиста. Именно этот роман в 2003 году был назван самой продаваемой книгой года в Норвегии, а в 2007 году включен в десятку лучших книг по версии "The New York Times Book Review". Главный герой живет в небольшом доме на берегу реки. Здесь прошли его детские годы и разыгралась главная драма в жизни его семьи, заставляющая снова и снова вспоминать о прошлом. Фабула проста: двое мужчин, каждый из которых имеет свою семью и детей, любят одну женщину. Впрочем, ожидать простой мелодраматической истории любви, ведущей к предательству, не стоит. Для рассказа Петтерсон выбирает традиционную форму воспоминаний, но вкладывает их в уста далеко не главного участника драмы, заставляя читателей прочувствовать всю психологическую тяжесть сложившейся ситуации.

Джонатан Майлз *Дорогие американские авиалинии* / Пер. с англ. Николая Мезина. — М.: Фантом Пресс, 2008. — 320 с. — 5000 экз.

Молодой английский писатель Джонатан Майлз появился в современной литературе неожиданно, однако уже своим дебютным романом "Дорогие американские авиалинии" заставил критиков сравнивать себя с классиком британской литературы Мартином Эмисом. Сидя далеко не первый час в неудобном кресле душного зала в ожидании задержанного рейса, главный герой романа — Бенджамин Форд — в злобном отчаянии начинает мысленно составлять письмо на адрес авиакомпании, которая заставляет его терпеть такие неудобства. Неожиданно обычная гневная жалоба, наверняка не раз проносившаяся в голове каждого, кто вынужден был терять время в аэропорту, превращается в историю непростой жизни героя. Влюбленность, увлечение, рождение ребенка, развод, нелегкий быт в квартире с больной матерью — и вот герой летит на свадьбу дочери, чтобы увидеться с ней спустя двадцать лет после разлуки. Неожиданная задержка рейса грозит обернуться для героя настоящей катастрофой.

Джон Бойн *Мальчик в полосатой пижаме* / Пер. с англ. Елены Полецкой. — М.: Фантом Пресс, 2008. — 288 с. — 5000 экз.

Однажды, вернувшись из школы, девятилетний мальчик Бруно застает дома настоящий кавардак и узнает, что ему предстоит вместе с семьей покинуть город в связи с новой работой отца. На новом месте его ожидает старый дом, пыльные комнаты, поцарапанная мебель и тоскливый вид из окна на территорию за колючей проволокой. В попытках найти себе развлечение Бруно устраивает вечернюю вылазку за пределы двора и зна-

комится с мальчиком Шмуэлем, который удивительно похож на него, но только одет в полосатую одежду и находится по другую сторону колючей ограды. Разумеется, читатель практически сразу догадается, что речь идет о Холокосте и Освенциме, а Бруно — сын одного из надзирателей. Однако детский взгляд на многажды проговоренные проблемы, который предлагает Джон Бойн, дает неожиданный эффект: уже привычные для сознания события предстают в новом ракурсе — противоестественности и алогичности происходящего с точки зрения обычного ребенка, для которого политические игры взрослых абсолютно непонятны и существование таких же, как он, людей за колючей проволокой ничем не оправдано.

Питер Макиннис *Тихие убийцы. Всемирная история ядов и отравителей* / Пер. с англ. Владимира Болотникова. — М.: КоЛибри, 2008. — 432 с. — 5000 экз.

Читать эту книгу лучше неторопливо, тщательно соблюдая дозировку, иначе вполне естественно может возникнуть страх перед жизнью как таковой. Здесь каждая страница — это новая история намеренного или случайного отравления, громкого убийства, тайного преступления и не всегда неотвратимого наказания. Однако, утверждает Питер Макиннис, не стоит думать, что яды — это лишь послушное оружие в руках злодея. На страницах этой книги австралийский исследователь кропотливо собирает все возможные формы существования ядов в жизни человека. Например, романтические барышни намеренно использовали мышьяк для того, чтобы придать своим ликам потустороннюю бледность, а многие известные люди ежедневно в качестве профилактики принимали яд в малых дозах — на случай, если кто-либо вздумал отравить их. Среди этого занимательного разнообразия чудовищных историй восхищает то, как автору ловко удается вплести в общую канву незамысловатую мораль: не стоит шутить с ядами, потому что они всегда оказываются коварнее самых смелых человеческих представлений о них.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

В середине 90-х на западных книжных прилавках появилось десятка два брошюрок, объединенных в серию под шутливым названием "Ксенофобский гид": "Эти странные французы", "Эти странные немцы", "Эти странные греки" и т. д.; в 1999–2004 годах они были переведены на русский и составили серию "Внимание: иностранцы!" В этих небольших пособиях, ориентированных прежде всего на туристов, иронично описывались нравы, традиции и обычаи разных наций, а точнее, бытующие в массовом сознании стереотипные представления о них. Удачным продолжением (и качественным "углублением") этого ряда может служить изданная в 2004 году книга англичанки **Кейт Фокс** *Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения* (Перевод **И. П. Новосельцевой**. – М.: РИПОЛ классик, 2008).

За предоставленные для обзора книги Конрада Лоренца и Юргена Хабермаса автор благодарит магазин "Фаланстер".

Будучи антропологом, Фокс выстроила свою работу как полноценное этнокультурное исследование, используя в качестве основной методики технику "включенного наблюдения". В обычных этнографических экспедициях (в отдаленные уголки Азии, Африки или Океании) ученый поселяется рядом с наблюдаемым "нецивилизованным" сообществом, фиксируя особенности его обыденной жизни; при этом желательно, чтобы члены сообщества привыкли к наблюдателю и не обращали на него внимания, иначе их поведение нельзя будет считать естественным. Если же этнограф сам принадлежит к тому же "племени", то данная проблема снимается (правда, появляется другая: ученый, внутренне "разделившись" на наблюдателя и наблюдаемого, должен уметь отличить черты специфически национальные от всех прочих – например, от социальных, от универсально-общечеловеческих или, напротив, от индивидуально-психологических).

Приняв на себя роль наблюдателя "изнутри", Кейт Фокс смотрит на свое общество пытливым аналитическим взглядом; результаты своей работы она описывает, с одной стороны, по-научному добросовестно, а с другой – с особым невозмутимо-сдержанным (именно что английским!) юмором. Вот лишь некоторые из выведенных автором правил: правило неназывания имен, правило игры на угадывание, правило взаимных комплиментов, правило "отрицательной вежливости", правило косвенного выражения недовольства, правило незримого режиссера...

Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что многие из этих правил не являются такой уж особой английской экзотикой: описы-

ваемые автором конкретные ситуации вполне могли бы быть зафиксированы, например, и в современной Москве. В уличной толпе при случайном столкновении вы и здесь, сегодня, скорее всего, услышите инстинктивное "извините"; очереди в магазине, поликлинике или банке и здесь будет выстраивать "невидимый режиссер", а в автобусе или метро громкий разговор по мобильному будет восприниматься окружающими с "косвенным", то есть не выраженным вслух, недовольством. "Отрицательная вежливость" (при которой даже в тесной толпе каждый делает вид, что стоящих рядом будто "не существует") — это черта, которую гости нашей столицы обычно считают специфически московской (и которая толкуется как проявление неприветливости и враждебности). А уж то, что Фокс описывает как "ритуал прослушивания прогноза погоды для судоходства", до боли напоминает феномен, подмеченный еще лет сорок назад приехавшим из Абхазии Фазилем Искандером и воспринятый им как загадочная и необъяснимая причуда москвичей. Похоже, что сформулированные Кейт Фокс "уличные" правила — все-таки не специфически английские, и даже не лондонские; это правила, естественным образом возникающие во многомиллионных (во всяком случае в европейских) мегаполисах. (Последнее утверждение, впрочем, имеет, скорее, статус гипотезы, так как экспериментально автор обзора — в отличие от автора книги — его не проверял.)

Особый же интерес представляют наблюдения Кейт Фокс над классовыми особенностями английских правил, ритуалов и обычаев: здесь, пожалуй, сугубо национальная специфика проявляется наиболее полно. Основные различия существуют между тремя классами: высшим, средним и низшим; в среднем классе, в свою очередь, принято выделять пограничные слои: "высшую часть среднего" и "низшую часть среднего". Определяющими мотивами поведения для всех классов, кроме высшего, являются, во-первых, стремление повысить свой статус, а во-вторых, страх быть причисленным в глазах социального окружения к классу ступенькой ниже. Для представителей высшего класса эти мотивы отсутствуют: "подниматься" им некуда, а "падать" тоже не получается в силу некоей специфики социального восприятия, когда возможные признаки "падения" трактуются как проявление индивидуальной эксцентричности.

Низший класс одевается на распродажах и держит дома старую мебель; средний класс обязательно следит за новинками моды, а интерьер дома выдерживает в едином (и современном) стиле; высший класс, в свою очередь, может позволить себе посещать распродажи (что рассматривается как особого рода охота или спорт), а мебель в его домах старая, поскольку перешла по наследству. Аляповатый садовый гномик в саду пролетария из низшего класса расценивается как проявление дурного вкуса; буржуа из среднего класса наличие аналогичного гномика в своем саду объясняет тем, что это "пародия на кич"; аристократ из высшего класса может поставить такого же гномика, не мучаясь рефлексией, просто как забавную штуковину — и "понизить" его за это в классовой иерархии никому и в голову не придет. Иначе говоря, если иметь в виду "естественность" поведения, высший класс парадоксальным образом оказывается ближе к низшему, чем к среднему; поведение же всех прослоек среднего класса максимально зависимо от тех или иных условностей: оборотной стороной его благосостояния является фактическая социальная несвобода.

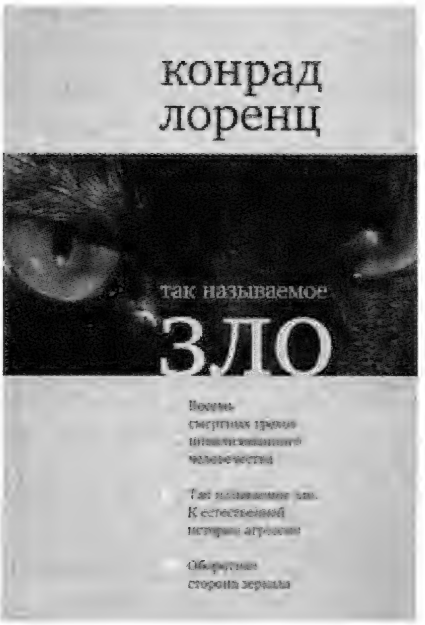
Какое же качество можно, по мнению автора, рассматривать как *ядро* английской самобытности? Юмор? Нет, это главный *рефлекс*. "Честная игра"? Это главная *моральная ценность*. Классовость? Это одна из основных составляющих *мировоззрения*. *Ядром* же, *сердцевиной*, *стенографическим обозначением всех хронических социальных комплексов и дефектов* англичан Кейт Фокс считает понятие *социальной неловкости*. А чтобы адекватно и полно его расшифро-

вать, придется обратиться к самой книжке, которой, несмотря на весьма небольшой стартовый тираж (5000 экз.), удалось попасть в списки российских бестселлеров.

(Не могу обойтись без легкого укола в адрес переводчика. Часто цитируемый *венгерский юморист Джордж Майкс* в вышедшем в 2007 году русском переводе его известной книги 1946 года "Как быть иностранцем" несколько успешнее сохранил свои национальные корни, не утратив родное звучание фамилии – Микеш. Сорри.)

Издательство "Культурная Революция" выпустило однотомник, в котором собраны три главные книги знаменитого австрийского биолога, лауреата Нобелевской премии 1973 года **Конрада Лоренца** (перевод с немецкого **А. И. Федорова**; под редакцией **А. И. Гладкого**). Впервые в аналогичном составе сборник вышел в 1998 году в издательстве "Республика" под названием *Оборотная сторона зеркала*: именно так называется одна из трех включенных в однотомник книг. Для нынешнего издания было выбрано имя другой книги Лоренца – *Так называемое зло* (в сборнике 1998 года эта книга публиковалась в другом переводе и под другим названием: "Агрессия").

Основной сферой деятельности Лоренца была этология – научная дисциплина, исследующая врожденные механизмы, которые обусловливают поведение животных. Инструментарий этологии Лоренц применил к анализу поведения людей, рассматривая их сообщества как разновидности *живых систем*. Исходная посылка Лоренца в том, что противопоставление "человеческого" и "животного" в качестве взаимоисключающих категорий некорректно, так как они манифестируют разные слои бытия: психика человека вовсе не замещает животные инстинкты, а надстраивается над ними. Над этим "этажом", в свою очередь, надстраивается слой бытия "духовного", и все эти уровни существуют в человеке параллельно, в совокупности определяя мотивы его реального поведения.

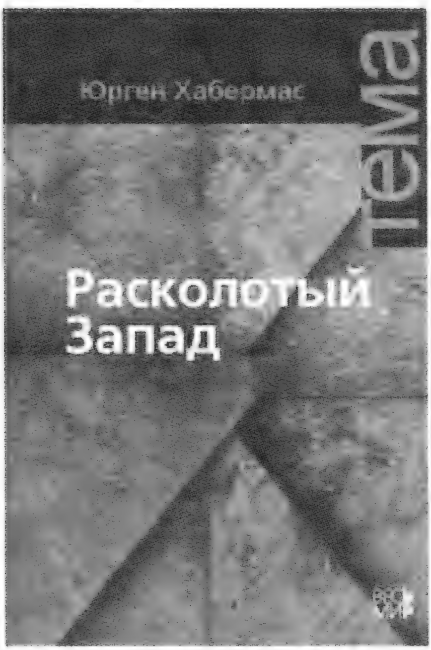


Однако Лоренц идет и дальше: он показывает, что многое из традиционно полагаемого сугубо "человеческим" представляет собой проявление сложившихся еще до человека универсальных животных инстинктов (характерно название одной из глав книги: "Формы поведения, аналогичные моральным"). Другой парадоксальный вывод Лоренца состоит в частичной реабилитации *так называемого зла*: внутривидовая агрессия, обычно считавшаяся проявлением зла, расценивается им позитивно, так как служит целям стабилизации отношений внутри системы и достижения ее гомеостатического состояния. Агрессивное поведение, например, позволяет установить иерархию отношений внутри группы, причем у многих видов это происходит в ходе так называемых турнирных боев, на которых схватка лишь обозначается: *турнирные бои животных не могут не производить даже на знающих людей впечатления "рыцарственности", или "спортивного благородства"*.

Впрочем, агрессия, конечно, не всегда бывает "мирной": для выяснения отношений между разными сообществами используются ее жестокие и кровавые формы. На маленьком островке Нордероог в Северном море

сосуществуют *несколько крысиных стай, которые поделили землю, оставив между собой полосы ничьей земли, шириной примерно 50 метров, в пределах которых идет постоянная война. Так как фронт обороны для малочисленного народа относительно более растянут, чем для большого, первый оказывается в невыгодном положении.* Невольно представляешь себе модель деления пространства большого города на сферы влияния разных (обычно полукриминальных) молодежных группировок или же — на более высоком уровне — геополитического деления (между крупными державами и их блоками) всей поверхности глобуса.

Читая Лоренца, порой приходишь к выводу, что "человеческое" зачастую проявляет себя как более "животное", чем собственно "животное". Этот мотив, в частности, характерен для открывающей сборник книги *Восемь смертных грехов цивилизованного человечества*, в которой автор констатирует глобальное нарушение современным человеком *функций живых систем*, ведущее к *перенаселению, опустошению жизненного пространства, тепловой смерти чувства, генетическому вырождению* и другим проявлениям подлинно зловещей стороны "зла".



А издательство "Весь мир" выпустило книгу немецкого философа и социолога **Юргена Хабермаса** *Расколотый Запад* (перевод **О. И. Величко** и **Е. Л. Петренко**). Этот сборник статей и интервью, вышедших после критической для современной эпохи даты 11 сентября 2001 года, посвящен вопросам глобальной политики и новых форм мироустройства, складывающихся на наших глазах. Основную проблемную точку автор видит в противоречии между "конституциональным" и "силовым" векторами развития. Первый из них, восходящий к временам учреждения Лиги Наций и продолженный в варианте ООН, предполагает в конфликтных ситуациях согласование интересов всех субъектов мирового права; второй основан на том, что такой "псевдодемократичный" подход неэффективен и что сверхдержава, обладающая как силой, так и сознанием своей правоты, может самостоятельно действовать в интересах добра и борьбы со злом.

Хабермас анализирует реальные возможности *конституционализации международного права* и выработки таких инструментов, как, например, *супранациональная конституция*. Сложность прежде всего в том, что субъектами такой конституции должны быть одновременно как государства, так и отдельные их граждане, а это неизбежно приводит к ситуации, при которой пострадать должны либо права человека, либо национальные суверенитеты. Чем это оборачивается на практике, мы имеем возможность наблюдать на примере неудачных попыток принять общую конституцию Европейского союза. Так что в этой сфере остается пока больше вопросов, чем ответов; заслуга же Хабермаса в том, что он подводит под эти вопросы фундаментальное общефилософское обоснование.

Ну а чтобы отдохнуть от изысканий в сфере этнографии, антропологии, этологии и геополитики, можно посоветовать обратиться к истинному англичанину, старому доброму Джорджу Оруэллу с его Евразией, Остазией, Океанией и "Скотным двором".

По материалам зарубежной прессы

Pierre Bayard *Comment parler des livres que l'on n'a pas lus?* — P.: Editions de Minuit, 2008, 165 p.

Преподаватель литературы в парижском университете Пьер Байар в очередной раз угодил филологам и прочим любителям словесности. На сей раз его остроумное эссе посвящено не конкретному писателю или произведению, а проблеме чтения вообще. В новом сочинении "Как говорить о непрочитанных книгах?" Байар предлагает иначе взглянуть на расхожий постулат, согласно которому мы имеем право судить только о том, что прочли "от" и "до". К тому же цель всякого разговора о книге, читали вы ее или нет, зачастую сводится вовсе не к ее художественным и прочим достоинствам и недостаткам, а к личности говорящего, который обязан не ударить в грязь лицом пред просвещенной общественностью.

Объявив категорический императив "прочитать и запомнить все" — иллюзией, Байар не призывает совсем отказаться от чтения в пользу телевизора или же бесстыдно врать о достоинствах и недостатках непрочитанного. Он предлагает отделаться от коллективного чувства вины и стыда перед "библиотекой мировой литературы", которую жители планеты неустанно и бешеными темпами (да здравствует технический прогресс!) пополняют. В самом деле мы, с детства усвоили, что существует некая "высшая, идеальная культура", и всю жизнь безуспешно пытаемся ей соответствовать. В то время как настоящая культура, — рассуждает Байар, — не в беспрерывном и скрупулезном чтении, а в понимании, что все книги образуют некое единство, в умении определить место той или иной книги среди других. А научиться ориентироваться в бесконечном потоке публикуемого, по мысли автора, возможно только одним способом — разумно применяя метод "нечтения".

Итак, говорить о книге, которую мы не прочли (не важно, не хватило нам времени или желания), содержание которой забыли или о существовании которой до сегодняшнего дня не подозревали, — не только можно, но и нужно любому, кто не хотел бы без остатка растворить свое "я" в книге, написанной кем-то другим.

Jean-Marie Gustave Le Clézio *Ritournelle de la faim.* – P.: Gallimard, 2008, 206 p.

В октябре 2008 года, за несколько дней до объявления Нобелевского лауреата по литературе, в свет вышла последняя книга Жан-Мари Гюстава Леклезио "Вечная песня о голоде". Эту книгу Леклезио посвятил матери, поведав миру историю становления маленькой девочки, которую в 1930-х годах с острова Маврикий привезли в Париж. Французские критики сразу же окрестили новое произведение Леклезио романом воспитания, и поводов для такой оценки немало: главная забота автора — не перечислить события из жизни героини, а, отталкиваясь от детских воспоминаний, воссоздать эпоху 30—40-х годов: довоенный Париж, где состоялась премьера балета "Болеро" Равеля с Идой Рубинштейн в главной роли, оккупированную нацистами Францию, по которой знатная маврикийская семья вынуждена была скитаться в поисках убежища и пищи. "Мама, — поясняет Леклезио в аннотации к книге, — рассказала мне, какое потрясение испытала,

оказавшись на премьере 'Болеро'... В том же зале находился тогда один молодой человек, которого мама не знала, Клод Леви-Стросс. Последний много лет спустя поведал мне, как и мама, что эта музыка изменила его жизнь. Теперь я понимаю почему. Мне ясно, что́ для его поколения означала эта повторяющаяся фраза, пропетая на все лады, усиленная ритмом и крещендо. 'Болеро' нельзя сравнивать с другими музыкальными произведениями. Когда неистовая мелодия Равеля обрывается, наступающая за ней тишина невыносима для оглушенных, но все же выживших слушателей. Я написал этот роман в память о девушке, которая, сама того не сознавая, в двадцать лет стала героиней".

JEAN ECHENOZ *Courir.* — P.: Ed. de Minuit, 2008, 142 p.

Новая книга "Бежать" гонкуровского лауреата Жана Эшноза повествует о чешском легкоатлете Эмиле Затопеке (1922—2000). Фабула следует хронологии жизни спортсмена. Заниматься бегом Эмиль начал во время нацистской оккупации. После войны, удачно выступив на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, он завоевал мировое признание и уже в 1957 году на вершине славы завершил спортивную карьеру. Членство в коммунистической партии и ранг полковника чехословацкой армии позволили Затопеку устроиться на службу в Министерство обороны. Пожалуй, Эмиль и на этом посту добился бы немалых успехов, однако события Пражской весны, во время которой он выкрикивал перед советскими танками наивные призывы к "олимпийскому перемирию", кардинально изменили жизнь четырехкратного олимпийского чемпиона и активного общественного деятеля. После 1968 года Затопека исключают из партии, лишают звания "Заслуженный мастер спорта" и приговаривают к шести годам исправительных работ на урановой шахте. А когда он, получив "повышение" — разрешение работать мусорщиком в Праге, возвращается в столицу, на улицах города люди встречают его овациями.

По словам обозревателя французского издания "Мир книг" ("Le monde des livres"), от биографических романов Эшноза не стоит ждать исчерпывающих сведений о героях. Так, в своей предыдущей книге автор описал лишь десять последних лет жизни Мориса Равеля — "самое своеобразное время в истории композитора", считает писатель. Повествуя о "чешском локомотиве" Затопеке, Эшноз освещает лишь несколько ярких эпизодов его карьеры, раскрывает те или иные особенности характера. Но главная задача, которую, судя по всему, поставил перед собой французский писатель, — показать, с каким упорством будущий чемпион добивался цели, насколько осмысленно расходовал усилия на пути к победе. С не меньшим увлечением и с присущей его стилю иронией, Эшноз описывает послевоенную политическую ситуацию в Чехии, а также руководство страны, которое неизменно использовало достижения спортсмена в своих интересах.

TONI MORRISON *A Mercy.* – New York: Knopf, 2008, 224 p.

Сюжетная канва нового романа "Милосердие" лауреата Нобелевской и Пулицеровской премий Тони Моррисон — жизнь рабовладельцев и рабов в североамериканских колониях XVII века. Милосердие, человечное отношение людей друг к другу предстают особенно важными в эпоху, когда "в глухой колонии складывается общество, построенное на жестокости", утверждают обозреватели "Паблишерз уикли". Т. Моррисон дает слово белым рабовладельцам, слугам-индейцам, чернокожим — разнорабочим и бесправным рабам с плантаций; читатель следит за судьбами не схожих друг с другом героев. Разнообразие точек зрения придает роману полифоничность, а авторский стиль повествования, как отмечают американские критики на страницах жур-

налов "Буклист" и "Керкус ревьюс", – неизменно сжатый и энергичный.

Однако в бесчеловечную эпоху у милосердия появляется и оборотная сторона. Главная героиня романа, темнокожая девочка Флоренс, оказывается продана своим владельцем и разлучена с матерью – причем продать ее предложила сама мать. На такой поступок она пошла именно из милосердия, так как почувствовала, что новый хозяин, голландец Якоб Ваарк, не способен на жестокость. Тем не менее Флоренс испытывает страдания, как и другие рабы и слуги в хозяйстве голландца, как сам хозяин и его жена. "Колонии были полны людей, лишившихся дома и жаждавших найти в Новом Свете хоть какую-то опору" – говорится в заключение в статье в "Керкус ревьюс". Этих людей, испытавших за свою жизнь немало лишений, объединяет милосердие.

MAJGULL AXELSSON *Is och vatten, vatten och is.* – Stockholm: Norstedts, 2008, 467 s.

Шведская писательница Майгулль Аксельссон, автор широко известного романа "Апрельская ведьма" и ряда других, популярных на родине и за рубежом, издала в 2008 году новую книгу "Лед и вода, вода и лед". Двучленное название отражает фабулу романа: это книга о двух сестрах-близнецах Инес и Элси и о переплетении их судеб.

Аксельссон описывает семью, в чем-то аномальную, но во многом типичную для Швеции: девочки-близняшки растут без отца, на попечении одной матери. Ее неготовность к этой роли передается дочерям: Элси рожает сына, но не желает его воспитывать и отдает сестре. Однако собственная дочь Инес лишена материнской любви и чувствует себя забытой и покинутой. Три поколения одной семьи поражены одним недугом – своего рода недоразвитостью чувств.

"Я считаю, что Майгулль Аксельссон – одна из лучших современных шведских авторов, пишущих об обычных людях, семьях, классах и отношениях между ними", – пишет критик Малин Уллгрен на страницах газеты "Дагенс нюхетер". Роман иногда кажется затянутым, – замечает критик, – не в последнюю очередь из-за пространных психологических разъяснений: отчего герои поступили именно так. Тем не менее, считает Уллгрен, роман вышел удачным, ведь в нем есть место и критике общественных устоев, и нетривиальному стилю повествования, то есть здесь социальная ангажированность сочетается с "чистым искусством".

DORIS LESSING *Alfred and Emily.* – New York: Harper Collins, 2008, 274 p.

Новую книгу лауреата Нобелевской премии 2007 года Дорис Лессинг "Альфред и Эмили" трудно отнести к какому-либо из устоявшихся жанров. Она состоит из двух частей, первая – роман или повесть, вторая – биография. В "Альфреде и Эмили" писательница идет на эксперимент, смелый с точки зрения как литературы, так и внелитературной действительности, – пишет историю жизни своих родителей сначала как она *могла бы* сложиться, а затем как она *есть*.

В вымышленной части книги Альфред и Эмили так и не поженились – и Дорис Лессинг не появилась на свет. Зато каждый из них нашел свое счастье – Альфред стал фермером, счастливо женившись, а Эмили сделала карьеру, возглавив сеть школ для детей неимущих – перед этим выйдя замуж и овдовев. Впрочем, в этом мире не было Первой мировой войны, которая свела их в реальности, перед этим нанеся им жестокие удары: Альфреду Лессингу в бою оторвало ногу, и в больнице за ним ухаживала Эмили, у которой незадолго до этого на войне погиб возлюбленный.

Английские и американские книжные обозрения отмечают, что Лессинг вновь обратилась к проблеме положения женщины в обществе.

В сюжете отражаются самые разные грани этой проблемы: может ли женщина свободно выбрать профессию (Эмили пришлось для этого сбежать из дома – отец не желал, чтобы она шла в медсестры), может ли она реализовать себя, если выйдет замуж и станет матерью семейства, и, наконец, на чем строятся отношения матери и дочери?

По мнению обозревателя "Гардиан" Блейка Моррисона, девизом книги Дорис Лессинг могла бы стать следующая фраза: "Подлинные Альфред и Эмили – крепкий английский фермер и женщина, нашедшая себя в работе, – погибли на войне". Раскрыть себя им – и в первую очередь Эмили – не дала их собственная судьба.

Подготовили А. Лешневская,
И. Мокин

Эдгар Лоренс Доктороу
Edgar Lawrence Doctorow
[р. 1931]. Американский писатель. Лауреат Национальной книжной премии, двух Национальных книжных премий общества критиков, премии ПЕН/Фолкнер и др.

Автор романов *Вступление в тяжелую пору* [*Welcome to Hard Times*, 1960], *Большой как жизнь* [*Big as Life*, 1966], *Книга Дэниэла* [*The Book of Daniel*, 1971], *Гагачье озеро* [*Loon Lake*, 1980], *Всемирная выставка* [*World's Fair*, 1985], *Гидротехнические сооружения* [*The Waterworks*, 1994], *Град Божий* [*The City of God*, 2000; рус. перев. 2002], сборника рассказов *Новеллы о чудесной земле* [*Sweet Land Stories*, 2004] и др. В *ИЛ* напечатаны его романы *Рэгтайм* [1978, № 9–10], *Билли Батгейт* [1991, № 6–7], повесть *Жизнь поэтов* [1988, № 5] и рассказ *Дом на равнине* [2004, № 10].
Роман публикуется по изданию *The March* [New York: Random House, 2005].

Вацлав Гавел
Václav Havel
[р. 1936]. Чешский драматург, публицист, философ, правозащитник и государственный деятель, последний президент Чехословакии [1989–1992] и первый президент Чехии [1993–2003]. Лауреат многих международных премий

Автор пьес театра абсурда *Торжество в саду* [*Zahradní slavnost*, 1963], *Трудно сосредоточиться* [*Ztížená možnost soustředění*, 1968; рус. перев. 1990], *Аудиенция* [*Audience*, 1975], *Вернисаж* [*Vernisaž*, 1975], *Искушение* [*Pokoušení*, 1975] и др., многих публицистических работ, в том числе *Письма Ольге* [*Dopisy Olze*, 1983], *В разные стороны* [*Do různých stran*, 1083–89], *Гостиница в горах* [*Horský hotel*; рус. перев. 2000] и др.
Текст публикуется по изданию *Odcházení* [Respekt Publishing, 2007].

Антуан де Сент-Экзюпери
Antoine de Saint-Exupéry
[1900–1944]. Французский писатель и профессиональный летчик. Лауреат премии *Фемина* [1931], Большой премии Французской академии [1939], Национальной книжной премии США [1940].

Автор книг *Южный почтовый* [*Courrier Sud*, 1929; рус. перев. 1960], *Ночной полет* [*Vol de nuit*, 1931; рус. перев. 1962], *Планета людей* [*Terre des hommes*, 1938; рус. перев. 1957], *Военный летчик* [*Pilote de guerre*, 1942; рус. перев. 1963], *Маленький принц* [*Le petit prince*, 1943; рус. перев. 1958] и др.
Новелла публикуется по изданию *Manon, danseuse. L'aviateur* [Éditions Gallimard, 2007], письма – по изданию *Sept lettres à Natalie Paley* [Éditions Gallimard, 2007].

Божена Дудко
Bożena Dudko
Польский журналист, редактор, сотрудник отдела репортажа *Газеты выборчей* [1993–2005].

Составитель пяти антологий польского репортажа, изданных в Польше, и трех – в Швеции, Франции и Германии. Автор сборника *Путешествия с Рышардом Капущинским. Рассказы тринадцати переводчиков* [*Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy*, 2007]. Участвует в подготовке к печати 16-томного собрания сочинений Р. Капущинского.

Анджей Стасюк
Andrzej Stasiuk
[р. 1960]. Польский поэт, прозаик и драматург. Лауреат национальной литературной премии *Нике* [2005], премии Фонда культуры и др.

Автор поэтического сборника *Стихи любовные и нет* [*Wiersze miłosne I nie*, 1994], сборников рассказов *Стены Хеврона* [*Mury Hebronu*, 1992], *Дукля* [*Dukla*, 1997; рус. перев. 2004] и др., романов *Белый ворон* [*Biały kruk*, 1995] и *Девять* [*Dziewięć*, 1999; рус. перев. 2004], сборников эссе *По пути в Бабадаг* [*Jadąc do Babadag*, 2004] и *Фаду* [*Fado*, 2006], а также пьес *Две (телевизионные) пьесы о смерти* [*Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci*, 1998], *Темный лес* [*Ciemny las*, 2007] и др. В *ИЛ* печатались его рассказы [1998, № 4; 2001, № 5] и пьеса *Ночь* [2007, № 9].
Публикуемые фрагменты взяты из книги *Дойчланд* [*Dojczland*. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007].

Мариуш Щигел
Mariusz Szczygieł
[р. 1966]. Польский журналист, писатель, лауреат многих наград.

Автор многочисленных репортажей в прессе, сборника репортажей о Польше *Воскресенье, которое случилось в среду* [*Niedziela, która zdarzyła się w środę*, 1996].
Публикуемые фрагменты взяты из книги *Готтленд* [*Gottland*. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2006].

Лидия Осталовская
Lidia Ostałowska
Польская журналистка.

Автор репортажей на социальные темы и книги *Цыган это цыган* [*Cygan to cygan*, 2000].
Публикуемый репортаж взят из сборника *Вся Польша трещит* [*Cała Polska trzaska*. Prószyński i S-ka, 2005].

Борис Михайлович Парамонов
[р. 1937]. Кандидат философских наук, работал в *ЛГУ* на кафедре истории философии [1967–1974], с 1979 г. живет в Нью-Йорке. Лауреат литературной премии *Северная Пальмира* [1994], Пушкинской премии фонда Тойффеля [2005] и премии *Либерти* [2006].

Автор книг *Конец стиля* [1997], *След* [2001] и др., многих десятков статей, печатавшихся практически во всех эмигрантских изданиях, а с 1991 г. и в России. В *ИЛ* публикуется впервые.

Джон Рескин
John Ruskin
[1819–1900]. Английский искусствовед, философ, писатель.

Автор трудов по искусствоведению, в том числе *Современные художники* [*Modern Painters*, 1843–1860], *Семь светочей архитектуры* [*Seven Lamps of Architecture*, 1849; рус. перев. 2007], *Прерафаэлитство* [*Pre-Raphaelitism*, 1851], *Камни Венеции* [*The Stones of Venice*, 1851–1853], *Верона и ее реки* [*Verona and Its Rivers*, 1870], *Рассветы Флоренции* [*Mornings in Florence*, 1877] и др., а также романа *Король Золотой реки* [*The King of the Golden River*, 1841].
Фрагменты книги *Современные художники* публикуются по изданию *Selections from the Works of John Ruskin, edited by Chauncey B. Tinker* [Cambridge–Massachusetts: Houghton Mifflin Company, 1908].

Джон Апдайк
John Updike
[р. 1932]. Американский писатель, член американской Академии искусства и науки. Лауреат Национальной книжной премии [1963, 1982], Национальной книжной премии общества критиков [1981], Пулицеровской премии [1982, 1991], премии Ри [2006] и др.

Автор романов *Кентавр* [*The Centaur*, 1963; рус. перев. *ИЛ*, 1965, № 1–2], *Кролик, беги* [*Rabbit, Run*, 1960; рус. перев. 1979], *Кролик исцелившийся* [*Rabbit Redux*, 1971], *Кролик разбогател* [*Rabbit Is Rich*, 1981; рус. перев. 1986], *Кролик на отдыхе* [*Rabbit at Rest*, 1990] и др. В *ИЛ* напечатаны также его романы *Ферма* [1967, № 4], *Давай поженимся* [1979, № 7–8], рассказы и эссе из книг разных лет [1984, № 5; 1992, № 10; 1995, № 7; 1996, № 10; 1999, № 9; 2003, № 7, 8; 2006, № 1].
Эссе *Splendid Lies* публикуется по изданию *The New York Review of Books* [August 14, 2008].

Саша Дагдейл
Sasha Dugdale
Английский поэт, драматург, переводчик. Лауреат премии Грегори [2003] и премии фонда Стивена Спендера [за перевод сти-

Автор поэтических сборников *Блокнот* [*Notebook*, 2003] и *<Это>* [*<The>*, 2007].
Переводила пьесы *Пластилин* Василия Сигарева, *Терроризм* братьев Пресняковых и др., стихи Бориса Рыжего, Татьяны Щербины и др.
Публикуемая пьеса предоставлена редакции журнала в рукописи.

хов Елены Шварц]. С 1995 по 2000 гг. жила в России, работала в Британском совете.

Льюис Кэрролл [наст. имя Чарльз Латуидж Доджсон] Lewis Carroll [Charles Lutwidge Dodgson] [1832–1898]. Английский писатель, философ, профессор математики Оксфордского университета, один из лучших фотографов XIX века.

Автор ряда математических работ, в том числе *Евклид и его современные соперники* [*Euclid and His Modern Rivals*, 1879], сказочных повестей *Алиса в Стране чудес* [*Alice's Adventures in Wonderland*, 1865; рус. перев. 1967], *Алиса в Зазеркалье* [*Through the Looking-Glass and What Alice Found There*, 1871; рус. перев. 1967], поэмы *Охота на Снарка* [*The Hunting of the Snark*, 1876; рус. перев. 1991], романа *Сильви и Бруно* [*Sylvie and Bruno*, 1889–1893] и др.
Текст публикуется по изданию *Произведения Льюиса Кэррола* [*The Works of Lewis Carroll.* Middlesex: Spring Books, 1965].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач в программах *Время и мир* и *Американский час* на радио *Свобода.*

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Андрей Николаевич Ермонский
[р. 1936]. Литературный критик и переводчик с польского. Лауреат премии *ИЛ* [1991].

В его переводе вышла книга Я. Ивашкевича *Шопен*, романы Т. Брезы *Стены Иерихона*, А. Кусьневича *Состояние невесомости*, Р. Братного *Колумбы, год рождения 20-й*, В. Терлецкого *За зверей заплачено*, В. Гомбровича *Фердыдурке*, рассказы С. Лема, Б. Чешко и др.
Постоянно публикуется в *ИЛ*.

Александра Леонидовна Борисенко
Переводчик, литературовед, кандидат филологических наук.

Автор ряда эссе, напечатанных в *ИЛ*: *О Сэлинджере с любовью и всякой мерзостью* [2001, № 10], *Песни невинности и песни опыта* [2002, № 4], *Льюис Кэрролл: мифы и метаморфозы* [в соавторстве с Н. Демуровой; 2003, № 7], *Иэн Макьюэн: Фауст и фантаст* [2003, № 10], *Литературные премии США – XXI век* [в соавторстве с В. Сонькиным; 2004, № 4]. В ее переводе напечатаны фрагменты книги Э. Хоффман *Искусство потерь: опыт жизни в новом языке* [2003, № 1], эссе А. Картер *Элисон смеется* [2003, № 6], Л. Менанда *"Над пропастью во ржи" 50 лет спустя* [2005, № 10], Г. Грина *Беатрикс Поттер: критический очерк* [2006, № 1], Х. Карпентера *"Джейн Остин детской": Беатрикс Поттер как мастер стиля* [в соавторстве с В. Сонькиным; 2006, № 1] и др.

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города on-line* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко.
В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 11].

Татьяна Александровна Трофимова
Кандидат филологических наук, преподаватель кафедры истории русской литературы новейшего времени РГГУ.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также опубликованы его статьи *МакКультура* [1996, № 1], *Неотмеченные юбилеи...* [1997, № 5], *До последней капли алфавита* [1997, № 6], *Вокруг, около и вместо...* [1999, № 5], *Между двумя оттепелями* [2005, № 10].

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликованы ее статьи *Три "Гранде"* [2008, № 4], *"Казнить нельзя помиловать"* [2008, № 12] и перевод фрагмента пьесы *Обратная сторона Луны* Робера Лепажа [2008, № 11].

Игорь Викторович Мокин
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1].

Переводчики

Владимир Борисович Бошняк
[р. 1949]. Переводчик с английского. Лауреат премии *Инолит* [2007].

В его переводах публиковались романы Э. Л. Доктороу *Всемирная выставка*, Э. Бёрджесса *Заводной апельсин*, Дж. П. Донливи *Печальное лето Сэмюэла С.*, рассказы У. Фолкнера, У. Стайрона, Т. Вулфа, Дж. Леннона, пьесы В. Аллена и др. В его переводе в *ИЛ* напечатана вторая часть романа Т. Вулфа *Костры амбиций* [1991, № 11], рассказ Дж. П. Донливи *Франц Ф.* [1992, № 8—9], роман Т. Моррисон *Любовь* [2005, № 9] и роман М. Рихлера *Версия Барни* [2007, № 8—10].

Ольга Лукова
Переводчик с чешского. Живет в Германии.

В ее переводе печатались пьесы современных драматургов Я. Питинского, Л. Смочека, П. Зеленки и стихи М. Направника, Э. Шванкмайеровой, Р. Эрбена, И. М. Ироуса и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Марианна Юрьевна Кожевникова
Переводчик с французского.

В ее переводе выходили произведения Э. Ионеско, Ж. Жироду, П. Валери, А. де Сент-Экзюпери, Ф. Саган, А. Арагона и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премии *ИЛ* [1986], премии польского ПЕН-клуба [2004] и *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук и др.
В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повести Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и др.

Ирина Евгеньевна Адельгейм
Литературовед, переводчик с польского, доктор филологических наук, лауреат литературной премии *Эврика!* [2006].

Автор книг *Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка* [2000], *Поэтика "промежутка": молодая польская проза после 1989 года* [2005], статей по польской литературе.
В ее переводе издавались произведения Г. Херлинга-Грудзинского, К. Янды, Ф. Байона, М. Гретковской, К. Грохоли, Т. Ружевича, М. Вилька и др. В *ИЛ* опубликованы ее переводы книги К. Кеслёвского *О себе* [1998, № 11—12], стихотворений В. Шимборской [2003, № 5], повести П. Хюлле *"Мерседес-бенц". Из писем Грабалу* [2004, № 1], эссе А. Стасюка *Сегодня умирают иначе* [2004, № 9], документальной повести В. Тохмана *Ты будто камни грызла...* [2004, № 10], статьи и рецензии.

Полина Сергеевна Козеренко
Переводчик с польского. Аспирантка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

В *ИЛ* в ее переводе опубликован очерк Я. Ю. Щепанского *Майя* [2007, № 12].

Ирина Лаппо
Филолог-славист, преподаватель польского языка и литературы, переводчик с польского. Лауреат премии посольства Польши в Москве за лучший переводческий дебют [1992], обладатель диплома критики *зо-ИЛ* [2005].

Автор статей о театре, теории и практике перевода и этнолингвистике и книги *Мрожек à la russe. Восприятие драматургии Славомира Мрожека в русской языково-культурной сфере*. В *ИЛ* опубликован ее перевод романа Д. Масловской *Польско-русская война под бело-красным флагом* [2005, № 2] и пьесы Д. Масловской *Двое бедных румын, говорящих по-польски* [2008, № 7], а также статья *Мрожек на русской сцене* [2008, № 6].

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолиттл* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Дж. Грина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор работ по английской поэзии рубежа XVI—XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Мария Вячеславовна Фаликман
Поэт, переводчик с английского, немецкого, польского и испанского языков. Кандидат психологических наук, доцент МГУ. Лауреат конкурса Британского совета по переводу британской поэзии [2005].

Автор книги стихов *Mezzo Forte* [2001]. В *ИЛ* публиковались ее переводы стихотворения А. Э. Хаусмана [2006, № 6], новеллы Д. Болджера *Улицы Марты* [2007, № 6] и рассказа К. Карсон *Выгодная сделка* [2007, № 6].

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премий *Единорог и Лев* [2006], *Золотой крокодил* [2007], *Инолиттл* [2007].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многочисленных книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* опубликовано ее эссе *Горсть мелочи* [2007, № 12], а также в ее переводах напечатаны стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили, Р. Геррика, Г. Шнакенберг и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использована картина английского художника Джозефа Мэллорда Уильяма Тёрнера [1775–1851] *Вечный покой. Похороны в море* [1842].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова. Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М.В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, 2; м. Таганская-кольцевая)
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2-3)

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
http://www.inostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 23.12.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2987.
Тираж 9300 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Уильям Тёрнер “Рыбаки в море”. 1796

Уильям Тёрнер "Восход солнца. Морские чудовища". ок. 1845

Уильям Тёрнер "Снежная буря. Переход Ганнибала через Альпы". 1812

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ISSN 0130-6545 09001
9 770130 654770

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2009, №1, 1-320

ИНДЕКС 70394